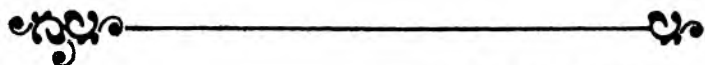


Александр
Дюма

Господин Кумъ
Катринъ Блюмъ
Гавриэль Ламберъ



АЛЕКСАНДР
ДИОМА



XIX
ВЕК
В РОМАНАХ
ДЮМА

Александр Дюма

Господин Жюль
Катрин Блюм
Габриэль Ламбер

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»
1994

84 4 Фр
Д 96

Переводы с французского

Составление и общая редакция
Ю. П. Уварова

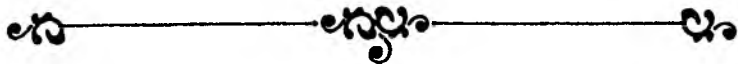
Оформление
Ю. К. Бажанова

Д $\frac{4703010100-2987}{080(02)-94}$ 2987-94

ISBN 5-253-00806-3

- © Уваров Ю. П. Составление. 1994.
- © Погорелая Т. Г. Перевод. 1994.
- © Резниченко Т. В. Перевод. 1994.
- © Уварова И. Г. Перевод. 1994.
- © Скржинская Е. Л., Скржинский П. А. Перевод. 1994.
- © Бажанов Ю. К. Оформление. 1994.

Господин
Кумб



Глава I,

**ИЗ КОТОРОЙ НЕСВЕДУЩИЕ ЧИТАТЕЛИ УЗНАЮТ О ТОМ,
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НЕБОЛЬШОЙ
ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМИК**

В то время, о котором пойдет рассказ, предместье Марселя было живописным уголком, полным романтики дикой природы, а не таким, как ныне, ухоженным, утопающим в цветах и зелени.

С вершины горы Нотр-Дам де ля Гард с одинаковой легкостью можно было сосчитать как дома, разбросанные по долине и холмам, так и суда и тартаны, испещрявшие белыми и красными парусами всю огромную голубую гладь моря, простиравшуюся вплоть до самого горизонта; впрочем, ни один из этих домов, за исключением, быть может, построенных по берегам Ювоны на развалинах того самого замка Бель-Омбр, в котором некогда обитала внучка мадам де Севиньи, не мог тогда еще похвастаться всеми теми величественными платанами и очаровательными лавровыми рощами, тамарисками и бересклетами, экзотическими и местными породами деревьев, которые ныне укрывают мощной сенью своей листвы крыши бесчисленных марсельских вилл; а все дело

было в том, что река Дюранс не протекала еще тогда по этой местности, а бежала неподалеку по небольшим ложбинкам и, извиваясь меж склонов холмов, омывала своими водами мертвые скалы и возрождала их к жизни.

Вот почему каждый марселец, жадно стремившийся к поддержанию жизни своих цветов, листочки которых быстро увядали и склонялись до самой земли под воздействием нещадно палившего августовского солнца, должен был поступать так, как делают обычно на корабле во время длительного морского плавания, так, как поступил господин де Жюсье со своим кедром: каждый должен был, сэкономив на собственном потреблении воды, отдать несколько спасительных капель бедному живому растению как добровольное пожертвование.

Благодаря мощной, всепобеждающей работе воды и солнца растительность края столь быстро и разительно видоизменилась, что даже в самом Марселе уже не вспоминали о тех временах, когда лишь несколько сосен и оливковых деревьев, потрескавшихся от солнца, одни нарушали однообразие скудного пейзажа; в то время, о котором мы ведем рассказ, именно деревня Монредон как нельзя более полно представляла собой образец высушенной земли, который некогда был характерен для окрестностей всего старинного поселения фокейцев.

Монредон расположен за троицей деревьев, называемых Сен-Женьес, Бонвен и Мазарг; он находится в основании треугольника — мыса Круазет, — который заходит в море и оказывает защиту рейду от восточных ветров.

Монредон был построен у подножия громадных глыб серого и лазурно-голубого известняка, на склонах которых растут, с трудом пробиваясь, несколько чахлах кустиков, чьи сероватые листочки приобретают под воздействием солнца и пыли белесоватый оттенок. Нет ничего более мрачного и печального, чем открывающаяся взору перспектива этих грандиозных глыб: казалось, что никогда здравомыслящие люди не смогли бы разбить свои палатки на пластах земли, представлявших из-за этих бастионов столь унылый пейзаж, и что Господь Бог направил их в эти края лишь для того, чтоб защитить сей берег от вторжения моря; однако еще задолго до 1787 года в Монредоне, помимо хижин, было немало деревенских домиков, один из которых приобрел известность если не сам по себе, так по крайней мере благодаря тем, кто в нем проживал.

Восхитительный парк, окруженный по настоянию господина Пастре стенами, скрывал скромную виллу, послужившую убежищем семье Бонапарта в период ее длительного пребывания в Марселе во время Революции; королевские особы доброй половины Европы оставляли свои следы на его песчаных аллеях, а гостеприимство, оказанное этим особам, принесло своеобразное счастье господину Клари; его дети были вовлечены в мощный круговорот событий, приведших гостей Марсельского парка к тронам Европы; дети же Клари, в свою очередь, заняли места на высших ступеньках иерархической социальной лестницы. Случилось даже так, что самой молодой из барышень Клари чуть ли не предложили разделить судьбу с будущим великим правителем мира. Речь вроде бы уже шла о ее свадьбе с молодым артиллерийским командиром, но, как говаривал позже нотариус господин де Боарне в подобной ситуации, — невозможно выйти замуж за человека, обладающего лишь плащом и шпагой.

Оговоримся сразу же, что вовсе не рассказом о вчерашних полубогах мы собираемся занять ваше воображение, дорогой читатель, — дело в том, что мы не смогли воздержаться от проявления патриотической гордости; к тому же мы испытали острую необходимость дать понять, что, несмотря на производимое им впечатление, Монредон в конечном счете не такое уж унылое и скромное место, и, как всякий другой город, он имеет полное право на известность, и совершенно справедливо, что каждый из его обитателей мог гордиться ею; согласившись с этим, поспешим откровенно признаться, что сделанное нами выше отступление — первое и последнее, что наши будущие персонажи — люди не столь великие, скорее очень скромные и незаметные, что повествуемая нами драма рождается, разворачивается и оканчивается на небольшом клочке песчаной земли, и если герои этой драмы и привлекали к себе внимание окружающего мира, то лишь на короткое время, когда, с одной стороны, все началось в некой старинной часовне, а с другой — закончилось в Мадраге, у статуи Геркулеса Монредонского. *Paula minora canamus*¹.

Итак, покинем, наконец, виллу господина Клари и, идя берегом моря, доберемся до того небольшого высокого мыса, который называют Пуэнт-Руж и где в 1831 году, том

¹ Воспоем менее значимое (лат.). — Здесь и далее примеч переводчика.

самом, о котором мы ведем повествование, мы обнаружили всего три-четыре дома, и среди них — небольшой деревенский домик, где и произошла история, которую мы хотим вам поведать. Однако мы рискуем впасть в новое отступление, поэтому было бы весьма кстати выполнить обещание, данное нами в подзаголовке и объяснить, наконец, что представляет собой небольшой деревенский домик всем тем, кому не повезло родиться в зеленом раю — ведь именно так расценивает это место каждый марседец, — иными словами, всем тем, кому не повезло родиться в Провансе.

При словах — деревенский домик — ваше воображение, очень возможно, уже нарисовало вам шалаш из досок или веток с соломенной либо камышовой крышей с отверстиями в ней для дыма. Ваше представление, читатель, завело вас слишком далеко.

Когда говорится о замке, либо о настоящем деревенском доме, либо о небольшом домике — для каждого марсельца ясно, о чем идет речь, поскольку только характер и воображение самого владельца определяют в конечном счете, как название любого жилища, располагающегося за городской чертой, так и его размеры и архитектурный стиль. Если марседец не лишен гордости, его жилище станет называться замком; если он простоват — оно будет деревенским домом; если же он скромнее, то назовет его небольшим домиком. Но лишь сам владелец устанавливает подобную классификацию, поскольку ничто так не походит на марсельский замок, как какой-нибудь деревенский дом, если на самом деле он не является просто небольшим домиком.

Поговорим же и о самом домике, и о его владельце.

Владелец жилища на Пуэнт-Руж в прошлом был грузчиком. С тех самых пор, как городское управление Марселя делегировало в Национальное Собрание одного или двух грузчиков от города, о членах этой корпорации сложилось весьма ложное представление. Одни полагают, что все жители нашего крупного средиземноморского порта являются грузчиками; другие считают, что все грузчики — миллионеры. Правда же состоит в том, что данная профессия, представителей которой в Марселе насчитывается не меньше трех-четырёх тысяч, является прибыльной как для простых работников, так и для старших, под началом которых грузчики работают. Старшие же организуют работу грузчиков по разгрузке судов

подрядным способом; оплата труда варьируется в зависимости от обстоятельств как для первых, так и для вторых. Торговый оборот в порту интенсивный, патроны могут получить за год прибыль порядка 15 тысяч франков. По прошествии двух десятков лет они удаляются от дел, нельзя сказать, чтобы богатыми людьми, но имея весьма приличное состояние.

Удача сопутствовала господину Кумбу не больше, но и не меньше, чем большинству из его собратьев. Будучи сыном крестьянина, он пришел в Марсель в сабо. Один из его родственников, служивший простым солдатом в огромном штате портовой милиции, предложил ему свое место, поскольку рано проявившийся физический недостаток мешал ему надлежащим образом выполнять свои обязанности.

Места работающих грузчиков передаются по наследству или покупаются совершенно так же, как и должности нотариусов или агентов меняльных контор.

Господин Кумб охотно купил бы какую-нибудь должность, но не располагал для этого даже скромной суммой.

Тогда родственник разрешил и эту трудность; так как деньги для него не имели никакой ценности, он увидел в осуществлении своего плана не что иное, как обеспечение будущего блаженства своего кузена; он заявил господину Кумбу, что удовольствуется третьей частью его поденных доходов в течение пяти лет.

Господин Кумб хотел было поторговаться, но родственник, и так делавший уступку в его пользу, облек все свои протесты в форму таких нежных выражений, что не оставил никакой возможности даже для малейшего возражения, и господину Кумбу не оставалось ничего другого, как дать свое согласие.

Будучи деловым человеком, господин Кумб сдержал свое обязательство,— эта ощутимая потеря, касавшаяся его ежедневных заработков, не помешала ему, однако, скопить значительное состояние. С этой целью он применил самый простой прием: он вычитал из суммы на свое питание третью часть денег и отдавал ее кузену. И если от такого режима питания лично он не прибавил в весе, то его кубышке с деньгами это как нельзя лучше пошло на пользу, и вскоре она так распухла, что позволила господину Кумбу купить должность одного из старших груз-

чиков в корпорации. Правда, тогда цены за эти должности не были столь высокими, как в наши дни.

Но, даже если эта должность стоила господину Кумбу недорого, она принесла ему позже гораздо больший доход: как только начались экспедиции Морэ, завершилось Наваринское сражение и был захвачен Алжир, старшие грузчики вместе с военной администрацией марсельского порта стали получать огромную прибыль; в результате господину Кумбу удалось скопить ту сумму, которая с самой ранней юности была целью его честолюбивых устремлений. Собрав ее, он отошел от дел.

И теперь даже страсть к накопительству, питавшая довольно удачный в профессиональном смысле период его жизни, не могла больше удержать его в должности старшего грузчика ни на один день. У господина Кумба была другая страсть, причем такая, что даже долгих два десятка лет, устремленных к ее удовлетворению, не смогли ее остудить, и именно эта страсть позволила ему устоять перед лицом алчности и не впасть в этот порок, ведь его постоянная привычка к бережливости обязательно должна была привести именно к этому.

Однажды, прогуливаясь по Монредону в часы своего досуга, господин Кумб увидел объявление, в котором сообщалось о продаже земель по баснословно низким ценам. Будучи родом из деревни, он любил землю скорее саму по себе, чем за плоды, приносимые ею; он отсчитал из своих сбережений 200 франков на покупку двух арпан этой земли.

Когда мы здесь говорим о земле, то поддаемся скорее привычке, поскольку клочок, купленный господином Кумбом, состоял исключительно из песка и валунов. И за это он любил эту землю еще больше, как часто мать в своей любви к детям отдает предпочтение рахитичному и горбатуму ребенку, нежели здоровому.

И господин Кумб взялся за работу.

С помощью старого ящика из-под мыла он построил хижину на берегу моря и оградил свои владения тростником; отныне лишь одна мысль преследовала его, одна цель и единственная забота — украсить и улучшить свое жилище. Задача была не из легких, но если уж господин Кумб за что-то брался, он умел доводить дело до конца.

Каждый вечер, окончив трудовой день, он клал себе в карман кусок хлеба, свежие помидоры или фрукты, предназначенные на ужин, и отправлялся в Монредон, чтобы

доставить туда корзинку, наполненную перегноем, который он собирал там и сям во время рабочего перерыва, пока его товарищи мерно посапывали после обеда. Само собой разумеется, что весь воскресный день уходил на то, что он копал и перекапывал, ровнял и выравнивал свой участок и, вне всякого сомнения, не было более заполненных трудом дней, чем эти выходные дни.

С тех пор как из разряда простых грузчиков он перешел в старшие, самой большой радостью для него было размышлять над тем, как благоприятно отразится на его жилище повышение в должности в корпорации. Первое, на что он решил пустить свою прибыль, так это на то, чтобы разрушить свой дощатый домишко и на его месте построить деревянный домик, о котором мы вам сейчас расскажем.

Будучи объектом таких хлопот и такой любви со стороны господина Кумба, он не стал от этого ни более красивым, ни более привлекательным.

Внутри он состоял из трех комнат, расположенных на первом этаже и из четырех — на втором. Нижние комнаты были довольно просторны, что же касается комнат наверху, то создавалось впечатление, что моделью при строительстве архитектору послужил ют какого-то судна. В каждой из этих комнат-кают можно было дышать, лишь держа открытым окно. Все комнаты были обставлены мебелью, скупленной господином Кумбом у всех старьевщиков самых древних кварталов города.

Снаружи домик господина Кумба выглядел совершенно фантастично. Испытывая чувство глубочайшего обожания по отношению к сему памятнику, господин Кумб любил каждый год его как-то приукрашивать, и украшения эти гораздо больше отвечали честолюбивому сердцу хозяина, нежели его вкусу. Из года в год стены домика перекрашивались то в один, то в другой, то в третий цвета радуги. Начав с самых невыразительных оттенков, господин Кумб сначала перешел к арабескам, а затем к очень сложному архитектурному вымыслу, который так или иначе находил отражение в его жилище. И оно приобретало то вид греческого храма, то мавзолея, то вдруг — мавританского замка, то норвежской пещеры, то шалаша, покрытого снегом.

В то время, когда начинается эта история, господин Кумб, испытывая на себе, как все одаренные натуры, сильнейшее влияние романтического жанра, превратил

свое жилище в нечто, напоминавшее средневековый замок. И для точного воспроизведения такой миниатюры ничто не было им упущено: ни стрельчатая форма окон, ни просветы между ними, ни полагающаяся галерея с бойницами, ни сами бойницы, ни опускающиеся решетки (как у ворот укрепленного замка в былые времена), нарисованные на дверях.

Разглядывая лежавшие в камине два дубовых бревна, мирно ожидавшие часа, когда их пустят на изготовление стола или шкафа, господин Кумб решил, что они должны внести свою лепту в стиль и убранство жилища, и без всякого сожаления принес их в жертву. В его умелых руках они превратились в две башенки и были установлены на двух противоположных углах его домика, устремив в небо свои флюгеры, украшенные гербами с геральдическими знаками, объяснить которые никогда бы, разумеется, не смогли ни Хозер, ни Шерен.

Нанеся на свое произведение последний мазок кисти, господин Кумб принялся созерцать его с таким видом, с каким только Перро должен был разглядывать Лувр, когда, наконец, воздвиг там колоннаду.

И упоение от увиденной картины, понемногу охватившее все существо господина Кумба, вызвало в его душе тот приступ гордости, скрытой под маской ложной скромности, о которой мы уже упомянули ранее и которая, как мы увидим позже, сыграет значительную роль в жизни этого человека.

Обыкновенно страсть — это сложное чувство. И господин Кумб был далеко не так уж одинаково удачлив во всех своих начинаниях, как мы попытались предположить, размышляя о чувстве глубокой гордости, вызванной у него видом своего творения.

И если его домик был готов покорно подчиняться фантазиям владельца, то с примыкавшим к нему участком земли дело обстояло совсем не так. Стены жилища, со своей стороны, преданно и верно сохраняли ту живопись, которую им доверяли; грядки же, в свою очередь, никогда не оставались в той форме, какую придавал им хозяин и никогда не окупали затрат на семена, помещенные в их чрева.

Чтобы объяснить все вышесказанное, надо сообщить читателю, что у господина Кумба был враг.

Его подлинным врагом был мистраль, именно ему Господь Бог поручил преследовать, по правде говоря, тщетно, колесницу этого триумфатора, играть роль античного раба и постоянно напоминать господину Кумбу, в очередной раз созерцающему влюбленным взором свои владения, что для того, чтобы стать повелителем и создателем всех этих прекрасных творений, недостаточно быть просто человеком. Это был тот беспощадный, немолчимый ветер, который греки называют самым северным ветром, латиняне — западно-северо-западным ветром, а грек Страбон назвал черно-северным ветром; иными словами, это был неистовый и страшный ветер, сдвигающий с места целые скалы, с силой выбрасывающий людей из повозок, буквально срывающий с них одежду и оружие; это был тот ветер, который, по словам господина де Сосюра, так часто разбивал стекла замка де Гриньян, что там отказались от мысли их заново вставлять; это был тот самый ветер, что приподнял аббата Портали вверх над площадкой горы Сент-Виктуар и в одно мгновение сразил его; и, наконец, это тот самый ветер, что проделывал все вышесказанное в былые времена, а ныне мешал людям наслаждаться разнообразной и интересной картиной жизни человека, довольного выпавшей на его долю судьбой, человека без честолюбивых помыслов и без желаний.

Тем не менее сей мистраль не обрушил на господина Кумба ни одного из тех губительных последствий, на которые указал когда-то греческий писатель; он вовсе не свалил на его жилище остроконечные гранитные пики горы Маркиа-Вейр; он ни разу не выбросил его из небольшой повозки, запряженной корсиканской лошадкой, на которой господин Кумб изредка ездил в город; если порою ветер и срывал с него фуражку, то по крайней мере не трогал его куртку и брюки, защищавшие целомудрие своего хозяина.

Но едва с одного конца крыши ветер срывал куски черепицы, как тут же трескались несколько стекол в окнах жилища. Господин Кумб скорее всего простил бы ему такие проделки, но вот чего он не мог ему простить и что приводило его буквально в отчаяние, так это то упорное остервенение, с каким этот дьявольский ветер, казалось, решил постоянно превращать два арпана садика в унылый песчаный берег или в безводную пустыню.

И как ни старался господин Кумб проявить в этой борьбе больше настойчивости, он не был сильнее своего противника. Он и обрабатывал землю, и уваживал ее, и с большим трудом и тщанием засеивал ее восемь, девять, а подчас и десять раз в год. Как только зернышки салата, принявшись, появлялись на грядках легкими зелеными побегам, как только горох расцветал, показывая желтоватые дольки листочков, где один листок отделялся от другого и сверкал, как изумруд в золотой оправе драгоценного кольца, так мистраль, в свою очередь, принимался за работу. Он с ожесточением набрасывался на бедные растения, вплоть до самых корней иссушал их, выпивая весь растительный сок, начинавший циркулировать в их нежных тканях, и покрывал их толстым слоем раскаленного песка, и, когда таких его действий было недостаточно, чтобы заставить листочки свернуться, он выметал их на соседние участки вместе с пылью, которую обыкновенно гнал со всем своим неистовством.

И только однажды господин Кумб позволил себе дать волю отчаянию и посетовал на мистраль.

С угрюмым видом проходил он по полю битвы, собирая погибшие и пострадавшие растения, с поистине трогательной любовью щедро одаривая их заботой, увы, уже бесполезной большинству из них и читал надгробное слово то при виде кочана капусты, подающего надежды, то глядя на многообещающий помидор; позже, уделив довольно времени своим скорбям и сетованиям, он вновь принимался за труды, отыскивая дорожки и грядки, которые мистраль так безжалостно сровнял с землей; он вновь откапывал свои погребенные грядки, подправлял и выравнивал их, снова наводил дорожки, бросал во все это зерна и, с гордостью оценивая творенье рук своих, вновь возвещал тому, кто хотел его услышать, что не пройдет и двух месяцев, как на его столе будут лежать лучшие овощи Прованса.

Но, как мы уже сказали, его преследователь желал, чтобы последнее слово оставалось за ним, и во время передышки, предательски предоставляемой им своему противнику, набирался новых сил, и сердце господина Кумба, как и его многострадальная земля, не питало больших надежд на то, что все его усилия не будут сведены на нет.

На протяжении двух десятков лет шла эта яростная борьба, но, несмотря на столько разочарований, бывших

следствием бесполезности принимаемых им усилий, легко забывая о своих печалях и бедах, господин Кумб был в высшей степени, убежден как в том, что именно он был владельцем особого сада, так и в том, что песчаная природа этой почвы в соединении с соляными испарениями, поднимавшимися с моря, неминуемо должна была придать всем его продуктам тот особый вкус, который скорее всего невозможно больше нигде отыскать.

На этом месте проницательный читатель обязательно остановится, чтобы задать автору логичный вопрос, почему же господин Кумб вовсе не стремился отыскать клочок земли, в которой в Марселе не было недостатка, защищенный от ветра, вызывавшего у него обоснованное опасение. И такому читателю автор ответит, что повелителей не выбирают, их посылает нам небо, и какими бы скверными и вероломными они ни были, их надо любить такими, какими их нам послал Господь.

Кстати говоря, такое неудобство было соответствен-но компенсировано. Не обошлось без зрелых и глубоких размышлений, прежде чем господин Кумб решился приобрести эти самые два арпана земли, покупателем которой он стал в начале нашего повествования.

К нежности, питаемой им к своему домику, и к гордости, внушаемой ему при виде предмета хлопот и забот всей его жизни, примешивалась еще одна страсть, которую в прошлом веке мы бы назвали страстью к «белокурой Амфитристе», что само по себе могло бы бросить некую тень на безупречность нрава господина Кумба, а ныне мы дадим ей самое простое название — страсть к морю. И такое название как нельзя лучше соответствует нашей цели, поскольку совершенно ничего поэтического в преклонении господина Кумба перед морем не было. Автору сего повествования нелегко сознаться в такой прозаичности нашего героя, но господин Кумб любил море не за его прозрачно-голубую гладь, не за уходящие в бесконечность горизонты, не за мелодичный плеск волн, не за его гнев и штормовой рокот; более того, он никогда и не думал о том, чтоб видеть в нем зеркальное отражение Всевышнего; увы, он не представлял его себе столь величественным, он простосердечно и искренне любил его, поскольку видел в нем неиссякаемый источник получения буйабеса.

Господин Кумб был рыболовом, причем марсельским рыболовом, а это означает, что, извлекая из разных гротов, покрытых зелеными водорослями, морских ежей, моллюсков и других морских чудищ, населяющих воды Средиземного моря, он испытывал определенное наслаждение, но гораздо более сильное чувство он ощущал тогда, когда его морской улов аккуратно лежал в кастрюле на слое из лука, помидоров, петрушки и чеснока; и после добавления масла, шафрана и других необходимых приправ в искусно составленных пропорциях, он наблюдал за поднимающейся над кастрюлей пеной, осязал исходящие оттуда пары, которые предвещали монотонное пение содержимого, обычно свидетельствующее о самом процессе приготовления, и всеми фибрами своей души вдыхал ароматный запах национального южного блюда

Таким был господин Кумб, таким было его жилище.

Оно буквально вбирало в себя своего владельца, и невозможно составить целостную картину, описывая их раздельно, не упоминая одного без другого.

Чтобы завершить составленный нами портрет, следует добавить, что, будучи весь, от основания до крыши, построен из кирпича и известняка, он оказал самое губительное влияние на сердце и характер господина Кумба. Домик передал ему самый дурной из всех существующих пороков — гордыню.

В процессе созерцания предмета своей страсти и в попытке казаться выше, будучи владельцем такого жилища, он в силу этого впал в состояние крайнего презрения по отношению к тем из своих соплеменников, кто был лишен счастья, казавшегося лично ему бесценным; он считал себя уже вправе бросить презрительный взгляд на творенье самого господина Бога. Прибавим к вышесказанному, что, какую бы безмятежную и скромную жизнь ни вел господин Кумб, она должна была оставить в его душе след от других — подлинных привязанностей, а не только от привнесенных извне; след истинных скорбей человеческих, а не тех, что были следствием опустошительного действия мистрала.

В его прошлом не обошлось без драмы.

Глава II
МИЛЕТТА

Слово поэтам:

*«Тростник повержен так же, как и дуб:
Однажды, словно великан лесной,
Он молча очутился на земле .
И если молния его щадит,
То, обнят ледяной рукой Зимы,
Он ею с корнем будет вырван вмиг
И наземь рухнет — пусть не с высоты —
Не важно то, коль все-таки падет.*

*Так только ли о бедах королей
Народу стоит слезы проливать?
Кто ж с нищими печали разделит?*

*Человеку не скрыться в траве,
От несчастья не скрыться в траве,
Как бы этого он ни хотел;
Станет вдруг цена жизни узка,
Или станет она широка,—
Всем отмерен печальный удел:
Будь статист он, будь малый актер,
Будь он даже великий актер,
Не минует страданий и слез.
И пускай незначителен он,
Незаметен в том действии он,—
Все равно причитает всерьез».*

Почему же господин Кумб, судя по всему, избежал всеобщего закона?

В один прекрасный день женщина, о роли которой будет рассказано ниже, неожиданно заплыла в тихую заводь, в которой так восхитительно прозябал господин Кумб, и широкие круги на воде, оставленные ею, чуть было не превратили это спокойно-сонное место в клоко-чущее от бурь море.

Звали ее Милетта, родом она была из Арля, являвшегося родиной поистине прекрасных южанок с голубыми глазами, черными волосами и с такой белоснежно-атласной кожей, как будто южное солнце, заставлявшее цвести даже гранаты, ни разу не коснулось ее своим лучом. Никогда еще белый чепчик, отделанный широкой

бархатной тесьмой, не обрамлял более красивых волос, чем те, что принадлежали Милетте; никогда еще плиссированная косынка не облегала более очаровательную грудь; никогда еще платье не было укорочено столь ловко, что оставляло на воле лишь стройные ножки с изяшно изогнутыми маленькими ступнями.

В годы своей молодости Милетта вполне могла считаться наиболее совершенным образцом арлезианской красоты, и, имея столько оснований стать женщиной во вкусе многих, она целиком и полностью подтвердила свою репутацию доброй и порядочной девушки, весьма тривиально выйдя замуж за человека своего круга, работавшего простым каменщиком.

Грустно, что Провидению не угодно вознаграждать таких женщин, которые, подобно Милетте, прямо ведут свой корабль к пристани, несмотря на подводные камни, тем самым подавая пример подлинной добродетели.

Однако бескорыстие Милетты обернулось для нее несчастьем, в ее замужней жизни с трудом отыщется лишь несколько безоблачных весенних дней,— очень скоро тот, кого она приняла за мотылька, превратился в безобразную гусеницу. Она выбрала его себе в мужа, по скольку он показался ей работающим мужчиной. Но он доказал, что семейная комедия разыгрывается в жалких лачугах так же, как и в золоченых хоромах с лепными украшениями; показал себя таким, каким он был в действительности: сварливым и грубым, ленивым и развратным,— вот почему из прекрасных глаз бедной Милетты часто лились обильные горячие слезы.

Пьер Мана, так звали мужа Милетты, однажды заявил, что его труд должен лучше оплачиваться в Марселе, нежели в Арле, и предложил жене отправиться в тот город, чтобы поселиться там. Этот переезд дорого обошелся Милетте: она любила край, в котором была рождена и где оставляла своих родных и близких. Издалека большой город внушал ей страх и представлялся монстром, который должен ее поглотить; но, поскольку ее слезы огорчали старую мать, она подумала, что на расстоянии будет легче скрыть их от нее, убедив мать в том, что она весьма счастлива в браке, и Милетта покорно приняла предложение мужа.

Как верно предполагает читатель, вовсе не надежда найти более доходное место влекла Пьера Мана в Мар-

сель; он стремился найти там больше возможностей для ведения разгульной жизни; ему хотелось избежать упреков родителей относительно своего поведения.

Вот уже пятнадцать дней Милетта и ее муж находились в Марселе, однако Пьер Мана так и не развязал свой холщовый мешок с содержащимися в нем инструментами; зато он ознакомился со всеми кабачками, наводнявшими улицы старого порта, — он вернулся оттуда с синяками, которые доказывали лишь одно — силу и крепость тамошних обитателей и их кулаков.

Мы не отсылаем читателя к печально известной истории, которую знает каждый, — о девушке из народа, связанной судьбою с негодяем, не имеющей ни развлечений вне дома, ни компенсации в виде достатка, ни утешения со стороны своей семьи: подобные картины жизни настолько удручающе горестны, что мое авторское перо отказывается их изображать; отметим только, что Милетта до дна испила свою горькую чашу, что она стойко переносила голод и невзгоды, сопутствующие одиночеству и беспомощности; что она пережила такое отчаяние, которое приближает к представлению о том, что такое ад.

Но чувство долга так глубоко укоренилось в этом прекрасном и благородном создании, что, несмотря на все мучения, ей никогда даже не пришла в голову мысль о возможности избежать их. Господь наделил ее сердце добродетелью так же щедро, как одарил птиц возможностью петь сладкоголосые песни, а девушек — носить в вырезе платья лазурно-голубой газовый платок. Однако настал день, когда даже молитва, единственное утешение Милетты, стала бессильна, чтобы возродить и освежить ее иссохшее сердце; она упрекала себя за то, что пожелала стать матерью; в поцелуях, которыми она осыпала своего ребенка, посланного ей небом; одновременно запечатлевались и нежность, и отчаяние, и жалость к судьбе, уготованной этому маленькому бедному созданию его отцом.

Этажом ниже этого печального семейства проживал рабочий, являвший собою полную противоположность Пьеру Мана.

Как и последний, он не был обладателем ни высокого роста, ни гордого и решительного выражения лица; он был на самом деле худощавым, даже щуплым и скорее некрасивым; лицо его носило отпечаток покорности и печали, но все в нем выявляло человека трудолюбивого

и аккуратного. Он вставал до восхода солнца, и Милетта, уже почти не спавшая в это время, слышала, как он наводил порядок в своем жилище, причем занимается этим так тщательно, как это могла бы сделать только самая добросовестная горничная. Однажды из-за открытой двери она позволила себе бросить взгляд в комнату соседа и была изумлена царившими в ней порядком и чистотой.

Все обитатели дома единодушно отдавали должное грузчику Полю Кумбу, и только один Пьер Мана упрекал его в глупости и скопидомстве. Он насмеялся над его кротким нравом и деревенскими вкусами, которые уж ему-то были известны.

Однажды воскресным утром, когда с пакетом семян под мышкой сосед направлялся за город, Пьер оскорбил его из-за того, что тот отказался составить ему компанию в кабаке. Прибежавшей на шум Милетте стоило немалых усилий избавить молодого человека от своего навязчивого мужа и тогда, при виде их обоих, спускавшихся по узкой винтовой лестнице: нахального зубоскала Пьера и спокойного, но решительного соседа, она прошептала, вздыхая, про себя: «Почему этот, а не тот?»

На протяжении долгой ежедневной пытки Милетты это был единственный допущенный ею грех. А впрочем, едва ли она ставила это себе в упрек.

По прошествии трех лет такое весьма печальное существование Милетты чуть было не окончилось трагической развязкой.

Однажды ночью Пьер Мана вернулся домой в ужасном виде. Против обыкновения он не был совершенно пьяным; он находился в том состоянии опьянения, которое служит лишь прелюдией к абсолютной бесчувственности, когда выпитое вино еще действует на человека возбуждающе. Кроме того, матросы избили его, а коль скоро он слишком кичился своей силой, то испытанное им унижение повергло его в бешенство; он был безмерно рад найти беззащитное существо, на котором мог бы выместить свою неудачу, и обрушил на свою жену удары, полученные им от матросов. Бедная Милетта настолько свыклась с этим, что часто, плача из-за низости своего супруга, она уже не могла выдавить ни слезинки по поводу своих собственных страданий.

Испытывая скуку от однообразия такого занятия, Пьер Мана нашел другое развлечение. Шаря по всем

углам, он, к несчастью, обнаружил несколько глотков водки на дне одной бутылки; он осушил ее, и вместе с допитой водкой улетучилось то небольшое от здравого смысла, что еще у него оставалось.

И тогда в его воспаленном мозгу родилась странная идея, одна из тех, что сближают опьянение с сумасшествием.

За несколько минут до драки один из матросов, избивавших потом его, рассказал, как находясь однажды в Лондоне, увидел повешенной одну женщину. Детали, приведенные в рассказе, захватили аудиторию.

У Пьера Мана появилось дикое желание в действительности увидеть соблазнительную картину, представленную в рассказе.

От мысли до осуществления прошла всего одна минута.

Он отыскал молоток, гвоздь и веревку.

Найдя их, он успокоился: все, что надо, было у него под рукой,— виселица и вспомогательные инструменты. Его бедная жена ничего не понимала, и удивленно разглядывая будущего палача, задавалась вопросом, какая еще новая блажь взбрела ему в голову.

Пьер Мана же, несмотря на хмель, сохранил в памяти обстоятельства услышанного рассказа и непременно хотел воссоздать все по правилам.

Начав с натягивания своего колпака на голову жены, он надвинул его ей до самого подбородка и, решив, что рассказ матроса не был приукрашен, что на самом деле все выглядело весьма комично, принялся хохотать преувеличенно весело.

Вполне ободренная живостью своего мужа, Милетта легко позволила ему связать ей руки за спиной.

Она не задумывалась о намерениях Пьера Мана до той минуты, пока не почувствовала холод пеньковой веревки у себя на шее.

И тогда из груди ее вырвался страшный крик, которым она звала на помощь; но в доме все спали. К тому же Пьер Мана приучил соседей к отчаянным крикам своей несчастной жены.

Именно в этот момент молодой грузчик, проводивший в последнее время за городом не только воскресные дни, но и все вечера, возвращался к себе домой. Крик Милетты был таким истощным и душераздирающим, что по всему его телу пробежала дрожь и волосы зашевелились

на голове. Он стремглав поднялся по двадцати пяти ступенькам, отделявшим его убогое жилище от комнаты супругов Мана и одним ударом ноги вышиб дверь.

Пьер только что повесил свою жену на вбитый гвоздь, и бедное создание уже билось в предсмертных конвульсиях.

Господин Кумб — ведь именно он, как, впрочем, мы уже говорили, был этим добропорядочным и работающим соседом — бросился спасать бедную женщину и прежде чем пьяница успел прийти в себя от изумления при его появлении, он перерезал веревку, и Милетта упала на кровать.

Расширепев от осознания того, что он лишен наиболее интересной части увеселительного спектакля, Пьер Мана бросился на господина Кумба, бранясь и грозя повесить их обоих. Последний не был ни храбрым, ни сильным, но благодаря своей профессии приобрел отличную сноровку. Твердо встав у постели бедной молодой женщины, он сумел дать отпор дикой твари до прихода соседей.

Потом пришли блюстители порядка и препроводили Пьера Мана в тюрьму, после чего бедной женщине была, наконец, оказана помощь.

Само собой разумеется, что именно господин Кумб первым позаботился о ней. Та кротость и покорность, с какой Милетта переносила свое ужасающее положение, уже давно тронули сердце господина Кумба, которое казалось слишком эгоистичным, чтобы быть столь чувствительным. Отсюда проистекает некоторая связь между обитательницей чердака и ее соседом с нижнего этажа, впрочем, связь совершенно дружеская. И даже когда Пьер Мана был отправлен в камеру предварительного заключения, когда предупредительный адвокат спросил Милетту, не ходатайствует ли она о раздельном жительстве, даже тогда ей вообще не пришла в голову мысль о грузчике, располагавшем кругленькой суммой, не имея которой, бедное создание не могло надеяться на покой на этом свете.

Пьер Мана был приговорен к нескольким месяцам тюремного заключения; но Милетта проживала в его жилище, пользовалась его вещами, которые он мог забрать по своей прихоти; а мог и закончить прерванный спектакль, когда ему заблагорассудится, рискуя тогда несколько продлить свое пребывание в тюрьмах д'Экс; но

главное было в том, что несчастная женщина не имела на пропитание и нескольких сотен франков.

Когда, вернувшись к себе домой, Милетта осознала все происшедшее, то первым движением ее души было отчаяние, ей хотелось немедленно встать и пойти попросить пощадить ее мужа. К счастью, она была еще слишком слаба для выполнения своего замысла.

В первые дни ей показался странным и непривычным покой, царивший вокруг нее, и знаки внимания, которыми ее щедро одаривал сосед,— ведь та жалкая жизнь, какую она вела до сих пор, казалась ей нормальной,— и она думала, что все это происходит с ней во сне. Но мало-помалу она привыкла к новой жизни и теперь уже, наоборот, прошлое казалось ей каким-то страшным сновидением.

Наконец, при мысли о том, что этот сон вновь может стать реальностью, она затрепетала всем своим существом.

Для приободрения себя она думала: полученный Пьером суровый урок, очевидно, поможет его исправлению в лучшую сторону. Но Пьер превзошел все ее ожидания: когда по истечении его срока наказания Милетта пришла и стала покорно ждать мужа у ворот тюрьмы, он, не удосужившись даже бросить взгляд в ее сторону, быстро скрылся, ведя под руку распутную женщину, с которой, согласно обычаям воров, ставших его сотоварищами, поддерживал любовную переписку во время заключения.

Милетта была ошеломлена таким поступком мужа. Вернувшись домой, она было подумала о возвращении к своей матери; но из письма, извещавшего о печальном событии, она узнала, что ее матушка недавно скончалась.

Отныне никого из близких не осталось на земле у бедной женщины, и только господин Кумб, ее единственный друг, насколько мог, утешил ее. Но, какой бы крепкой ни была его дружба, он и не подумал пойти навстречу молодой женщине в ее трудностях и избавить от той, чьи объятия с каждым днем сжимались все сильнее,— от ее величества нищеты. А последняя была просто ужасающей, но Милетта слыла мужественной женщиной, и на протяжении долгого времени переносила все с таким терпением, с каким стойчески выдерживала запови своего мужа. Наконец, не найдя никакой работы, Милетта при-

зналась своему доброму соседу, что она вынуждена пойти к кому-нибудь в услужение.

Господин Кумб долго размышлял, бросая взгляды на свой секретер из орехового дерева, в котором он никогда не оставлял ключа, и с некоторым смущением объявил Милетте, что, поскольку он готовится сейчас договориться о месте старшего грузчика в своей корпорации, для чего ему понадобятся все его деньги, он не может, к своему великому сожалению, прийти ей на помощь..

Милетта была глубоко огорчена тем, как плохо он ее понял, и пылко заверила его, что никогда и не думала воспользоваться той благосклонностью, какую он выказал по отношению к ней.

Господин Кумб упрекнул ее за то, что она его перебила и, продолжив свою речь, поведал о способе, с помощью которого можно будет все устроить: в его новом положении ему, очевидно, понадобится прислуга, и он отдает предпочтение Милетте.

Она была крайне обрадована, прежде всего видя, как сбываются предсказания ее соседней, и молодой грузчик встает на путь, ведущий к достатку, а также тем предложением, какое ей только что сделал господин Кумб. Милетта была так чиста душой и наивна, что для нее казалось совершенно естественным стать служанкой этого молодого человека, и она верила, что зависимость от него не будет для нее тягостной.

Господин Кумб был удовлетворен не меньше: и не потому, что глаза прекрасной арлезианки возбуждали в его сердце некоторые желания; не потому, что он питал в отношении молодой женщины подчас не совсем пристойные мысли, ведь его невосприимчивое к любви сердце не воспламенялось так легко,— а потому, что ее несчастье тронули его настолько, насколько он вообще был чувствителен к чужому горю; поскольку ему доставляло удовольствие оказать услугу людям, к которым он привязан, не потратив при этом ни цента из своей кубышки; и, наконец, стоит ли говорить, что, вероятнее всего, он не нашел в Марселе ни одной служанки, которая бы удовлетворялась содержанием, предлагаемым господином Кумбом Милетте.

Никогда не относитесь слишком доверчиво к положительным свойствам натуры человеческой.

**ИЗ КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЮ СТАНЕТ ЯСНО,
НАСКОЛЬКО ПОДЧАС ОПАСНО ПОМЕЩАТЬ
В ОДНОЙ КЛЕТКЕ ВОРОНА И ГОРЛИЦУ**

Лицо господина Кумба, кажущееся безусым, хотя последнему было 27 лет, носило отпечаток его темперамента, холодного и меланхолического. Все восхищались красотой его служанки, но об этом лично он заботился меньше всего. Отправляясь вместе с Милеттой в Монредон, он не придавал значения тому, что взгляды всех прохожих с любопытством задерживались на пленительном личике молодой женщины; но он весело улыбался, видя, как проворно бежали ее ножки по пыльной дороге, несмотря на груз, положенный им ей на плечо. Он и не замечал тех завистников, что кружили вечерами у его дома; но он был настолько убежден в преданности Милетты его интересам, что мог позволить себе отныне не осуществлять такой бдительный и строгий контроль даже за незначительными деталями своего хозяйства, какой он проводил ранее. Глава религиозной конгрегации, членом которой, как и все грузчики, состоял господин Кумб, отчитал его, полагая, что присутствие столь молодой особы у человека его возраста может стать причиной скандала среди верующих; хозяин Милетты, не отличавшийся большим умом, ответил своему собеседнику, что скорее надо возложить вину на господина Бога за то, что он сотворил ее такою, чем на него, способного лишь честно воспользоваться этим совершенным творением.

Равнодушное отношение самого господина Кумба длилось целых два года, вплоть до памятного вечера, случившегося во второй половине осени.

В тот вечер Милетта пела,— ненастные дни ее жизни были далеко позади. Голос ее был сильным и чистым; мы не хотим этим сказать, что какой-нибудь директор оперы, услышав ее, воскликнул бы: «Вот тот самородок, который я искал! Вот то грудное «до» или «до диез», какое я повсюду разыскиваю». Нет, этот голос не был мощным, он не был темперирован, но он был пленительным и нежным, каким-то своеобразно милым. Он поразил господина Кумба в момент размышления над усовершенствованием буйабеса и прервал его глубокие мысли на сей счет. Первым его порывом было заставить замолчать эту пе-

вунью, но, уже поддавшись очарованию ее голоса, мысль более не подчинялась его воле, образно говоря, ускользала от последней наподобие рыбки, которую рыбак пытается поймать в свой садок.

Сначала господин Кумб испытал что-то вроде легкого трепета, доселе неведомого ему, и поддался желанию сравнить ее голос с голосом аргентинки, который он когда-то слышал. К счастью, опьянение от пения Милетты не было столь сильным, чтобы пренебречь тем, насколько бесплодны все попытки такого рода. Он откинулся в своем кресле-качалке и, закрыв глаза, слегка покачивался в нем. О чем думал он? Ни о чем и обо всем — воображаемое приоткрывало для него дверь в свой мир, полный приятных видений; и по черно-бархатному полю за его опущенными веками проходили и вновь появлялись тысячи золотых звезд и всполохов пламени; меняя формы, они принимали иногда вид Милетты и, часто мигая и перемигиваясь в течение нескольких мгновений, угасали. С головокружительной быстротой его мысли перелетали от цветов к ангелам, а от ангелов — к небесным светилам, затем вновь возвращались к причудливым божествам, жившим в его мозгу, работа которого до сих пор ограничивалась лишь архитектурными преобразованиями его домика, и создававшимся с такой легкостью, что это походило на чудо.

Господин Кумб подумал, что сделался сумасшедшим, но сумасшествие сие показалось ему настолько очаровательным, что он ничуть не возражал против этого.

Окончив петь, Милетта замолчала, и господин Кумб, открыв глаза, решил покинуть возвышенный мир и вновь спуститься на землю. Невольно он бросил взгляд на молодую женщину.

Милетта развешивала белье на берегу моря, — весьма прозаическое занятие, однако господину Кумбу она показалась такой же очаровательной, как самая прекрасная из фей, через чьи волшебные царства он только что мысленно пролетал.

Она была с ног до головы одета, как прачка, то есть в простую рубашку и юбку. Ее волосы, наполовину распущенные, свободно лежали на спине, и дуновение морского ветра, игравшего с ними, образовывало из них нечто вроде нимба. Ее белые округлые плечи выступали из выреза холщового платья наподобие белого мрамора, отполированного так, как только морской прибой обта-

чивает выступающую скалу; не менее белоснежной была и ее грудь, полуобнажавшаяся при поднятии ею рук; а когда она вставала на цыпочки, то еще резче выделялись тонкий изгиб ее талии и великолепная округлость бедер.

Увидев ее такой прекрасной в золотисто-розоватых отблесках заходящего солнца, выступавшего из иссиня-черного моря, служившего фоном всей картины, господин Кумб подумал, что встретил, наконец, одного из светлых ангелов, которые только что представляли столь чудными в его видении. Он захотел позвать Милетту, но голос замер в его пересохшем горле, и тогда он заметил, как на лбу его выступил пот, как он тяжело дышал, как сильно билось его сердце, готовое выскочить из груди. В это самое мгновение подошла Милетта и, посмотрев на господина Кумба, воскликнула:

— О Боже, мой господин, какой же вы красный!

Господин Кумб не ответил, но то ли его взгляд, обычно невыразительный и тусклый, в этот вечер был как-то особенно светел, то ли исходившие от него какие-то магнетические разряды даже на расстоянии подействовали на Милетту, только последняя в свою очередь тоже покраснела и опустила глаза, а ее пальцы стали нервно перебирать край нижней юбки,— она отошла от своего хозяина и вернулась в домик.

Поколебавшись несколько минут, господин Кумб последовал за нею.

Осень — это весна флегматичных темпераментов.

Глава IV

ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМИК

Господин Кумб прекрасно осознавал свое социальное положение. Он был не из тех, кто представляет себе любовь чем-то вроде деспотического жезла, удары которого влюбленный согласен принимать от руки своей собственной кухарки, нет уж, увольте! Он бы ни за что не пожелал этого, пусть даже эта ручка принадлежала бы самой божественной из граций. И тем более он не относился к тем, кто полагает, что, коль скоро дверь заперта, стол накрыт, а бутылка с вином откупорена, только бесы беспokoятся обо всем остальном.

Господин Кумб испытывал по отношению к женскому полу эдакую универсальную неприязнь, и только Милетта стала его единственным исключением. Он был безмерно удивлен, что не смог сохранить свое хладнокровие, не смог остаться в совершенно здравом рассудке тогда, когда даже сам царь богов был бы способен его потерять. Если пение Милетты и оказало на него такое животворное воздействие, какое только весеннее солнце оказывает на природу, то оно не зашло дальше того, чтобы распространиться на отношения, приличествующие хозяину и его прислуге, иными словами, господин Кумб не забыл ни о внешних приличиях, ни о торжественности жестов и выражений по отношению к ней; и не раз в те моменты, когда охватывавшее его возбуждение должно уже было заставить его забыть о расстоянии, когда-либо существовавшем меж ними, все достоинство господина Кумба противилось этому и облекалось в форму важных нотаций и весьма обоснованных рекомендаций по ведению домашнего хозяйства, и это сразу должно было напомнить молодой женщине, что никогда ее хозяин не пойдет на то, чтобы увидеть в ней кого-то другого, кроме прислуги.

В сближении двух противоположных полов страсть не всегда играет столь существенную роль, как это представляется. Тысячи самых разных чувств могут привести женщину к тому, чтобы она отдалась мужчине. Милетта уступила господину Кумбу, поскольку испытывала к нему чрезмерное чувство благодарности за оказанные ей услуги, да и потом, честный, аккуратный и удачливый старший грузчик, сумевший сколотить себе состояние, обладая незаурядной твердостью взглядов, вызывал у нее самое искреннее восхищение. И весьма обыкновенный владелец домика в Монредоне был в ее глазах окружен неким ореолом — он представлялся ей полубогом, и она выслушивала его с почтением, разделяла его пристрастия и, слепо подчиняясь ему, ухитрилась придать их домику поистине олимпийские размеры. Хотя господин Кумб и требовал от бедной женщины проявления преданности, сам он никогда не упускал случая проявить себя: его убежденность в более низком положении его служанки заставила любой ее отказ считать просто невозможным.

Милетте, которая никогда в жизни не обольщалась несбыточными надеждами, не было знакомо чувство ра-

зочарования, а стало быть, и чувство унижения; она принимала свое положение в том виде, в каком оно было установлено ее хозяином, с какой-то даже трогательной и признательной покорностью судьбе.

Так проходили годы, и эюку за эюку прибавлялось в сейфе старшего грузчика, а ящики с перегноем и навозом громоздились друг на друге в садике Монредона.

Но участь тех и других была разной: в то время, как мистраль разбрасывал и перегной, и навоз, эюку мирно лежали, накапливались и приносили хозяину доход, причем так исправно, что по прошествии 15 лет господин Кумб всякий раз по понедельникам испытывал крайнее недомогание, когда должен был покинуть Монредон, свое фиговое дерево, свои овощи и вообще свои владения с тем, чтобы добраться до маленькой квартирке на улице Дарс, но регулярно повторявшиеся раз в неделю приступы с каждым новым разом становились все более сильными. В его сердце какое-то время боролись два чувства: любовь к своему домику и любовь к богатству. Сам Господь Бог соблаговолил оказать содействие господину Кумбу в этом вопросе. В год 1845, благодарение Господу, личный враг господина Кумба был подавлен и направлен в пещерные убежища горы Ванту, и было ниспослано теплое и влажное лето. Песок Монредона оказал превосходное вседействие впервые за все время владения старшим грузчиком своей земли. Побег салата не засохли на корню, бобы быстро поднялись, а хрупкие стебли помидоров даже согнулись под тяжестью веток, усыпанных ребристыми головками плодов; и, войдя однажды субботним вечером в свой садик, господин Кумб, чье изумление уподобилось счастью, насчитал двести семьдесят семь цветов на своей четырехугольной грядке. Он так мало был готов к непредвиденному успеху, что издалека принял их за бабочек. Это событие увенчало его упорное сопротивление триумфом. С того самого момента, как раскрылся первый бутон в его саду, господин Кумб стал чувствовать себя неловко, если лично не присутствовал при его распускании. Основная работа отошла на второй план; он обратил свое небольшое имущество в деньги, продав его; пересдал свою квартиру и окончательно устроился в Монредоне.

Милетта не слишком благосклонно отнеслась к изменению им постоянного места жительства.

Придавая чрезмерное значение делам и поступкам

владельца домика, мы оставили без внимания персонаж, который должен сыграть определенную роль в нашем рассказе.

Правда, на протяжении 17 лет, через которые мы перескочили, его существование представляло для нашего читателя лишь посредственный интерес. Мы хотим рассказать о ребенке Милетты и Пьера Мана.

Звали его, как и многих марсельцев, Мариус,— таким образом жители старого Марселя отдавали дань памяти герою, освободившему их страну от нашествия завоевателей,— трогательный пример, который может заставить последних испытать чувство восхищения теми, кого они пренебрежительно называли французами. Итак, его звали Мариус.

В тот период, которого мы наконец достигли, он был в полном смысле слова красивым юношей, одним из тех, при встрече с которыми женщины так же нервно оборачиваются, как лошади при звуке трубы.

Мы предоставляем нашим читательницам право на свой собственный лад нарисовать портрет Мариуса, за ранее прося у них прощения, если в ходе дальнейшего повествования нам придется во имя истины пожертвовать их расположением, ради которого мы стараемся угодить им в данный момент.

Бедная Милетта обожала свое дитя, но, к сожалению, ее положение в доме было таким, что она вынуждена была сдерживать свое естественное материнское чувство.

Господин Кумб вовсе не любил Мариуса, хотя и не испытывал к нему отвращения. Он был в высшей степени лишен способности оценить те радости, что дарит материнство, зато слишком хорошо подсчитывал, чтобы это не отнимало много средств.

Милетта же во имя воспитания своего ребенка жертвовала тем скромным жалованьем, что господин Кумб выплачивал ей, делая это так исправно, как будто бы вдохновляем порою ее пением; он и жалел бедную женщину, и с прискорбием воспринимал те жертвы, что она обязана была брать на себя, чтобы дать возможность маленькому шалопаю выучить алфавит; и великодушно, облегчал ее жертвоприношения, скупко демонстрируя ей сострадание, которое выражалось не столько в сочувствии к ней, сколько в грубых окриках в адрес мальчика.

Когда же сей последний подрос, то дело приняло совсем другой оборот. В целях своего личного утешения

господин Кумб придумал аксиому, которую мы рекомендуем всем тем, кого огорчает правдивость отражения в зеркале: он утверждал, что красивый мальчик непременно является негодяем, а Мариус становился решительно красивым.

При взгляде на него брови господина Кумба все больше и больше хмурились. Он распекал Милетту за проявляемую ею безумную нежность к своему ребенку, утверждая, что такая пристрастная любовь отвлекает ее от домашних обязанностей. Он неоднократно выражал недовольство по поводу небрежности, с какой ею было приготовлено какое-нибудь блюдо, приписывая это ее отвлеченности из-за того, кого он заранее называл бездельником, и в то же время, следуя своей логике, он осуществлял надзор за каждодневными мельчайшими расходами Милетты по хозяйству, полагая весьма возможным, что обладатель таких глаз, какие были у Мариуса, когда-нибудь выкрадет у нее кошелек.

Следствием таких его действий стало то, что Милетта вынуждена была тайком дарить своему ребенку ласки, но, казалось, последний совершенно не замечал этого. Он обладал врожденным благородством души и возвышенностью чувств, которые были столь характерны для его матери.

Милетта не стала рассказывать ему о прошлом, и ничего не поведала из грустной истории своей жизни, зато она беспрестанно повторяла о его долге любить и почитать того, кого сама она никогда не называла иначе, как только их благодетелем, и мальчик изо всех сил старался выказывать признательность, переполнявшую его сердце и действительно им испытываемую; и сам господин Кумб расценил это как привязанность, которую смог внушить своей служанке, столь нежно любимой Мариусом.

И если, становясь старше, он по-прежнему оказывал господину Кумбу немало знаков внимания, был предупредителен по отношению к нему, то с годами к этому прибавилось безграничное терпение и глубочайшее уважение. Благодаря своей проницательности молодой человек, очевидно, решил, что догадался об истинных узах, существовавших меж ним и его благодетелем.

В этой вере его укрепляло поведение господина Кумба, привыкшего мало-помалу называться отцом и не прощившегося этому.

К тому времени, когда господин Кумб окончательно переселился из Марселя в Монредон, сын Милетты уже в течение года был младшим служащим одной из торговых фирм. Он был лишен возможности каждый вечер целовать свою мать, — это был тот вечерний поцелуй, которого она теперь лишилась, что вызывало у нее сожаление; казалось, причиной такой перемены был город. Милетта сделалась столь печальной, что на это обратил внимание господин Кумб. Последний был несказанно рад, одержав победу по всей линии и увидев, наконец, замолчавшими любителей глупых шуток, утверждавших, будто он был вынужден взять напрокат декорации у ведущего театра с целью иметь в своем садике такие деревья, какие росли у него, поэтому ему не хотелось, чтобы выражение лица Милетты столь неуместно контрастировало с его собственным счастьем, — и он позволил ей регулярно, по воскресеньям, вызывать сына в Монредон.

Глава V,

ИЗ КОТОРОЙ СТАНЕТ ЯСНО, НАСКОЛЬКО ПОДЧАС НЕПРИЯТНО БЫТЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ ЧУДЕСНОГО ГОРОХА В СВОЕМ САДУ

Где-то в середине лета 1845 года случилось событие, своеобразно изменившее жизнь господина Кумба.

Однажды вечером, когда сумерки уже пали на фиговое дерево и на его дом, он полусидел на стуле, положив голову на нижний прут оконной решетки, и следовал взглядом отнюдь не за золотистыми облаками, убежавшими на запад, а за поспеванием плодов фиги, округло выделявшимися из-под каждого листочка на дереве, и его воображение рисовало ему аппетитную мякоть янтарного цвета. Сидя так, он услышал голоса двух людей, шедших вдоль решетчатой изгороди из тростника, которая ограждала его садик с улицы. Один из них говорил другому:

— Вы сейчас составите свое мнение о качестве здешнего песка, черт побери; и нигде — ни в Бонвене, ни в Эгаладе, ни в Бланкарде, ни за серебро, ни за золото вы не смогли бы найти то, что вы сейчас увидите. У короля Франции, месье, у самого короля Франции в его саду нет ничего подобного!

И пока господин Кумб с бьющимся сердцем перебирал в памяти, к кому могли относиться такие похвалы, двое прохожих остановились перед деревянной решеткой, ограждавшей его владения. Один из них был хозяином соседнего участка земли; другой — молодой человек, которого господин Кумб видел в Монредоне впервые.

Остановившись, первый указал на зеленый сад, тогда уже пышно разросшийся, точнее сказать, на четырехугольную грядку с горохом, зеленые побеги которого колыхались от дуновения морского бриза.

— Взгляните! — воскликнул он, и жестом усилил торжественность повелительной интонации.

Господин Кумб покраснел, словно юная девица, впервые услышавшая комплимент по поводу своей красоты, и был уже готов скромно потупить взор.

Молодой человек с меньшим по сравнению с говорившим энтузиазмом взирал на сад, однако нельзя сказать, чтобы его внимание не было повышенным; затем оба удалились, а господин Кумб так и не смог заснуть. Всю ночь он воображал, с какими приветствиями обратится к сему весьма привлекательному и важному лицу, когда встретится с ним в первый раз.

На следующий день, когда господин Кумб поливал дорожке его сердцу всходы и Милетта помогала ему в этом, он вдруг услышал новый шум, донесшийся уже не с улицы, а с той стороны, где длинная полоса дюн и холмов отделяла его владения от полудюжины домов, составлявших деревню Мадраг, и где вплоть до описываемых событий заброшенная полоса земли была предоставлена лишь цветам шалфея, бессмертника и дикой гвоздики, покрывавшим ее, в зависимости от времени года, то белым, то желтым, то розовым ковром.

— Кого это сюда черт несет? — проворчал господин Кумб, предвкушая сладостный момент, пережитый им накануне.

И, не давая Милетте времени на ответ, он перешел вместе со стулом вдоль тростниковой ограды своего сада, легко раздвинув ее, принялся, не торопясь, удовлетворять свое любопытство.

Доносившиеся голоса принадлежали, ни больше ни меньше, как троим или четверым рабочим, несшим веревки, колья и вехи и намечавшим углы на пустыре, расположенном как раз рядом с домиком господина Кумба.

Последний же был не из тех, кто бы не задался вопросом, что все это могло означать.

Он узнал, что один из жителей Марсея, возможно, вдохновленный той блестящей перспективой, какую представляла взорам прохожих земля господина Кумба, купил соседний участок земли и собирался построить виллу наподобие домика последнего.

Господин Кумб довольно безразлично отнесся к этой новости. Он не был мизантропом из желания им быть. Он не искал одиночества, а скорее принял его как форму существования; хотя общество людей его ничем не привлекало, он наряду с тем вовсе не стремился избегать его.

И тем не менее неудобства от такой его позиции не замедлили сказаться. Приступив к работе на следующий же день, рабочие выкопали ров вдоль всей ограды, отделявшей одно владение от другого. Вновь задав несколько вопросов, господин Кумб услышал в ответ, что его будущий сосед не считает имеющуюся тростниковую ограду достаточной и намеревается свои собственные владения обнести большой каменной стеной.

При этих словах безразличие господина Кумба сменилось на прямо противоположное чувство. Он подумал о том, что эти ненужные оборонительные сооружения закроют ему весь вид на море и на мыс Круазет, и в тот же миг, как безумный, влюбился в их неповторимую красоту. Кроме того, такая конструкция ограды явно подавит его собственную, и последняя будет выглядеть весьма плачевно на фоне роскошной стены соседа. А его домик в сравнении с виллой значительно проиграет в глазах общественного мнения. И это последнее соображение столь сильно подействовало на господина Кумба, что он прибегнув к помощи одного из каменщиков, работавших на соседнем участке, тотчас же обеспечил его работой у себя с целью сравняться со своим соседом.

Непредвиденные расходы сразу же вызвали глухой ропот в трезвом рассудке господина Кумба, где склонность к порядку и бережливости руководила всеми действиями последнего, но самолюбие собственника сумело подавить эти укоры. Он сказал самому себе, что такая стена совершенно по-другому, нежели тростниковая ограда, предохранит его сад, имея явно больше преимуществ перед последней, и укроет его от расхитителей фруктов и овощей, недостатка в которых отныне не

могло не ощущаться. И когда, наконец, вчетверо большая стена была закончена, она возымела весьма внушительный вид; она была так чисто оштукатурена и побелена, а бутылочные осколки, украшавшие ее верхний край, так красиво переливались на солнце, что господин Кумб почувствовал глубокую признательность человеку, благодаря инициативе которого он решился на такие расходы.

И, принявшись вновь за рыбную ловлю и за работу в своем саду, он с новой силой ощутил себя счастливым, задумываясь лишь о том, каким приятным занятиям они могли бы предаться вместе, если, паче чаяния, его будущий сосед любит рыбалку.

Однако, по прошествии некоторого времени, господин Кумб, бросив взгляд на быстро продвигавшиеся у его соседа работы, заметил, что они велись с таким масштабом, которого он до сих пор и не предполагал, и впервые в жизни испытал укол в сердце от чувства зависти. Но тут же поспешил его подавить: ведь если домик соседа обещал быть самым величественным, то его собственный наверняка останется самым кокетливым в Монредоне. Разве испытывал бы он зависть, управляя своей отличной легкой парусной шлюпкой, при виде великолепного королевского фрегата, чьи паруса отбрасывали тень на морскую гладь?

Сердце господина Кумба не было настолько свободным от дурных мыслей, чтобы не ощутить, однако, потаенного чувства радости, когда он обнаружил тяжеловесность и излишнюю массивность остова соседского дома, где некоторые из несущих опор и стропил выступали за пределы крыши, и это явное нарушение пропорций портило все здание в целом. Однако все прибывали кровельщики, столяры и маляры,— одни приносили черепицу какой-то особой формы; другие устанавливали на всех этажах такие искусно сделанные балконы, что они скорее походили на кружева; третьи красили стены, имитируя доски пихты, изобилующие прожилками, причем делали это настолько искусно, что постепенно все здание приобрело гармоничный вид— можно сказать, безыскусственный, но в высшей степени изящный.

Это было шале, а видом их, в то время редко встречающихся, восхищались

Однако мы не поручимся, что именно чувство восхищения это шале вызывало у господина Кумба. Он раз-

глядывал его, находясь в плохом состоянии духа, нахмурив широкие брови и поджав губы, и в который уже раз его рассудку и здравому смыслу пришлось выдержать настоящую борьбу с теми сильными ощущениями, что внушала его собственная гордыня. И вновь он одержал над ней победу, но, как всегда, не окончательную, ибо, хотя его любопытство и было возбуждено настолько, что он страстно желал узнать имя счастливого владельца нового имени, он не мог решиться пойти и спросить об этом у рабочих. Ему казалось, что краска на его лице выдаст то опасение, какое вызывает у него будущее соперничество. Он был смущен, взволнован, и лишь украдкой бросал взгляды на красноватые стены своего домика, при виде которого еще совсем недавно испытывал чувства счастья и гордости.

Несмотря на все старания отогнать на задний план любую мысль о новом шале и его владельце, господина Кумба беспрерывно занимало одно — имя этого человека. Неожиданно случай помог ему это узнать.

Строительство соседнего дома так быстро продвигалось, что некоторые из овощных культур едва успели вторично продемонстрировать свою пышную роскошь, столь характерную для сада господина Кумба прошлым летом. Пыль от извести и штукатурки, распространившаяся в воздухе из-за строительных работ на соседнем участке, заметным слоем покрыла овощные культуры, и господин Кумб со щеткой и ведром в руках только принялся их отмывать, как вдруг услышал звук подъехавшей коляски, остановившейся как раз перед оградой, закрывавшей сад от соседского взора.

Еще утром он заметил со стороны рабочих какое-то движение, указующее на приготовление к приезду владельца, и, не сомневаясь, что так и произойдет, господин Кумб взобрался на стул и осторожно коснулся головой верхнего края стены. Он увидел рабочих, собравшихся во дворе, один из которых держал в руках огромный букет цветов, и, как только экипаж подъехал, он вручил его одному из вышедших господ.

Сей последний, в сопровождении трех друзей, молодой человек лет двадцати пяти, с лицом открытым и решительным, был изысканно одет. Взяв букет, он в ответ дал рабочему чаевые, должно быть, вполне удовлетворившие последнего, поскольку доселе спокойное выражение лица того сразу сменилось на восторженное. Из

груди его вырвался потрясающий силы крик: «Да здравствует господин Риуф!»,— и товарищи, бывшие с ним, поддержали его криками «ура» с какой-то бешеной радостью.

Это имя — Риуф — ничего не говорило господину Кумбу.

Пока молодые люди осматривали дом изнутри, рабочие собрались как раз напротив наблюдательного пункта господина Кумба и принялись считать и делить между собой деньги. Чаевые составляли пять луидоров.

— Черт возьми,— прошептал господин Кумб.— Это же целых сто франков! Этот господин, должно быть, очень богат. Впрочем, меня больше не удивляет, что он потратил столько денег на каменную кладку. Когда строительство моей стены было завершено, кажется, я дал за нее поденщикам десять франков, и найдется немало людей, которые смогут похвастать такой суммой, а другие просто не дадут столько. А тут сто франков! Значит, этот господин владеет всеми судами в порту Марселя. Если так, то тем лучше! Такое соседство сулит придать жизни немного разнообразия. И потом такому богатому малому непременно должны покупать рыбку, по крайней мере он не станет, в этом я уверен, ловить ее там, где я, и не будет опустошать прибрежные воды. Он производит впечатление доброго малого, веселого, открытого и без церемоний; он наверняка будет устраивать обеды и, очень возможно, пригласит на них меня. Еще бы! Он меня должен пригласить, разве не я являюсь его соседом? Что и говорить?! Я определенно рад, что ему пришла в голову мысль обосноваться именно в Монредоне!

Глава VI

ШАЛЕ И ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМИК

Весь поглощенный чудными картинами будущего, нарисованными его воображением, господин Кумб с удовольствием потирал руки, как вдруг до него донесся звук открывающегося в новом доме окна. Едва он опустил голову, чтобы не быть застигнутым врасплох во время своей невинной слежки, как на балконе шале появились молодые люди. Они говорили громко и все разом:

— Прекрасный вид! — сказал первый.— Это самый прекрасный вид, какой только предстает взору во всем этом крае.

— Ни одно судно не войдет в порт Марселя, прежде чем не отразится в бликах наших подзорных труб...— проронил второй.

— ...Не говоря уже о рыбе; стоит только протянуть руку, чтоб поймать ее,— заметил третий.

— Но пост, где он? Я не вижу поста,— вновь сказал первый.

— Проявите немного терпения,— промолвил в свою очередь хозяин дома,— потерпите, и у вас будет все, что вам заблагорассудится. Ведь скорее для других, чем для самого себя, я решил построить этот деревенский домик.

— Держу пари, мой дорогой, что есть одна вещь, какой ты непременно обзаведешься: это деревья.

— Да полноте! Деревья! К чему они? — промолвил тот, кто высказался первым.— Разве нельзя найти фрукты в Марселе и привезти их оттуда?

— А заодно оттуда привезти и тень?

— Спокойнее,— вновь промолвил владелец дома.— У нас будут деревья; мы изолированы лишь с одной стороны, а с другой,— добавил он, указывая на домик господина Кумба,— нам надлежит укрыться от слежки за нами.

— Да, так как будет весьма неприятно, если нас вновь побеспокоит полиция.

— Да, что правда, то правда. С этой стороны у тебя есть сосед, а я и не видел этот домишко.

— Какая же, Боже мой, хибарка!

— Да это просто курятник.

— Ну, нет... Если вы хорошо его видите, то он выкрашен в красный цвет и походит на кусок голландского сыра.

— А кто в нем живет? Ты его знаешь?

— Какой-то старый глупец, слишком озабоченный тем, не пустила ли корни его капуста, а также тем, чтобы случайно подсмотреть за делами и поступками членов Общества Вампиров. Будьте спокойны, я точно навел справки. Кстати, если он станет стеснять нас, всегда найдется возможность избавиться от него.

Господин Кумб не упустил ни слова из этого разговора. Когда он услышал оскорбительные слова в адрес своего жилища, у него в мгновение возникла идея об-

наружить себя и ответить на них обоснованной критикой соседского дома, дефекты которого в этот момент показались ему слишком очевидными; но, когда молодой хозяин заговорил о вампирах и с поразительными неприужденностью и беспечностью заявил о своем намерении избавиться от докучливого соседа, господин Кумб предположил, что встретился лицом к лицу с опасным обществом злоумышленников. На мгновение кровь остоявила в его жилах и, чтоб избежать взглядов кровососов, он стал нагибаться все ниже и ниже, пока вовсе не распластался на своем стуле.

Обнаружив, что со стороны соседа не доносилось никаких звуков, он понемногу пришел в себя и бросил взгляд в лагерь тех, кого с этой минуты считал своими врагами. Сначала он расправил грудь, затем плечи, поднял голову и встал во весь рост, пока, наконец, не коснулся лбом верхнего края стены. Но именно в этот момент одному из молодых друзей господина Риуфа пришла в голову та же мысль, что и господину Кумбу, и тот выбрал точно то же место, что и последний, с целью осмотреть владения соседа, причем тем же способом,— так что когда господин Кумб поднял глаза, то на уровне своего лица увидел незнакомый облик, которому укороченные черные бакенбарды придавали истинно сатанинский вид.

Он неожиданности и нахлынувшего на него чувства страха господин Кумб сделал столь резкое движение всем корпусом, что нетвердо стоявший на песке стул покачнулся и господин Кумб так и покотился с него прямо в пыль.

На зов своего товарища тут же прибежали трое друзей, и под их неодобрительные возгласы, гиканье и язвительные шутки господин Кумб удалялся к своему домику.

Итак, война между старым владельцем и теми, кого он именовал членами Общества Вампиров, была объявлена.

Коль скоро господин Кумб был в стороне от мистических движений своей эпохи и никогда не стремился к углублению знаний в области физиологии монстров потустороннего мира, слово «вампир» вызывало в его памяти лишь туманные воспоминания о нескольких сказках, которыми его убаюкивали в детстве; но от этого смутного воспоминания по его телу побежали мурашки.

Господин Кумб подумал было о том, что надо предупредить власти, но никакими точными сведениями он для

этого не располагал, и так устыдился собственной слабости, что решил сначала дождаться предполагаемых им актов насилия, а уж потом прибегнуть к защите закона. И с этого времени стал осуществлять постоянное наблюдение за своими соседями.

К несчастью, складывалось впечатление, что хозяин шале заранее остерегался господина Кумба, поскольку спустя два дня, именно так, как он и обещал, он заставил рабочих по всей длине общей стены высадить ряд прекрасных пирамидальных кипарисов, чем намного превзошел ожидания господина Кумба.

Подобные меры предосторожности лишь удвоили опасения последнего, и он решил расстроить заговор тех, кого заранее считал негодяями; предать гласности преступления, в совершении ими которых он не сомневался; тогда он потихоньку, с помощью нескольких скамеек, соорудил нечто вроде бельведера на своей почти плоской крыше, что дало ему возможность сверху вести наблюдение за домом, уже стоившим ему стольких хлопот.

В течение целой недели ничто не мешало ему, при малейшем шуме с соседской стороны, подниматься на свой наблюдательный пункт; однако он ни разу не заметил ни господина Риуфа, ни его спутников. Была привезена мебель и кухонная утварь, однако не это интересовало господина Кумба. Но когда в пятницу он увидел, как с двухколесной тележки съехал объемистое сооружение, покрытое серым полотнищем, из-под которого торчали два длинных железных рукава, оканчивавшихся рычагами; когда он заметил, с какими предосторожностями сей предмет был перенесен во двор шале, только тогда господин Кумб подумал, что нашел разгадку: Общество Вампиров было обществом фальшивомонетчиков. С тревожно бьющимся сердцем и едва переводя дух, субботним вечером господин Кумб поднялся на наблюдательный пункт. Около восьми часов вечера прибыл господин Риуф со своими тремя спутниками.

Ночь была темной и беззвездной; сквозь наглухо закрытые в шале ставни пробивался бледный свет, освещавший комнату в первом этаже.

Внезапно, да так, что господин Кумб и не слышал шагов на дороге, решетка в саду соседа была с грохотом сдвинута с петель, и в то же мгновение он заметил двух громадных призраков, одетых в черное, скорее скользивших, нежели шедших по песчаной аллее.

Он услышал легкий шелест, напоминавший шорох савана, но темнота скрывала от него формы призраков.

Они бесшумно проникли в шале, по-прежнему оставшемся безмолвным и мрачным.

Господину Кумбу казалось, что его сердце готово выскочить из груди. Капли холодного пота выступали у него на лбу. Он и не сомневался, что станет сейчас зрителем некоего странного спектакля. Дверь шале действительно вновь отворилась, но на сей раз чтобы выпустить тех, кто был в доме.

Двое первых, представших его взору, были одеты в длинные монашеские рясы с капюшонами, — одежда кающихся грешников, тех, кого в Марселе называли членами общества Святой Троицы, в их обязанности входило погребение мертвых.

Один из них держал в руках веревку, конец которой был завязан на шее юной девушки, шедшей за ним. Затем следовали другие кающиеся грешники, одетые, как и двое первых, во все серое.

Девушка была смертельно бледна; ее длинные распущенные волосы ниспадали по плечам и наподобие вуали скрывали грудь, которую льняное платье, бывшее ее единственной одеждой, оставляло обнаженной.

Как только все кающиеся грешники собрались в саду, они приглушенными и нестройными голосами запели псалмы по умершим. Завершив третий круг, они остановились у колодца, возвышавшегося как железная перекладина и напоминавшего своей формой виселицу.

Один из кающихся грешников взобрался на него и, скорчившись, стал похож на огромного паука.

Другой привязал веревку к кольцу.

Девушку подняли и поставили на самый край колодца, и господину Кумбу послышалось, что палач, внемля мольбам своей жертвы, порекомендовал своему спутнику быть готовым к тому, чтобы схватить несчастную за плечи.

Господин Кумб дрожал как лист, его зубы часто стучали, а дыхание походило на хрип. Однако он не мог позволить, чтобы несчастная девушка умерла таким образом. Он чувствовал, что должен вырвать ее из лап этой ужасной смерти и уже не думал об отмщении «вампирам». Он собрал все свои силы и испустил крик, которому попытался придать устрашающий оттенок, но испытываемый им ужас сдавил ему горло.

В этот момент господину Кумбу показалось, что небо разверзлось над его головой настоящим водопадом; он почувствовал себя мокрым с головы до ног; мощный поток воды с силой ударил ему в грудь и опрокинул назад. Прямо на него был направлен брандспойт пожарного насоса, приводимого в движение пятью парами крепких рук.

К счастью, крыша его дома располагалась невысоко над землей, а песок был столь мягок, что падение не причинило господину Кумбу ни малейшей неприятности. Совсем потеряв голову, не отдавая себе отчета в том, что с ним только что произошло, он со всех ног бросился к мэру города Бонвен.

Он нашел главу мэрии в единственном в этом краю кафе, довольного тем, что подчиненные предоставили ему возможность часть времени отдать досугу.

Появление господина Кумба в пропахшем дымом зале кафе, мокрого, в песке, бледного и с блуждающим взглядом, было встречено взрывом гомерического хохота. Но когда он рассказал о только что происшедшем с ним, раскаты смеха только усилились.

Мэру города пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить бывшего старшего грузчика, что он стал жертвой мистификации; что участвовавшие в ней молодые люди, разоблачив его нескромное поведение, просто решили его за это наказать, так что тот не имеет права жаловаться. Напрасно мэр советовал господину Кумбу посмотреть на эту шутку с юмором, он так и не смог убедить последнего.

Вне себя от ярости господин Кумб вышел из кафе и вернулся к себе,— но то ли обуревавшие его досада и гнев мешали ему даже на мгновение обрести покой, то ли от терзавших его переживаний, больше господин Кумб в эту ночь так и не сомкнул глаз.

А господин Риуф вместе со своими друзьями устроили этой ночью настоящий шабаш. До господина Кумба доносились оглушительный стук посуды, грохот разбиваемых бутылок и взрывы какого-то нечеловеческого гогота. Двадцать голосов одновременно орали двадцать песен, меж которыми если и было что-то общее, так только то, что позаимствованы они были из морского репертуара, причем самого непристойного по содержанию, а неизменным музыкальным аккомпанементом им послужил грохот ударяемых друг о друга лопат, чанов и кастрюль.

Наконец, наступил день, и ярость господина Кумба переросла в нервное возбуждение. Но и день не улучшил его состояния: казалось, что проклятые соседи и не собирались сделать передышку, и если гвалт стал меньше, то нельзя сказать, что он прекратился вовсе; смолкло пение, но крики и смех раздавались с прежней силой.

Кроме того, господину Кумбу, прислонившемуся к оконной раме, казалось, что оставленный на балконе соседского дома караульный выслеживал момент, когда он выйдет из дома. Но, поскольку господин Кумб не хотел вновь подвергать себя насмешкам со стороны членов этой банды, он хотя и запланировал потрясающую поездку на рыбалку в Кари, в результате провел взаперти весь день, не смея ни подышать воздухом у открытой двери, ни даже приоткрыть окно.

Вечером у соседей вновь началась оргия, и господин Кумб, как и накануне, провел бессонную ночь. Наконец до него дошел смысл слов, услышанных из уст мэра города Бонвен; он понял, что имел дело с бандой веселых прожигателей жизни, желавших лишь одного — посмеяться над ним. Он окончательно осознал это тогда, когда, стоя за занавеской и подглядывая за группой прекрасных гризеток, с насмешливым видом рассматривавших его домик, он узнал ту «несчастную» девушку, несостоявшаяся накануне казнь которой вызвала у него столь сильные переживания.

Но эти молодые люди должны были бы быть преемниками Гаспара де Бресса или де Мандрена, чтобы господин Кумб не чувствовал к ним и малой доли той ненависти, какую он испытывал в тот момент.

Мы уже говорили, каким абсолютно полным было счастье господина Кумба, и именно это избавляет нас от необходимости описывать его отчаяние, когда он увидел свое счастье низвергнутым с такой высоты. Как правило, человек это сразу понимает. И хождения на протяжении целого дня взад и вперед по своему домику лишь удвоили его возбуждение. Всю ночь он вынашивал замыслы жестокой мести и, побывав в Марселе, обогнал хозяина шале, который должен был вернуться в город лишь в понедельник, согласно обычаю, неизменно существующему у тех марсельцев, которые еще не окончательно решили обустроить свой домашний очаг в сельской местности.

Вечером господин Кумб вернулся к себе, вооружившись отличным ружьем, купленным им у Зауера, а на

следующий день судебный исполнитель вручил господину Риуфу распоряжение, где говорилось о требовании отодвинуть от стен участка его соседа кипарисы, посаженные на непредусмотренном законом расстоянии. Таков был первый акт враждебности, продиктованный гневом господина Кумба.

Право было на его стороне, он выиграл этот процесс. Однако адвокат его противника любезно уведомил господина Кумба, что его клиент обратился к нему по данному делу, и ими было решено следующее: как бы далеко ни зашла судебная процедура и как бы ни был прав господин Кумб в проявлении настойчивости, высаженные кипарисы были такими старыми, что общество по охране памятников, несомненно, возьмет их под свою защиту.

Пока дело слушалось в суде, обитатели и завсегда-тай шале устроили своему соседу настоящую словесную войну.

Все публичные оскорбления в данном случае были пущены в ход. Каждый божий день господин Риуф своими новыми выходками наносил еще больший моральный ущерб господину Кумбу, и так уязвленному до глубины души и жившему в состоянии постоянного раздражения; и тогда последний во всеуслышание объявил, что ни на йоту не уступит в этой борьбе и будет стоять насмерть, защищая свой домашний очаг. Чтоб ясно дать понять им свои намерения, он подчеркнул начал упражняться в стрельбе из огнестрельного оружия, для чего устроился в своей комнате, как на посту, и с терпением дикаря стал выслеживать птичек, прилетавших на его приманку, установленную им посреди своего сада.

Но, поскольку птиц чаще всего не было, он изрешетил дробью ветки садовых деревьев. Шум раздававшихся выстрелов не приводил его преследователей в ужас, как предполагал господин Кумб, но нередко, когда какому-нибудь дерзкому воробью удавалось, удирая во всю прыть, спастись от выстрелов, со стороны соседнего дома раздавался мощнейший свист с единственной целью — оскорбить охотника и осмеять его неловкость.

Однажды утром господину Кумбу чуть было не удалось взять оглушительный реванш: он встал на рассвете и, не одеваясь, побежал осматривать свою приманку.

Он заметил нечто огромное по размерам, выделявшееся черным пятном на фоне слабо расцветенного утрен-

него неба, и господин Кумб, весь трепеща от ослепительной надежды, схватил свое ружье.

— Что за птица такая огромная? — промолвил он. — Может быть, ястреб или сова, или даже фазан?

Но, кто бы это ни был, господин Кумб заранее предвкушал свой триумф и замешательство в стане противника.

Он осторожно приоткрыл окно, встал на колени, облокотился на оконную раму, долго целился и, наконец, выстрелил...

О счастье! — сразу после этого он услышал глухой звук упавшего на землю тяжелого тела. Опьянев от радости и забыв о том, что был почти раздет, он ринулся вниз по лестнице и подбежал к дереву. На земле лежала великолепная сорока, и господин Кумб устремился к ней.

Но это было чучело сороки, к одной из лапок которой была прикреплена табличка с фамилией чучельника и датой изготовления чучела. Дата была двухгодичной давности, а чучельником — сам господин Риуф. Впрочем, для демонстрации еще большей наглядности своего участия в подготовке такой развязки охотничьих занятий господина Кумба все его соседи одновременно появились у всех дверей шале, аплодируя и громко крича «браво».

Господин Кумб хотел было разрядить свое ружье последним выстрелом по банде, но присущая ему осторожность взяла верх над горячностью его характера и, совершенно подавленный происшедшим, он вернулся к себе домой.

Произошло все это воскресным утром, но во избежание новых оскорблений господин Кумб на весь день закрылся у себя в доме.

Далеко позади остались те времена, когда сердце его занимало лишь удовлетворение собственной гордыни, считавшей желания своего хозяина совершенными; страшная буря, но не из тех, что периодически устраивал мистраль, промчались по его жизни; его прозаические удовольствия и столь мирные занятия потеряли всякую привлекательность; и в то же время та высочайшая вера в свои силы, которой он некогда владел, была им потеряна; он чувствовал себя как какой-нибудь тунец, трепыхавшийся на крючке его удочки, в то время как сердце рыбы уже не билось; он так низко пал в собственных глазах, что у него уже не было мужества воспеть славу

своему труду за великолепный урожай, полученный им на участке в минувшем году.

Никто не в силах определить способности человеческого сердца; порой достаточно малости, чтобы наполнить его радостью, а порой ему необходимо очень много для ощущения довольства и счастья, и, хотя до сих пор сердце господина Кумба было в достаточной мере заполнено ничтожными удовольствиями, невинными развлечениями и мелкой суетой, ныне оно было опустошенным, и мало-помалу наполнилось ненавистью к зачинщикам полной перемены его жизни.

И ненависть господина Кумба возрастала тем сильнее, чем скорее чувствовала собственное бессилие, но вплоть до последнего момента она не переходила определенных границ. Как нередко поступает воюющая держава, господин Кумб приложил все силы к тому, чтобы скрыть поражение от своего собственного народа: он сделал так, чтобы ни в коем случае не посвящать Милетту в причину своего столь дурного расположения духа; однако он пришел в отчаяние, и досада захлестнула его так сильно, что стала прорываться наружу в виде яростных восклицаний.

У Милетты состояние ее господина и повелителя вызвало смутное беспокойство, но она не догадывалась о его истинной причине. Опасаясь, как бы не помутился рассудок ее хозяина, она предложила ему свою помощь, но он отверг ее, и Милетта ретировалась на кухню.

Оставшись в одиночестве, господин Кумб отдался во власть мучительных наслаждений воображаемой мести. В мечтах он видел себя королем, который заставит учинить короткую расправу над соседями и сровнять это безнравственное шале с землей; пойдя затем по новому кругу идей, он мысленно стал Робинзоном и очутился на необитаемом острове вместе со своим любимым фиговым деревом, а также с садом, домом и Милеттой, ставшей Пятницей. Наконец, он дошел в своем воображении до того, что стал проклинать свою пышно разросшуюся грядку с роскошным горохом, которая, вне всякого сомнения, привлекла внимание его несосного соседа. И только такое неоспоримое обоснование он смог дать своему душевному смятению.

Во время своих мечтаний он вдруг услышал какой-то тихий разговор на кухне. Он осторожно приоткрыл дверь, ведущую туда, и определенно решил строго отчи-

тать Милетту в том случае, если она позволила себе принять кого-то без его разрешения.

На одном из стульев, рядом с небольшим креслом, в котором сидела Милетта, господин Кумб заметил Мариуса, бережно державшего руки своей матери и нежно беседовавшего с ней. Это был выходной день, и господин Кумб сам сделал возможными еженедельные визиты Мариуса. И не было никакого повода излить на них хотя бы часть той желчи, что так угнетала его.

Но, когда господин Кумб понял это, у него вдруг родилась блестящая мысль.

Он раскрыл свои объятия молодому человеку, почтительно сделавшему шаг ему навстречу, прижал его к своей груди, и улыбка осветила его лицо.

Глава VII,

В КОТОРОЙ АВТОР ВЫНУЖДЕН, К БОЛЬШОМУ ОГОРЧЕНИЮ, ПРИЗНАТЬСЯ ЧИТАТЕЛЯМ В ЗАИМСТВОВАНИИ У САМОГО СТАРИКА КОРНЕЛЯ

...Но улыбка лишь на мгновение показалась на устах господина Кумба. Затем губы его еще плотнее сжались, и выражение лица вновь стало серьезным и озабоченным.

Милетту глубоко тронула та нежность, с какой хозяин домика встретил Мариуса. Последний был взволнован не меньше, чем его мать.

— Что же такое с вами? — спросил Мариус.

Молчание господина Кумба было весьма красноречивым; он часто-часто заморгал, одновременно производя веками горизонтальные и вертикальные движения, пытаясь таким образом выдавить слезу из глаз.

Если дипломатия считается наукой, то это, без сомнения, единственная, коей владеют без всякого предварительного обучения. Бывший грузчик интуитивно понял, что надо будет потребовать от своих подданных жертвы, и в надежде на поддержку и заступничество ему прежде всего предстоит всколыхнуть их души; его самолюбие безропотно согласилось принять унижительные условия. Он повалился на стул так, как это сделал бы только человек в полном упадке сил.

— Дети мои,— вымолвил он,— к чему мне рассказывать вам, что со мной, когда вы не сможете облегчить мои страдания? Я могу вам сказать только одно: если так будет продолжаться, то очень скоро в этом доме вы увидите кающихся грешников.

— Ах, Боже мой,— с мокрым от слез лицом воскликнула Милетта так, как будто уже увидела труп господина Кумба во время церемонии погребения.

— Да нет, это невозможно,— в свою очередь сказал Мариус, потрясенный как горем своей матери, так и этим страшным пророчеством человека, которого он уважал и любил как родного отца.

— Дети мои,— продолжал господин Кумб,— столь опечалена душа моя, что ясно вижу — недалек тот день, когда я должен буду получить по своему счету в этом мире и когда мне положено прийти к тому великому хозяину, что находится на небесах...

— Что же является причиной этой печали? — спросил Мариус, глаза которого блестели от слез, а губы дрожали от волнения.

— ...Но,— добавил господин Кумб, избегая ответа на последнюю реплику,— прежде чем меня выбросят из этого мира, я хочу оставить вам свои последние распоряжения.

Милетта зарыдала с новой силой и заглушила слова своего хозяина. Но голос Мариуса возвысился над рыданиями его матери и последними словами господина Кумба; сын Милетты устремился к нему навстречу, проявляя такое чувство преданности, какое у жителей юга обычно столь сильно, словно чувство гнева, и сказал ему:

— Отец мой, у вас нет необходимости давать мне какие бы то ни было наставления; если они касаются того, чтобы быть честным, трудолюбивым и работающим, то на протяжении долгого времени для меня было достаточно вашего примера, чтобы понять: быть таковым является обязанностью порядочного человека. Что касается моей любви к матери, то, будь она даже святой, посланной Господом Богом, сердце мое не сможет подарить ей любви больше той, какую я ей дарю. Если речь идет о сохранении доброй памяти о вас, то легко предположить, что я сберегу по отношению к вам огромное чувство признательности. О ком же я буду бережно сохранять память, кого, благодаря моей матери, я буду чтить, если не того, кто столько заботился обо мне в детстве? А до на-

шего сведения следует довести не только причины вашей скорби, о коих мы не ведаем, но и основания ваших, ничем не оправданных, мрачных предчувствий. Почему вы не рассчитываете в большей степени на нас, отец? И если вас удручает какая-то неприятность, будьте так добры — поведайте нам о ней. Если понадобится ползти на коленях в Сент-Бом, чтобы молить Господа Бога о вашем здоровье, то мы — моя мать и я — готовы на это.

Слушая Мариуса, господин Кумб растрогался, что случилось с ним довольно редко. Сын Милетты начал одерживать победу над предубеждениями господина Кумба, существовавшими у него в отношении красивого юноши. Но не благородство выражаемых Мариусом чувств столь сильно тронуло сердце господина Кумба — едва ли тот поверил в него полностью — но вот во что он действительно поверил, так это в силу слов молодого человека и гневную интонацию, с какой они были произнесены, ведь бывший грузчик, никогда ранее не слышавший речей Мариуса, предчувствовал, что найдет в нем того, кого искал, а именно Сиды Кампеадора. На мгновение ему сделалось немного стыдно от сознания того, что столь вдохновенная преданность проявилась по такому ничтожному поводу; но его полная ненависти антипатия к соседу была намного сильнее этого едва заметного движения рассудка, и во второй раз за этот день он сгрел Мариуса в охапку и прижал к своей груди.

— Видишь ли, сын,— сказал он, освободив одну из своих рук и подав ее Милетте, покрывшей ее тут же слезами и поцелуями,— этот домик с некоторых пор стал для меня адом; я бы хотел покинуть его и в то же время я чувствую, что умру, если больше не увижу его.

— Но отчего это так? — перебила его Милетта.— Разве в этом году у вас не было всего, чего только можно пожелать? Разве добрая длань самого Господа Бога не благословила все, что было посеяно вами в эту землю? Почему же в вас произошла такая перемена? Ведь всего восемь месяцев тому назад я видела вас таким счастливым, будто ничто не могло уже заставить вас покинуть сие уединенное место ради того, чтобы вернуться в город?

Спокойным, но торжественным жестом руки господин Кумб указал на соседнее шале, чья черепичная крыша виднелась издали.

Милетта тяжело вздохнула; сопоставляя некоторые обстоятельства, она догадалась о мотивах дурного распо-

ложения духа ее хозяина; теперь ей стали более понятны его робкие охотничьи попытки, заставлявшие его проводить столько времени в ожидании прилета птиц. Мариус же, бывший совершенно не в курсе всех этих обстоятельств, с неподдельным изумлением рассматривал господина Кумба.

— Да,— продолжал господин Кумб,— именно в этом секрет моей печали, именно здесь кроется причина моего отвращения к жизни. Кстати, Милетта, я ни в чем не признавался тебе, но как только я в первый раз увидел рабочих, копающих в песке траншею, сразу какое-то тайное предчувствие сжало мне сердце, однако я тогда еще не мог предвидеть, что неистовая злоба моих преследователей однажды превратится в оскорбления.

— Так вас оскорбили?! — воскликнул Мариус, кипя от негодования.— Они забыли, что обязаны относиться с уважением к человеку вашего возраста!

Бывшему грузчику не удалось умело скрыть то приятное ощущение, какое вызвало у него страстное желание сына Милетты взять на себя его защиту; Милетта сразу же подметила радостное волнение, пробежавшее по лицу господина Кумба; она предчувствовала, каким будет его план, и, по-настоящему встревоженная, с поистине материнской заботой постаралась успокоить своего вспыльчивого хозяина.

Она только подлила масла в огонь — чтобы довести факты до их подлинных размеров, непременно надо было отнять у любимого конька господина Кумба седло и уздечку, позволявшие последнему его оседлать,— надо было посягнуть на хозяйские идеи властителя и предельно усилить его столь чувствительную спесь, подвергнув сомнению смысл самого его существования. Милетте удалось обратить в настоящую ярость то печальное состояние духа, которое владело хозяином с самого начала всей этой сцены.

И, как это часто случается с людьми, обладающими флегматичным темпераментом, господин Кумб, весь отдавшись чувству гнева, был уже не способен обуздать его. Охваченный яростью из-за попытки противодействия там, где он меньше всего ожидал его встретить, господин Кумб проявил себя по отношению к бедной Милетте, как черствый и жестокий человек,— он дошел до того, что упомянул о ее неблагодарности за те услуги, какими он ее щедро одарил.

Мариус слушал господина Кумба, опустив голову; он страдал безмерно, видя, как незаслуженно обижают женщину, которую он обожал больше своей жизни; он судорожно вздрагивал всем телом, и крупные горячие слезы текли по его смуглым щекам; однако он испытывал по отношению к господину Кумбу такое глубокое чувство уважения, что не решился даже открыть рот, чтобы подать свой голос в ее защиту, и удовольствовался лишь тем, что смотрел на говорившего умоляющим взором.

Когда господин Кумб вышел из кухни, где оставил подавленную и жалобно стонущую Милетту, Мариус, как только мог, утешил свою мать и догнал хозяина домика в саду, где тот, пользуясь уже начинавшими сгущаться вечерними сумерками, гулял и пытался отделаться от сожалений, вызванных провалом предпринятой им попытки.

— Отец,— сказал ему Мариус,— надо извинить мою мать: она женщина и, естественно, испытывает чувство страха; я же мужчина и я в вашем распоряжении.

— Что ты такое говоришь?— спросил господин Кумб, совершенно не ожидавший такого крутого поворота фортуны.

— С того самого момента, как я начал понимать значение слов, моя мать, указывая на вас, говорила мне: «Вот тот, кому я обязана жизнью, дитя мое, и каждый день я буду просить Господа Бога — до тех пор, пока он не позволит тебе сделать для хозяина то же, что он сделал когда-то для меня. Но он не удовольствовался только спасением моей жизни, он не бросил меня в нужде. И да будет небо благосклонно к нам и позволит однажды засвидетельствовать хозяину нашу признательность». Я был совсем маленьким, когда она говорила так со мной, отец, однако слова эти до сих пор не изгладились из моей памяти, и сегодня я хочу доказать вам, что готов сдерживать обещание, которое она попросила дать.

Голос юноши был твердым, решительным и уверенным, однако господин Кумб подумал или хотел подумать о бахвальстве молодого человека.

— Нет,— сказал он с новым оттенком горечи в голосе,— только что твоя мать была права, я ошибаюсь в том, что требую уважения и к моей персоне, и к моей собственности; ошибаюсь, что позволил подвергнуть себя публичным оскорблениям и столь удручающим меня унижениям. Зачем же требовать уважения, будучи слишком

старым, чтобы командовать? Разве не является простым и естественным тот факт, что молодые люди позволяют себе делать из бедного старика игрушку в своих руках, и не бессмысленно ли для этого человека заставлять их прислушаться к его сетованиям?

Господин Кумб совершенно упустил из виду, что сам же сыграл роль провокатсра в упомянутых им событиях.

— Именно вы обеспечили мое детство,— с возрастающей энергией возвысил голос Мариус.— Теперь настала моя очередь обеспечить вашу старость. Тот, кто трогает вас, трогает и меня; кто оскорбляет вас, оскорбляет и меня. Завтра я увижусь с господином Риуфом.

Больше уже господин Кумб не мог позволить себе сомневаться. Он нашел борца и, несмотря на молодость последнего, его отвага вполне могла заставить господина Кумба надеяться на победу над всеми его врагами.

И в третий раз за этот день он обнял Мариуса. Никогда еще он не проявлял столько нежности по отношению к сыну Милетты, и впервые за все время он действительно нуждался в нем и в его поддержке.

— Поклянитесь мне только,— сказал молодой человек, освобождаясь от его объятий,— больше никогда не быть таким жестоким по отношению к моей матери, ведь, кроме меня, некому будет ее утешить.

Глава VIII,

ИЗ КОТОРОЙ ВИДНО, КАК ГОСПОДИН КУМБ УВИДЕЛ ПРОВАЛ СВОЕГО ПЛАНА МСТИ ИЗ-ЗА ВМЕШАТЕЛЬСТВА ОДНОГО СВИДЕТЕЛЯ, НАНЕСШЕГО УДАР В САМОЕ СЕДЦЕ БОРЦУ, ВЫБРАННОМУ ИМ

Апартаменты и служебные помещения соседа господина Кумба располагались на улице Паради, то есть на одной из крупных артерий Марселя, выходящих на всем известную улицу Канебьер.

Мариусу без труда удалось узнать адрес личного врага его крестного отца — эдакого дон Гормаса, которого ему необходимо было наказать за нанесенные господину Кумбу оскорбления. Он очутился на одной из тех темных аллей, которые обыкновенно встречаются как в старом, так и в новом Марселе, поднялся по узкой лестнице и остановился у входа на второй этаж, где, как ему сказа-

ли, он должен был найти того, кого искал. И действительно, на дверях, открывавшихся по левую руку, он заметил две медные дощечки, прибитые к деревянной основе,— на одной из них была выгравирована следующая надпись: «Жан Риуф и его сестра, комиссионеры и судовладельцы», а на другой: «Кантора и касса». Повернув ручку той, на которой была прикреплена первая табличка, он вошел.

Надо сказать, что южане с большим трудом воспринимают ссоры, происходящие без шума; им всегда перед началом боя необходимо, чтобы трубач хотя бы немного возвестил о ней. Мариус был уроженцем этого края и, несмотря на свою молодость, усвоил все присущие южанам привычки. В течение целой ночи и всей поездки из Монредона в Марсель он тщательно работал над поднятием своего морального духа и так в этом преуспел, что ни одному хвастуну просто-напросто было не к чему придраться: ни к его внешнему виду, ни к выражению лица, ни к костюму: редингот его был наглухо застегнут, волосы были слегка зачесаны на одну сторону, брови сдвинуты, а ноздри его раздувались, губы дрожали именно так, как подобает поборнику справедливости.

— Господин Жан Риуф!— воскликнул он весьма вызывающим голосом и пересек порог двери, не снимая шляпы.

Один из двоих служащих, работавших сидя за железными решетчатыми окошечками, оторвал свой нос от пачки консигнаций, которую он в тот момент разбирал. Все в пришедшем: наружность, интонация голоса, поведение вызвали его удивление, но он, несомненно, тут же подумал, что его время слишком драгоценно, чтобы хотя бы частицу его уделить визитеру, обращая его внимание на необходимость соблюдения приличий и элементарной вежливости при входе в незнакомое помещение; вот почему, бросив из-под кончика пера взгляд на Мариуса, он, не отрываясь от работы, подал ему знак не шуметь и подождать.

Последний так страстно желал довести до благополучного конца распри господина Кумба, что ни на секунду не хотел позволить приостановить ход дела. Мариус прикусил губу,— ведь как бы он ни был готов к тому, чтобы обидеться на сохранявшего полное молчание служащего своего будущего противника, он глубоко надеялся на получение удовлетворения от вышеупомянутого, а

свой собственный гнев скорее приписывал волнению крови, нежели нетерпению.

Чтобы чем-то занять себя, Мариус осмотрелся: апартаменты, в которых он очутился, странным образом контрастировали с той сценой, какую он представлял себе театром предстоящих действий. С тех пор как он начал работать, за 17 месяцев он увидел много самых разных контор, но ни разу за все время не встретил такой, где бы, как в этой, безукоризненный порядок был придан каждой вещи, где бы чистота проявлялась столь вызывающим образом, где бы отменный вкус обнаруживался во всем, даже в аккуратно рассортированных каталогах шрифтов или шаблонов, заполнявших собою застекленные шкафы, даже в бумажном хламе, наполнявшем собою этажерки с отделениями для папок. Благодаря особому цвету штор здесь царили умиротворение и полумрак, а молчаливое усердие обоих служащих придавало этой комнате сходство с храмом труда и мира, в котором Мариусу не без усилий удавалось поддерживать в себе тот жар экзальтации, которого он достиг, одновременно возбуждая как кровь в собственных жилах, так и свою почтительную любовь к господину Кумбу.

И вот, словно для того, чтобы удачно разрешить дело, которое с такой ответственностью возложил на свои плечи Мариус, дверь кабинета открылась и оттуда появился некий господин. Малообщительный служащий с помощью своего пера, обыкновенно служившего ему для связи с другими людьми, указал Мариусу, что тот должен войти туда, откуда только что вышел господин.

Сняв шляпу, молодой человек вновь придал своему лицу то выражение, какое было смягчил из-за обнаруженного в комнате, и быстро прошел в кабинет. Он сделал лишь шаг вперед, чтобы пересечь порог двери, но раньше, чем успел оглядеть кабинет, слегка отпрянул назад; он поднес было руку к голове, чтоб со всей поспешностью поздороваться, как его отлично причесанная голова, не слушаясь его собственных рук, наклонилась вниз, к циновкам из Калькутты, устилавшим паркет...

Вместо господина Жана Риуфа, вместо заносчивого молодого человека, к встрече с которым Мариус столь серьезно подговаривался, перед ним стояла очаровательная молодая девушка.

Ей, по-видимому, было года двадцать четыре, возможно — двадцать пять; она была высокого роста, худоща-

вая и гибкая; ее волосы отливали тем теплым золотистым цветом, который с такой любовью воспроизвели на своих полотнах художники Венеции,— они ниспадали такой пышной волной, что их вряд ли можно было удерживать даже обеими руками; рыжеватые отблески волос, прекрасные брови и иссиня-черные сияющие глаза, пурпурно-красные губы как-то особенно оттеняли белизну ее кожи.

Однако совершенно очевидно, что ни одна черточка ее внешности не была по достоинству оценена Мариусом, тем более им не была замечена скромность костюма, столь резко контрастировавшего с явлением такой красоты; он не воспринял ни нежной улыбки, ни выражения доброжелательности на ее лице, ни того ободряющего жеста, каким она любезно приглашала его присесть; он оказался во власти того сильного эмоционального потрясения, которое определенно должен испытывать какой-нибудь мелкий корсар, задумавший преследовать мирное торговое судно, в то время как последнее вдруг молниеносно опускает свои знаки отличия и обнажает потрясающие ряды батарей. Мариус мог уже быть смелым юношей, но являлся еще слишком молодым, чтоб быть не из робкого десятка. Представшая пред ним особа прекрасного пола показалась ему гораздо более опасной по сравнению с тем противником, какого он искал,— опасной для того, чтобы смело выступить против нее. И он неловко и принужденно скомкал свою шляпу, пробормотал несколько слов и уже чуть было не убежал, если бы чистый голос молодой девушки, звук которого проник ему в самое сердце, не напомнил о цели визита.

— Месье, я слышала, как вы только что спрашивали о господине Жане Риуфе,— сказала она Мариусу.

Последний густо покраснел, вспомнив, с какой угрожающей интонацией в голосе он говорил в бюро, отделенном от кабинета лишь тонкой перегородкой.

Мариус молча раскланялся.

— Месье, в данный момент его нет,— снова сказала девушка.

— В таком случае, мадемуазель, прошу меня извинить, я приду еще раз, вернее, приеду еще раз.

— Месье, должна вам заметить, что вы очень рискуете совершить не одну бесполезную поездку сюда. Господин Риуф редко бывает здесь, но если вы пожелаете передать через меня суть дела, я скорее всего смогла бы

дать вам удовлетворительный ответ, поскольку именно я веду все дела в доме.

— Мадемуазель,— возразил Мариус, чье замешательство лишь усилилось из-за самоуверенного и непринужденного тона молодой девушки,— мадемуазель, поскольку данный вопрос является сугубо личным, мне бы непременно хотелось самому побеседовать с господином Риуфом.

— Весьма вероятно, что это в равной степени касается и меня, месье. Простите мне мою настойчивость, она продиктована исключительно моим желанием избавить господина Риуфа от неприятностей, хлопот или еще чего похуже. Он, несомненно, имеет определенный долг перед вами или вашими родителями,— продолжала девушка с несколько погрузневшим выражением лица,— вы вполне можете доверять мне, месье; и если ваше поручение имеет законное основание, в чем лично я не сомневаюсь, я сделаю все так, чтоб вы остались довольны.

Мариус прекрасно понимал, что обязан ни в коем случае не раскрывать причину своего визита этой девушке, ведь, если помнить написанное на табличке входной двери, она должна приходиться сестрой врагу господина Кумба; но он столь простодушно отдался во власть счастливых ощущений,— видя и слыша ее, он забыл о главном условии сохранения тайны, говорившем о необходимости немедленно удалиться, чтоб не раскрыть ее; вместо этого он продолжал стоять перед девушкой, словно онемел от восторга.

И пока мадемуазель Риуф в ожидании его ответа молчала, Мариус на мгновение пришел в замешательство, а затем, почти не владея собой, ответил с горячностью:

— Мадемуазель, долг, о котором я собираюсь заявить господину Риуфу, не относится к категории долгов, оплачиваемых через кассу.

Нет более часто встречающегося явления, чем несоответствие между тем, что думаешь, и тем, что говоришь,— испытывая последний прилив воинственного жара, передавшегося ему накануне от господина Кумба, Мариус намеренно придал своей фразе цветистую окраску. И прежде, чем успел договорить ее до конца, он уже горько сожалел об этом. Девушка побледнела как смерть, ее красивые веки стали медленно опускаться на глаза и на мгновение почти совсем закрыли их, как буд-

то для того, чтоб скрыть их выражение. Она поднялась и, опираясь одной рукой о край стола и изо всех сил стараясь не выдать своего волнения, произнесла:

— Месье, что бы вы ни собирались потребовать от господина Риуфа, вы заранее можете быть уверены в том, что он ответит на это с честью. Будьте так любезны указать мне свое имя и время, когда вы смогли бы оказать любезность и еще раз прийти сюда, а не тратить время на бесполезные поездки.

Мариус стоял как вкопанный. Страдание, которое он почувствовал в словах девушки, тронуло его, однако гораздо более сильное воздействие на него оказывало то гордое и отважное возбуждение, в котором он все еще пребывал.

— Мадемуазель, — ответил он на это смиренно-почтительно, — не будете ли вы так любезны передать господину Риуфу, что я приходил от имени господина Кумба и что я приду снова завтра.

— От имени господина Кумба? Того самого господина Кумба, что проживает в Монредоне в домике рядом с шале, выстроенном там моим братом? — воскликнула мадемуазель Риуф, направляясь к двери, остававшейся до сих пор открытой, и быстро закрывая ее.

— Вы абсолютно правы, мадемуазель, — ответил Мариус, — я представляю сейчас здесь именно интересы господина Кумба.

— Вы являетесь его сыном, не так ли?

Мариус молча кивнул. Его собеседница жестом руки пригласила его сесть и продолжила:

— Вы не могли не заметить только что, месье, хоть я и женщина, я смогла бы, учитывая сложность и серьезность обстоятельств, обуздать свое сестринское чувство, побороть слабость, присущую нашему полу и одержать верх над покорностью судьбе, когда речь идет о таком деле, в котором жизнь двух великодушных людей вверяется воле случая. Но ситуация совершенно иного рода. Из услышанного мною рассказа обо всем происшедшем между вашим отцом и моим братом я сделала вывод, что вся вина должна быть отнесена на счет последнего. И я не дожидалась сегодняшнего дня, чтоб высказать ему свое негативное отношение. Вы пришли, чтобы потребовать сатисфакции за его поведение, не так ли?

Мариус колебался с ответом.

— Отвечайте, месье, я вас умоляю дать ответ!

— Именно так, мадемуазель,— пробормотал молодой человек.

— В таком случае, месье, я прошу вас оказать мне честь и взять меня в свидетели.

— Мадемуазель,— возразил Мариус, ошеломленный не столько предложением девушки, сколько всем ее мужественным и решительным видом,— каким бы лестным для меня ни было ваше предложение, в нем, однако, в случае моего согласия, содержится некоторое неудобство. Ваш брат не преминет предположить, что мое намерение получить сатисфакцию за все оскорбления, которым с его стороны на протяжении двух месяцев подвергался мой отец, не было серьезным. Извините, но увольте меня, вашего предложения я принять не могу.

— Я сделаю так, что ваши подозрения не оправдаются, месье, и я очень прошу вас оказать мне одну важную услугу.

— Мадемуазель, в таком случае соблаговолите объяснить мне причины, побуждающие вас столь настойчиво обращаться ко мне с этой просьбой.

— Их несложно понять: мой брат виноват, и об этом я знаю; ничто не может извинить его за те оскорбительные шутки, которые он позволил себе по отношению к господину Кумбу, но я очень сомневаюсь в том, что свою вину ему следует искупить только собственной кровью; более того, я полагаю, что с его стороны будет вполне достаточно выражения самых искренних сожалений и извинений по поводу случившегося. И если явится некто и потребует их от него, то какими бы почтительными они ни были, будучи предназначены человеку возраста и склада характера господина Кумба, брат ни за что не захочет именно так разрешить данный вопрос; перед лицом же своей сестры брату нечего стыдиться, и я думаю, что, имея на него достаточно влияния, я добьюсь его добровольного согласия принести в жертву никому не нужное самолюбие.

— Мне бы не хотелось вам отказывать, мадемуазель,— сказал Мариус, с большим трудом противясь настойчивым просьбам девушки.— Но тогда подумайте над тем, что вина за эту ссору целиком лежит на вашем брате, и я сожалею, что вынужден вновь напомнить вам об этом. И вовсе не мне первому принадлежит право сделать жест к получению удовлетворения таким способом, ведь, кажется, складывается впечатление, что я испугался?

То, с каким волнением Мариус произнес последние слова, вызвало улыбку мадемуазель Риуф.

— Нет, месье,— отвечала она.— Коль скоро мой брат ничего не ведает о ваших ужасных претензиях, он от меня узнает, сколько труда мне стоило умолить вас решиться предоставить мне возможность мирно покончить с этим делом. Кстати, месье, по-моему, вы еще так молоды, что наверняка успеете доказать тем, кто позволил себе в этом усомниться, что твердость вашего характера отнюдь не противоречит дерзости вашего взгляда.

Мариус вновь покраснел, услышав такой комплимент, лишний раз подтвердивший, что если он, не скрывая своего интереса, с любопытством изучал красивую внешность девушки, то и она не оставалась в долгу, бросая на него красноречивые взгляды, оценивающие внешние данные ее собеседника.

— Мадемуазель!..— вновь заговорил он, явно колеблясь с окончательным решением.

— Итак, месье,— с живостью прервала его мадемуазель Риуф,— доверие за доверие. Я знакома с вами лишь несколько минут, но, учитывая серьезность ситуации, в которой мы с вами находимся, а также просьбу, с которой я к вам обратилась, полагаю, что только выиграю, если вы меня лучше узнаете. Мне непременно хотелось бы объяснить вам, почему вы видите меня в бюро с пером в руке, посреди всех этих образцов хлопка и сахара, уткнувшуюся в гроссбух, вместо того чтобы у себя в салоне быть женщиной в подлинном смысле этого слова. Мой брат моложе меня на год; когда мы остались без родителей, ему было двадцать лет, мне — двадцать один, и мы с ним оказались одни во главе дома, требовавшего от нас неустанной заботы, чтобы суметь сохранить то богатство, которое до тех пор только текло в него. К сожалению, во время продолжительной болезни нашего отца присмотр за моим братом, обязательно осуществляемый по отношению к человеку его возраста, был несколько ослаблен, и, когда мы осиротели, брат уже приобрел вкус к независимой, полной удовольствий жизни, которую столь трудно сочетать с обязанностями коммерсанта. Я пыталась несколько раз делать ему внушения, но я люблю его, месье, и потому — какими бы ни были ошибки, за которые я его упрекала, мне не удавалось придать моему лицу выражение строгости, которое подобало случаю. И настало время, когда дела наши существенно

ухудшились. Я уже смутно предвидела пропасть, разверзшуюся под ногами несчастного брата, как вдруг благодаря Господу Богу я нашла верное решение, отказалась от жизни в высшем свете и, принеся свое личное счастье в жертву, попробовала, поскольку авторитета мне в моем возрасте явно не хватало, излить на Жана свою самую нежную сестринскую любовь, которой ему недоставало из-за моих обязанностей по ведению дома. Любой ценой требовалось сохранить наше богатство, сделавшееся столь необходимым для удовлетворения самых праздных вкусов моего брата, и я посвятила себя решению этой задачи и встала во главе нашего дома. Не буду рассказывать вам о достигнутых мною на этом поприще результатах, месье, хотя сама я ими немного гордилась, но скажу вам, что мне удалось внушить моему брату доверие, а это позволило мне читать в его сердце, как в своем собственном. Его грехи, я полагаю, лишь следствие избытка юношеского пыла; он уже прислушивается к моим советам и очень скоро, я надеюсь, последует им. Как я вам только что сообщила, от него я услышала рассказ о происшедшем в Монредоне, и мои упреки, высказанные ему, опередили ваши жалобы; но мы были не одни, и я не могла на глазах у служащих отругать его за столь непристойное поведение, что я очень скоро сделаю. Это все-таки мой брат, месье, он мне больше, чем брат, он — мой ребенок. Вообразите себе мои страдания при мысли о том, какие ужасные последствия имели бы его ребяческие сумасбродства; предоставьте мне возможность отвлечь его мысли от этого, я об этом вас еще раз умоляю... Пусть ваш многоуважаемый отец объявит о том, что удовлетворен, ведь это именно то, чего вы так желаете? Не так ли? И пусть слово господина Риуфа станет для него гарантией на будущее от этих омерзительных шуток, ведь это все, чего вы хотите? Я обещаю вам все это, месье; но именем вашей матери, во имя самого дорогого в вашей жизни сделайте так, чтоб я не увидела, как жизнь моего брата подвергнется опасности по столь ничтожному поводу.

Мадемуазель Риуф могла бы говорить так долго, и столь же долго мог слушать ее Мариус — настолько сильно он опьянел от звука ее голоса и очарования ее лица; и уже невозможно было ответить отказом на ее мольбы. Рассказ, только что услышанный им от юной девушки, окончательно завоевал сердце Мариуса и сильно

взбудоражил его ум. Видя ее такой прекрасной и в то же время такой доброй, нежной и трогательной в своей самоотверженной любви к брату, он не переставал задавать себе вопрос, как могло так получиться, что не весь мир лежит у ног этого восхитительного создания природы. С присущим южанам энтузиазмом, едва скрывавшим его природную застенчивость, он испытывал огромное желание принести в жертву ради нее не только претензии, с которыми он пришел сюда, но и всю свою жизнь, если только она будет в ней нуждаться, а также заверить ее, что лишь одного ее слова достаточно, чтоб господин Кумб забыл обо всех своих жалобах; однако это было слишком самоуверенно с его стороны.

— Мадемуазель,— ответил он,— я буду слепо следовать вашим указаниям.

— Не волнуйтесь за исход дела, месье. Куда я должен написать, чтобы известить вас об этом?

Мариус назвал ей адрес своего патрона. Мадемуазель Риуф сразу дала ему понять, что по неписаному закону, начиная с этого момента требуется, чтобы она пожала руку тому, кому она будет служить помощницей. Это пожатие как заключительный аккорд совершенно потрясло молодого человека, и когда он проходил через помещение конторы к двери, то, к изумлению служащих, собиравших выйти в окно, приняв его за дверь. Оказавшись на улице, он долго стоял и рассматривал дом, в котором жила мадемуазель Риуф: ему казалось, что стены, скрывавшие такое чудо природы, должны были быть совершенно непохожи на все другие стены.

Вечером рассыльный из магазина принес ему письмо.

И раньше, чем Мариус бросил беглый взгляд на адрес, он уже узнал тот мелкий красивый почерк, который увидел на книге государственных долгов в доме Риуфа и его сестры. Он схватил письмо с такой жадностью, с какой скряга бросается на найденное им сокровище, с какой потерпевший кораблекрушение хватается предлагаемый ему кусок хлеба; затем убежал на мансарду, где он жил, закрылся там и принялся за чтение.

Мариус опасался, как бы чьи-то посторонние глаза не осквернили этот дорогой ему почерк. Когда он стал открывать письмо, то его пальцы дрожали так, что какое-то время он безуспешно пытался вскрыть конверт; но так и не сумев этого сделать, он почти разорвал письмо пополам.

Мадемуазель Риуф писала ему:

«Месье, не знаю, будете ли вы довольны мной, но лично я полностью удовлетворена своим поведением. Мне удалось успешно устроить дело, которое вы столь любезно поручили мне. Завтра, по окончании работы биржи, я буду сопровождать господина Риуфа, который отправится в Монредон с целью сообщить господину Кумбу о своем самом искреннем раскаянии. Надеюсь, что отныне обитатели шале и деревенского домика будут жить в таком полном согласии друг с другом, что нам придется поблагодарить судьбу за имевшее место разногласие, которое в конечном счете приведет к обоюдному желанию поддерживать впредь добрососедские отношения».

Письмо было подписано:

«Мадлен».

Мариус поднес записку к своим губам и в течение всей ночи — спал ли он или бодрствовал — образ той, кого он впервые увидел этим утром, как верный и надежный спутник, следовал за ним повсюду.

Глава IX,

ИЗ КОТОРОЙ СТАНОВИТСЯ ЯСНО, ЧТО ГОСПОДИН КУМБ НЕ ПРЕДАЕТ ЗАБВЕНИЮ НАНЕСЕННЫЕ ОСКОРБЛЕНИЯ, И ЧТО ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ

Прошли всего одни сутки, и жажда отмщения, столь сильно обуревавшая господина Кумба, полностью изменила проявлявшиеся до того инстинкты и привычки этого человека, вызвав настоящий взрыв его характера.

С того самого момента, как он увидел в сыне Милетты героя, способного победить или умереть за него, экс-грузчик, бывший на протяжении всей своей жизни существом весьма миролюбивым, внезапно переродился в исключительно воинственного субъекта.

В то утро, когда Мариус покинул его с единственной целью разыскать господина Риуфа, господин Кумб с ружьем через плечо совершал дерзкую вылазку с территории собственного владения, пригнувшись к земле, по привычке, естественно выработавшейся у него бла-

годаря постоянной работе на своем огороде. С видом фанфарона он прогуливался по аллее, откуда, как ему казалось, его было совершенно невозможно заметить со стороны шале; несколько раз он останавливался, периодически проверяя магазин ружья, и с угрожающим выражением на лице бросал взгляды в сторону виднеющихся ставней на окнах ненавистного ему дома.

Ставни в доме соседа были наглухо закрыты, и ни малейшего звука не доносилось оттуда, а это прекрасно подтверждало то, что хозяин уехал в город, и лишь там его мог встретить Мариус; однако воинственный настрой господина Кумба был слишком плохо приспособлен к тому, чтоб сделать столь простое предположение; с гораздо большим желанием он предпочел бы вообразить, что его врага заставил быть осторожным поступок того, кто, образно говоря, составлял и авангард, и армию, и аррьергард господина Кумба.

В то время года земля на участке последнего уже была засеяна семенами рано созревающих помидоров и гороха, и у него было мало работы на огороде, однако он, несмотря на проливной дождь, проводил там весь день из одного желания — ни за что не покидать наблюдательную позицию.

Господин Кумб сильно беспокоился и проявлял явное нетерпение в ожидании новостей от Мариуса, и когда вечером он не увидел последнего вернувшимся домой, то начал даже опасаться, уж не покинуло ли мужество этого борца за справедливость. Когда же Милетта, взволнованная не меньше, чем он, — хотя основания для беспокойства у обоих были совершенно различные — рассказала ему о своих опасениях, он успокоил ее в выражениях, которые мало походили на одобрительные по отношению к тому, кого он превозносил еще накануне и, казалось, был настроен вернуться к своему первоначальному мнению о мужчинах с красивой внешностью.

Однако увиденный им сон изменил впечатление, возникшее было у господина Кумба: он увидел во сне, что стал одним из четырех сыновей Эмона, о котором в юности услышал историю, — увидел, как одним ударом своей ужасной кривой турецкой сабли он рассек тело господина Риуфа сверху донизу и изрубил всех членов общества бесов и чертовок, до основания разрушил шале и развалины его похоронил в водах залива.

Этот кошмар настолько глубоко запечатлелся в мозгу господина Кумба, что, едва проснувшись, тот поспешно оглядел свою комнату — настолько он был уверен, что рассеченное тело его врага должно было лежать именно там; но он заметил лишь старую плетенку: некогда в ней был доставлен инжир из Смирны, а ныне она служила прикроватным ковриком бывшему грузчику; он поднял голову и встретился взглядом с Мариусом, открывавшим в этот момент дверь в его комнату. Господин Кумб смутно угадал пробежавшую по губам молодого человека улыбку, которую принял за лишнее доказательство того, что его сон вполне мог бы быть реальностью.

В пылу чувств он совсем забыл о соблюдении элементарных правил приличия и стремительно вскочил с постели, не придавая значения легкомысленности своего костюма.

— Ну что? — воскликнул он таким тоном, каким Александр Великий должен был задавать вопросы своим подчиненным.

— Господин Риуф в сопровождении своей сестры будет здесь в три часа дня с тем, чтоб выразить сожаление по поводу случившегося и принести вам свои извинения, — ответил Мариус с той же улыбкой на лице.

Господин Кумб нахмурился, опечалился.

— Извинения? — переспросил он. — Что нам прикажете делать с его извинениями? Я страстно желал, чтобы ты взял на себя труд отомстить за нанесенные обиды, столь удручившие меня, поэтому извинений в данном случае будет недостаточно.

— Однако... — начал было Мариус, придя в полное замешательство.

— И никаких однако, — резко возразил господин Кумб, не давая ему даже закончить начатую фразу. — Порядочные люди не соглашаются ни на какие извинения в делах чести, даже если и есть какие-то смягчающие вину обстоятельства в этой тяжбе. Однажды я принимал участие в суде присяжных, и, знаешь, какие смягчающие вину обстоятельства я тогда допускал, а? Никаких, кроме смерти. Смерть и только смерть, ничего, кроме смерти, — только это я мог допустить; все остальное, Бог мой, это лишь отговорка по малодушию или же поощрение очередному преступлению.

Мариус сделался бледным скорее из-за оскорбления, которое слышалось во всем тоне этого раздраженного человека, чем из-за боли, охватившей его в предчувствии улетавших надежд, столь нежно лелеянных им на протяжении последних нескольких часов

— Извинения,— продолжал господин Кумб,— подумайте только — его извинения! Так следовало подумать, прежде чем издеваться над порядочным человеком; тогда бы он не был вынужден прибегать ныне к такой пошлости, как извинения, которыми я, в свою очередь, не желаю довольствоваться

Мариус хотел было сказать, но господин Кумб не позволил ему этого сделать,— он ходил из угла в угол по своей узкой комнате, издавая такие яростные возгласы и складывая руки в столь нелепые жесты, словно ему угрожала опасность и он пытался таким образом одержать верх над тем упорством, с каким его более чем скромный покров одежды сохранял его целомудрие

Внезапно он резко остановился перед Мариусом, и в каком-то яростном иступлении, схватившись за свой ночной колпак, равномерные колебания которого резко контрастировали с кривляниями хозяина, сбросил его на пол

— Ну-ка, посмотрим,— воскликнул господин Кумб,— снесет он по крайней мере свой омерзительный дом?

— Но почему господин Риуф снесет дом, строительство которого обошлось ему столь дорого?

— Почему? Да потому, что его дом мешает мне, потому, что закрывает весь вид, потому что во всю ширину берега он преграждает путь морского ветра к моему домику и таким образом превращает его в огромную печку, да потому, что это слишком отвратительный объект, чтоб можно было постоянно держать его перед глазами! Разве этих причин недостаточно, а? Судьба-индейка! — продолжал восклицать господин Кумб.

Разинув от изумления рот, Мариус слушал его, задаваясь одним-единственным вопросом. а не стоило ли послать за доктором, с тем чтоб немедленно оказать помощь его крестному отцу, буквально на глазах ставшему бешеным?

— Ах, судьба-индейка! — продолжал тот.— Ну-ка, расскажи мне в двух словах, как все произошло, что

было сказано тебе и что лично ты сделал? О, коварные, они воспользовались твоей молодостью и неопытностью — я отлично понимаю как это, так и то, что тебе не занимать отваги и мужества. Скажи же мне все, мужчина, и я возьму на себя труд направить дело в нужное русло.

Задача, которую ставил господин Кумб, была слишком затруднительна для Мариуса: то, как хозяином деревенского домика было встречено сообщение молодого человека, расцениваемое им самим не иначе как триумфальный результат своего визита, а также те ругательства, какими господин Кумб, против своего обыкновения, изрядно снабдил свою речь, успели внести в мысли Мариуса некую сумятицу, но, когда он понял, что перед ним встает выбор — либо солгать, либо сознаться своему крестному отцу о миролюбивом вступлении в дело третьего лица — мадемуазель Мадлен, когда он задрожал от страха при одной мысли, что упоминание о ней даст возможность прочесть по его лицу все, что творилось в его душе, беспорядочность мыслей в голове привела Мариуса в полное замешательство, и все его идеи так трусливо и поспешно обратились в бегство, что абсолютно невозможно было догнать на бегу и ухватить хотя бы одну из них, и Мариус колебался в нерешительности, что-то бормотал, трепеща от страха, и нес такой вздор, что все это совершенно вывело из себя господина Кумба.

Последний, заподозрив что-то неладное, с новыми энергией и пристрастием принялся расспрашивать Мариуса и буквально засыпал своего крестника вопросами; нападая и донимая его ими, он так умело создавал противоречивые моменты, сбивал с толку, вводя внезапные изменения в вопросы и задавая их в лоб, причем проделывал все это с такой изощренностью, что по отдельным частям и обрывкам фраз ему наконец удалось воссоздать более или менее точную картину всей сцены, участниками которой были его крестный сын и мадемуазель Риуф.

Совершенно бледный и дрожащий Мариус стоял перед ним так, как обычно преступник стоит перед судьей, и взгляд его глаз не мог выдержать того блеска, какой неожиданно приняло обычно тусклое и безжизненное выражение глаз его крестного отца.

— Боже праведный! — воскликнул последний.— Я всегда говорил, что, как только где-то запахло ароматным буйабесом, это значит, что рыбка находится совсем близко; как только я увидел, что такое дело, как это, столь просто подошло к развязке, приняв иной оборот, я могу смело поклясться, что в него вмешалась баба. Ах, мой мальчик, ты позволил ей соблазнить себя, этой девчонке, которая, быть может, придется ему такой же сестрой, как и мне Судьба-индейка! Какая-нибудь плутовка, за нищенскую плату согласившаяся на эту роль для того, чтоб посмеяться над тобой так же, как он смеется надо мной!

— Не верьте этому, отец,— сказал Мариус, в котором зарождавшаяся любовь уже готова была смело бороться с мнением господина Кумба.— Мадемуазель Риуф — почтенная молодая особа. Если б вы только видели ее в конторе так, как видел ее я в окружении служащих, если б вы только услышали ее...

— Немедленно замолчи, говорю я тебе, замолчи, иначе я тебя прогоню. Комедию — вот что они хотят сыграть со мною, чтоб причинить мне ущерб, а ты сыграешь роль помощника. И я бьюсь об заклад, что их желание прийти сегодня вечером ко мне домой продиктовано тем, что они намереваются попотчевать меня еще кой-нибудь дрянной шуткой из репертуара их бесовских выдумок. Пойди и скажи им, что меня вовсе не интересует их визит, что я не нуждаюсь ни в их извинениях, ни в их сожалениях, что я не придаю им ни малейшего значения, что я ничуть не похож на тебя, который, подобно флюгеру, поворачивающемуся при малейшем дуновении ветра, полностью меняет свое мнение: что я их ненавижу за причиненное мне зло, которое нельзя загладить несколькими пустыми словами, и, если они только осмелятся переступить порог моего дома, я направлю свое ружье на первого, кто дотронется до ручки моей двери.

Ничто не является столь заразительным в этом мире, как чувство гнева. Господин Кумб своеобразно уже нанес обиду сыну Милетты, однажды обрушившись на ту, что совсем недавно была предметом его обожания; теперь его экзальтированная речь заставила, наконец, Мариуса потерять самообладание, сохраняемое им до последнего момента, и тот ответил, что после благожелательного приема, оказанного ему мадемуазель Риуф,

он считает своим долгом ни в коем случае не брать на себя подобного поручения.

— Да уж,— с горечью в сердце воскликнул господин Кумб,— напрасно изобретать различные соусы для губана — ведь какой бы прекрасной ни была эта рыба на вид, на вкус она остается всегда дрянной, и ее чудная зелено-оранжевая чешуя не придает ей изысканный вкус; Господь Бог всегда одаривает красотой внешней в ущерб красоте внутренней; я тебя правильно расценил! Не понимаю, как я мог даже на мгновение заблуждаться на твой счет Ты встаешь на сторону моих врагов,— оставайся с ними, несчастный, и уходи от меня! Уйди и питай надежду, что в течение двадцати лет они так же, как я, каждый день будут кормить тебя! Уходи же к тем, коим ты меня предпочел! Кстати, разве я так уж нуждаюсь в тебе?! Разве я не человек, а? Не человек, который, несмотря на свой возраст, способен заставить уважать себя и наказывать тех, кто его оскорбляет?!..— Ах-ха-ха,— продолжал бывший грузчик, как-то судорожно посмеиваясь.— И пусть они не надеются, что жеманство их экзотической самки помешает мне исполнить свой долг!

Господин Кумб почти выбился из сил. И чем реже он оказывался во власти очередной вспышки гнева, тем сильнее проявлялся последний, тем быстрее он должен был довести господина Кумба до изнеможения. И, наконец, последнюю фразу тот смог произнести, лишь сделав над собой большое усилие, а последние слова уже было совершенно невозможно разобрать. Он опустился на кровать, на спинку которой опирался; его губы посинели, в то время как лицо стало мертвенно-бледным и, задыхаясь, упал на матрац.

Звуки голоса бывшего грузчика уже на протяжении некоторого времени привлекали внимание Милетты — ни жива ни мертва, она прислушивалась к ним снаружи; на крик, вырвавшийся из груди Мариуса при виде господина Кумба, оседавшего на кровать под тяжестью собственного тела, она вбежала в комнату и поспешила оказать помощь своему хозяину.

Как только она заметила, что тот постепенно возвращается в нормальное состояние, она увлекла Мариуса за собой на лестницу.

— Удались сейчас отсюда, дитя мое,— сказала она ему, понизив голос.— Не надо, чтоб он нашел тебя

здесь, когда снова придет в сознание; твое присутствие, пожалуй, вызовет новую вспышку гнева, а гнев этот тем более приводит меня в ужас, что я даже не припомню, чтоб когда-либо вообще видела хозяина в подобном состоянии. И пусть, несмотря на только что происшедшее, в твоём сердце не останется места для горечи: часто Господь Бог испытывает нас, посылая несчастья, однако мы всегда обращаемся к нему лишь за тем, чтоб возблагодарить за все его благодеяния. Именно так следует поступать по отношению к тем, кто нас любит, дитя мое, и помнить лишь доброту, проявленную ими к нам. Я услышала только последние слова господина Кумба; не знаю, что произошло между вами, но не думаю, как он того опасается, что ты примешь сторону своих врагов. Ты не имеешь права забывать, сколько доброты и сочувствия он проявил к твоей матери в то время, когда все покинули ее; кстати, те, кто столь сильно изменил человека, которого я всегда знала как кроткого и спокойного, могут быть не иначе, как людьми злыми.

Мариусу нелегко было позволить матери придерживаться дурного мнения о той, кто лично на него произвела столь сильное впечатление; но донесшийся до них голос господина Кумба хоть и едва слышно, но властно позвал Милетту, и она, нежно обняв сына, тотчас оставила его.

С тяжелым сердцем и мокрыми от слез глазами Мариус покинул деревенский домик; за ночь воображение его, как истинного южанина, завело молодого человека очень далеко. Ему было только девятнадцать лет, тот самый возраст, когда препятствия, связанные с происхождением и состоянием, не причиняют неприятностей полету счастливых несбыточных мечтаний, и он нежно лелеял эти сладкие мечты; как только он получил письмо от Мадлен, то понял, о желании каких повседневных добрососедских отношений между обитателями обоих домов шла в нем речь, и он чувствовал, как благодаря этому страсть к юной девушке, зарождавшаяся в его сердце, стала принимать характер разделенной любви. Приступы гнева, столь злобно выплеснутые господином Кумбом, не только спугнули тех очаровательных призраков, что населяли его мечты, но и совсем разогнали их. Выйдя из только что пережитого им состояния опьянения, он неожиданно для самого себя очутился в мире, который по-

казался ему совершенно **незнакомым**, а реальные проявления его — весьма печальными. Вновь овладев собою, он оценил ту дистанцию, что разделяла его и мадемуазель Мадлен, и впервые за последние двадцать четыре часа вспомнил о своем происхождении и социальном положении, о смиренном образе жизни своего деда — простолюдина, фамилию которого он носил, а также о более чем скромном будущем, к которому был приговорен.

Мариус обладал достаточным величием души, чтоб перед лицом несбывшихся надежд не покраснеть от стыда за свое покорное поведение; в его чувствах было достаточно благородства, чтобы не обижаться ни на все происшедшее с ним в течение дня, ни на свою судьбу; его сердце, обливаясь кровью, сильно страдало, но он не испытывал ни гнева, ни отчаяния.

Признав свои ошибки и заблуждения, он с мужеством и твердостью, редко встречающимися у людей его возраста, покаялся самому себе в своих самонадеянных надеждах; он решился собрать все силы и мужество, чтобы погасить едва родившуюся любовь, казавшуюся ему безрассудной: он поклялся самому себе непременно изгнать из своих мыслей все, что хоть как-то напоминало о Мадлен, полагая, что тем самым победит власть, какую она уже возымела над его сердцем.

Правда, принять такое решение было гораздо легче, чем привести его в исполнение. Мариус все искал, что могло бы его отвлечь и изгладить из его воспоминаний очаровательный образ, столь прочно врезавшийся в память, но не находил ничего.

Напрасно он хотел восхищаться морем, представавшим его взору в конце прогулки по несравненному бульвару, который все называли Прадо, морем спокойно-величавым и переливающимся всеми огнями под лучами прекрасного осеннего солнца; напрасно он вызывал в своей памяти воспоминание о Милетте, беспрестанно повторяя самому себе, что бедная женщина нуждалась в проявлениях нежности со стороны своего чада; напрасно он старался забыть, ища других впечатлений и переключая свое внимание на экипажи, пешеходов и лошадей, так и сновавших рядом с ним, несмотря на ранний час.

Как бы ни была крепка его воля, воспоминание о Мадлен одерживало верх надо всем, и напрасно он пытался избавиться от него, — оно беспрестанно шло за ним

по пятам. Мариус не мог ни смотреть на что-либо, ни восхищаться чем-то, ни желать чего бы то ни было без того, чтоб именно она являлась основной частью всех его мыслей; если, разглядывая платаны, он размышлял о предстоящей весне, то мечтал лишь о том, как было бы приятно прогуляться вместе с молодой девушкой в их тени, когда деревья-великаны вновь оденутся в свой летний наряд; если голубое море казалось ему прекрасным, то он представлял себе, как чудесно было бы скользить по его волнам наедине с той, которую он любил, и именно в море, в его столь возвышающем уединении и безграничности, какие только приближают вас к Богу, повторять снова и снова клятву в любви. Он вновь подумал о Милетте, но лишь потому, что это было предлогом еще раз вспомнить о Мадлене. Он подумал о радости и гордости своей матери в тот миг, когда представит ей столь прекрасную невестку, а также о тех счастливых днях, какие сей прекрасный союз сулит ее старости.

Мариуса охватил ужас от того, что ему самому казалось малодушным, достойным сожаления, и страх его стал еще сильнее. Он весь напрягся от той борьбы, какую напрасно вел с самим собой; ему наконец удалось освободить клеточки своего мозга от опасно-привлекательного образа мадемуазель Риуф, притупить воспоминания, снова и снова возвращавшие его к милому образу девушки, погасить все мысли, прибегнув к своего рода интеллектуальному оцепенению, которое нельзя назвать ни явью, ни сном; но тогда вдруг ему показалось, что он слышит у самого уха некий голос, повторяющий имя, что уже звучало в его душе как поэма. И голос этот шептал ему: «Мадлен! Мадлен! Мадлен!..» Он почувствовал, как сердце в его груди восхитительно сладко забилося, и горячая кровь быстрее побежала по жилам.

Молодой человек не на шутку испугался. С момента вчерашней сцены, происшедшей ранним утром, он стал испытывать явное беспокойство в отношении рассудка господина Кумба, несмотря на уважение, питаемое им к последнему; Мариус задавался вопросом: уж не является ли это безумие проявлением опасной заразной болезни, уж не стал ли и его мозг больным так же, как у бывшего старшего грузчика?

Удовлетворительного ответа на этот вопрос, вероятно, не было дано, поскольку не успел он себе его задать, как ринулся с такой скоростью, словно за ним гнались, и про-

бежал таким образом через весь город, словно хотел скорее вернуться к своему патрону.

Он просто-напросто надеялся, что работа поможет его рассудку вернуться в прежнее нормальное состояние.

Пересекая площадь де ля Турет, он увидел открытым вход в церковь де ля Мажор.

Мариус вовсе не был вольнодумцем; в то время как на севере молодые люди его возраста уже с пренебрежением относились если не к религиозным взглядам, так к религиозной практике, Мариус сохранял свою христианскую веру во всей превозданной чистоте и наивности.

Стоя под сводами высокого, развешенного над ним портала, он увидел самого Бога, простершего к нему свою длань; и в величественном звуке органа, чьи последние вибрации, коснувшись его слуха, сразу угасли, ему послышался голос Господа, говорившего о молитве как об исключительно действенном, в отличие от работы, лекарстве от обуявшего его чувства страха.

Мариус вошел внутрь собора. Служба в нем только что закончилась, и было тихо и безлюдно. Быстро пройдя в небольшой, совсем пустынный придел, он опустился на колени.

Подняв глаза, чтоб помолиться, он уперся взглядом в картину, расположенную над алтарем, и содрогнулся.

Это была копия знаменитого полотна Корреджо, изображавшего великую грешницу, покровительницу юной девушки; картина эта произвела сильное впечатление на молодого человека. Посреди дикого леса, на голой земле возлежала святая, и длинные прекрасные волосы золотистым отливом прикрывали все ее тело больше, чем голубая туника; она лежала рядом с чьей-то мертвой головой и, облокотившись, размышляла над книгой.

Мариус не только был поражен схожестью двух имен; находясь во власти некоей, постоянно преследовавшей его галлюцинации, он в этой живописной работе вновь обнаружил ту, кого любил, и нашел ее живой и здравствующей; то была именно она, то были ее очень серьезные и в то же самое время нежные глаза, то было значительное и доброе выражение ее лица. Иллюзия была до такой степени странной, что Мариусу почудилось, будто он даже слышит ее голос.

Беспорядочность мыслей, пронесившихся в его голове, стала просто ужасающей, волосы на голове встали

дыбом, и казалось, что сердце вот-вот выскочит из груди; он оперся на руки так, чтоб не смотреть на полотно и, едва переведя дух от охватившего его волнения, начал молиться.

— Господь мой,— произнес Мариус,— избавь меня от этой безрассудной любви, не позволяй мне уступить ей. Ты даровал мне положение — весьма скромное и бедное, и не я ли был покорен твоей воле, мне ли не доставало мужества и покорности судьбе? Почему же ты позволяешь этой любви так отягчать мою душу? О, мой Бог, сделай так, чтоб я не поддался ее искушению! Ты все видишь, она преследует меня вплоть до церковного алтаря, и я страшусь ее облика, не в силах перестать его обожать; она является мне в одной из избранных тобою. И я молю тебя и трепещу при мысли, что ты не внемлешь моей просьбе; я умоляю тебя вернуть моей душе покой и в то же время задаюсь вопросом, не будет ли он столь же страшен, как смертный покой?

О ты, чье имя носит и моя любимая, о святая блаженная, столько страдавшая из-за того, что много и сильно любила, попроси Господа дать мне силу, какую я сам в себе не нахожу, попроси его позволить мне забыть ее, попроси его сделать так, чтоб это имя — Мадлен — не занимало больше мою душу так, как в этот самый миг, наполняя всю ее тоской, одновременно сладкой и страшной...

Молитва Мариуса была прервана чьим-то коротким приглушенным вскриком, раздавшимся в двух шагах позади него.

Он обернулся и заметил молодую женщину, просто, но элегантно одетую, стремящуюся к выходу из придела. Вуаль, низко опущенная на лицо женщины, не позволяла различить черты ее лица. Стулья и скамья, стоявшие в приделе, мешали ей пройти, и она отодвигала их с явной поспешностью, свидетельствовавшей о том, что она была смущена не меньше молодого человека.

Последний не мог произнести ни слова от неожиданности и стоял как вкопанный, наподобие флорентийских статуй, украшавших церковь; в его мозгу пронеслась одна идея, но рассудок отказывался поверить в нее.

Поняв, что она стала предметом внимания Мариуса, молодая женщина, кажется, совсем потеряла голову; она опрокинула скамеечку для молитвы, на которую нечаянно ступила ногой, и чуть было не упала.

Мариус со всех ног бросился к ней на помощь, но прежде, чем он оказался рядом, она выпрямилась и, легкая как тень, исчезла среди бесчисленных колонн церкви.

Поддавшись охватившим его чувствам, он было бросился ей во след, как вдруг заметил на одной из плит то, что незнакомка обронила, убегая столь стремительно.

Он поднял этот предмет; им оказался молитвенник, на сафьяновой обложке которого готическим шрифтом были напечатаны всего две буквы: «M. R.».

У Мариуса больше не оставалось никаких сомнений: молодой женщиной была Мадлен, и она слышала все, что он полагал доверить одному Господу Богу.

Не закончив молиться, он покинул церковь в еще более потрясенном состоянии, чем то, в каком вошел туда.

Глава X

ДВА ЧЕСТНЫХ СЕРДЦА

После встречи, неожиданно состоявшейся в церкви де ля Мажор, Мариус так и не решился написать письмо мадемуазель Мадлен с целью предупредить ее об ужасных намерениях господина Кумба.

Весь бледный и дрожащий, он вернулся в дом своего хозяина. Подавленность Мариуса была настолько очевидной, что все сочли его больным и вызвали врача, обнаружившего у него сильный жар. Его уложили в постель, но даже уединившись в своей маленькой комнате, он не помышлял о письме к молодой девушке, он был уверен, что, испытывая законное негодование, она, по меньшей мере, отошлет ему письмо, даже не прочитав.

Тем временем господина Кумба ни разу не вынудили применить свой талант по обращению с огнестрельным оружием. Ни господин Риуф, ни его сестра ни разу не появились у ворот деревенского домика.

Как-то вечером господин Кумб получил от своего молодого соседа вежливое письмо, в котором последний признавал свои ошибки, выражая почтительность возрасту бывшего старшего грузчика, и просил забыть о них.

Господину Кумбу недоставало благородства так же, как и душевной щедрости, той самой, что заставляет человека предавать оскорбления забвению, а ведь атрофия таких свойств души не проходит совсем безнаказанно. Будучи далеким от мысли увидеть в поступке такого ро-

да благородное и весьма лояльное признание, направленное на достойное исправление совершенной ошибки, господин Кумб вообразил, что письмо было написано под давлением его угроз, ведь он и не подозревал, что в этом деле Мариус являлся главным исполнителем. С тех пор, как он почувствовал в себе некоторые проявления воинственного духа, он ощутил нечто вроде ревности к роли, какую тот, кого лично он считал еще юнцом, сыграл в этом деле, и был вполне удовлетворен, заняв, по меньшей мере, один уровень с Мариусом.

К большому удивлению Милетты, никогда не видевшей своего повелителя покидавшим дом после захода солнца, господин Кумб, получив письмо от Жана Риуфа, тотчас попросил Милетту подать ему то, что лично он называл длинным сюртуком, надел его, положив деньги в карман жилета, и направился в кафе Бонвена.

Именно здесь, где ему впервые пришлось испытать унижение, он жаждал заставить воссиять звезду своей славы. Аппетиты его гордыни не изменились, но вступили в новую фазу — в фазу ненависти, наложившую самый отвратительный отпечаток на сферу его чувств. Можно, конечно, посмеяться над его тщеславием, охотно удовлетворявшимся распускаясь цветком, овощами, удачной ловлей морского ежа; но наивность, с какой он предавался этим затеям, сообщала этой его черте характер некоего величия. Сейчас ему не оставалось больше ничего, как оплакивать свою дорогую гордыню, ведь именно она довела его до выпрашивания аплодисментов у заурядных обывателей, до того, чтоб покупать их восхищение за счет непомерного количества рюмок, в то время как сам он сиял от предчувствия легких и грубо заработанных побед, которые ему умело подготавливал его величество случай.

Поведение господина Кумба произвело сильное впечатление среди общественности Монредона; он прочел там полученное им от своего соседа письмо, которое сопровождал многочисленными комментариями по поводу трусости последнего, а также обращение, которое ждало этого господина в случае, если б он так и не решился представить свои извинения господину Кумбу. Искусно играя на неутолимой жажде завсегдатаев кафе Бонвена к такого рода происшествиям и одновременно на той зависти, какую обычно питают рядовые обитатели к богатым людям, он получил всеобщее одобрение, вплоть до

того, что был удостоен орденов как блестящий полководец. В Сент-Жорж его тоже единодушно поддержали и одобрили. Новоиспеченный забияка оставался прежним скрягой, хотя и выставлял напоказ свою щедрость, иными словами, он не забывал о своих выгодах в предпринятой им раздаче спиртных напитков; хмельное состояние от выпитого в сочетании с ударившим в голову опьянением славой вконец помutilи его рассудок. Он возвращался домой, на ходу производя зонтиком замысловатые вращательные движения; и теперь уже не был столь уверен в том, что не истребил весь род Риуфов, как мечтал об этом всю прошедшую ночь и как клялся нынешним вечером сделать это при первом же удобном случае. Он заметил вдалеке крышу шале, четко выделявшуюся на фоне мглистого неба, и потребовалось чье-то вмешательство, кто либо из милосердия, либо из признательности срочно решил препроводить его домой, помешав ему таким образом поджечь соседский дом.

Протрезвев на следующий день, господин Кумб смутно представлял себе все, что произошло накануне; но и того, что осталось в памяти, было вполне достаточно, чтоб устыдиться собственного поведения, насколько позволяло ему самолюбие. Он скорее бы умер, чем признался самому себе, что был неправ. Этот первый сеанс в кафе Бонвена не приободрил его, к большому сожалению завсегдатаев этого заведения; но если бы случай позволил ему встретиться с кем-либо из них, то он продолжал бы ликовать, возможно, менее шумно, но с не большей скромностью.

Надо, однако, сознаться, что манера поведения, избранная господином Риуфом, была исключительно правильной для усмирения страстей — менее неукротимой, чем присущая взбесившемуся барану по имени господин Кумб.

С того самого дня, как брат Мадлен заключил перемирие со своим соседом, шале перестал быть театром безумных вечеринок и шумных оргий, столь сильно возмущавших господина Кумба.

По вечерам в субботу мадемуазель Риуф иногда приезжала к своему брату, чаще всего вместе со своей старой и преданной служанкой. Она проводила там по тридцать шесть часов в неделю, как это делал владелец деревенского домика тогда, когда дела еще не позволяли ему свободно распоряжаться своим временем. И единст-

венными развлечениями молодой особы оставались прогулки по саду, уход за цветами и редкие выходы к набережную. Шале стало таким же тихим, мирным и, можно сказать, добропорядочным, как и соседний с ним дом слева.

Совершенно ясно, что господину Кумбу было невозможно отказаться от проявлений своего характера, да и вряд ли он пытался это делать; он удовлетворялся лишь тем, что строго-настрого наказал Милетте молчать, когда увидел, как она, до сих пор искренне удрученная постоянно мрачным расположением духа своего хозяина, робко попыталась констатировать явное улучшение в отношениях соседей.

Ему более не дозволялось пребывать в том состоянии душевного покоя и равнодушия, которое было характерным для его прежней жизни. Злые чувства — словно сорняки в поле, — достаточно тоненькому стебельку пустить корень, чтоб прорасти повсюду. Зависть и сонм сопутствующих ей чувств овладели сердцем господина Кумба, и буквально все стало для него предлогом, чтоб больше никуда не выезжать; но поскольку сам хозяин шале отсутствовал, то лишь сад соседа отравлял существование бывшему старшему грузчику.

Сад этот не был ни длиннее, ни шире садика господина Кумба, однако наступивший для наших героев год не был похож на предыдущий, и результаты оказались совершенно разными: садик господина Кумба как нельзя более походил на сковородку, то есть все в нем выглядело так, как мы подробно описывали в начале нашего повествования; вопреки мистралю и солнцу сад господина Риуфа оставался свежим, пышно разросшимся и благоухающим. Во множестве доставленный туда перегной уже успел изменить качество почвы, и в ней успешно принялись и высоко взметнулись в небо кипарисы и тamarиски; многочисленные соломенные укрытия надежно защищали растения; если же, несмотря на все предосторожности, засухе или северному ветру удавалось уничтожить все живое, то растения в саду тотчас заменялись новыми с такой расточительностью, которая не позволяла замечать последствия нанесенного стихией ущерба.

Зрелище столь невиданно цветущего сада так остро ранило сердце господина Кумба, как это могли сделать только скверные шутки господина Риуфа и его окружения. Он пытался бороться с тем, что сам называл недо-

стойным пристрастием, присущим его натуре; он произвел новые посадки; он пустился в расходы, которые сам расценивал не иначе, как безрассудные; но то ли он слишком поздно спохватился, то ли по какой-то иной причине, присущей лишь почве, удача отвернулась от него, и огороженный земельный участок соседей, явно свидетельствующий о его личных неудачах, лишь упрочивал его неприязнь к ним. Он с отвращением отворачивался, когда его взгляд внезапно упирался в зеленые верхушки кустарника, возвышавшегося над стеной, и буквально все вызывало у него нервное расстройство. К сожалению, и без того явная садовая роскошь нашла средство для еще одного проявления: морской ветер, проходя над владениями господина Риуфа и напитавшись запахами находившихся в элегантных корзинках роз, тубероз, гвоздик и жасмина, точно переносил эти ароматы во владения господина Кумба. И хотя последний питал к сим нежным и фривольным культурам неприязнь, такое свидетельство ошеломляющего превосходства привело его в отчаяние; кончилось тем, как это обычно бывает у всех завистников, что он решил пренебречь всем, составлявшим на протяжении тридцати лет его счастье и гордость,— он совсем забросил свой садик и занимался только рыбной ловлей, имевшей одно преимущество: она целыми днями удерживала его в удалении от ненавистного соседства.

Но вовсе не Жан Риуф был виноват в превращении сада шале в чудо, столь неприятное взору бывшего грузчика.

После визита Мариуса мадемуазель Мадлен по-сестрински нежно, но строго выговорила брату за его поведение по отношению к господину Кумбу. Та неподдельная печаль, с какой говорилось об этом, приобретала весьма трогательный оттенок в устах сестры, обожаемой Жаном Риуфом. У него, как у большинства шалопаев, было незлобивое сердце,— он попробовал было обратиться строгий разговор в шутку, но при виде сестры, по-прежнему остающейся совершенно серьезной, сдался и пообещал исполнить все, что она требовала.

Он, наконец, согласился пойти и лично принести повинную этой важной особе, которую по-прежнему находил ужасно смешотворной: но как раз в день, выбранный для осуществления этого демарша, мадемуазель Мадлен неожиданно передумала, и вместо запланированно-

го визита господин Кумб получил письмо, из которого сделал свой победный трофей. Жан Риуф охотно согласился его написать; кроме того, он пообещал сестре, что шале больше не будет местом сбора Общества Вампиров, и сдержал свое слово. Одним своим присутствием в шале мадемуазель Мадлен очистила его стены от успешших прилипнуть к ним грязи и скверны и сделала их такими же чистыми, какими они были вначале.

В первый приезд в Монредон мадемуазель Мадлен буквально все показалось ужасным: расположение шале, его архитектура и внутренняя планировка, и тогда она решительно заявила брату, что если только ему понадобилось скрывать от посторонних глаз затеи и подвиги своей банды, то места лучше этого невозможно было и представить; ведь, по ее разумению, строить дом в Монредоне было все равно что разбить палатку в пустыне.

Однако со времени происшедших событий, о которых мы поведали выше, первоначальное претенциозное мнение молодой девушки по совершенно необъяснимой причине, весьма вероятно, по чисто женской логике, резко изменилось, и пустынные песчаные берега на подступах к мысу Круазет не казались ей больше слишком унылыми, пики горы Маркиа-Вейр вдруг стали в ее глазах не лишенными очарования вершинами, а прозрачное синее море, где аквамариновый и голубой цвета чередовались в соответствии с полосами водорослей и песка на дне, показалось ей просто пленительным; то же произошло и с ее мнением об уединенности несчастного шале, поначалу расцениваемой ею как огромный недостаток, а позже как преимущество, которое она не преминула отметить. И месяца не прошло, как она упросила своего брата уступить ей владение его шале.

Последнего занимали несколько иные проблемы, нежели изучение женских характеров; он не стал терять время на выяснение у сестры причины столь явно противоречащего ее первому впечатлению мнения; продажа дома позволит завестись в его кармане деньгам, которых с некоторых пор ему так не хватало, и он, не раздумывая, согласился с предложением сестры.

В самом начале сделанное мадемуазель Мадлен приобретение скорее походило на каприз. Но с каждым днем она все больше и больше проникалась и привязывалась к этому месту. Она мало говорила о шале, да и никого

другого, кроме своего брата, не приглашала сопровождать ее туда, однако все это свидетельствовало только об одном — о ее постоянных мыслях о шале.

Именно она взяла на себя все заботы по участку, в результате коих тот превратился в Эдемский сад, эманации которого так жестоко ранили сердце господина Кумба; ее постоянная озабоченность привнесением улучшений и украшений вносила в жизнь развлечение, которое заставляло ее подчас пренебречь своими непосредственными делами; неумная страсть к цветам заставила ее пойти на такие приобретения, какие брат отказывался понимать, памятуя о привычках сестры к порядку и экономии, в чем она неоднократно сама подавала ему пример; и, наконец, сами служащие стали с неподдельным изумлением замечать, как по вечерам в субботу их молодая патронесса, еще недавно последней уходившая с работы, теперь без конца бросала взгляды на часы, как будто хотела побыстрее убедиться, не наступил ли час ее отъезда в деревню.

Объясним тотчас же все это, для чего вернемся в нашем рассказе немного назад.

После разговора, в ходе которого Мадлен удалось побороть явно проявившееся отвращение брата к принесению извинений господину Кумбу, по поводу которых Мариус выразил свое удовлетворение, мадемуазель Мадлен вернулась в часовню местной церкви; ей хотелось поблагодарить Господа, позволившего ей мирным путем завершить это простое дело, развязка которого неизбежно стала бы кровавой, если б только решимость одного из молодых людей столкнулась с самолюбием другого.

Мы с вами, дорогой читатель, были свидетелями того, как случай привел Мариуса именно в ту часовню, где находилась молодая девушка; как в полном смятении чувств последний забылся, поверив в то, что он совсем один, и, наконец, как и в каких выражениях имя Мадлен слетело с его уст.

Мадемуазель Риуф вернулась к себе домой в сильном волнении; она попыталась было повеселиться при мысли о той страсти, какую внезапно внушила этому молодому человеку, но только губы ее поддавались улыбке, сердце же оставалось серьезным, более того, оно становилось мечтательным. Она начала было рассказывать брату о странности этого юноши, но не успела произ-

нести и первых слов на эту тему, как остановилась на полуслове и прибегла ко лжи, чтобы скрыть свое смущение.

Мало-помалу сумасбродство его приобрело в ее глазах иную форму и иное содержание: молитва бедного юноши, обратившегося к Богу с просьбой придать ему сил, чтоб противостоять любви, вполне способной сбить его с пути, по которому он намеревался следовать, пути человека поистине порядочного, безропотно несущего свой тяжелый крест,— эта его молитва перестала казаться ей смешной, а напротив, приобрела для нее весьма трогательную суть; более того, в ней она угадывала признак души возвышенной, души человека исключительно честного.

Отдав должное его моральным качествам, мадемуазель Риуф вспомнила и о его внешних достоинствах, прочно сохранившихся в уголках ее памяти, ведь, будучи настоящей женщиной, она не могла не заметить их; с бьющимся сердцем она вдруг осознала, что не могла, как раньше, контролировать свои чувства; в ее памяти возник образ Мариуса, чья красота была уже достаточно зрелой, несмотря на его молодость, что, впрочем, характерно для мужчин юга. Она вновь мысленно представила себе облик молодого человека, вспомнила, каким твердым и решительным был его взгляд, когда он говорил о господине Кумбе, и каким нежным и кротким стал его взор, когда Мадлен поведала ему о печалях и скорбях, уже успевших омрачить ее жизнь; вспомнила и о той пренебрежительной улыбке, что тронула его губы, когда она позволила себе только намекнуть на опасности, которым он собирался смело выступить навстречу.

В течение нескольких дней все эти мысли витали в голове молодой девушки, пока та не заметила, что напрасно пыталась отогнать их,— они упрямо приходили вновь и вновь; и постепенно она стала расценивать все происшедшее более хладнокровно.

Ее безгранично преданное отношение к брату стало приносить весьма ощутимые плоды: поддавшись влиянию сестры, Жан Риуф перестал относиться к развлечениям с прежним пылом; начал проявлять больше сдержанности к своим недавним сотоварищам по оргиям, и несколько раз даже открыто заявил о своем намерении спокойно обосноваться в деревне и обзавестись хозяйством.

Приближался день, когда задача ее как сестры была полностью выполнена, а вступление в дом золовки весьма усложнило бы ее роль, поскольку она почувствовала бы себя посторонней в новой семье своего брата. Именно то, о чем она еще совсем недавно спокойно размышляла и даже желала всем своим сердцем, заставляло ее внутренне содрогаться. Снова и снова она спрашивала себя, что станет с ней, когда она не будет знать, как утолить ту безграничную жажду любви, что буквально разрывала ей душу; и представив все это, она совершенно расстроилась, глаза ее наполнились слезами, а сердце — невыразимой болью.

Разница в положении между тем, кого мадемуазель Риуф считала сыном господина Кумба, и ею была громадная; но если привычка к размеренному и благоразумному образу жизни способствовала формированию зрелого характера, то печали и скорби, испытанные ею в молодости, очистили рассудок от предубеждений, которые вполне могли его помрачить.

После интуитивного угадывания характера Мариуса ей подумалось о том, что она быстрее готова опуститься до его положения, нежели быть поднятой до уровня того, кто не заслуживал бы этого.

Она верила, что подчинится голосу разума: вероятнее же всего была подвластна только голосу страсти, единственно способному склонить ее принять решение.

Мадемуазель Мадлен не пыталась более, как бы там ни было, противиться воле судьбы, а предалась ей со всей искренностью своего чистого сердца; она поистине была слишком целомудренной, чтоб под видом ложной осторожности скрывать свое падение и, не осмелившись приблизиться к Мариусу, стала, в свою очередь, соседкой господина Кумба; она ждала, что сын последнего не преминет дать продолжение прологу, начавшемуся у алтаря под картиной Святой Магдалины.

Но каким бы безграничным ни было ее терпение, казалось, Мариус им слишком злоупотреблял; прошло лето, наступила осень, но он так ни разу и не вступил в разговор с той, которая так благосклонно приняла его когда-то. Он с таким упорством избегал ее, что молодая особа сама устроила все так, чтоб встретить его, и, когда, наконец, такой случай представился и было совершенно невозможно спастись бегством, Мариус опустил глаза и не поднимал их до тех пор, пока девушка не скрылась из виду.

**ИЗ КОТОРОЙ ЯСНО ВИДНО,
ЧТО ЧЕМ СИЛЬНЕЕ ВЗАИМНОЕ ЖЕЛАНИЕ,
ТЕМ ТРУДНЕЕ ПОДЧАС ПОНЯТЬ ДРУГ ДРУГА**

Сдержанность и холодность, выдаваемые Мариусом по отношению к мадемуазель Мадлен, вовсе не были такими уж искренними.

Встреча с ней в церкви де ля Мажор окончательно победила его сомнения; будучи суеверным, как все искренне верующие люди, он увидел в случае, странным образом сблизившем их и столь неожиданно посвятившем молодую особу в тайну, в которой он никогда не осмелился бы ей признаться, не что иное, как явное вмешательство самого Провидения; под сильным впечатлением от этих мыслей совершенно испарились хладнокровные внушения, продиктованные ему рассудком и чувством долга, и все в его существе обратилось в сладкий голос любви, вырвавшийся из сердца.

Нахлынувшее на Мариуса чувство и необычные обстоятельства вынудили его сконцентрироваться и замкнуться в себе, таким образом, вся его внутренняя жизнь стала одной воплощенной страстью.

Однако любовь такого сильного, молодого и просто парня, каким был Мариус, не была обычной; ее характерной особенностью являлось уважение, внушаемое ему Мадлен, и это уважение существенно отличало его любовь от любых других земных чувств; оно давало Мариусу глубочайшую веру, искреннее смирение, а также те неподдельно страстные порывы, какие вызывает Мадона у благочестивого человека. Это был своего рода культ, обоготворение. Он бы охотно согласился переплыть пролив, отделяющий остров Помег от Монредона, чтоб только подышать одним воздухом с горячо любимой девушкой; он бы даже не осмелился прикоснуться кончиками пальцев к краю платья мадемуазель Мадлен, чтоб поднести его к своим губам; само ее платье казалось ему сделанным из куска мрамора, наподобие того, что было у статуи, и никогда воображение не заводило его столь далеко, чтоб мечтать потрогать его складки.

Всякий раз, как он встречался с мадемуазель Риуф, он опускал глаза, и она стала играть в его жизни ту роль, какую Бог отвел играть Солнцу в природе; каза-

лось, Мариус избегал ее, между тем мысли о ней постоянно присутствовали в его сознании.

Такое явное противоречие в душе Мариуса, способное от природы к самым решительным действиям, объясняется тем чувством, какое он испытывал, обладая более низким социальным положением по сравнению с Мадлен; разница между молодой особой, чье имя было вписано в золотую книгу самых крупных коммерсантов Марселя, и безродным бедным юношей, из милости воспитанным каким-то старшим грузчиком, была столь велика, что ему даже не представлялось возможным когда-либо устранить ее; он любил без всякой надежды, и от этого страсть его с каждым днем становилась только еще более пылкой. Она питалась несбыточными мечтами, но какими бы пустыми они ни были, само чувство от этого, как правило, никогда не страдает.

В действительности, сыну Милетты оставалось только сделать один решительный шаг в своих любовных намерениях по отношению к мадемуазель Мадлен, чтоб почувствовать себя более счастливым.

Но ему не хватало мужества с мольбой протянуть руки к той, что была ему дороже всего на свете, поэтому в немом и одиноком обожании ее он находил несказанное наслаждение.

Все те, кто как следует вспомнят состояние своей души в молодые годы, поймут Мариуса. Что стоят удовольствия и радости нашего зрелого возраста перед дивно пьянящим восторгом отрочества, когда душа изо всех сил стремится освободиться от спутывающих ее детских пеленок и, хоть и невнятно, произнести свое первое самостоятельное слово, когда дыхание женщины, легкий шелест ее платья, случайный взгляд, брошенный ею, оброненное слово или цветок, выскользнувший из ее пальчиков, способны заставить нас пережить такой несравненный экстаз, который один может составить наше представление о наслаждениях на седьмом небе?

Принятое господином Кумбом решение оставить занятие огородом и проводить большую часть времени на море предоставило Мариусу такую свободу по его возвращении в деревенский домик, какой он никогда не знал ранее; Милетта же была так счастлива регулярно видеть сына рядом и так занята домашними заботами, что ей было не до того, чтобы противиться его планам

или наблюдать за ним; и поэтому воскресный день целиком принадлежал его любовной страсти.

Безразличие Мариуса, о котором сообщалось выше, исчезло тотчас же, как только он стал уверен в явных знаках внимания к нему со стороны Мадлен. И тогда, завладев наблюдательным пунктом, заброшенным господином Кумбом, он стал подолгу проводить там время, ведя наблюдение за прекрасной соседкой; влюбленным взором он часами, спрятавшись за шторой, смотрел, как она ходила по саду, поливая растения и обрезая с кустов роз увядшие цветы; он вновь и вновь восхищался ее красотой, грацией и естественностью; и достоинства сии, ежедневно служившие содержанием того гимна любви, который пело с каждым своим биением его влюбленное сердце, всякий раз казались ему новыми и впервые открывшимися.

Если случалось так, что Мадлен выходила прогуляться по соседству, Мариус выжидал, когда она свернет за угол большой фермы, расположенной неподалеку от их деревенского домика; тогда он тайком следовал за нею; он шел с осторожностью партизана, продвигавшегося вперед где-нибудь в горах, ложась ничком, как только она случайно оборачивалась; он прятался в расщелинах скал, когда она могла неожиданно увидеть его из-за поворота дороги, а также использовал в качестве прикрытия низкорослые пихты и оливковые деревья, растущие по холмам. Когда же девушка останавливалась, он не отрывно смотрел на нее, с жадностью следя за каждым движением, за каждым невольным ее жестом. Кроме счастья лицезреть ее, такая прогулка, подчас опасная и утомительная, приносила Мариусу необычные сюрпризы: он мог нарвать цветов, которых Мадлен, нагибаясь, касалась на ходу краем платья и пальчиками, затем составить из них букет, отнести его в свою комнату и в течение всей недели адресовать этой хрупкой и переменчивой эманации королевы его мыслей такие нежные слова, какие никак не вызвали бы неодобрение какого-нибудь сентиментального студента из Франкфурта.

Так прошло лето, пока наконец его величество случай, которому, впрочем, ничего не стоило и раньше протянуть ниточку между этими двумя сердцами, столь сильно стремившимися навстречу друг другу, не решил, наконец, их сблизить.

Наступил конец сентября, и как обитатели деревенского домика, так и жители шале стали озабочены: господин Кумб — многим, ведь если осенние ветры и унесли последние ароматы с соседского сада, вызывавшего его зависть, то для равновесия осенняя погода дарила ему одну бурю за другой, — то вдруг зыбь на море превращалась в волну, то волны поднимались стеной, а потом и прогулки на острова Риу, обычно являвшиеся театром его морских подвигов, стали невозможны.

У Милетты тоже было немало причин выглядеть озабоченной: Мариуса в ближайшем будущем ожидал призыв на военную службу, вызывавший ужас у бедной матери. Она была не на шутку обеспокоена участью, какую судьба готовила совсем молодому человеку; она почувствовала настоящее потрясение при мысли, что перед ней возникнет необходимость признаться сыну в реально занимаемом ею положении; она очень опасалась, что Мариус будет немало удивлен, узнав тайну подлинных отношений бывшего грузчика со своей прислугой; ее лицо бросало в краску, а всю ее — в дрожь от одной только мысли, что надо будет признаться сыну в том, что господин Кумб не является его отцом, так и рассказать о своем бывшем муже и образе его жизни; к тому же она начинала понимать, что, как бы ни была велика вина последнего, ее собственное поведение было не в меньшей степени достойно осуждения, и ее душу стали терзать угрызения совести; она снова и снова спрашивала себя, не послужит ли ей первым наказанием проклятье того, кому она дала жизнь?

Мариус боялся наступления зимы, которая наверняка принесет с собой более редкие появления мадемуазель Риуф в шале.

Несмотря на проницательность, обычно приписываемую женщинам, Мадлен ровным счетом ничего не уловила из тех чувств, какие так тщательно скрывал от нее молодой человек, и потому испытывала уныние и усталость, которые, как правило, следуют за разочарованиями; она собственными руками строила этот роман, но от его главного героя ей не удавалось увидеть ничего, кроме тени; напрасно она старалась побороть свои скорби, беспредельно повторяя себе, что Провидение в конце концов оказалось гораздо мудрее ее, отдав предпочтение разуму перед лицом слабости, которой она поддалась; но ей никак не удавалось внушить своему сердцу такую фи-

лософию, оно кровоточило, как открытая рана. Ее чувства были слишком возвышенными, чтоб можно было позволить обратить их в заурядную досаду, и от этих переживаний она становилась все более печальной, задумчивой и болезненно выглядевшей; воспользовавшись возрастающим к ней с каждым днем расположением брата, она поручила ему управление торговым домом, чтоб иметь возможность провести в Монредоне последние прекрасные дни.

Мадлен нашла своеобразный способ борьбы с постоянно изводившей ее бессонницей — ее прогулки все чаще становились более продолжительными.

Однажды, погруженная в свои мысли, она обогнула мыс Круазет и, мечтательно настроенная, села на краю скалы, на которой с шумом разбивавшиеся морские волны оставляли красивые пенистые следы, удивительно напоминавшие своим узором кружевной гипюр.

Она медленно переводила взгляд с лазурно-голубой глади моря, чешуйчатая поверхность которого переливалась под лучами южного солнца, с огромных и прекрасных в своей наготе глыб, окружавших ее, на небо — до такой степени глубокое и непостижимо-далекое, что казалось удивительно прозрачным...

Внезапно ей показалось, что совсем недалеко от нее раздавался отчаянный крик; она поднялась, и, помогая себе руками больше, чем ногами, вскарабкалась на остроконечную вершину скалы, возвышавшейся над краем мыса, обращенным к югу. Мадлен не увидела ничего особенного, но до ее слуха внятно долетали новые, хотя и совсем слабые крики.

Она решительно двинулась в том направлении, откуда да они раздавались, что само по себе было непросто и небезопасно.

Еще в давние времена оконечность мыса Круазет полностью ушла под воду; морские волны тщательно обрабатывали прибрежные скалы; в тех местах, где они наткнулись на мрамор или гранит, вековая работа моря проявлялась в виде замысловатых рисунков, затронувших лишь верхний слой камней; если же их материал был более податливым, или если земля обнажала свои пласты, то мерно накатывавшиеся волны медленно, но верно делали свое дело, пробивая в расщелинах скал бесчисленные живописные каналы и углубления.

Церепрыгивая с уступа на уступ и со скалы на скалу, прибегая не столько к ловкости, сколько к силе, Мадлен добежала до той части косы, откуда доносились, как ей казалось, отчаянные крики.

Это было как раз то место, где мыс подходил к подножию внушительного и почти вертикально нависающего уступа. Обогнув его со стороны Мадрага, Мадлен заметила распростертого на земле мужчину, истекавшего кровью и без сознания.

Несмотря на его грязный вид и одежду, всю в лохмотьях, первым движением девушки было желание броситься к нему, обхватить и попытаться, прислонив его спиной к скале, вернуть к жизни.

Но каким бы отчаянно-смелым ни было ее желание, воплотить его ей было не под силу; поддерживаемая ею голова мужчины выскользнула из рук и вновь беспомощно падала на землю. Мадлен сочла, что он мертв, и от этой мысли ее охватил непреодолимый ужас; ей захотелось убежать, но ноги не слушались ее и подгибались; теперь она сама захотела позвать кого-нибудь на помощь, но голос замер у нее в груди; ей удалось издать лишь какой-то нечленораздельный и хриплый звук, и, лишившись чувств, она упала на землю.

Но каким бы слабым ни был ее крик о помощи, он был услышан.

На вершине скалы, возвышавшейся почти на двенадцать футов над местом трагедии, появился человек; не раздумывая ни секунды, он бросился к Мадлен, и в один прыжок, дающий возможность предположить необыкновенную мощь его мускулов, достиг ее.

Даже в своем полубморочном состоянии в человеке, столь неожиданно и быстро пришедшем ей на помощь, Мадлен безошибочно узнал сына господина Кумба, и беспорядочность мыслей и чувств не помешала ей ясно прочитывать тревогу и нежность на лице Мариуса; молитве, с которой он обращался к Всевышнему в церкви де ля Мажор, Господь так и не внял.

Она протянула к Мариусу руки с улыбкой, какую невозможно выразить словами.

— Мадемуазель, вы не ранены? — спросил ее Мариус, бледный и встревоженный, и жадно схватил протянутые к нему руки.

Мадлен, еще вся во власти сильных переживаний, не могла вымолвить ни слова в ответ; она отрицательно по-

качала головой и жестом указала на человека, без признаков жизни лежавшего в двух шагах от нее.

Внешний вид того был таким отталкивающим, что Мариус, не сумев сдержать овладевшее им чувство отвращения, инстинктивно заключил Мадлен в объятия и быстро отодвинул ее от незнакомца.

— Во имя неба, подойдите к нему, — прошептала молодая особа, — я смогу обойтись без вашей помощи, но он, кажется, умирает.

Просьба Мадлен была для Мариуса равносильна приказу.

Он подошел к бедняге, приподнял блузу, служившую единственной одеждой последнему, положил руку туда, где было сердце, и убедился, что оно еще бьется.

Он опустил свою шляпу в одну из ближайших узких лагун и плеснул в лицо незнакомцу несколько капель воды.

Ее свежесть придала мертвенно-бледным щекам незнакомца более живой оттенок; он слегка приоткрыл рот и стал дышать громко и с большим усилием.

— Дайте ему понюхать этих солей, — сказала Мадлен, подойдя ближе и протягивая молодому человеку флакон.

Под действием возбуждающего средства несчастный пришел в себя; взгляд его до сих пор тусклых глаз, неподвижно смотревших в одну точку, прояснился, и оживился, и, к большому изумлению двух молодых людей, остановился на них с ясно читаемым выражением тревожно-томительного опасения, после чего лежавший на земле тщательно оглядел окрестности, чтоб лишний раз убедиться, нет ли еще каких-нибудь свидетелей.

Мариусу и Мадлен теперь представилась возможность более внимательно изучить незнакомца; он был из числа тех, на лица которых пагубные страсти столь беспощадно накладывают свой явный отпечаток, что абсолютно невозможно определить их подлинный возраст. Его запавшие глаза, сильно покрасневшие от чрезмерного употребления алкоголя, оттененные густыми седеющими бровями, несли явный признак жестокости, что подтверждалось и формой его напряженно-сжатого до крайности рта; глубокие морщины оставили следы на его щеках, наполовину скрытых длинной и взъерошенной бородой; лоб был очень узким, коротко остриженные волосы ясно обрисовывали весь его контур, а верхняя часть лица в со-

четании с формой и размером челюстной кости окончательно придавали незнакомцу облик животного.

Как только первоначальный интерес, внушенный им молодым людям, рассеялся как дым, он показался совсем страшным.

— Бедный, бедный! — тихо сказала Мадлен, стараясь подавить отвращение, которое чувствовала к нему, — что же с вами все-таки произошло?

— Эх, черт побери! — воскликнул незнакомец, даже не заботясь о выражении признательности собеседнице и глядя на нее с потрясающей дерзостью, — если вы хотите, чтоб я заговорил, надо бы сначала промочить мне глотку.

— Что он говорит? — спросила Мадлен.

Мариус был не более терпелив, чем обыкновенно его соотечественники, но, поскольку в течение целых двух минут он видел, как реально осуществлялась мечта, о которой он никогда даже не смел помышлять, как он не во сне, а наяву ощущал тепло руки Мадлен в своей руке, все, что у него еще осталось от терпения, в нынешней ситуации сократилось вдвое.

— Послушайте, — воскликнул он, — если вы намерены продолжать в таком духе, то я вас просто брошу в ближайшую лагуну, где вы, хотя и наверняка найдете, чем напиться, рискуете дать хорошую пищу лангустам. Вы этого хотите?

Мадлен удержала молодого человека за руку, которую тот поднял, как будто намеревался немедленно привести угрозу в исполнение. В то же время она бросила на него умоляющий взгляд. Мужчина попытался приподняться, чтоб противостоять своему противнику, но, сделав довольно резкое движение, сильно затронул поврежденную часть тела и вскрикнул от боли.

Сердце Мариуса наполнила жалость; одновременно пришло осознание того печального положения, в каком находился незнакомец, и два эти чувства одержали верх над довольно злобными выходками мужчины.

— Бог мой, — сказал последний, — вовсе не для того, чтоб оскорбить эту прекрасную даму, я попросил немного вина, а с целью освежить рот после прыжка, который, я только что совершил! Подумай только, мой славный малый, что я немного вздремнул на вершине скалы, которую вы видите перед собой; я спал и мечтал о потрясающих вещах, — мне казалось, что добрый Господь по-

ручил мне произвести раздачу ударов палкой по всей земле; и вот я бил, колотил до тех пор, пока кожа на спине христиан не превратилась в одно сплошное месиво! Я бил так сильно, эх, судьба моя индейка, что сделал во сне слишком резкое движение, лежа на тюфяке из тесаных камней; внезапно мне почудилось, что моя поясница стала служить местом встречи каторжных хлыстов со всех частей света, и я упал с высоты на то место, где вы меня нашли и все еще видите.

— Да, странное местечко вы себе выбрали, чтоб поспать,— заметил Мариус.

— Ну, я был уверен, что здесь меня никто не побеспокоит,— нашелся с ответом незнакомец, слегка подмигивая Мариусу как бы в знак признательности, однако молодой человек не понял намека, а незнакомец тем временем продолжал:

— После всего, что случилось, я не защищаю свою спальню и заранее соглашусь, что по сравнению с той кроватью, что вы видите перед собой, ваше собственное лежбище должно вам определенно казаться чертовски приятным.

Мадлен и Мариус одновременно покраснели. С того самого момента, как сын Милетты пригрозил незнакомцу, девушка ни на секунду не выпускала его руку из своей; услышав такую странную и грубую речь незнакомца, она еще сильнее прижалась к своему защитнику, почти вплотную прикоснулась к нему грудью, и только положила голову к нему на плечо, как вдруг руки их разъединились, и они внезапно отодвинулись друг от друга.

— Черт возьми,— воскликнул пострадавший, заметив это движение молодых людей,— кажется, слово «лежбище» вызывает у вас страх? Кажется, я отпустил дурацкую шутку? Ведь если бы вы были женаты, вы бы не прогуливались tête-à-tête по горам и долам. Но, будьте покойны,— добавил он, вызывающе-иронично посмеиваясь,— я не имею права быть суровым, о какой бы контрабанде ни шла речь.

— Не будем больше об этом,— ответил Мариус, белея от гнева.— Вы должны понимать, что ни у меня, ни тем более у мадемуазель в кармане нет бутылки ликера; кстати, отсюда до таможенного поста не более четверти лье, и если мы пойдем туда, то упредим таможенных чиновников, и у вас наверняка будет не только то, о чем вы так страстно мечтаете, но и помощь, в которой вы сильно нуждаетесь.

Услышав такое предложение из уст Мариуса, мужчина хотел было, но не смог, скрыть слишком явно отразившиеся на его лице беспокойство и недовольство, и на мгновение утратил характерную для него наглую самоуверенность.

— Вовсе нет,— ответил он, покачивая головой,— их милосердие так далеко не распространяется; если бы я был крупным торговцем мыла или каким-нибудь судовладельцем, что ж, в добрый час, они бы точно меня сдавали в надежде получить с меня жирный кусок; но, видя мою одежку, вы непременно должны были бы понять мое положение: я всего-навсего бедный нищий, и этим славным ребятам с берегового поста ничего не стоит меня обнаружить. Нет, что вы, меня вовсе не прельщает перспектива сгнить в тюремной камере, где они как нельзя лучше позаботятся обо мне...

— Послушайте, что вы решили? — прервал его Мариус.— Скоро наступит ночь, и мы не хотим вас здесь оставлять. Ветер меняет направление на северо-западное, и совершенно ясно, что этой ночью надо ждать мистраля; морские волны будут с силой ударять о берег именно в том месте, где вы сейчас лежите; с другой стороны, если даже мы с мадемуазель объединим наши усилия, то нам никак не удастся доставить вас даже до деревни Мадраг.

— Ну, скажите еще, что вас совсем не пугает перспектива увидеть прекрасную белую ручку испачканной о лохмотья пожилого человека, ведь он очень непривлекателен, я-то знаю об этом.

— Чего вы в конце концов хотите?

— Помогите мне провести осмотр ранений.

Несчастный нищий с трудом выпрямился, и Мариус помог ему сесть; тот одну за другой вытянул перед собой обе ноги и, заметив, что они производят свои обычные движения, не причиняя ему сильной боли, с явным удовлетворением ощупал грязными и мозолистыми руками берцовые кости.

— Прекрасно,— сказал он, указывая на них,— что они остались целы и невредимы.

Затем, показывая на свои руки и пальцы, промолвил:

— За исключением двух-трех, бойцовско-охотничьи части моих рук тоже не очень пострадали; я отделался легко, не считая кое-каких повреждений моей башки.

Дня через два я снова буду словно судно, вышедшее из сухого дока после ремонта.

Он попытался встать на ноги, но когда захотел сдвинуться с места, то ушибленные части тела причинили ему такую боль, что лицо его исказилось в страшной гримасе. Мариус и Мадлен одновременно протянули к нему руки, чтоб поддержать его.

— Ах ты чертов скелет,— воскликнул нищий,— захотел понежиться, я тебя насквозь вижу! Пойдемте, надо, чтоб вы мне все-таки помогли подняться в мою спальню.

И, подняв палец, он указал на скалу, возвышавшуюся перпендикулярно к земле.

— Вы не можете провести ночь здесь, неразумно подвергать себя переменчивой погоде этого времени года, мы не допустим этого!

— Как говорится, как постелишь, так и поспишь,— ответил нищий, пожав плечами,— и потом, я так люблю свежий воздух, что лучше чувствую себя именно в том месте, какое выбрал я; смирение — одна из моих добродетелей, и, не имея других достоинств, я довольствуюсь таким гнездом, какое милосердный Господь дарит птицам на побережье.— Пошли,— добавил он, придав своему голосу гнусавый и монотонный оттенок голоса профессионального нищего,— немного милосердия, мой славный господин, и я попрошу Господа благословить ваш брак и подарить вам рай на земле.

То, с каким насмешливым неуважением были произнесены эти последние слова, лишь увеличило отвращение, вызываемое им у Мариуса, однако тот взвалил его себе на плечи, обогнул скалу, вскарабкавшись по ней там, где это было возможно, и положил нищего на небольшую площадку, венчающую вершину скалы.

Для человека, совсем не жаждавшего завязывать какие-то отношения как с таможенниками, так и с рыбаками, часто посещавшими мыс Круазет, место ночлега было выбрано превосходно.

С южной стороны каменистый выступ образовывал нечто вроде естественной крепостной стены, что создавало между ней и вертикальной стеной неплохое укрытие шириной в несколько шагов, обеспечивавшее гарантию как против северо-западного ветра, так и от любопытства гуляющих.

Заметив находившуюся там котомку нищего, Мариус решил положить его рядом с ней.

— Сюда,— сказал нищий,— ночь почти наступила, и мне здесь хорошо. Я не собираюсь кувырнуться отсюда во второй раз; только пододвиньте ко мне съестные припасы.

Мариус понял, что именно имел в виду раненый, и поднял холщовый мешок, который заметил ранее; тот оказался гораздо тяжелее, чем выглядел внешне; когда же мешок упал на скалистые камни, то раздался лязг железа, весьма удививший молодого человека.

— Что это там, внутри него? — спросил он.

— Ах, черт побери! Да не все ли равно? Может быть, и ты тоже хочешь соорудить из себя следователя? Ну, что ж, поди, продай меня таможенникам, если отважишься; но прежде, чем наступит праздник Святого Иоанна, ты увидишь горящей свою халупу, я тебе в этом клянусь!

— А я вам, в свою очередь, клянусь, что, несмотря на все ваши угрозы, именно это я устрою вам, милейший; у меня создается впечатление, что никакой вы не нищий, честно зарабатывающий на жизнь, прося милостыню у христиан.

Пока Мариус так говорил, нищий просунул руку в свою котомку, вытащил оттуда дорожную флягу и сделал из нее несколько жадных глотков; порция горячительного взбодрила его и придала еще больше дерзости; сделав невероятное усилие, он встал во весь рост и бросился на того, кто столь великодушно пришел ему только что на помощь.

Из груди Мадлен вырвался испуганный крик, отзывавшийся многократным эхом по скалам.

Но для молодого человека такой выпад не был неожиданностью; движением быстрым, как мысль, он резко откинулся назад и, достав из своего кармана широкий нож, приставил его прямо к груди нападающего, угрожая ему.

Последний увидел в темноте блеснувшие как молния три яркие отсвета: один от лезвия ножа, два других исходили из глаз молодого человека; он тотчас понял, что имеет дело с противником храбрым и решительным, и, с потрясающей легкостью изменив угрожающее выражение лица на относительно дружелюбное, вернул на прежнее место, в карман, кинжал, что держал между большим и указательным пальцами, и расхохотался.

— Ну так,— произнес он сквозь смех,— я ж вам говорил, что глоток водки послужит великолепным восста-

новительным средством для меня. И при том что я выпил всего лишь несколько капель, я уже в состоянии нагнать на вас страх... Ну-ка, положите обратно в карман ваше орудие для вскрытия мидий и съедобных ракушек, мой мальчик; вы же вряд ли позволите себе направить его против бедняка, который, в свою очередь, не окажется до такой степени неблагодарной тварью, чтоб захотеть причинить зло тем, кто спас ему жизнь.

Затем добавил, видя, что Мариус вовсе не собирается изменить занятую им оборонительную позицию:

— Да ну же, полноте! — и небрежно ударил ногой по своей мистической котомке, — вам по-прежнему очень хочется узнать, что же лежит там внутри? Это гвозди и куски бугелей, которые я отрываю от обломков судов, потерпевших кораблекрушение и которые нам посылает его величество мистраль; это совсем неприбыльный промысел, но каким бы скудным он ни был, правительство позволяет им заниматься и не очень-то страдает от того, что мы ему создаем конкуренцию; именно поэтому меня мало беспокоит визит таможенных чиновников. Другое дело — вы; я абсолютно уверен, что вы не захотите оставить несчастного без средств к существованию. Что ж, поройтесь в моей котомке, если вам будет угодно.

Покорность, с какой это было сказано нищим, произвела именно тот эффект, какой он и предвидел; мгновенно перейдя от своего недавнего впечатления к чрезмерному доверию по отношению к нищему, молодой человек, казалось, сразу поверил словам своего собеседника и даже не соблаговолил проверить их точность.

— Пусть будет так, — сказал он, — но опасности, сопряженные с вашей профессией, должны были бы придать больше осторожности вашим высказываниям.

— Эх-хе-хе, — пробормотал нищий, — несчастья ожесточили мой характер. Очень грустно, — продолжал он, стараясь придать своему голосу слезливый оттенок, — никогда не быть уверенным, будут ли завтра хлеб и лук на твоём столе. Вы только что говорили о милосердии, мой добрый господин; увы! Его не существует на земле; Господь желает, чтобы мы обретали его там — наверху.

В опровержение последних слов нищего Мариус вложил в руку несчастного все деньги, какие у него были в тот момент при себе. Мадлен сгорала от желания быть в деле милосердия вместе с тем, кого она любила; но

тщетно она проверяла свои карманы — она вышла из дома без денег.

— Милейший,— сказала Мадлен,— вы еще совсем не в том возрасте, чтоб отчаяться обрести положение лучше, чем ваше сегодняшнее; как только сможете, зайдите ко мне; я посмотрю, что будет возможно сделать для вас, и если вы не примете моих предложений, то по крайней мере визит ко мне даст вам возможность получить порядочную милостыню

— Я приду, хотя бы просто для того, чтоб поблагодарить вас за оказанную мне помощь, моя прекрасная барышня,— произнес нищий лицемерным тоном, в котором он столь преуспел,— но для того, чтоб отыскать вас, надо бы знать, где именно вы проживаете

— Улица Паради, дом семьи Риуф; каждый укажет вам, где находится наша контора.

— Это контора негоцианта?

— Да, но, быть может, Марсель находится вдалеке от того места, что служит вам убежищем; тогда приходите в Монредон, где я живу в деревенском доме; вы найдете его легко, если запомните мою фамилию.

— Мадемуазель Риуф, я и не подумаю забыть ее. И, если вы позволите, я приду к вам в бюро,— продолжал нищий с живостью,— мне это больше подходит.

Он вновь расположился на своей кровати из камней, и двое молодых людей удалились.

Когда они отошли на несколько шагов, то услышали голос оставленного ими несчастного нищего, крикнувшего им вслед с весьма насмешливой и пошлой интонацией:

— Повеселитесь как следует в дороге, мои молоденькие голубки!

В этой циничной шутке, прозвучавшей посреди величественного шума волн, нежно ласкавших береговые скалы, было нечто зловещее, что так и полоснуло Мариуса по сердцу; он еще крепче сжал руку Мадлен, которую бережно поддерживал во время трудного перехода через хаотичное нагромождение каменных блоков самой причудливой формы, лежащих на их пути.

— Вы совершенно напрасно дали адрес этому человеку,— сказал Мариус.

Молодая особа не ответила, поскольку в данный момент испытывала ощущение, отличное от того, какому был подвержен ее спутник; и, каким бы жутким ни казалась ей глушь, где они затерялись, с одной стороны—

среди каменных колоссов, чьи грандиозные силуэты закрывали собой чуть не половину небесного свода, а с другой — среди живого моря, темная поверхность которого, изредка нарушаемая пенисто-кружевной рябью, простиралась вплоть до самого горизонта, Мадлен не испытывала никаких иных чувств, кроме одного — любви. Рядом с тем, кого избрало ее сердце, она чувствовала себя столь же уверенно и надежно, как если бы находилась на главной улице города — Канебьер, и бесконечно гордилась силой, что черпала в этом новом для нее чувстве, и беспрдельно радовалась покою, что царил в ее душе.

Мариус, напротив, чем дальше они удалялись от единственного живого существа, остающегося в этих местах, тем все сильнее волновался.

Первое, что он испытал, было ощущение страха. Шагов 500—600 надо было пройти по скалам, прежде чем им удастся выйти на дорогу, которая серпантинном спускалась по склонам горы, выводя к фабрикам Мадрага. Дорога, которой они должны были проследовать, была не только трудной, но и опасной: из-за влажности южной ночи поверхность скал стала скользкой; любой неверно сделанный обоими путешественниками шаг мог привести к падению в пропасть.

При мысли об этом Мариус задрожал всем телом, испугавшись не за себя, а за Мадлен.

Прыгая с вершины одной скалы на другую, девушка оступилась, на мгновение зависла над разделявшей молодых людей расщелиной, в которую она наверняка упала бы, если бы рука молодого человека вовремя не поддержала ее. Мариус почувствовал, как волосы зашевелились на его голове и что-то сдавило грудь, перестало хватать воздуха; он поднял девушку одним рывком своих мускулистых рук, сила которых возросла многократно от только что испытанного им ужаса, и принялся карабкаться по прибрежным отвесным скалам, взбираться по холмам, форсировать овраги с невыразимым рвением и головокружительной скоростью; он нес ее, словно волк, с трудом вырвавший свою добычу в овчарне, нес так, как только мать несет свое дитя, спасенное после кораблекрушения.

Мадлен и не думала об опасностях, подстерегавших их обоих во время этого безумного бега; она улыбалась, видя того, кого любила, таким смелым и сильным.

Удача, сопутствовавшая столь дерзкой эскападе, по-немногу успокоила то лихорадочное возбуждение, какое было вызвано у молодого человека чувством страха.

Он стал различать биение сердца рядом со своей грудью, и сердце это принадлежало Мадлен.

Волосы девушки, наполовину растрепавшиеся из-за стремительного бега по скалам, нежно касались лица Мариуса и своим веянием буквально опьяняли.

Его пульс резко участился и кровь бросилась ему в голову; тысячи разрозненных идей пронеслись у него в мозгу и вызвали там смятение.

Внезапно растрогавшись, он был готов броситься на колени перед Господом и поблагодарить его за ниспосланное счастье, достойным которого он даже никогда не осмелился бы считать себя.

Затем чувства Маргуса воспламенились с новой силой и его охватило непреодолимое желание прижаться губами к губам той, чей теплый и благоухающий запах он вдыхал всеми своими фибрами; если вслед за таким блаженством наступила бы сама смерть, то она бы была уже освящена.

Потом, в результате внезапно происшедшей в нем перемены, он подумал, что счастье, перед лицом которого должен побледнеть избранный из избранных, если и продлится, то лишь одно мгновение, и что буквально через несколько минут, когда Мадлен уже сможет обойтись без его услуг, они снова станут чужими друг другу. Тогда душераздирающая тоска уступила место мучительной, нестерпимой боли; он посмотрел на окружающие его горы и захотел вскарабкаться на самую вершину одной из них, спрятать там свое сокровище и в недостижимом уединении противостоят этому миру со всеми его предрасудками.

Мадлен, слышавшая прерывистое дыхание Мариуса, беспокоилась, видя предпринимаемые им нечеловеческие усилия для преодоления встречавшихся на каждом шагу препятствий, как бы какое-то случайное падение не оказалось роковым, и уже несколько раз умоляла его остановиться, но, казалось, молодой человек не слышал ее.

Они добрались, наконец, до каменной площадки, образующей естественный парапет дороги, отделявшей ее от пропасти; в один прыжок Мариус преодолел его и оказался на дороге. На горизонте Мадлен увидела сверкаю-

щие огни города, а внизу различила огоньки Мадрага и Монредона.

Она подумала, что Мариус собирается остановиться; он же, вместо того чтоб продолжать путь по дороге, пересек ее и устремился к той стороне, что выходила к морю.

Его дыхание стало громким и свистящим, как кузнечные мехи; он судорожно прижимал девушку к своей груди, и даже сквозь одежду она чувствовала, как ногти ее спутника вонзались ей в кожу.

Она догадалась о случившемся с ним и попыталась освободиться из его объятий, но, казалось, тот заключил ее в железные оковы.

Какую бы нежность, она ни питала к тому, кого мечтала увидеть своим мужем, она почувствовала, как дрожь пробежала по всему ее телу, и сердце сжалось от ужаса.

— Помилуйте, пощадите, Мариус! — воскликнула она.

При звуке ее голоса молодой человек, казалось, очнулся ото сна; он выпустил из рук пучок шалфея, сорванный им с целью помогать себе во время эскапады, разжал руки, и Мадлен, соскользнув на землю, устремилась к дороге. Возбуждение ее было столь велико, что она вынуждена была ненадолго присесть.

В течение нескольких мгновений ее чувства были парализованы, а состояние колебалось между жизнью и смертью; она ничего не слышала, не видела и не отдавала себе отчета в происходящем вокруг нее.

Придя в себя, она стала искать Мариуса, но не нашла его рядом. Она позвала, но никто не ответил ей; с тревогой в голосе Мадлен повторяла имя молодого человека.

Вдруг ей послышались где-то у подножия горы жалобные стоны и рыдания, и она побежала на их звук.

Мадлен заметила молодого человека, он лежал на том самом месте, откуда она убежала, выскользнув из его рук; лежал, распростершись на скале, которую омывал горячими слезами.

— Подойдите, — сказала она ему.

Мариус не сделал ни одного движения, лишь рыдания его усилились и стали походить на спазматические.

В этот момент луна поднялась над холмами Святого Варравы и осветила скалы, чьи сероватые грани, казалось, покрылись сверкающим снегом, как только их коснулись лучи ночного светила.

Море было похоже на серебряное озеро, усыпанное фосфоресцирующими искрами, и глухой рокот его волн единственно нарушал покой природы.

На фоне этой величественной картины сердце Мадлен, уже тронутое болью молодого человека, совершенно оттаяло; ее страх и гнев рассеялись и улетучились, как туман при первых лучах утреннего солнца.

Она наклонилась к Марнису, и голосом совсем тихим, как будто сама боялась услышать то, что собиралась произнести, вымолвила:

— Отчего же вы плачете, ведь я люблю вас!

Глава XII,

ИЗ КОТОРОЙ СТАНЕТ ЯСНО, КАК, ЖЕЛАЯ ВЫЛОВИТЬ РЫБКУ, ГОСПОДИН КУМБ ПОЙМАЛ СЕКРЕТ

Рыбная ловля с лихвой возмещала господину Кумбу убытки, доставляемые садоводческими муками.

Казалось, самым небом ему было предначертано, словно Аттиле нового времени, выловить всю рыбу в Марсельском заливе.

В удачные дни каждый вечер он возвращался домой, как он сам выражался на своем, скорее выдуманном, нежели академическом языке, со «сладострастно-пышным» уловом рыбы и с той презрительно-пренебрежительной улыбкой на лице, которая, как правило, характерна для счастливых победителей; каждый вечер он мог приготовить такое блюдо буйабеса, какое по своему объему и качеству могло произвести должное впечатление на том знаменитом обеде, во время которого дама из Грангузье съела столько тरेбухи.

К несчастью, чем ближе была зима, чем реже происходили обильные трапезы с шафранным соусом, тем все заметнее становилось дурное настроение господина Кумба.

Целыми днями небо было затянуто мрачными тучами; всегда такое лазурно-голубое Средиземное море приобрело серовато-пепельный оттенок, а белокурой и нежной Амфитрите, казалось, хотелось, словно мятежному исполниту, взобраться на самое небо, ломая руки в облаках и завывая таким угрожающим голосом, который наводит ужас на побережье.

Целыми неделями господин Кумб ходил взад-вперед от своего деревенского домика к лодке и от нее обратно к домику, с тревогой всматриваясь в небо, потирая руки при малейшем затишье на море, тотчас отвязывая лодку от креплений, готовясь выйти на ней в море, почти одновременно с этим угадывая за усилившимся штормом недолговечность своей надежды и меланхолично созерцая набегающие друг на друга высокие морские волны, монотонно разбивающие свои мощные пенисто-кружевные спирали о прибрежные скалы. Он методично подсчитывал то количество рыбы, какое могло содержаться в каждой волне, и дистанцию, что отделяла всю эту рыбу от его кастрюль, и был в высшей степени расположен к одному — наказать это море, отказывавшееся выдать ему гу добычу, какую он так страстно и так неистово жаждал.

Ему прекрасно удавалось отомстить морю на морских окунях и лобанах, которые во время бури искали теплую воду в заливе; правда, однажды он весьма неосторожно слишком далеко продвинулся вперед с целью забросить свой рыболовный крючок как можно дальше в открытое море, тогда он был накрыт и опрокинут чудовищных размеров волной, и если бы не помощь одного молодого военнослужащего, восторженного фанатика, в течение двух часов сидевшего рядом с господином Кумбом, бравшего урок у столь искусного преподавателя, то сей последний, наказанный в отместку — око за око, зуб за зуб — был бы наверняка унесен в море, что предоставило бы жителям морских глубин весьма легкий для исполнения и одновременно аппетитный вид мести.

И потом, надо сказать к чести господина Кумба, что он пренебрегал такой мелкой добычей, как окуни и лобаны. Будучи истинным марсельцем, он ценил лишь рыбу, выловленную среди прибрежных скал, и, хотя ее обвиняли в присутствии ей одной запахе тины, господину Кумбу представлялось, что именно благодаря этой отличительной особенности она удостоивается почести лежать на его столе.

Когда же море решалось пойти на некоторые уступки в добрососедских отношениях с господином Кумбом, когда оно проявляло покорность к нему, бывший грузчик торопился выйти в открытое море, но волнение было таким сильным, что ему приходилось потрудиться до седьмого пота, чтоб сдвинуть свою шаланду с места. Эти лодки с плоским дном были очень тяжелыми, и лишь це-

ной невероятных усилий и ломоты во всем теле господину Кумбу удавалось достичь своего любимого места в море.

Как-то раз господину Кумбу пришла одна идея, и он терпеливо ждал воскресенья — единственно возможного дня для приведения ее в исполнение.

Эта идея, ради которой надо было, по меньшей мере, отказаться одному наслаждаться своими радостями, заключалась в намерении увлечь Мариуса за собой в великое братство рыболовов.

Такой сильный и смелый молодой человек должен был прекрасно справиться с веслами. С его помощью господин Кумб надеялся пренебречь ветрами и бурями и даже возмнил, что по крайней мере раз в неделю будет обеспечен буйабесом, пока продлится скверная погода.

В субботу вечером, когда сын Милетты пришел к ним в домик, он показался господину Кумбу таким довольным и радостным, что последний был немало удивлен. Ему, разумеется, даже не пришла в голову мысль приписать счастливое выражение лица его крестника не тому предложению, какое господин Кумб собирался ему вот-вот сделать, а какой-нибудь другой причине; но, поскольку бывший грузчик в глубочайшей тайне хранил секрет своих планов, он был искренне удивлен той неординарной способности предчувствовать, которая осветила Мариуса внутренним светом в преддверии ожидавшей его счастливой судьбы.

По окончании ужина господин Кумб откинулся на спинку стула и, полуприкрыв глаза и приняв позу высокого министра, благожелательно расположенного к своему протеже, с расстановкой в голосе, торжественным тоном, более подходящим для чрезвычайных обстоятельств, объявил Мариусу, что завтра он соблаговолит допустить его разделить вместе с ним все радости необычной рыбной ловли

Но энтузиазм, с каким молодой человек воспринял это известие, ничуть не соответствовал важности этого события; внимательный наблюдатель тотчас заметил бы, как улыбка улетучилась с его уст при первых же словах бывшего грузчика; однако последний был слишком высокого мнения о тех милостях, какими он осыпал своего крестника; к тому же он был слишком озабочен собственными приготовлениями, чтоб подвергать скрупулезному физиономическому анализу лицо своего будущего ученика.

Только Мариус проявил намерение прогуляться после вечерней трапезы в садике, как господин Кумб строго запретил ему делать это, и, чтоб самому быть уверенным в том, что никто и ничто не отвлечет его крестника в канун боевого дня и что он найдет того полным сил и бодрости, когда наступит час отправляться в путь, он взял и запер Мариуса в его комнате.

Задолго до наступления рассвета господин Кумб соскочил с постели и пошел будить сына Милетты; он позвал того несколько раз, но не получил ответа; тогда вставил ключ в замок, порывисто распахнул дверь, повышенным тоном награждая молодого человека всевозможными эпитетами, придуманными с целью смутить лентяя, но тщетно; он с силой сдернул покрывало, не встретив при этом никакого сопротивления и, ощупав матрацы, заметил, что место, где должен был лежать Мариус, оставалось пустым и холодным.

Превосходное поведение воспитанника господина Кумба и почтительно-уважительное отношение к тому, кого он считал своим благодетелем, никогда — об этом мы уже упоминали выше — не брали верх над отвращением, какое сей последний испытывал к Мариусу.

Господин Кумб тотчас же подумал о своих деньгах; и благодаря своему пылкому, как у всех южан, воображению он извлек из этого ночного побега самые прискорбные выводы. Одним прыжком он достиг лестницы, чтоб побежать и скорее спасти свой секретер, представлявший ему взломанным, разбитым, изуродованным, трепещущим, словно только что убитая живая плоть; со вспоротыми мешочками с эю и двумя подвесами, трогательно ниспадающими по его приоткрытым створкам.

И почти в тот же миг господин Кумб остановился.

Он вдруг отчетливо услышал сухой звук развевавшейся на ветру простыни и увидел открытое окно, откуда доносился этот звук.

Господин Кумб подошел к окну; там он обнаружил простыню, один конёц которой был прикреплен к подоконнику, а другой болтался по земле.

Было совершенно очевидно, что тайное бегство молодого человека если и имело какую-то цель, то вне дома, а не внутри него, поскольку каждый вечер двери и ставни тщательно запирались владельцем.

Столь убедительное доказательство несколько успокоило господина Кумба; однако он был слишком боль-

шим приверженцем строгого соблюдения правил во всем, чтоб терпеливо сносить тот прискорбный беспорядок, какой его воспитанник вносил своими непредвиденными распахиваниями окон деревенского домика. Он был готов дать волю своему негодованию; он даже в сердцах сорвал подвернувшуюся ветку кустарника, как вдруг запнулся на месте от проснувшегося в нем любопытства.

— А что, черт возьми, мог делать Мариус в садике в половине пятого утра?!

Такой восклицательно-вопросительной фразой задался господин Кумб; нравы и обычаи марсельцев были таковы, что ни одно предположение, каким бы естественным оно ни было, не могло оправдать подобную выходку.

Тогда господин Кумб попытался немедленно узнать о серьезных причинах, побудивших Мариуса предпринять столь раннюю прогулку; он встал на колени перед окном и, сдерживая дыхание, испытующим взглядом стал обследовать участок, обнесенный оградой.

Сначала он не различил ничего; затем глаза его понемногу привыкли к темноте и он заметил тень, отбрасываемую на дом лестницей, прислоненной к стене, отделявшей садик господина Кумба от владений господина Риуфа.

Не надо было даже и стараться, чтоб надежно укрыть эту лестницу, ночной сумрак сам искусно позаботился об этом.

Господин Кумб задался еще одним вопросом: быть может, сыну Милетты, более удачливому, чем он сам, случайно удалось обнаружить кое-какие фрукты на деревьях, по которым бесполезно, увы, на протяжении уже двадцати лет скользил он своим инквизиторским взглядом?

Однако тень, или скорее Мариус, быстро преодолев так называемые плодоносные места, достигла верхнего края стены и, обосновавшись верхом на ней, издала легкий свист.

Совершенно очевидно, что этот сигнал был адресован кому-то из живших на территории соседнего владения.

Господин Кумб испытал то, что должен был скорее всего испытывать путешественник, затерявшийся в страшных пустынных ущельях Олиула и услышавший, как от скалы к скале разносится крик о помощи Гаспара де Бресса. Этот свист превратил кожу господина Кумба в гусиную и заставил выступить холодный пот на его лбу.

Он так и не оценил выгоды глубокого, прочного мира, почти на протяжении полугода предоставляемого ему бывшими преследователями; к тому же его садоводческие скорби прекрасно подкармливали ту сильнейшую ненависть, какую он питал к тем; советы Милетты, замечания Мариуса рождались, чтоб сразу же разбиться о неприступность идей, появившихся в его голове от досады и злобы. Чрезмерно преувеличенные вследствие одинокого образа жизни хозяина, эти чувства заставили господина Кумба перейти все границы разумного и впасть в абсурд: никогда в жизни он не захотел бы признать тот факт, что сад господ Риуфов распространял благодаря морскому ветру неповторимый аромат лишь для того, чтоб порадовать глаз и доставить приятное его владельцам; он был совершенно убежден, что великолепие зелени и цветов соседи добивались лишь одной цели — унижить его и подшутить над ним, и каждый день он не только не ждал ничего хорошего, но готовился к худшему.

Получив реальное подтверждение сношений своего питомца с его личными врагами, заподозрив Мариуса даже в связи с ними взаимным соглашением и в вынашивании недобрых замыслов, всегда готового представить его врагам слабое место с целью сделать более острой ту травлю, под угрозой которой он все еще чувствовал себя, — при мысли обо всем этом господин Кумб задрожал от гнева. Первое, о чем он подумал, придя в яростное исступление, так это о том, чтоб воспользоваться своим опытом владения оружием и направить его против предателя; затем он поднял ветку, которую держал в руке, и прицелился ею в своего питомца.

К счастью для господина Кумба и для Мариуса, ветка все-таки была веткой, а не ружьем. Отыскивая дрожащим пальцем спусковой крючок на этом воображаемом ружье, он вдруг заметил, что в растерянности только что совершил странный промах; он с силой отбросил ветку и стремглав бросился в свою комнату.

Господин Кумб был настолько вне себя от гнева, что, несмотря на почти математическую точность, с какой каждой клеточке его мозга соответствовало место, занимаемое в его доме буквально любой принадлежавшей ему вещь, он в бешеном возбуждении ходил взад-вперед по своей узкой комнатенке, шаря по всем углам и в темноте ощупывая рукой предметы, которые могли иметь

хоть какое-то отдаленное сходство с великолепным ружьем, проданным ему Зауэром; но они были, однако, не способны заменить оружие в большей степени, чем только что брошенная им ветка.

И лишь несколько мгновений спустя, когда сумятица его мыслей и чувств понемногу улеглась, он вспомнил, как накануне, почистив свое ружье, оставил его в углу рядом с очагом, то есть поступил так, как каждый хороший охотник, предпринимавший меры предосторожности в подобной ситуации.

Он быстро спустился на первый этаж, осторожно ступая и стараясь не шуметь, чтобы не разбудить Милетту, которая с наступлением осени спала на диване единственной комнаты в доме, где поддерживался огонь.

Господин Кумб схватился за свое ружье с такой жадностью, с какой это мог сделать только одичавший заключенный, увидевший в нем свое спасение; с азартом истинного охотника он передернул затвор, но, поскольку ружье было почищено, оно было пустым, и его следовало зарядить.

Но из-за резкости, с какой им было сделано это движение, оно утратило свою естественную непосредственность; однако господин Кумб был решительно готов преподать то, что называется настоящим уроком, этому молодому негодяю; но мы полагаем, что ему уже пришла в голову мысль стрелять или немного выше, или немного ниже живой цели, которую он собирался проучить, это, впрочем, не являлось никакой гарантией для последней.

Глава XIII,

В КОТОРОЙ ГОСПОДИН КУМБ ПРЕВОСХОДИТ В ЛУКАВСТВЕ САМОГО МАКИАВЕЛЛИ

Каким бы заядлым охотником ни был господин Кумб, у него не было времени для приобретения того основательного опыта, который позволяет с закрытыми глазами в полной темноте заряжать ружье; ему пришлось зажечь лампу, чтобы тем самым компенсировать нехватку необходимого навыка. Он, как обычно, зажег ночник спичкой, и фитиль вмиг загорелся багрово-алым пламенем; свет от него, смутный и мерцающий, падая на стены, оставлял на них самые невероятные и фантастические рисунки. Внезапно пламя сильно разгорелось от под-

литого масла и осветило ярким светом всю комнату; господин Кумб бросился к пороховнице и к сумке с охотничьей дробью.

Во время этого резкого движения его взгляд упал на Милетту; женщина спала безмятежным сном, и из-за ритмичного дыхания ее грудь с одинаковыми интервалами то вздымалась, то опускалась; лицо ее было совершенно спокойно, легкая улыбка застыла на губах, и жизнь продолжалась во сне. Ей, вероятно, снился тот, по кому ее хозяин в этот самый момент готовился нанести смертельный выстрел.

Такое необычное сравнение вдруг пришло на ум господину Кумбу, тем не менее он почти никак не отреагировал на него, оно просто немного опечалило его; впервые за всю свою жизнь он упрекнул себя за то глубочайшее и смиренное самопожертвование, то беззаветное самоотречение и нежность, что составляли жизнь его прислуги; впервые за все время он отметил, какой благородной и великодушной была она и каким мелким и ничтожным был он; и тогда ружье выскользнуло у него из рук и с шумом упало на пол; но коль скоро впечатление господина Кумба было неожиданным, реакция его была внезапной — возникшее вдруг убеждение винить в своих ошибках самого себя лишь многократно усилило его примитивный гнев. Он не убрал на место свое ружье, но поставил его на предохранитель и, схватив палку от метлы, находившуюся в пределах его досягаемости, бросился к выходу из дома, полный решимости употребить ее на то, на что она была предназначена самим Господом.

Господин Кумб побежал к стене, но, к своему великому изумлению, уже не обнаружил там лестницы. Он вернулся в дом; простыня, выдававшая Мариуса, больше не свисала из окна, а была убрана туда, откуда совсем недавно показалась; окно сына Милетты, плотно закрытое, приняло вполне приличный и невинный вид, какой демонстрировали и соседние окна.

Господин Кумб начал было рычать от охватившего его гнева, но был прерван необычным звуком:

Он услышал, как из соседского сада дважды раздалось «гм», которое явно было ответом на свист, прозвучавший из уст Мариуса, как сигнал; и это «гм», несомненно, принадлежало голосу женщины.

Сердце господина Кумба сжалось от волнения и стало биться так, что готово было вырваться у него из гру-

ди, и он, стараясь изо всех сил придать своему голосу юношескую интонацию, ответил на зов, доносившийся из соседнего сада, как никогда ранее заинтересованный в разгадке сей тайны.

Не успел он ответить на зов, как к его ногам упало что-то довольно тяжелое, брошенное из-за общей для обоих участков стены. Это был камень, обернутый клочком тщательно сложенной бумаги; бывший грузчик временно его конфисковал, — что бы там ни случилось, секрет молодого человека лежал у него в кармане. Впрочем, не стоило упускать случая еще глубже проникнуть в этот секрет. Господин Кумб вновь кашлянул, на этот раз не столь удачно, но он услышал, как захрустел песок под ножкой той, что пришла крадучись; было ясно, что анонимная корреспондентка удалялась.

Господин Кумб, ничего не ответив Милетте, проснувшейся от шума упавшего ружья и не знавшей, что и думать при виде совершенно расстроенного лица своего хозяина, взял лампу и поднялся к себе в комнату.

Вот содержание поднятого им клочка бумаги:

«Печальная новость, мой друг! При одной только мысли, что я вынуждена вам ее сообщить, у меня от боли сжимается сердце и все мое существо восстает против пера, на долю которого выпала столь печальная обязанность. Грядущее воскресенье, в предвкушении которого мы так радовались, станет и для меня, и для вас таким же томительно длинным, как все те пустые и бесконечно тянущиеся дни недели, которые столь безжалостно разлучают нас друг с другом. Я очень надеялась избежать скучной обязанности присутствовать на семейном обеде, о котором я вам упоминала; но это оказалось совершенно невозможным для меня: мой брат, разумеется, по совершенно иному, нежели мои собственные, намерениям, принял в точности такое же решение, как и я — вовсе не показываясь на упомянутом праздничном обеде; я просила, плакала, я даже умоляла его — и все это я говорю вам единственно для того, чтоб вы могли гордиться, мой друг, но все было напрасно, его упрямство невозможно было побороть. Наши общие планы столь настоятельно требуют от нас поступать с ним осторожно, что вы вряд ли станете на меня сильно сердиться за мою уступку ему; кстати, моя покорность сегодня — это доброе предзнаменование нашего с вами обще-

го завтра. Не падайте духом, мой друг! И пусть наши желания сольются в едином хоре и дойдут до Господа, по воле которого мы не только уже провели столько часов вдали друг от друга, но нам еще предстоит их немало, пока наконец не наступит тот долгожданный день, когда мы сможем сдержать клятву, данную нами на прибрежных скалах. Прощайте, мой друг! Я нежно сжимаю ваши руки в своих и столько думаю о вас, что вряд ли стоит говорить вам: «Думайте обо мне!»

Письмо сие было подписано весьма красноречиво: *«Мадлен Риуф»*.

Со всей искренностью любви и присущей только молодости решимостью юная особа была счастлива придать этому листку бумаги ценность векселя.

Господин Кумб стал мечтательно размышлять; он рассматривал послание мадемуазель Риуф со всех сторон, как будто ей удалось утаить между строк какой-то важный смысл, который никак не угадывался. И тогда он откровенно стал сыпать проклятья, то полные презрения, то бешеные и яростные: первые — по поводу бесстыдства женщин, вторые — в адрес неблагодарности мужчин.

Вдруг он заметил постскрипtum, чуть было не оставленный им без внимания из-за слишком изящного почерка вышеупомянутой:

«Только будьте как можно более осмотрительным», — приписала мадемуазель Мадлен в конце письма. — «Не показывайтесь даже у ворот нашей общей границы до тех пор, пока я не подготовлю Жана к своим прихотям! Остерегайтесь появляться завтра, в мое отсутствие, в нашей дорогой рощице, поскольку, по всей видимости, ваш будущий шурин проведет в шале весь день и вечер».

Теперь уже не было никакого сомнения — невозможно было принять язык мадемуазель Мадлен за какой-нибудь мальгашский. Господин Кумб не знал, что ему делать — смеяться или плакать.

На самом деле он испытывал одновременно оба эти ощущения.

Как все эгоисты на свете, он не понимал, что в этом мире могло бы поколебать счастье того, кто его испы-

тывал, если тот поступал так, как ему было приятно. Он даже не помышлял о тех выгодах, какие сулил бы брак Мариуса, столь далеко превосходящий его упования; предметом заботы господина Кумба было то, что сам он называл предательством его крестника; оно казалось ему не только постыдным, но прежде всего преступным, и никакой вид наказания не мог быть слишком суровым, чтобы покарать Мариуса. Думая об этом, господин Кумб испытывал некое странное чувство растроганности, полное горечи и презрительной ярости.

С другой стороны, так как он испытывал глубочайшее уважение к существовавшей социальной иерархии, союз сына Пьера Мана, бывшего осужденного, с мадемуазель, принадлежавшей к слоям торговой олигархии города Марселя, представлялся ему чем-то безумно шутовским. О таком прекрасном замысле было написано в письме без обиняков, прямо, но он не мог в это поверить; господин Кумб так и надеялся увидеть какого-нибудь смешного чертика, хитро подмигивающего из-за уголка письма, как порой случается, когда открываешь табакерку.

— Эх-хе-хе, это уж слишком забавно,— воскликнул господин Кумб,— сын этого негодяя Мана и Милетты, моей служанки — ведь что ни говори, но она прежде всего лишь моя служанка,— верит, что женится на даме, которой я в его возрасте не осмелился бы даже предложить выпить святой воды из моих рук! Ай-ай, бедняжка! Это так же смешно, как если бы мэр глухой провинции захотел управлять Марселем! Ну и смеется же она над ним, как умная рыба тунец над каким-нибудь пехотинцем!

Затем, подумав вдруг совсем о другом, он добавил:

— Ах ты, негодный мальчишка! Теперь я понимаю, почему ты так хотел умерить мою злобу по отношению к тому, кто заставил меня пережить столь скверные ночи, почему ты отказал мне в моем страстном желании убить его — именно в том, чего он заслужил; ты уже забросил удочку в ее огород, и она, прожорливая, как скорпена, уже выпрыгнула из воды, чтоб схватить добычу на крючке. Бог мой, ну и молодежь пошла! Веры в Бога у них не больше, чем здравого смысла; можно подумать, что письмо это написано какой-нибудь дамой с площади Комедии. Тыфу ты! Я уже не молод, но клянусь, что ни за что бы не захотел иметь отношений с такой бесстыдной девицей. Его, быть может, прельщает не сама эта жен-

щина, а ее соблазнительный дом; он хочет стать богатым, ведь стремление к богатству и счастью столь же заразительно, как и чувство бешеного гнева,— с гордым видом ходить по саду, в котором столько прекрасных цветов, и, в свою очередь, издеваться над бедным и скромным деревенским домиком, где по моей милости он был воспитан. Эх, черт возьми! Не будет этого, говорю я вам! Так вот, мне надо оказать ему услугу, помешать и дальше верить во всю эту чепуху; и не отдам я ему это письмо; он пойдет на свидание в ту самую рощицу и встретится там с ее братом; и, судьба-индейка, пусть они сойдутся и подерутся, пусть как следует поколотят друг друга и даже убьют! Эх, если уж нет прибыли, так по крайней мере, не будет и убытка!

Сделав столь милосердное признание, господин Кумб спрятал письмо вместе со своими бумагами и позвал Мариуса.

Как ему показалось, он не обнаружил слишком большого замешательства, выдававшего подлинное состояние на лице молодого человека; внезапно опустившись на землю с тех высот, где он витал вместе с Макиавелли, господин Кумб продемонстрировал потрясающее умение скрывать свои мысли и чувства: он был таким предупредительным и радушным с сыном Милетты, таким веселым и непринужденным в разговоре и вообще вел себя столь сердечно, что Мариус, внутренне трепетавший от страха при мысли, как бы строгий крестный отец не застал его врасплох во время утренней попытки предупредить Мадлен о неожиданной помехе, на целый день разделявшей их, совершенно успокоился. Мариус вытащил свою толстую лесу с нанизанными на нее рыболовными крючками, не находя в этом занятии никакого развлечения.

Однако господин Кумб все устроил так, что они покинули деревенский домик, когда день уже был в полном разгаре.

Глава XIV НИЩИЙ

Рыбная ловля лишь тогда доставляет удовольствие, когда предаешься ей со всею страстью; однако, как и все на этом свете, она требует от человека вполне определенных навыков. Сколь бы мало ни был расположен Ма-

риус к тому, чтоб испытать все на собственном опыте, ему пришлось выдержать этот экзамен.

Рыбки повисали на двух крючках, которыми было снабжено его оружие — лёса, так стремительно, что целиком озабоченный снятием их с крючков, подтягиванием лесы и очередным забрасыванием ее на тридцать — сорок морских саженей в воду, он уже не вспоминал о Мадлен с той упорной настойчивостью, с какой мысленно пообещал самому себе делать это.

Но по пути от островов Риу к Монредону в мыслях его неожиданно произошла перемена, правда, по ряду самых разных причин.

Сердце молодого человека явственно почувствовало настоящие угрызения совести, когда он честно признался себе, что его неповторимая любовь, какой бы сильной он ее ни считал, уступила свое главенствующее место какой-то ничтожной забаве; он вдруг сравнил грубые утехы, каким он столь легко уступил, с теми невыразимыми радостями, кои доставили бы ему лишь несколько мгновений общения с Мадлен, с тем несказанным счастьем, что дарил ему случай — мельком увидеть ее прелестный силуэт за приоткрытыми жалюзи, и под наплывом этих мыслей и чувств он густо покраснел и готов уже был поддаться искушению выбросить в море и лесу, и рыбок — соучастников и провокаторов его собственной ошибки. Кроме того, тревога охватила его всего, и мучительная тоска сжала сердце.

В тот незабываемый момент, когда в уединенном месте, под скалой, мадемуазель Риуф призналась ему в любви, молодые люди сразу же, по дороге в Монредон, стали строить планы своего совместного будущего. Та нежная любовь, что Мадлен питала к своему другу, была столь чистой, что, едва дав обещания, девушка находила уже совершенно естественным разрешить Мариусу приходить к ней, преодолевая стену, разделявшую два соседних участка. И тогда, минувшим воскресным днем, в час, когда еще все в домике господина Кумба спали, сын Милетты тайком проник к своей прекрасной соседке, у ног которой провел немало сладких минут, непрерывно повторяя ей волшебные клятвы в любви, дивно-восхитительные как для произносившего, так и для слушавшей их. В течение целой недели он жил одной надеждой, что наступающее воскресенье будет в точности походить на предыдущее, и, когда утром господин Кумб своим нео-

жиданно-резким вторжением помешал ему предупредить дорогую Мадлен об отмене очередного свидания, он внутренне затрепетал от страха при мысли, как бы это отсутствие она не приняла за равнодушие, даже отдаленно непохожее на те чувства, какие он в действительности питал к ней; он очень сильно опасался, как бы не исчезли те прекрасные, удивительные мечты, что в течение последних восьми дней он нежно лелеял в своей душе.

Солнце садилось за горизонт; его лучи уже окрасили в пурпурно-золотой цвет и скалы острова Помег, и светлые крепостные стены замка Иф; день приближался к концу, и молодой человек, поддаваясь только что описанным нами ощущениям, еще сильнее приналег на весла, чтоб заставить тяжелую лодку быстрее преодолеть дистанцию, отделявшую пока его от дома.

Господин Кумб лукаво-насмешливо поглядывал на усилия, прилагаемые его воспитанником; и так же, как сочность и вкус буйабеса напрямую зависят от качества рыбы, так и он под благовидным предлогом увещевал его удвоить их, что, впрочем, не помешало ему, когда они, наконец, достигли берега и Мариус стремглав помчался к домику, удержать его, чтоб на практике закрепить теорию того искусства, которую с самого раннего утра он непрерывно излагал ему, а именно наглядно объяснить, что умение поймать рыбку само по себе ничего не значит, если к этому таланту не присовокупляется главный— умение старательно обращаться с необходимыми для рыбной ловли снастями.

Одному Богу известно, какой силы воли стоило бедному юноше помогать бывшему грузчику вытаскивать лодку на песчаный берег так далеко, как это было необходимо, чтобы уберечь ее от морского шторма, затем опорожнять и чистить ее и, наконец, крепить многочисленными якорными цепями и швартовыми; да и потом уж господин Кумб постарался привнести во все необходимые, сберегающие рыболовные снасти рабочие мелочи ту торжественную медлительность, какая лишь усиливала испытываемое его крестником нетерпение.

Наконец, когда парень, как всякий новичок-рыболов, был нагружен несколькими корзинами со всякими снастями и рыбой, когда ко всему этому весьма внушительному грузу господин Кумб прибавил еще весла, багры, кошки, лодочный руль,— только тогда он позволил ему направиться к домику.

Первой заботой Мариуса, когда он вошел в дом, было подняться к себе в комнату, чтоб как можно быстрее бросить взгляд на владения своей возлюбленной.

Увы, напрасно он искал ее по всей протяженности соседнего участка; напрасно пристально вглядывался в цветники, которые сохраняли, сообразно с благоприятным климатическим даром природы, какую-то таинственную пышность, несмотря на наступившее время года; но та, чей силуэт он столь безуспешно искал взглядом, не сидела, читая под сводами зеленой листвы; не проходила по узким аллеям, неспешно прогуливаясь с мечтательным видом, как тогда, когда Мариус был далек от мысли даже предположить, что мог уже занимать какое-то место в ее грезах. Сад оставался пустынным; а заросли бересклета и лавра, где они еще совсем недавно обменивались нежными и сладкими речами, приняли, как ему показалось, какой-то мрачный и унылый вид; он так и не уперся взглядом в сам шале, чьи плотно закрытые ставни еще вчера, как он помнил, не имели столь угрожающе-мрачный вид.

Сердце Мариуса сжалось, предчувствия не обманули его. Уныло-пустынный и скорбный облик увиденной им картины, какая, несомненно, была зеркальным отражением душевного состояния его возлюбленной, поразил его, и вдруг стало совершенно очевидно, что причиной всему явилось его проклятое отсутствие. Всем сердцем, всем существом своим он призывал на помощь густую сень деревьев, которая, благосклонно скрывая его ночную эскападу, позволила бы ему пройти на соседнюю территорию, чтоб оправдаться перед Мадлен; и должны были пройти часы прежде, чем наступит тот долгожданный момент, когда ночная тень укроет собою оба домика, и предстоящее ожидание уже заранее казалось таким долгим, что буквально приводило его в отчаяние.

Господин Кумб, напротив, выглядел веселым; он приправил семейный обед такими удачными шутками, что заставил Милетту от удивления широко раскрыть глаза; по нахмуренным же бровям своего крестника, по его упорному молчанию, по написанному у него на лице отчаянию хозяин деревенского домика понял, что внутренне тот был довольно решительно настроен нанести визит на территорию сада мадемуазель Риуф; и господин

Кумб весело потирал руки при мысли о скорой неожиданной развязке, какую он столь ловко подготовил для обоих, о том унижении, которое, как следствие разоблачений, он заставит испытать своего врага господина Жана Риуфа, и, наконец, о том прекрасном уроке, какой в результате всего будет преподан самозванцу Мариуса!

И, чтоб предоставить последнему полную свободу действий, господин Кумб в конце трапезы торжественно объявил, что он, желая воспользоваться прекрасной погодой, выйдет в море и расставит на побережье сети.

Молодой человек было испугался, уж не возьмет ли крестный отец и на сей раз его себе в помощники, но господин Кумб, казалось, весь проникшийся искренней нежностью к Милетте, сказал последней, что было бы слишком жестоко снова лишать ее радости общения с дорогим ее сердцу чадом.

Едва господин Кумб удалился, как Мариус поднялся на свой наблюдательный пункт; изучение им соседней территории было, пожалуй, столь же безуспешным, как и в первый раз; однако он обнаружил, что на сей раз окна первого этажа шале были распахнуты, из чего он заключил, что Мадлен, возмущившись его холодностью, или, быть может, внезапно заболев, осталась сидеть взаперти в своих апартаментах; эти предположения лишь еще больше укрепили его решимость пойти и найти ее, и пусть для этого понадобится проникнуть в ее дом, он сделает это, как только наступит ночь. Ожидая наступления ночи, Мариус вернулся к матери, в одиночестве прогуливавшейся по садику.

Мы уже упоминали ранее о мучительных, терзавших Милетту переживаниях; и чем быстрее приближался роковой момент, тем они становились все сильнее и сильнее; уж раз двадцать она пыталась было поведать сыну печальную историю своей жизни, как всякий раз мужество оставляло ее в тот самый момент, когда надо было начинать рассказ. А Мариус в глубине души, по-видимому, продолжал считать себя сыном господина Кумба.

Случай излить свою душу, освободить ее от накопившихся там за долгие месяцы тревог, представился столь удачно, что Милетта, внутренне готовившаяся к такому разговору, в который раз размышляла, стоит ли донести до сына свою печальную исповедь.

Она медленно шла по аллейке, высокопарно называемой господином Кумбом авеню, являвшейся в действительности самой заурядной дорожкой, из конца в конец пересекавшей весь участок и выходившей прямо на улицу; Милетта дотошно исследовала свою совесть, как бы ища, что могло послужить оправданием ошибки, чьи пагубные последствия она до конца осознавала только теперь; вновь и вновь она задавала себе все тот же вопрос — что она могла бы ответить сыну на его упрек, почему она не сумела сохранить свое достоинство — то единственное достояние, какое он вправе был ожидать от нее.

В самом конце авеню — будем придерживаться терминологии, введенной самим хозяином, — господин Кумб посадил несколько дюжин сосен, которым, несмотря на все упорство прилагаемое к росту, так никогда и не удалось достичь заметной высоты, и были они вровень со стеной, окружавшей их. Само собой разумеется, что владельцем деревенского домика это хаотичное нагромождение корявых и чахлах деревьев было названо ни больше, ни меньше, как сосновый бор, как будто раскинулся он на площади в сто арпан.

Бывший грузчик не мог считать себя обладателем подобия тени, не думая о максимальном извлечении прибыли даже из этого. И тогда он установил в сосновом бору скамейку; задача сия была не из легких, поскольку самые высокие сосны образовывали точную копию зонтика, ручка которого была воткнута в землю. Тем не менее, благоразумно пригнув голову и подобрав под себя ноги, можно было сесть на скамейку господина Кумба. Положение сидящего нельзя было назвать самым удобным, но в целом, за исключением, правда, фигового дерева, которое господин Кумб оставлял для себя, это было единственное место с наличием какой-то тени; и поскольку с этой скамейки, расположенной в двух шагах от решетки ограды, видны были редкие прохожие на дороге, у Милетты, которая не была избалована своим хозяином по части развлечений, выработалась привычка приходить сюда каждый день и чинить домашнее белье.

Только Милетта в задумчивости заняла свое излюбленное место, как увидела подходящего к ней Мариуса; она сразу почувствовала, как ее внутренняя тревога нарастает, две большие слезы навернулись ей на ресницы,

затем медленно покатались по щекам, ставшим еще бледнее из-за переживаемого ею беспокойства: она взяла своего сына за руки и, задыхаясь от волнения, не в силах произнести ни слова, сделала ему знак сесть подле нее.

Будучи в состоянии крайней опечаленности, Мариус в этот момент был более, чем обычно, восприимчив к настроению своих близких; и печаль матери так глубоко тронула его сердце, что он умолял ее поведать ему причину столь очевидной грусти.

Вместо ответа Милетта бросилась ему на шею и в порыве отчаяния крепко обняла его, умоляюще глядя ему в глаза.

Мариус с еще большей настойчивостью обратился к ней:

— Что с вами, матушка? Сердце мое разрывается, когда я вижу вас в таком состоянии. Бог мой, ответьте же, что с вами стряслось? Если я своим поведением заслужил ваши упреки, то почему тогда вы не желаете адресовать их мне прямо, без обиняков? Вы учили меня быть послушным по отношению к тем, кого любишь, а сомневаться в том, что я вас люблю означает огорчить меня больше, чем своими самыми справедливыми упреками. Может быть, кто-то обидел вас, матушка? В таком случае назовите мне его имя и вы найдете во мне человека, готового защитить вас и наказать его, как я поступил в случае, когда речь шла о моем... вернее, о нашем благодетеле. Полноте, матушка, ну не плачьте же, ваши рыдания разрывают мне сердце! Я бы предпочел видеть, как капля за каплей убывает моя собственная кровь, чем видеть слезы, вытекающие из ваших прекрасных глаз! Так вы не любите больше своего сына, раз не считаете его достойным вашего доверия? Разве можно что-то утаить от того, кого любишь? Разве не должно всем делиться с ними; и радостями, и горестями? Знаете ли вы, моя матушка, что у меня тоже есть секрет, и вы не поверите, насколько сильно он меня тяготит, ведь я не могу поделиться им с вами. Но, будь что будет, я расскажу вам о нем, я доверю его вам, чтоб подать пример и чтоб вы больше не боялись своего сына и могли всегда рассчитывать на сохранение им тайны и на его сыновнюю преданность.

Милетта слушала, но не слышала его слов; до ее слуха доходило лишь горячее выражение сыновней пре-

данности, и эта музыкальная гармония любви доставляла ее душе восторг; однако хаотичность ее мыслей была столь велика, что она и не пыталась уловить смысл его слов.

— Дитя мое, мое дорогое дитя! — воскликнула она, — поклянись мне — что бы ни случилось, ты не станешь проклинать свою мать; поклянись мне и в том, что если ты осудишь ее или даже заклеймишь, то твоя сыновняя любовь защитит ее; поклянись мне, что эта любовь навсегда останется со мной, поскольку это мое единственное достояние, и никогда прежде, вплоть до сего часа, я не чувствовала, чтоб этому достоянию угрожала такая опасность. Я бы хотела быть мертвой, мой Бог! Да, я бы хотела умереть! Умереть, только-то?! Но потерять любовь того, кого я носила в своей утробе, кого я выкормила своим молоком, того, кто мне стоил столько пота и крови — это для меня совершенно невозможно! Нет, Господь не допустит этого!.. Успокойся, Мариус, сейчас я все расскажу, — продолжала несчастная женщина, едва переводя дух и буквально помертвев от страха, — я все скажу, ведь невозможно, чтоб ты перестал меня любить, сейчас я расскажу обо всем.

— О, сделайте милость, говорите, матушка! — ответил молодой человек, бледный и взволнованный не меньше матери. — Что же случилось, о милосердный Боже?! Как вы только могли предположить, что я перестану почитать вас — самую достойную из достойных уважения женщин, перестану любить и беречь вас — самую нежную из всех матерей? Вы, в свою очередь, заставляете меня трепетать от страха и дурных предчувствий; рассейте же их как можно скорее. Разве вы не останетесь для меня дорогой матерью, какую бы ошибку вы ни совершили, ведь мать для своего сына так же, как Господь Бог для людей, является непогрешимой, не так ли? Да нет, не может быть, чтоб вы, воспитывавшая меня в духе соблюдения законов чести, сами были лишены этих благородных качеств. Ваша собственная порядочность вводит вас в заблуждение; расскажите же мне все, чтоб я вас утешил, откройтесь мне, я вас успокою, излейте мне душу, я умоляю вас об этом!

Милетта сильно переоценила свои силы; рыдания душили ее, она не владела своим голосом, и единственное, что она смогла сделать, — это броситься на колени

перед своим сыном и бесчувственными губами вымолвить только одно слово: «Прости!»

Увидев мать свою на коленях перед собой, Мариус порывисто обнял ее и приподнял.

При этом он повернулся спиной ко входу в садик, к которому Милетта как раз сидела лицом.

Внезапно глаза последней невероятно широко раскрылись, и рассеянным взором она стала пристально смотреть в сторону улицы; затем махнула рукой, как бы желая отогнать это жуткое видение и, не в силах сдержаться, громко и испуганно вскрикнула.

Мариус вздрогнул и резко обернулся; при этом край его одежды слегка коснулся одежд человека, который, тихо отворив калитку, почти уже вошел на территорию садика.

В человеке этом Мариус узнал того самого нищего, которого он вместе с Мадлен спас от верной гибели среди скал; в руках тот держал нечто, напоминавшее шляпу, лицо его выражало покорную гримасу нищего, столь характерную для людей его профессии и тихим голосом, почти шепотом, он произнес избитую фразу, с какой обычно нищие обращаются к прохожим, прося у них милостыню.

Мариус решил, что неожиданное появление нищего с его ужасно страшной физиономией стало единственной причиной испуга его матери, и он резко крикнул ему, чтоб тот убирался прочь.

Однако и нищий, в свою очередь, узнал его; милостыня, поданная молодым человеком во время первой их встречи, казалось, придала ему не только уверенность в ее весьма вероятном вторичном получении, но и послужила невероятным основанием настойчиво требовать ее. Он нахлобучил свою шляпу, и по лицу его, которому он так старался придать глуповато-безмятежное выражение, пробежала легкая тень нагло-дерзкой ухмылки.

— Эх, черт возьми,— воскликнул он,— двое старых знакомых не расстаются таким образом!

— Ах, Боже мой, вы поступаете безжалостно,— промолвила Милетта, ломая себе от отчаяния руки.

— Да уйдешь ты, наконец, отсюда или нет, несчастный? — заорал Мариус, схватив нищего за шиворот и с силой тряс его.

— Э, поосторожнее! У меня нет, как у вас, одежды

на смену: И если я считаю необходимым не уходить отсюда, то лишь потому, что очень не люблю, когда надо мной насмеются, вот и все.

— Чего вы хотите? Ну же, говорите! — вновь взял слово Мариус, надеясь таким образом быстрее отделаться от назойливого нищего.— Ну, на что вы жалуетесь?

— Я жалуюсь на то, что прекрасная мадемуазель, с которой вы так нежно прогуливались две недели тому назад и дышали свежим воздухом там, на берегу, со стороны косы, так вот, эта самая мадемуазель посмеялась надо мной, как какой-нибудь марсовый матрос над рядовым солдатом; я явился к ней в дом, то есть поступил согласно ее же собственному распоряжению, и голько я открыл дверь ее конторы — признаться, богатой конторы, что, впрочем, лишний раз доказывает мне ваш правильный выбор, молодой человек,— как оказался с глазу на глаз с ее служащими, выгнавшими меня на улицу, как какого-нибудь прокаженного оборванца! В порядочных домах так с людьми не поступают!

— Возьмите,— сказал Мариус, вытаскивая из кармана одну монету,— а теперь уходите отсюда!

— Половина из сказанного тогда мадемуазель стоит дороже этого вашего подаяния,— ответил нищий, пренебрежительно вертя милостыню в руке.

— Жалкий человек! — воскликнул Мариус, сжимая кулак.

— Э-э-э! Что это с вами, ведь я все-таки выражаю вам свою благодарность,— быстро возразил нищий с присущим ему бесстыдством,— вы гораздо любезнее, когда ухаживаете за юной особой, чем тогда, когда спорите со старухой; впрочем, это само собой разумеется. Не думайте только, что я на вас обижаюсь; и доказательство этому следующее — если вы, как я полагаю, собираясь жениться на малышке, вынуждены уволить опытную пожилую служащую, к чему вы, собственно, приступили к моменту моего прихода, то я завершу свою речь комплиментом в ваш адрес, если еще не слишком досадил вам.

— А я, в свою очередь, сейчас проучу тебя за наглость! — сказал Мариус, бросаясь на нищего.

Шум начавшейся борьбы вывел Милетту, до сих пор неподвижно сидевшую на корточках, закрыв лицо руками и нервно вздрагивавшую всем телом от сотрясав-

ших ее рыданий, из того состояния оцепенения, в которое она была повергнута происходящим на ее глазах.

— Мариус! Мариус! — воскликнула она, — именем Господа заклинаю, не поднимай руку на этого человека. Сын мой, прошу тебя, умоляю тебя об этом, наконец, приказываю тебе! Этот человек, Мариус, святой для тебя!

С большим трудом бедная женщина едва внятно выдохнула последнюю фразу, и силы оставили ее; руки, в умоляющем жесте протянутые к сыну, безжизненно упали вдоль тела, туман заволок ей глаза, и, потеряв сознание, она стала медленно опускаться и упала на песчаную дорожку.

Но боровшиеся никак не могли ее услышать; с первых же минут драки Мариус, будучи сильнее своего противника, вытолкнул его за ограду садика, и оба, покачившись, оказались в дорожной пыли.

Когда сын Милетты смог наконец высвободиться из цепких рук нищего, старавшегося подмять его под себя он вернулся в садик и нашел свою мать лежавшей без чувств.

Он взял ее на руки и отнес в домик.

Однако он не позаботился о том, чтобы закрыть за собой дверь, и раньше, чем он успел повернуться к нищему спиной, тот открыл ее и бесшумно проскользнул в сосновый бор, тень которого, благодаря темноте, постепенно окутывавшей землю, создавала ему укрытие, вполне достаточно для того, чтоб быть незаметным как из шале Мадлен, так и из домика господина Кумба.

Глава XV

ПРИЗНАНИЯ

К тому времени, когда Мариус шел к деревенскому домику, неся на руках свою мать, лишившуюся чувств, господина Кумба еще не было дома.

Мариус бережно положил ее на широкий диван, служивший ей кроватью, и тотчас попытался привести ее в чувство.

Прошло несколько минут, и Милетта открыла глаза; но в первый миг она подумала не о сыне, — конвульсивно содрогаясь всем телом и громко стуча зубами,

она быстро окинула комнату взглядом, исполненным ужаса. Бедная женщина определенно кого-то искала и в то же время трепетала от страха при мысли обнаружить этого человека.

Убедившись, что Мариус один в комнате, она приложила руку ко лбу, словно пытаясь все вспомнить, и, когда только что происшедшее ясно и отчетливо возникло в ее памяти, слезы с новой силой хлынули у нее из глаз и рыдания ее возобновились.

— Вы приводите меня в отчаяние, матушка! — воскликнул Мариус.— Все происходящее кажется мне каким-то сном. Я пытаюсь, но никак не могу постичь, что же могло до такой степени расстроить вас.

— О, Рука Провидения! Рука Провидения! — механически повторяла Милетта, словно беседовала сама с собой.

— Придите же в себя, матушка, умоляю вас! Успокойтесь!

— Длань самого Господа! — повторила еще раз бедная женщина.

— Так вы хотите, чтобы и я, в свою очередь, потерял рассудок? — спросил молодой человек, нервно дергая себя за волосы.— Откройте же мне, в чем дело. Почему вы так дрожите, моя горячо любимая матушка? И о какой ошибке вы только что упоминали? Какой бы она ни была, смею вас заверить, что я также понесу ее груз; если даже речь идет о позоре, то я разделю его вместе с вами и не стану вас меньше боготворить из-за этого. Скажите мне, матушка, почему вы встали передо мной на колени, когда этот несчастный своим неожиданным появлением прервал наш разговор?

Упоминание о нищем только усилило и без того ужасное состояние Милетты; она сложила руки и в порыве невыразимого словами отчаяния протянула их к небу.

— Почему, о мой Господь, ты ему позволил сделать это? Почему? — воскликнула она.— А ты, мой бедный сын, что же ты наделал!

— Чем вы так сильно озабочены, матушка моя? Я прогнал нахального бездельника, который в награду за оказанную ему мной помощь не придумал ничего лучшего, как взять и оскорбить вас. Полноте! У нас с вами остается слишком мало времени для разговора. С минуты на минуту может вернуться отец. Поторопитесь,

матушка, открыться мне, и я вас утешу; расскажите мне, что произошло, и я буду страдать вместе с вами Говорите же!

— Ах, так ты и знать не желаешь, чего это стоит матери, когда приходится краснеть перед собственным ребенком? Скажи мне об этом человеке, что был здесь только что, об этом несчастном, что с ним стало?

— Да не все ли вам равно? О вас, а не о нем идет речь, моя матушка.

Милетта ничего не ответила; закрыв лицо руками, она спрятала его на коленях.

Ее молчание лишь усиливало тревогу молодого человека и удваивало его сомнения. Он ничуть не преувеличивал испытываемых им уважения и нежности к той, благодаря которой он появился на свет. Будучи по натуре серьезнее и вдумчивее своих сверстников, он уже мог по достоинству оценить благородство ее жизни — такой непритязательной и покорной, и во многом подражала матери, восхищаясь поистине стоической безропотностью, с какой она приспособилась к весьма переменчивому нраву того, кого он считал своим отцом, не переставая удивляться ангельской кротости, с какой она переносила причуды последнего. Иными словами, Милетта являлась для собственного сына святой, достойной почитания всеми на земле; он совершенно не представлял, что же могло столь сильно взбудоражить ее душу, до сих пор такую чистую и безмятежную.

Но, когда он натолкнулся на ее глухое молчание, заговорив о нищем, когда он вспомнил, какое сильное впечатление на его мать произвело появление последнего, когда ему на память вдруг пришли слова, долетевшие до его слуха во время драки с этим несчастным, он начал думать, что человек этот, наверное, являлся, в каком-то смысле, причиной удручающе-тяжелого состояния Милетты, и, инстинктивно испытывая чувство стыда, не стал более расстраивать ее.

Он присел на краю дивана, взял ее за руку, и в течение нескольких минут они оба, не в состоянии вымолвить ни слова, сидели неподвижно.

Первой нарушила молчание, ставшее ее тяготить, бедная женщина.

— Так, значит, ты уже не впервые встречаешь этого человека? — спросила Милетта дрожащим голосом.

— Нет, матушка, однажды я нашел его среди скал.

И Мариус рассказал матери о том, что сделал во время первой встречи для нищего, умолчав об участии мадемуазель Риуф в этом акте милосердия и о присутствии последней на том мысе.

— Бедный, несчастный! — прошептала Милетта по окончании его рассказа.

— Разве вы его знаете, матушка? — вымолвил Мариус, испытывая тревогу.

Минуту жена Пьера Мана колебалась; затем собрала все свое мужество, но его не было достаточно для преодоления чувства страха, внушаемого ей необходимостью сделать это признание; и она отрицательно покачала головой.

Мариус не мог поверить, чтоб с уст матери слетела ложь; он с облегчением вздохнул, как будто с души его сняли тяжелый груз.

— Ну что ж, тем лучше,— сказал он,— поскольку происшедшее сегодня лишь подтверждает мои подозрения, родившиеся на днях, и поскольку я теперь убежден, что, спасая его тогда, я оказал обществу плохую услугу...

— Мариус!

— ...Так как этот мнимый нищий просто бандит...

— Мариус!

— ...Падкий на какое-нибудь новое преступление!

— О, замолчи!

— Почему я должен молчать, матушка?

— О, если бы ты только знал, кого ты хулишь! Если бы ты знал, кому ты адресуешь эти слова,— воскликнула Милетта, словно безумная.

— Матушка моя, что это за человек? Скажите, потому что это необходимо. Поскольку речь идет о чести нашей семьи, о том единственном, что я имею полное право защищать, я позволяю себе приказывать, и я приказываю

Затем, испугавшись оцепенения, охватившего Милетту при звуке его голоса, обычно нежного, а сейчас неожиданно сурового и угрожающего в обращении с ней, он, изменив интонацию, продолжил так:

— Нет-нет, я не приказываю вам; разве мои мольбы и слезы ровным счетом ничего не значат для вас? Я плачу и умоляю вас. Теперь я встаю перед вами на колени и заклинаю вас, моя матушка. Объясните же мне, по какой ужасной воле случая могли возникнуть какие-

то отношения между вами — такой благородной, честной и целомудренной — и им, этим отвратительным типом!

— Ты узнаешь все, сын мой, но еще раз умоляю тебя — помолчи, не говори так. Совсем недавно ты сам мне сказал: «Мать все равно, что Господь Бог для своего дитя, и так же, как он, она непогрешима». Так вот, Мариус, ты должен посочувствовать нищете этого человека и облегчить его страдания; ты не имеешь права обращать свой взор на совершаемые им ошибки; ты обязан простить ему его преступления; и каким бы отвратительным он ни был для всех, для тебя он должен оставаться святым...

— Матушка!

— Этот человек, Мариус, твой отец!

И с трудом выдохнув эти последние слова, Милетта, совершенно подавленная и обессиленная, вновь упала на диван. Услышав их, Мариус сделался бледным как полотно и несколько минут, словно пораженный громом, сидел неподвижно; затем, бросившись Милетте на шею, крепко сжал ее в своих объятиях и, прижимая ее к своей груди, стал покрывать лицо ее нежными поцелуями и горячими слезами.

— Вы же видите, моя дорогая матушка,— воскликнул он,— что я по-прежнему люблю вас!

Прошло несколько мгновений, во время которых раздавались лишь поцелуи и рыдания матери и сына.

Затем Милетта рассказала сыну обо всем том, о чем уже знают наши читатели.

Когда она заканчивала свою печальную повесть, неоднократно прерывающуюся из-за спазмов отчаяния, сжимавших ей горло, сын продолжал задумчиво сидеть, облокотясь о край дивана и подперев голову рукой, тогда как Милетта, наклонившись к нему, положила голову ему на плечо и еще сильнее придвинулась к тому, кто вскоре должен будет стать, как подсказывала ей интуиция, ее единственной поддержкой.

— Матушка моя,— сказал он ей значительно и в то же время нежно,— не надо плакать. Ваши слезы только еще больше обвиняют того, благодаря кому наши судьбы столь несчастны; мне не позволительно в этом смысле присоединяться к вам. Я могу только сожалеть о судьбе Пьера Мана — моего отца. Ваша ошибка будет совсем легкой, когда Господь Бог положит ее на

весы, на которых он взвешивает все наши поступки. И он не будет по отношению к вам более строг, чем к одному из ангелов, так же как и вы, впавшему в заблуждение, я уверен в этом. Что же касается вашего сына, то он вас любит во сто крат больше, нежели прежде, — больше с того момента, как ему открылись скорби и страдания вашей жизни, потому что он увидел вас несчастной; так не падайте же духом.

Мариус поднялся и сделал несколько шагов по комнате.

— Завтра, матушка, — сказал он, — нам необходимо сделать два дела.

— Какие? — спросила Милетта, слушавшая молодого человека с почти благоговейным вниманием.

— Первое состоит в том, чтоб покинуть этот дом.

— Мы уедем!

— Не беспокойтесь, матушка, о своей будущей судьбе; я смел и полон сил; к тому же с тем чувством долга, что благодаря вам столь сильно воспитано во мне, я заявляю, что вы без всяких сомнений можете опереться на меня и без опасений можете рассчитывать на своего сына.

— О, я обещаю тебе это, мой дорогой сын.

— Затем, — продолжил молодой человек глухим голосом, — нам надо будет найти... того, кого вы сами знаете.

— Боже правый! — воскликнула Милетта, дрожа от страха.

— Не подумайте, матушка, что я намереваюсь заставить вас вновь разделить свою жизнь с тем, кто так виноват перед вами. Вовсе нет; но этот человек страдает, у него нет крова над головой; быть может, ему нечего есть, а ведь он мне отец, и я обязан разделить плоды моего труда между вами и им. И потом, — понизив голос, продолжил Мариус, — кто знает? Быть может, мои мольбы заставят его порвать со своей достойной сожаления прошлой жизнью и начать вести более праведную жизнь.

Мариус говорил все это спокойно и просто, и только внутренняя энергия, заключенная в его голосе, одновременно обнаруживала твердость духа и возвышенность его чувств. Обожание, испытываемое Милеттой к своему исполненному благородства сыну, заставило ее на время забыть о собственных горестях.

Однако одна ее боль все равно оставалась острой и даже жгучей.

Милетта никогда не стремилась вникнуть в социальные теории, но, сама того не подозревая, она опровергла их. Когда муж бросил ее, ей казалось, что общество не может оставить ее без поддержки. И, когда такая предстала, она искренне поверила, что ее долг состоит в том, чтоб быть такой же преданной, покорной и верной тому, кто протянул ей в трудную минуту руку помощи,— быть такой, какой она была в браке, освещенном самим Господом Богом. Вследствие этого ее одолевали сомнения, и ей трудно было ответить на вопрос, насколько правильным было занимаемое ею положение с точки зрения закона. Она до конца осознала это лишь в самое последнее время, когда сам закон наглядно продемонстрировал ей неудобства такого положения, ведь он запрещал принимать все преимущества этого не освященного церковью брака, а в лице Мариуса не признавал никого другого, кроме как сына Пьера Мана.

Но если рассудок ее и уступал перед очевидностью этого факта, то о сердце ее нельзя было так сказать: Милетта никогда не испытывала к господину Кумбу того, что принято называть любовью. Чувство, испытываемое ею к нему, можно обозначить словом «привязанность» — чувство весьма неопределенное, а основания для него чаще всего мало ощутимы и почти всегда различны; но чувство это, только бесконечно более сильное, было сродни любви, потому что оно, так же как и последняя, способно пережить бури, оставляющие черные тучи на самых светлых и прекрасных горизонтах, и еще потому, что время, возраст и привычка лишь многократно усиливают это чувство и, в противоположность любви, заставляют его возрастать с каждым днем.

Прошло 20 лет их сожительства, и, несмотря на необычные церемонии, какие господин Кумб приносил в свои ласки, несмотря на весь его эгоизм, его глупую заносчивость, его высокомерие к окружающим, его колкие шутки и скупость, в душе Милетты привязанность к этому человеку находилась в непосредственной близости к той, что она питала к своему сыну.

И, какой бы покорной судьбе она ни была, мысль о возможности вскоре покинуть дом бывшего грузчика и никогда более не видеть последнего, как громом пора-

зила ее; она не могла себе представить, чтобы такое стало возможным.

— Но,— робко и нерешительно сказала она своему сыну,— как нам объявить о нашем решении господину Кумбу?

— Я позабочусь об этом, матушка.

— Бог мой! Что же с ним будет, когда он останется совсем один?

Молодой человек словно прочел в душе матери и понял, чего ей стоила такая жертва.

— Матушка моя,— сказал он почтительно, но твердо,— я никогда не забуду того, что сделал для меня мой благодетель: всю свою жизнь я буду помнить, как он качал меня на своих коленях, как на протяжении двадцати лет я ел его хлеб; как утром и вечером я упоминал его в своих молитвах, и я надеюсь, что Господь не позволит мне умереть прежде, чем я успею доказать, какую признательность и любовь я питаю в душе моей к этому человеку; но я не нахожу возможным продлевать наше пребывание в этом доме.

Затем, видя, как при этих словах рыдания Милетты возобновились с новой силой, добавил:

— Я не имею никакого права сильно влиять на ваше решение, моя добрая матушка; я понимаю, насколько тяжело вам покидать дом, где вы были столь счастливы и вступать в будущее, в котором вы не уверены. Я понимаю, насколько жестоко требовать от вас отказаться от дружбы, которая была вам так дорога, поэтому я готов примириться с вашей волей, и не бойтесь, что я стану роптать или жаловаться на судьбу. Если вы останетесь в этом доме, я буду лишен счастья заключать вас в свои объятия, но сердце мое будет с вами и всегда будет принадлежать вам.

Милетта порывисто обняла своего сына, тем самым давая понять, что он одержал моральную победу над ее сомнениями и сетованиями.

— Матушка моя, поверьте в то, что ваши страдания — это мои страдания; и чем больше вы будете страдать, тем больше буду страдать и я.

И, освободившись из ее объятий, Мариус стремительно бросился к выходу, словно хотел избавить мать от душераздирающей картины захлестнувших его эмоций, с которыми не в силах была справиться даже его крепкая натура.

До сих пор он не думал о Мадлен.

Но последние слова матери вызвали в его душе образ девушки; благодаря этому подробности только что происшедшей сцены с невероятной ясностью представились ему.

Он, будучи сыном вовсе не господина Кумба — почтенного труженика, уважаемого и богатого, а сыном Пьера Мана, однажды заклеянного правосудием и, быть может, не один раз осужденного за свои поступки людьми, — он, Мариус, уже больше не мог, по крайней мере по малодушию или по безрассудству, мечтать о союзе с мадемуазель Мадлен Риуф.

И от этой мысли, иглой пронзившей его, он испытал ужасное потрясение.

Кубарем покотившись по земле и впиваясь в нее ногтями, он плакал навзрыд и яростно бросал в ночь свои проклятья: слишком сильным и неожиданным было его падение, и потому — столь мучительным для него. В течение нескольких минут он не мог отдать себе отчета о происходящем в его мозгу; единственное, что способны были вымолвить его губы, — это незабвенное имя Мадлен.

Затем мало-помалу мысли его приостановили свой беспорядочный ход и вошли в свое привычное русло; он покраснел от того, что мог так сильно поддаться отчаянию, и решил бороться и победить его.

— Что ж, надо быть мужчиной, — промолвил он, — и если надо страдать, то я буду страдать так, как подобает мужчине. Я сказал матушке о двух вещах, требующих немедленного исполнения; я нахожу, что есть еще и третья, и она касается лично меня: сказать всю правду мадемуазель Мадлен и освободить ее от данной ею клятвы.

Подавляя последнее рыдание и сдерживая слезы, против его воли все еще бежавшие из глаз, Мариус пошел искать лестницу и, найдя, приставил ее к стене.

Поднявшись на последнюю ступеньку, он бросил взгляд на шале и увидел, что одно из окон второго этажа было освещено.

— Она там, — радостно сказал он сам себе.

И, усевшись на верхушке стены, он подтянул лестницу к себе, осторожно перенес ее с участка господина Кумба на территорию Риуфов, куда и спустился тотчас, весь исполненный решимости, и сердце его было переполнено

самыми разными чувствами, так же как в тот памятный вечер, когда он впервые шел этой дорогой на свое первое свидание с юной особой.

Глава XVI,

ИЗ КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ УЗНАЕТ, ЧТО ПЬЕР МАНА ВМЕШИВАЕТСЯ В ДЕЛО НА СВОЙ ЛАД

Шале, в котором проживала мадемуазель Риуф, было построено в точности параллельно деревенскому домику господина Кумба: со всех сторон оно было окружено садом, надо только сказать, что протяженность сада со стороны улицы, иными словами, со стороны фасада дома, составляла метров сто, а в той части, где он выходил к морю — лишь метров двадцать.

Лестница, которой Мариус воспользовался для своих ночных вылазок, обычно лежала под навесом, примыкавшим к домику; молодой человек пристраивал ее в том месте стены, где ветки фигового дерева могли отчасти замаскировать его действия, однако, будучи весь во власти охватившего его возбуждения, он и не подумал принять обычные меры предосторожности и второпях приставил лестницу к тому углу стены, который как раз был напротив морского берега, то есть к тому самому углу, что находился напротив двери, через которую из деревенского домика ходили к морю, иными словами, напротив двери, сквозь которую господин Кумб должен был непременно пройти, возвращаясь нынче вечером к себе домой.

Охваченный нетерпением от принятого им решения немедленно, как верный возлюбленный, посвятить свою любимую в тайну, что самому ему открылась только ныне, вернуть ей назад слово, полученное им от нее, ничуть не скрывая того отчаяния, какое вызывал у него отказ от столь дорогих его сердцу радужных надежд, но в то же время стойчески выполнить свой долг честного и порядочного человека, укрепив любимую в сознании того, что так или иначе не преминул бы сделать это признание. Мариус решил про себя, что если только он не встретит Мадлен в саду, где она обычно ждала его, то проникнет в дом с единственной целью — переговорить с ней. Лихорадочно возбужденный, он теперь так же торопил-

ся заявить ей о разрыве их отношений, как всего несколько часов назад испытывал страстное желание придать новый импульс ее уверенности в том, что ничто в целом свете не сможет заставить его забыть ту, что сама, по своей воле, объявила, что помолвлена с ним.

Оказавшись по ту сторону стены, он шел теперь по направлению к шале, даже не заботясь о том, чтоб приглушить шум своих шагов, звонко раздававшихся на песчаной аллее; но стоило ему очутиться у первого этажа шале, как ему показалось, что за кисейными занавесками вырисовывается чья-то тень. Он остановился. Темнота была непроницаемой, но именно благодаря ей ему удалось определить, что тень, столь четко вырисовывавшаяся на фоне окна, слабо освещенного изнутри, принадлежала вовсе не Мадлен. Он сначала подумал, что, испытывая крайнее нетерпение и тревогу, пришел чуть раньше обычного часа их свиданий, а затем решил, что, если случайно в доме у Мадлен оказался какой-то посторонний визитер, его, Мариуса, собственное появление могло скомпрометировать девушку.

И эта последняя мысль настолько изменила решение Мариуса, что он почувствовал необходимость, прежде чем стучаться в дверь шале, убедиться наверняка, была ли Мадлен в доме одна.

Но с того места, где он находился, ему была хорошо видна только боковая сторона здания.

Тогда он вернулся к тому месту, откуда пришел, проделал небольшое отверстие среди кипарисов, первоначально высаженных по приказанию господина Риуфа вдоль общей с участком господина Кумба ограды, и пролез внутрь двойной стены, состоящей из зелени и камней. Следуя по этой весьма узкой дорожке, он добрался до самого конца сада, то есть до его части, где проходит дорога из Монредона в Марсель; затем во второй раз прошел сквозь стену стоящих кипарисов и оказался со стороны противоположного фасада дома — как раз среди зарослей лавра и бересклета, удачно украсивших собою эту часть сада.

Теперь шале было перед ним как на ладони, и Мариус взглядом охватывал целиком весь его боковой фасад, смотревший на большую дорогу.

Ни малейшего шума не доносилось изнутри дома; лишь одно окно второго этажа оставалось освещенным,

но оно не относилось к апартаментам, в которых проживала Мадлен.

Мариус не знал, что и думать обо всем этом, и беспорядочные мысли его путались все сильнее.

В этот самый момент до его слуха донесся глухой стук колес экипажа, ехавшего по дороге из Марсея; этот шум все нарастал, и наконец экипаж остановился у ворот ограды.

Но все внимание молодого человека в этот момент было поглощено тем, что происходило в шале.

На самом деле в доме продолжало происходить нечто ничуть не менее, а еще более странное по сравнению с тем, что он уже увидел: свет, который он заметил в доме с самого начала, стал колыхаться; затем источник света, который держала невидимая рука, показался за окнами коридора, но, поскольку занавесок не было, Мариус мог распознать, что лампу нес мужчина; затем на мгновение свет загорелся в комнате Мадлен, где был внезапно погашен. Все погрузилось во мрак; но из комнаты Мадлен доносилось что-то вроде невнятного шепота, какого-то странного шума, который он никак не мог понять.

Внезапно одно из стекол окна разлетелось вдребезги, и вслед за зловещим звоном разбитого стекла раздался душераздирающий крик, полный боли и отчаянного призыва на помощь.

— Мадлен! — вскрикнул Мариус, бросаясь вперед из своего убежища.

— О великий Боже! Да что здесь такое происходит? — раздался с другой стороны цветника голос, который Мариус мгновенно узнал — он принадлежал молодой особе, из-за которой он так волновался. То действительно была Мадлен, которая только что вышла из экипажа и входила в сад, открыв калитку.

Окончательно удостоверившись, что опасность угрожала вовсе не его любимой, Мариус забыл обо всем, даже об ужасном крике, все еще висевшем в воздухе, и побежал ей навстречу. Когда он вступил в круг тусклого света, отбрасываемого фонарем, что кучер держал в руках, он был смертельно бледен, а черты лица его так исказились вследствие пережитого им потрясения, что Мадлен отступила на шаг назад, как будто собиралась попросить защиты у кучера и горничной, сопровождавших ее в тот момент; но новый крик, на этот раз не столь

громкий, но более жалобный, походивший скорее на стон, донесся до находившихся внизу.

— Мариус! Мариус! — закричала Мадлен. — Что же, наконец, с моим братом?

— С вашим братом?! — изумленно воскликнул Мариус, не ведавший о пребывании Жана Риуфа в Монредоне, благодаря похищенному господином Кумбом неизвестному письму.

— Да, именно с моим братом, говорю я вам! Ведь именно его сейчас убивают! Бегите, заклинаю вас, к нему на помощь.

Мариус, совершенно растерявшись, сделал всего один прыжок по направлению к шале; однако, как мы уже говорили, расстояние, которое ему следовало преодолеть, было весьма значительным. Только он успел занести ногу на газон, раскинувший свой роскошный зеленый ковер как раз под вышеупомянутыми окнами шале, как на одном из углов балкона, опоясывавшего весь дом целиком, он заметил силуэт какого-то человека. Тот перемахнул через перила балкона и, отцепившись от них, упал, пригнувшись к самой земле, затем быстро поднялся и исчез за зеленой стеной кипарисов.

— Убийца! — закричал Мариус и стремглав бросился догонять того, кто, очевидно, только что совершил преступление.

К несчастью Мариуса, он потерял убийцу из виду сразу же, как только тот скрылся за кипарисами; зато он воспользовался временем, потраченным злоумышленником на необходимость прийти в себя после падения, чтобы приблизиться к нему; Мариус уже слышал шум шагов и порывистое дыхание.

Они оба бежали в направлении того места, какое совсем недавно избрал молодой человек, желая понаблюдать за шале, то есть к темной аллее, проходившей внутри вереницы стройных кипарисов, и, таким образом, оба вышли туда, где находился Мариус в тот самый момент, когда раздался первый крик.

Здесь Мариус перестал слышать шаги преследуемого, но внезапно увидел его наверху общей для обоих владений ограды; тогда, ловко цепляясь за выступы и шероховатости стены, он не без усилий взобрался на ее гребень. Человек уже спрыгнул на территорию сада господина Кумба, и, поскольку все это происходило как раз в сосняке, столь любимом последним, Мариус увидел,

как сосновые ветки сомкнулись над головой беглеца. Не теряя ни секунды, молодой человек соскользнул на землю. К счастью, сосняк не был слишком большим для поисков — Мариус пересек его в два или три шага; но, оказавшись на другом его конце и не увидев там никого, он на какое-то мгновение заколебался и огляделся вокруг.

Взгляд его уперся в дверь, ведущую на улицу, распахнутую настежь; у него не было никаких сомнений, что тот, кого он преследовал, выбрал именно это направление; и он действительно заметил тень, заворачивающую за угол ограды деревенского домика; Мариус устремился к двери.

Тень эта опережала его во всю ширину ограды деревенского домика.

И погоня возобновилась.

Беглец достиг уже пустырей, расположенных на Пуант Руж, где, вне всякого сомнения, надеялся затеряться среди углублений какой-нибудь скалы. Мариус разгадал его план, и вместо того, чтоб напрямик следовать за ним, он свернул в сторону таким образом, чтоб перерезать своему противнику дорогу к морю.

По истечении пяти минут он не преминул заметить, что в скорости бега имел явное преимущество перед преследуемым, и что очень скоро настигнет того.

И действительно, в тот момент, когда оба оказались на одной высоте, отделенные друг от друга не более, чем двадцатью шагами, причем Мариус находился ближе к морю, а убийца — к домам, последний внезапно остановился.

Молодой человек бросился к нему с возгласом:

— Сдавайся, несчастный!

Но едва он сделал пять или шесть шагов навстречу тому, как нечто, молниеносно сверкнувшее, со свистом пронеслось в воздухе, и лезвие ножа полоснуло по бедру Мариуса.

Бандит бросил нож, который прятал в рукаве. И, вне всякого сомнения, только удушье от быстрого бега помешало ему воспользоваться этим оружием с привычной для мужчин Прованса ловкостью, именно поэтому рана была неопасной.

Мариус с такой неистовой силой набросился на того, кто только что попытался убить и его, что оба так и покатались по земле. Сделав невероятное усилие, бандит попытался было подняться на ноги, но незаурядная сила

Мариуса позволила ему удержать своего противника на земле и прижать его правую руку, которой он попытался, весьма, правда, безуспешно, схватить другое оружие смерти.

— Черт побери! — воскликнул убийца, убедившись в бесполезности предпринимаемых им усилий.— Не надо делать глупостей, мой мальчик! Я сдаюсь, и, поскольку я делаю это сам, я лишаю вас права меня убивать; это мое личное дело — мое и гильотины, позвольте нам самим выпутываться из этого затруднительного положения.

При звуке этого голоса Мариус почувствовал, как кровь застыла у него в жилах, на несколько секунд дыхание его полностью приостановилось; и он, без сомнения, стал бледнее того, кого он плотно прижимал к земле.

— Нет, это невозможно! — прошептал он про себя, и, взяв бандита за голову, повернул ее так, чтоб на лицо того упал слабый свет звездного неба, а не тень от его собственного лица.

Долгим и внимательным взглядом изучал он это безобразное лицо, ставшее еще более отвратительным из-за неподдельного чувства страха, который заставил, несмотря на напускное бахвальство, биться сердце этого несчастного в учащенном ритме; после чего душа молодого человека испытала такую скорбь, как будто разум его, упорно отказывавшийся верить в то, что подтверждали его собственные глаза, все еще сомневался в этом. Затем из груди его вырвался душераздирающий вопль, прозвучавший ужаснее тех предсмертных криков, какие недавно раздавались в покоях шале, поскольку вопль этот был следствием ужасной душевной пытки; мышцы его расслабились сами по себе, руки разомкнулись, и тело его, непроизвольно подчиняясь чьей-то воле, отодвинулось от тела нищего, которое он прижимал к земле.

Сомнений быть не могло, этот человек являлся не кем иным, как нищим, обитавшим среди прибрежных скал. Это был Пьер Мана, то есть его родной отец!

Последний, почувствовав себя освобожденным от крепко сжимавших его объятий, быстро встал на ноги, снова приготовившись к бегству.

— Эх, судьба-индейка! — вымолвил он, относя полученную им передышку на счет ножевого удара, нанесенного им своему молодому противнику.— Кажется, я

слишком рано сказал свое слово; и на этот раз все будет совсем не так. Сдается мне, что я здорово подпортил вам нижнюю часть корпуса, и еще мне кажется, что рука опытного человека не может дрогнуть ни на близком, ни на дальнем расстоянии. Добрый вечер, мой малыш! Наилучшие пожелания от меня господину комиссару и господам жандармам, если вы еще останетесь на этом свете; и поклонитесь от меня господину из шале там, на том свете, если вы перейдете туда; что же касается меня, то я свободен как ветер.

— Не убегайте,— ответил ему Мариус срывающимся, дрожащим голосом, каким обычно разговаривает лихорадочно возбужденный человек в момент сильнейшего приступа.— Пойдите! Будьте спокойны, я не передам вас в руки правосудия.

— Отлично сказано, однако не очень-то надейся, чтоб такой старый бандит, как я, позволил себя провести. Прощай, голубчик; чего я тебе пожелаю, так это отличного здоровья! Рассуждая трезво, я должен был бы пустить кровь одной подружке — именно то, что я сейчас хотел сделать с тобой,— и не покидать тебя до той поры, пока твой язык не излечится от непреодолимого желания болтать; но, если уж этого не случилось, это значит, что ты столкнулся с порядочным человеком. Однажды ночью ты оказал мне услугу там, на берегу, поэтому я пощажу тебя; мы квиты, и я не заставляю тебя говорить мне «до свидания».

— О, убейте меня, убейте! — возбужденно воскликнул Мариус, судорожно вцепившись в свои волосы руками.— Только освободите меня от этого, столь опустыленного мне существования. Я благословлю вас за это, и мой последний вздох на этой земле будет пожеланием счастья вам.

Испытывая неподдельное удивление, нищий остановился,— в голосе Мариуса было столько искренности, что не могло возникнуть ни малейшего подозрения во лжи.

— Ай-ай, бедняжка!— воскликнул бандит.— Что же происходит в твоей башке? Эх, судьба-индейка! Думаю, что во время устроенной тобою погони головушка твоя не выдержала и дала сбой, механизм испортился, но это уж вовсе не мои дела. Я вижу, как там, внизу, мигают огни, этой ночью воздух побережья не слишком-то полезен для меня, так что спокойной ночи!

— Вы отсюда, однако, не уйдете, пока не выслушаете меня,— сказал Мариус, вставая рядом с бандитом и беря его за руку.

Последний сделал было резкое движение, чтоб освободиться, но молодой человек скрутил ему руку с такой энергией, какая должна была доказать его противнику, что полученное им ранение ничуть не убавило силы у того, кто так напористо преследовал его только что; бандит подавил крик, вызванный болью, и пригнулся к земле, чтоб как-то ускользнуть.

— Черт побери! Такое рукопожатие делает честь тому, кому оно принадлежит, молодой человек... Ну же, отпустите меня, я сделаю все, что вы захотите. Я всю жизнь слышал о том, что не надо ни в чем отказывать ни детям, ни сумасшедшим... Только, пожалуйста, дайте немного пригнемся, поскольку оставаться стоять вот так, в полный рост, на берегу, где столько охотничьих собак вынюхивают мою бедную персону, в общем-то весьма рискованно.

И, не дожидаясь ответа Мариуса, Пьер Мана присел позади скалы и знаком пригласил молодого человека последовать его примеру; однако Мариус оставался стоять и сохранял молчание.

— Ну, чего вы хотите, черт побери? — спросил бандит.— Вы совсем не похожи на маленького барабанщика из Касси, которому сначала надо дать два су за то, чтобы он постучал по своей ослиной коже, а затем четыре су за то, чтоб он заткнулся. У вас было желание поболтать; я согласен сыграть для вас роль красной тряпки, и вот, извольте, вы немые, как рыба.

— Пьер Мана,— сказал Мариус, стараясь побороть свое волнение,— послушайте меня.

Нищий вздрогнул и уставился на Мариуса, его глаза горели в темноте, как два уголька.

— Вы знаете, как меня зовут? — прошептал он глухо и угрожающе.

— Пьер Мана,— продолжал молодой человек,— вы были плохим мужем и плохим отцом, вы бросили свою жену и своего ребенка.

— Эх, судьба-индейка! — воскликнул нищий,— ты, разом, не хочешь, чтоб я тебе исповедался?

И он разразился циничным смехом. Мариус продолжал:

— Вы только что совершили преступление, добавив тем самым еще одно к тем, какими вы уже осквернили свою жизнь.

— Это твоя вина, мой мальчик,— продолжал свою речь нищий,— если бы ты тогда дал мне двадцать франков, я бы отказался от мысли пойти к мадемуазель; но чего ты хочешь ожидать от мужчины, получившего твои несчастные сорок су? Не увидя никого в ее комнате, я набивал свои карманы, стараясь изо всех сил, учитывая проявленное ею ко мне чувство милосердия, пока этот глупец, оказавшийся вдруг рядом, не нашел дурным, что я привел в беспорядок его секретер. Теперь ты прекрасно видишь — это преступление по праву принадлежит тебе, и что если б у тебя было хоть немного совести, то ты бы покаялся вместо меня.

— Пьер Мана,— торжественным тоном продолжал молодой человек,— приближается час, когда вам придется дать отчет перед человеческим судом за все преступления, совершенные вами. Разве мысль об этом не приводит вас в трепет? И неужели, за неимением совести, боязнь страшного наказания, какое вас ожидает, не проникает вам в сердце?

— Это смотря по обстоятельствам,— ответил бандит.

— Послушайте,— продолжал Мариус,— ведь как бы ни очерствело ваше сердце, вы не можете не признать вмешательства Провидения в то, что происходит этим вечером; другой мог бы бежать за вами следом, другой, а не я, кто не мог и не хотел бы вас упустить и силой удержал бы вас; но нет, Господь избрал не кого-нибудь другого, а именно меня; значит, Всевышний желает дать вам возможность раскаяться. Пьер Мана, воспользуйтесь ею.

— Эх, ну надо же, ты говоришь о раскаянии, мой мальчик! Я напрасно тер свой хлеб о раскаяние, оно не придало ему даже такого вкуса, какой способна придать одна долька чеснока.

— Подумайте над тем, что я вам только что сказал, Пьер Мана,— возобновил свою речь Мариус, совершенно раздавленный бесстыдством бандита и впадая от этого в глубочайшее уныние,— я вам обещаю скрыть ваше имя; обещаю даже, что пойду на ложь только для того, чтобы спасти вас; я дам об убийце, чьи следы несут на своем теле, такое описание примет, благодаря которым в течение нескольких дней с вас будут сняты по-

дозрения; воспользуйтесь всем этим, чтоб бежать, пересечь границу и покинуть родину.

— Именно это я и намереваюсь сделать,— ответил презренный негодяй,— поэтому я и решился во что бы то ни стало присвоить себе припрятанные деньги.

И, сказав это, Пьер Мана порылся, ухмыляясь, в кармане штанов; но сомнений быть не могло, он не нашел там того, что искал, поскольку, застыв в неподвижной позе, он судорожно шарил руками по всей одежде; потом из уст его вырвалось ужасное богохульство.

— Я потерял это! — воскликнул он.

Затем схватил Мариуса за горло:

— Ты украл это у меня! Признайся, что ты это сделал, негодяй и лицемер ты эдакий!

Молодой человек вовсе не отбивался от него и даже не пытался избавиться от его мертвой хватки, несмотря на резкую боль, причиняемую впившимися в горло острыми ногтями убийцы.

— Общайте меня,— сказал он бандиту сдавленным голосом.

Ледяное спокойствие, с каким это было сказано, заставило Пьера Мана понять, что он ошибался насчет Мариуса, что деньги не украдены, а потеряны им самим.

Тогда он продолжил посылать проклятья судьбе, но окончательно перестал обвинять в потере своего трофея молодого человека.

Последний же, предоставив нищему полную возможность излить свое отчаяние, произнес:

— Все еще можно поправить. Я не богат, но кое-какие сбережения у меня есть; я передам вам их завтра с тем, чтоб облегчить вам возможность покинуть Францию.

— Черт побери! — воскликнул Пьер Мана.— Какой все-таки счастливый у меня сегодня вечер! А эти ваши сбережения, они значительные?

— Когда отдаешь последнее, то у берущего нет морального права требовать еще больше,— ответил Мариус, который вопреки естественной родственной связи с этим человеком чувствовал к нему непреодолимое отвращение.

— Да, ты прав, мой мальчик, но ответь мне, что за причина побуждает тебя быть столь заинтересованным в моей судьбе? Если бы ты был женщиной, я бы решил, что нахожусь еще в том возрасте, когда способен вы-

звать страсть у представительниц слабого пола,— продолжал он, гнусно ухмыляясь.

— Какое вам дело до причины, побуждающей меня действовать, если я делаю все для вашей пользы? Завтра деньги будут у вас, ведь это все, что вам нужно?

— Так здорово сказано, что это стоило бы даже записать.— Затем, словно пораженный неожиданной догадкой, бандит внезапно спросил, пристально глядя на Мариуса:

— А сколько вам лет?

Молодой человек понял, на что был направлен его вопрос, и вздрогнул от неожиданности.

— Двадцать шесть,— ответил он.

Мариус прибавил себе несколько лет, но названный им возраст не показался бандиту невероятным.

— Двадцать шесть лет... Этого не может быть, учитывая то, что я подумал,— совсем тихо прошептал Пьер Мана, однако не так тихо, чтоб Мариус не расслышал его слов.

Несколько минут старый бандит пребывал в задумчивости.

Во время этих размышлений нищего душа молодого человека испытывала муки ада.

И он беспристрастно спрашивал самого себя, имел ли он моральное право отречься от этого человека, каким бы он ни был опустившимся негодяем и преступником; был ли он вправе отказываться от его отцовских ласк и, наконец, смел ли он хранить молчание в такой момент; быть может, обретя вновь жену и сына, душа Пьера Мана доверчиво раскрылась бы навстречу новым, доселе неведомым ему чувствам? Поведение последнего, когда он, несомненно, сопоставил возраст того, с кем вел разговор, с возрастом, какого должен был достичь к этому времени брошенный им сын, доказывало, что еще не все отцовские инстинкты были заглушены в нем; используя столь действенный рычаг, разве было не дозволено поверить в возможность облагородить эту падшую душу? На мгновение Мариус испытал сильное искушение броситься ему в ноги с криком: «Отец мой!»

Но тут к нему пришло воспоминание о Милетте, и он смутно ощутил, какие последствия могло иметь такое его признание для нее; он охотно согласился бы по-

жертвовать собой, но никак не мог пойти на то, чтоб принести в жертву, быть может, совершенно напрасно, собственную мать.

— О чем вы думаете? — почти нежно спросил он Пьера Мана, видя, что тот продолжает хранить молчание.

— Ах, черт побери! — грубо ответил бандит. — О чем я думаю, мой птенчик? Я размышляю над тем, к каким средствам ты сможешь прибегнуть, чтоб доставить мне эти деньги, поскольку их нет у тебя при себе, как я полагаю.

При этих словах все иллюзии молодого человека насчет моральной реабилитации закоренелого злодея исчезли как дым.

— Да, их нет, — ответил он сухо, — но вам стоит только назначить мне на завтра встречу там, среди скал, и я сам принесу вам эти деньги.

— Ах-ха-ха, я прямо сейчас вижу, как ты туда идешь, хитрец ты эдакий, — ответил Пьер Мана, — ты хочешь меня надуть, не так ли? Признавайся тотчас же!

— Если бы мои намерения были таковыми, несчастный вы человек, — отвечал Мариус, — то разве так бы я себя повел? Вы же признаете, что я сильнее вас. Я бы тогда схватил вас за горло и держал так до тех пор, пока бы не подошли вызванные мною таможенники.

— Это верно, судьба-индейка; но почему, черт возьми, вам хочется сделать для меня столько добра?

— Дело совсем не в этом... В котором часу я найду вас завтра среди скал?

— О, только не там. После небольшого дельца тем вечером здешние прибрежные скалы превратились в настоящий заповедник, где кое-кто собирается обшарить все норы; я предпочитаю прозондировать почву в самом Марселе; итак, коль скоро вы желаете исправить совершенную вами ошибку, вынудившую меня убить этого глупого мазурика, явившегося помехой моей работе у вашей доброй подружки, то вы найдете меня завтра между полуднем и часом дня на Новой площади.

— На Новой площади, в порту! — изумленно воскликнул Мариус, не предполагая, что Пьер Мана помышляет показаться среди бела дня в наиболее людном месте Марселя.

— Без сомнения, там, — ответил последний, — в этот час площадь просто кишит снующими грузчиками и мат-

росами: ведь только тогда, когда рыбка плавает одна, ее легко поймать на крючок.

— Пусть будет так, — ответил Мариус, — завтра между полуднем и часом дня.

— У вас с собой есть какая-нибудь мелочь? — спросил Пьер Мана с монотонно-гнусавой интонацией нищего. — Дайте ее мне, мой птенчик, это несколько вдохновит мое терпение.

Мариус вытащил кошелек из кармана и бросил к ногам убийцы.

Последний поднял его и прикинул на руке его вес.

— Эх, судьба-индейка, — со вздохом сказал тот, — он далеко не так тяжел, как кошелек мадемуазель. Да, определенно, знакомство с ней приятнее, чем с тобой, мой птенчик; теперь же необходимо, чтоб ты первым убрался отсюда.

— Прощайте, — бросил Мариус, не в силах отыскать в своей отчаявшейся душе какие-то другие слова.

— Нет, не «прощай», черт побери, а «до свидания», и до завтра. И не продавайте меня; вы видели, как мило я владею ножом, если вы попытаетесь меня выдать, то убегайте хоть на тридцать шагов, спасайтесь бегством хоть за спинами десяти жандармов, — я клянусь сделать дырку в вашем сердце.

Глубоко опечаленный, Мариус столь быстро удалялся от этого места, что слышал лишь половину угроз, которые нищий адресовал ему вместо благодарности.

К тому же со стороны деревни доносился неясный гул голосов; слабый свет, отбрасываемый факелами и свечам, создавал в окрестностях шале весьма мрачную и туманную картину. Зрелище всеобщего волнения всколыхнуло в душе молодого человека воспоминание о горячо любимой им Мадлен и придало ему немного мужества. И, хотя только что состоявшаяся встреча сына Милетты с его настоящим отцом окончательно разбила смутные надежды, что еще безотчетно хранились в его сердце относительно планов их союза, столь бережно лелеянных им, оно не стало менее холодным при мысли о необходимости перейти от зрелища нравственного падения человека к печальной последней миссии, какую ему осталось выполнить — утешить страстно любимую им женщину прежде, чем ему навсегда придется покинуть ее.

И Мариус ускорил шаг.

Подойдя ближе, он с удивлением обнаружил, что все эти крики, сопровождавшиеся колыхавшимися всполохами огня, доносились вовсе не из сада шале, а прямо мехонько с участка господина Кумба.

С тревожно бьющимся сердцем он вошел на территорию владений последнего, с трудом прокладывая себе путь среди жителей Монредона, стоявших группками и бурно обменивавшихся комментариями по поводу убийства, только что происшедшего в их местечке; наконец, он вошел в дом.

Обе комнаты первого этажа были заполнены посторонними людьми и блюстителями порядка. Господин Кумб, склонив голову, мертвенно-бледный, онемевший, будто пораженный ударом молнии, неподвижно сидел на краю дивана между двумя жандармами, держа на коленях руки в наручниках.

Глава XVII,

**ИЗ КОТОРОЙ СТАНОВИТСЯ ЯСНО,
ЧТО, НЕ ЖЕЛАЯ НИКОГО СПАСАТЬ,
ГОСПОДИН КУМБ СОВЕРШИЛ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ
СВОЙ КРЕСТНЫЙ ПУТЬ**

Вернемся немного назад и объясним нашему дорогому читателю, что же все-таки произошло

Господин Кумб предположил, что Мариус, проникнув в сад Риуфов, встретит там не сестру Жана Риуфа, которую жаждал увидеть, а ее брата, к встрече с которым он вовсе не стремился; из этого последуют бурные объяснения, угрозы и даже вызовы, которые непременно придадут вновь соседней территории тот воинственный характер, который был у нее до начала любви, пришедшей к молодым людям, и это позволит, как выражался бывший грузчик, спутать все карты; он очень рассчитывал, что в результате бурной ссоры, или, быть может, драки, которая просто не могла не состояться, «отвратительные» робкие поползновения молодых людей к брачному союзу исчезнут сами собой.

Истинный Капулетти, господин Кумб отвергал любой союз человека из своего лагеря с ненавистными ему Монтекки.

Драматическая развязка, непременно последующая за тем гармоничным взаимопониманием, что вопреки его желаниям установилось между двумя молодыми людьми, заранее забавляла его. На самом деле такая развязка служила только на руку его закоренелой злобе к дому Риуфов; к тому же она приятно льстила его самолюбию. И какими бы ребячливыми ни были его комбинации, какую бы роль он ни приписывал его величеству Случаю в их сочетании, господин Кумб был все-таки удовлетворен поистине макиавеллиевским замыслом, с каким он построил козни, и особенно тем, как он утаил письмо Мадлен; представившись эдаким фанфароном, он расценивал себя теперь не иначе, как соперником Талейранов и Меттернихов; его тщеславие, введенное в заблуждение садоводческими неудачами, пускало в ход все, даже самые мелкие средства, какие только попадались ему под руку.

Но, как всякий знает по своему собственному опыту, победа бывает полной лишь при условии, что празднуешь ее наедине с собой. Поверив в эту аксиому, господин Кумб отказался ставить свои снасти в море в этот вечер, а решил, что станет незримым, если не сказать бескорыстным, зрителем того спектакля, какой не только предвидел, но и столь искусно подстроил.

И в то время как все считали, что он вышел в море, он, напротив, вскарабкался на скалу, с высоты которой мог обозревать владения своего врага, и стал ожидать с терпением, искусству которого выучился за двадцать лет рыбной ловли и которое обеспечило ему преимущество перед его товарищами.

Однако не пребывание на занятом им посту стало началом страданий господина Кумба, о чем было объявлено нами в заглавии данной главы; первые минуты проведенные им в наблюдении, показались ему даже довольно приятными. Воображение его, подобно лошади Дон-Кихота, закусило удила, и господин Кумб поплыл на розово-лазурных облаках. Стоит только раз окунуть свое воображение в океан снов и грез, и его уже невозможно остановить: господин Кумб видел разрушение шале, его собственного Карфагена; он почти не сомневался, что Жан Риуф, узнав о планах своей сестры вступить в неравный брак, заставит последнюю, с трудом сдерживая гнев, покинуть сие жилище, и он уже смутно предвидел, как на руинах столь ненавистных ему стен будут

расти, колыхаясь от дуновения мистраля, колючий ку-старник и крапива.

И в то время, как душа его наслаждалась столь радужными перспективами, Пьер Мана, до той поры прятанный в сосняке, предпринял ту свою вылазку, что должна была окончиться кражей со взломом.

Мы слышали, как бандит сам рассказывал об этом Марнусу: дверь в контору Торгового Дома брата и сестры Риуфов была для него приоткрыта, а по части воображения Пьер Мана не уступал даже самому господину Кумбу,— он мечтал о горах банкнот и водопаде золота и серебра, какие всенепременно ждут его там. К несчастью, благодаря наведенным им справкам, он узнал, что один из служащих конторы, суровый бдительный страж, вооруженный двумя пистолетами, охранял примыкавший парк от вторжения гесперид, а привратник и один из курьеров ночевали в пределах досягаемости человеческого голоса, всегда готовые оказать вооруженную поддержку своему товарищу. Тогда Пьер Мана устремил свои мечты к шале, логично заключив — отдадим должное стройной логике его мышления, — что столь широкая денежная река, иными словами — сейф, имела притоки. Итак, Пьер Мана был далеко не лишен философского подхода: он безропотно смирился с необходимостью попытаться счастья у притоков, не имея возможности напиться из настоящей реки. Прибыль обещала быть менее значительной, зато таким же должен был быть и связанный с этим риск; бандит полагал, что наверняка мадемуазель Риуф будет одна вместе со своей верной служанкой у себя в шале в Монредоне, и именно на это он рассчитывал.

И действительно, первые шаги предпринятого им дела окрылили его. Пьер Мана бесшумно открыл застекленную дверь, ведущую с первого этажа прямо в сад, разулся и, взяв ботинки в руки, поднялся по главной лестнице, проскользнул в комнату с окном, из которого накануне увидел и признал мадемуазель Риуф и которое заранее положил относящимся именно к комнате девушки. Туго набитый кошелек, сразу попавшийся ему в руки, как только он открыл первый ящик, был весомым подтверждением безошибочности его предположений. К несчастью, часто случается так, что, сделав одно удачное умозрительное построение, человек жаждет достичь еще большего успеха. Так произошло и на этот раз: ощу-

пывая в темноте предметы, Пьер Мана наткнулся на секретер, который, как показалось ему при ночном осмотре, должен был заключать в своем чреве все сокровища Перу; пальцы его нервно забегали по крышке секретера, и это отозвалось в его мозгу; он сразу вспомнил, что на углу дома видел освещенное окно, однако он предполагал, что окно это было в комнате, где спала служанка; тогда Пьер Мана стал рассчитывать на свою испытанную сноровку. Если, на беду, эта женщина явится, подумал он, то тем хуже для нее; зачем ей вмешиваться в дела, которые ее не касаются? И на этот случай у Пьера Мана были надежные средства заставить ее замолчать; он взял из приготовленного им арсенала стамеску и с силой нажал на створку искушающего секретера. Последний не принадлежал к той мебели, что дает корежить себя смиренно и бесшумно; его деревянные створки раскололись с таким чудовищным треском, что Жан Риуф, спокойно читавший в ожидании возвращения сестры, мгновенно появился в комнате вместо служанки, которую предполагал увидеть Пьер Мана.

Крики брата Мадлен, которого бандит дважды ударил ножом, не донеслись до господина Кумба, чей наблюдательный пункт был расположен, как мы уже сказали, позади дома; он услышал только какую-то суматоху, указывающую на то, что происходит нечто вроде драки. Он подумал, что разыгравшееся представление, которое он пожелал посмотреть, было бурным, и его интерес удвоился; он наострил уши и весь обратился в слух. За несколько мгновений, во время которых Мариус устремился за убегающим убийцей, чувство опасности, которой подвергался брат, придавало Мадлен такую силу, что она стремглав бросилась в дом, по-прежнему сопровождаемая служанкой и кучером.

На втором этаже дома их ожидало страшное зрелище. Жан Риуф лежал в луже собственной крови посреди комнаты Мадлен. Не в силах вынести увиденное, девушка, лишившись чувств, упала прямо на тело брата, не заметив, что последний еще дышал. Служанка и кучер бросились на балкон, один возвещая об убийстве, а другая призывая на помощь. Эти крики, явно свидетельствовавшие о превращении комедии в трагедию, стали развлекать господина Кумба гораздо меньше, чем он предполагал. Ему и в голову не пришла мысль, что встреча двух молодых людей могла иметь столь прискорбные последствия.

Он задумал посеять раздор, самое большое — дуэль, а ныне пожинал убийство. Он тешил себя надеждой, что благодаря встрече двух молодых людей он, наконец, сможет продемонстрировать, разумеется в роли свидетеля, свою небывалую смелость, о которой он так громко и часто возвещал, что уже сам начал в нее верить. Однако гипотетическая храбрость господина Кумба немедленно получила оглушительное опровержение, такое, чтоб навсегда отвратить его вкус от марсельского бахвальства.

Когда он услышал крики служанки, обращенные к сбегавшимся жителям Монредона: «Убит господин Риуф!» — он испытал леденящее кровь чувство, какое должен испытывать путешественник, затерявшийся среди Альпийских гор, при виде обрушивающейся на него снежной лавины; холодный пот выступил у него на лбу, волосы встали дыбом, зубы громко стучали, ноги дрожали и подкашивались; он стал соскальзывать вниз по крутому скату скалы, на верхушку которой взобрался, и скатился к самой ее подошве.

Это падение, сопровождавшееся постигшим его потрясением, повлекшее за собой ушибы отдельных участков драгоценного тела господина Кумба, натывшегося на неровности скалы, привело его мысли в полнейшую сумятицу. Объятый паническим чувством страха, он встал на ноги, и, забыв даже подобрать свою шляпу, бросился бежать к своему домику так быстро, как только это позволяло охватившее его возбуждение.

Объявшая господина Кумба тревога была столь сильной, что он и не заметил промелькнувших в двух шагах от него таможенников, покинувших свой пост и со всех ног бежавших к месту разыгравшейся страшной трагедии. Зато сами они, не имея никакого повода для волнения, сразу заметили этого человека с обнаженной головой, едва переводившего дух и бежавшего оттуда, где, вероятнее всего, только что было совершено убийство.

И человек этот не мог быть не кем иным, как убийцей; они бросились за ним в погоню. Почувствовав это, господин Кумб только ускорил свой бег, отчего нараставшее в нем возбуждение лишь усилилось, и достигши двери своего дома с таким восторгом, с каким потерпевший кораблекрушение, не ждущий уже ничего, кроме смерти, встречает посланное Богом спасение. Наконец, он пересек порог и с силой захлопнул дверь перед самым

носом таможенников, протянувших было руки, чтоб схватить его. Ударом ноги преодолев такую хрупкую преграду, представители общественного порядка схватили бывшего грузчика за шиворот в тот момент, когда последний споткнулся, неожиданно налетев на подножку лестницы, которую Мариус приставлял к стене сада. И, как только грубые руки блюстителей порядка приостановили бег господина Кумба, он потерял последнее из того помутневшего рассудка, что еще оставалось у него, бросился перед ними на колени и, сложив руки, закричал: — Пощадите, помилуйте, господа! Я все вам расскажу и выдам убийцу.

Большого от него и не требовалось. Сомнение тех, кто его задержал, сменилось уверенностью. Несмотря на крики и протесты господина Кумба, ему связали руки. К этому-то моменту и сбежались все соседи; среди них нашлись завсегдатаи кафе Бонвена, в котором тот как раз рассыпался в безудержном бахвальстве. Отсюда последовал их незамедлительный ответ, когда они узнали, что господин Кумб убил господина Риуфа: «Это нас не удивляет; мы отлично знали, что эта история окончится именно таким образом». Поэтому господин Кумб забавлялся все меньше и меньше, и, по правде говоря, не без оснований.

Между тем бывший старший грузчик понемногу оправился от ужасно удрученного состояния. Влияние родных стен на людей, по складу характера похожих на господина Кумба, огромно. Какими бы ни были присущие хозяину слабости, он обретает некую силу, когда вновь возвращается в родные пенаты, освященные чувствами и законом. Стены, каждая деталь которых до боли знакома ему, всегда служившие надежной защитой от солнца и ветра, дождя и бури, бескорыстно передают ему живительную энергию, которую матушка Земля отдавала Антею: эти стены становятся способными встать на его защиту. Мертвенно-бледный, с потухшим взором, господин Кумб тяжело дышал и как сквозь туман наблюдал за тем, что происходило вокруг него. Ничтожный по сравнению с событиями, жертвой которых господин Кумб только что стал, случай заставил его снова прийти в себя и обрести силы для самозащиты. Сквозь приоткрытую дверь, оставленную так постоянно входящими и выходящими, он вдруг заметил одного юного любопытного, догадавшегося, чтоб понаблюдать за всей сценой и вдоволь

насладиться созерцанием преступника, удобно устроиться на одной из веток фигового дерева, которое жалобно сгибалось под тяжестью постреленка, готовое в любую минуту сломаться.

Такое посягательство на его собственность показалось господину Кумбу гораздо более чудовищным, чем недоразумение и дурное обращение, жертвой которых он стал.

— Ах ты, скверная обезьяна,— в сердцах воскликнул он,— если ты сейчас же не спустишься оттуда, я обещаю надавать тебе таких затрещин, что ты запомнишь их на всю жизнь! А ну-ка, слазь оттуда, говорю я тебе!

И, обернувшись к охранявшим его, добавил:

— Позор связывать руки ни в чем не повинному человеку, как вы это делаете сейчас, в то время как всякая шваль разоряет богатство страны и ломает в ней деревья.

Слово «шваль» вызвало у присутствовавших ропот недовольства.

Что же касается того, чтоб отпустить произнесшего его, то об этом никто и не подумал, хотя совсем растерявшаяся Милетта прибавляла свои настоятельные просьбы к указаниям, исходившим из уст хозяина. Эта короткая вспышка гнева оказала на господина Кумба такое же воздействие, какое на раненого производит кровопускание; она так остудила его голову, что последний начал трезво оценивать обстановку. Он по-прежнему дрожал и не стал более, чем прежде, хозяином своих чувств, способным подавить раздражение своей нервной системы. Но, вместо того, чтоб понапрасну тратить время на свои просьбы, он начал приводить правдоподобные доводы в пользу своей невиновности, и в первый раз за все время произнес имя Мариуса. Если ужас и обьял Милетту, когда она узнала о страшном обвинении, нависшем над ее хозяином, то отчаянию ее не было предела, когда она услышала, как господин Кумб переложил всю ответственность за преступление на молодого человека.

Отчаяние ее не выразилось ни в криках, ни в рыданиях, как это могло бы случиться, будь она женщиной Севера. Нет, выражение лица ее, доселе спокойное и мягкое, стало просто угрожающим; глаза ее сверкали, как молнии, ноздри раздувались, губы дрожали, и она, на мгновение забыв о двадцати годах, прожитых в почтении

и уважении, о своем более низком социальном положении, а также о своей глубокой привязанности и признательности господину Кумбу, пробившись сквозь толпу любопытных, тремя рядами окружавших последнего, встала в центре круга прямо напротив него.

— Во имя нашего Господа Бога,— воскликнула она, будто не могла поверить в то, что услышала собственными ушами,— что вы здесь такое говорите, месье, а? Повторите, я, должно быть, плохо расслышала.

Господин Кумб низко опустил голову при этом вопросе, предвестнике настоящей бури, уже начавшей kloкoтaть в материнском сердце; какое-то мгновение ложный стыд и нравственность боролись с его эгоизмом, но инстинкт самосохранения, столь сильный у него, быстро одержал верх.

— По правде сказать,— сказал он,— каждый отвечает за себя в этом мире. Пусть Мариус сам скажет, что убил господина Риуфа во время драки и пусть сам выходит из затруднительного положения вместе с судьями; это его дело, а вовсе не мое. Мариус мне не сын после всего, что произошло.

Произнося последние слова, господин Кумб пристально посмотрел на Милетту; он надеялся, что целомудрие женщины заставит замолчать материнское сердце.

— О нет, он — не ваш сын,— вне себя повторила Милетта громким голосом,— и именно потому, что он не ваш сын, он, если бы его несправедливо обвинили в убийстве, не был бы таким подлым, чтоб возложить ответственность за совершенное преступление на другого невиновного. Да, он не ваш сын, и именно поэтому он слишком великодушен, чтоб убивать свое прошлое либо ножом, либо словами.

При каждой фразе, произнесенной ею, господин Кумб делал такое движение, как будто его ударили по лицу. Когда же Милетта закончила, он возопил:

— О, гром небесный! Что я слышу здесь? Это конец света... Ты осмеливаешься поддерживать его, будучи против меня? Женщина, так-то ты отблагодарила меня за мою глупость растить твоего скверного мальчишку, кормить его своим хлебом, страдать из-за того, что ты носишь мою фамилию, не будучи моей супругой,— ведь эта несчастная не является моей женою, как вы могли в это поверить,— добавил он, обращаясь к слушавшим.— Ах, так ты хочешь, чтоб вместо его головы упала моя?! Ты

присоединяешься к моим врагам... Ну что ж, для начала я тебя выгоняю и кидаю в нищету, из которой я тебя вытащил. Подожди, постой только, пока не придет господин мэр, и тогда твоему негодяю-сыну будет быстро уплачено по счету, а потом уходи.

Милетта собралась было ответить с прежней горячностью, как раздался голос одного из присутствующих:

— Ах, оставьте этого человека, пусть себе болтает; разве вы не видите, что он почти сошел с ума от страха? Я как раз находился в шале, когда хирург приехал, чтоб помочь господину Риуфу и слышал, как мадемуазель Мадлен, плача навзрыд, рассказывала, что видела Мариуса устремившимся в погоню за убийцей. Вы теперь видите, что он невиновен, поскольку, наоборот, преследовал того, кто совершил нападение.

— Мадемуазель Мадлен! — промолвил господин Кумб, — еще бы, я думаю! Она так же, как и эта, будет защищать его ото всех!

Внезапно господин Кумб прервал себя на полуслове. Он вдруг заметил строгую фигуру Мариуса, несколько минут назад вошедшего в комнату и услышавшего большую часть состоявшегося диалога. Молодой человек сделал шаг вперед; Милетта заметила его и бросилась его обнимать.

— Наконец ты пришел, слава Господу! — воскликнула она. — Знаешь ли ты, что здесь происходит, мой бедный мальчик? Тебя обвиняют, утверждают, что именно ты нанес удар господину Риуфу. Защищайся, Мариус, докажи всем тем, кто осмеливается выдвинуть против тебя такую клевету, что ты слишком благороден и великодушен, чтоб сделаться виновником такого подлого убийства.

— Матушка моя, — ответил молодой человек спокойно, но низко опустив голову, — господин Кумб был прав, сказав только что: каждый в этом мире отвечает за себя; вот почему кровь должна пролиться на голову того, кто ее пролил.

— Бог мой, что ты такое говоришь? — воскликнула Милетта.

— Я заявляю, что именно я займу место господина Кумба, обвиненного ложно и несправедливо; я объявляю также, что отдаю мои руки оковам, связывающим его, и, наконец, я хочу сказать, что если кто-то и должен ответить за совершенное убийство, так это я, Мариус Мана, а не господин Кумб.

— О, это невозможно! — воскликнула Милетта.— И тебе, как только что ему, я отвечу так: ты лжешь! Можно обмануть людей, можно обмануть судей, но ни Господа Бога, ни родную мать обмануть нельзя! Осмелюсь бы ты посмотреть мне прямо в глаза, как ты это делал еще совсем недавно и как ты делаешь это в данный момент, если б твои руки были обагрены кровью ближнего? Нет и нет, это не то великодушное сердце, которое, только вечером узнав о жалком положении, с каким я смирилась ради него, не стало колебаться, выбирая между нищетой и укором собственной совести; нет, это не этот человек нападает в темноте на ближнего своего, используя оружие злодея!

Затем, видя, как представители официальной власти арестовывают Мариуса, не развязывая, однако, руки господину Кумбу, воскликнула:

— Не делайте этого, господа! Говорю вам, он невиновен, я уверена в этом! О, заклинаю вас, не делайте этого!

— Матушка моя, во имя неба, не терзайте вы мою душу. Разве вы не понимаете, что мне необходимо собрать все мое мужество?!

— Но тогда скажи им при мне, что это неправда,— принялась за свое бедная мать.— Разве ты, в свою очередь, не видишь, что я сейчас сойду с ума, и неужели же ты не сжалишься только надо мной одной? Ах, Боже мой, Мариус, пощади свою мать!

Произнося последние слова, Милетта осела прямо на пол. Мариус протянул к ней руки, но они были уже связаны, поэтому он смог лишь приподнять ее, а позаботились о ней соседи, потрясенные всей этой сценой; они отнесли полуживую Милетту в соседнюю комнату.

Как раз в это время прибыл представитель судебной власти. Он собрал все сведения, допросил того, кого обвиняло общественное мнение, и того, кто сам себя назвал убийцей. Мариус был краток и точен в своих утверждениях, он заявил, что именно он напал на господина Риуфа; только он упорно отказывался признаться в цели этого преступления и уточнить обстоятельства, в результате которых он стал виновником происшедшего.

Молодой человек вернулся в деревенский домик с единственным твердым решением — не выдавать Пьера Мана; но, как только он осознал, жертвой какого недора-

зумения стал господин Кумб, когда увидел, к своему большому огорчению, какой страшный удар это обвинение нанесло бывшему грузчику, и понял, какого труда стоило последнему оправдаться в глазах общественного мнения, он, не колеблясь ни секунды, решил уплатить ему свой долг и возложить на себя бремя позора и, быть может, даже тяжесть наказания.

Господин Кумб был по сравнению со своим крестным сыном гораздо более точным и определенным в своих ответах; он рассказал обо всем, что произошло за день; как уже утром он узнал тайну Мариуса; как он сохранил письмо, написанное Мадлен; и, наконец, как он очень хотел насладиться картиной своего вконец растерявшегося воспитанника и охваченного гневом брата мадемуазель Риуф.

В деталях, представленных господином Кумбом, была печать некоей искренности, подкрепленной к тому же сильными переживаниями, которые он никак не мог побороть; трезвому и беспристрастному человеку было совершенно невозможно не признать правдивости интонации и слов, слетавших с этих мертвенно-бледных и дрожащих губ. Господин Кумб представил, кстати, письмо Мадлен в качестве документа, подтверждающего его заявление. И следовательно распорядился, чтобы его освободили.

Что касается Мариуса, то объяснения бывшего грузчика, казалось бы, прибавили множество правдивых деталей к чистосердечным признаниям его. Однако два момента оставались необъяснимыми: что это был за человек, которого ясно видели служанка и кучер да и сама Мадлен, который, словно тень, пробежал мимо них, преследуемый сыном Милетты? Как связать историю этого любовного свидания с кражей, совершенной в комнате девушки, причем кражей, дважды констатированной,— сначала — отсутствием кошелька в том выдвижном ящике, где он лежал, а затем — находкой этого кошелька в саду господина Кумба.

Следователь приказал еще раз пригласить обвиняемого и засыпал его вопросами; но Мариус, страстно желавший признать себя виновным в убийстве, не хотел сознаваться в совершении кражи: он был непреклонен и отказывался давать какие-либо показания. Тогда ему передали письмо от Мадлен, и сначала показалось, что оно произвело на него впечатление, способное изменить

его чувства. Он прочитал его дважды, обливаясь слезами; затем стал умолять следователя спасти, уничтожив это письмо, честь девушки, которая благодаря искренности своих признаний будет напрасно скомпрометирована; но поскольку представитель судебной власти объявил ему, что письмо должно непременно фигурировать в интересах следствия, Мариус вновь замкнулся в молчании и не ответил более ни на один вопрос. Разъяснить все могла очная ставка, однако состояние здоровья раненого было настолько серьезным, что хирург заявил — в данный момент об этом нечего даже и думать; поэтому следователь распорядился доставить Мариуса в городскую тюрьму.

Соседи плотным кольцом окружили Милетту, чтоб помешать ей присутствовать при отправлении туда ее несчастного сына.

Мало-помалу все посторонние покинули деревенский домик. Господин Кумб, зорко следивший за уходом каждого из них, проводил последнего с тем, чтобы тщательно запереть калитку, ведущую на улицу, и только потом вернулся в дом. Он нашел бедную женщину неподвижно сидящей на том самом месте, где он ее оставил; она сидела прямо на полу, подогнув под себя ноги, положив на руки подбородок и опершись локтями о колени, и смотрела перед собой блуждающим взглядом. И какой бы толстой коркой эгоизма ни было покрыто сердце бывшего грузчика, ему показалось, что у такого немного материнского горя есть на это все основания. Складывалось впечатление, что сердце этого человека, доселе бесчувственное, впервые в жизни сжалось при виде не его собственных, а чужих страданий, и глаза его, слегка увлажнившись, заблестели гораздо сильнее обыкновенного.

Он подошел к бедной, отчаявшейся матери и почти ласковым голосом позвал ее. Милетта, казалось, даже не слышала его.

— Не надо на меня сердиться, женщина, — сказал господин Кумб. — Кой черт! Когда с тобой нервный припадок, никогда не отвечаешь за то, что делаешь, и иногда бьешь именно того, кого больше всего любишь. Да, это дело, связанное с шале, неприятное дело, и совершенно естественно, что я, будучи невиновным, стал отбиваться, как только понял, в чем меня обвиняют.

Милетта продолжала молча сидеть в угрюмо-застыв-

шей позе, словно превратилась в статую — так неподвижно она сидела и так незаметно было ее дыхание.

— Ну же, скажи мне что-нибудь, женщина. Ничто не указывает на то, что мы его не спасем. Утверждают, что с помощью денег можно все уладить в этом мире; ну что ж, если это будет стоить несколько сотен... то я не стану вести себя с теми, кого люблю, как какой-нибудь еврей. Будь спокойна, женщина-мать, мы сделаем так, чтоб он вышел сухим из воды.

Но, видя, как понапрасну расточает он свое красноречие и предлагает принести жертву, господин Кумб замолчал, и из груди его вырвался тяжелый вздох. Только мы обязаны признать, чтоб не изменить точности, присутствующей настоящему правдивому историку,— вздох этот был адресован отнюдь не бедной матери, а шкафу, где Милетта закрывала продукты, ключ от которого хранила у себя в кармане; и именно туда в течение нескольких минут был устремлен полный вожделения взгляд господина Кумба.

Последний не был потрясен ни несчастьем, обрушившимся на голову Мариуса, ни горем Милетты, он просто был голоден. Какое-то время он продолжал сидеть, внутренне колеблясь между естественной потребностью своего желудка и чувством уважения, какое невольно внушает несчастье.

При иных обстоятельствах борьба эта не была бы двусмысленной, и аппетит господина Кумба одержал бы верх над любым посторонним соображением; но душа его явно находилась на пути к улучшению, поэтому около получаса он еще посидел рядом с Милеттой, терпеливо ожидая, что она, наконец, выйдет из оцепенения, но, видя, что его терпение столь же бесполезно, как и настоятельные просьбы, он, к своему великому сожалению, принял решение пойти лечь спать без ужина.

Впрочем, он хорошо поступил, безропотно смирившись с обстоятельствами, но утром следующего дня он напрасно, проснувшись, стал искать Милетту в домике и по соседству,— бедная женщина исчезла, и, покидая дом, она, разумеется, нечаянно — господин Кумб, несмотря на дурное расположение духа, обвинил ее не в каком-то ином преступлении, а именно в легкомысленности,— так вот, Милетта унесла с собой ключи, а это означало, что господин Кумб, которого даже слово «взлом» приводило в ужас, оставался без завтрака так же, как накануне вечером — без ужина.

МАТЬ И ВОЗЛЮБЛЕННАЯ

В тюрьме Мариус так же, как и в первые минуты своего ареста, оставался твердым и покорным выпавшей на его долю судьбе. Такое внутреннее спокойствие и мужество вдохновлялось его страстной любовью к Мадлен. И чем больше он размышлял, тем больше убеждался в невозможности того, чтобы мадемуазель Риуф, как бы ни случилось, сочеталась браком с сыном Пьера Мана.

Будучи не в состоянии жениться на той, кого так горячо любил и кто так доверчиво первой протянул ему свою руку, чего он даже не осмеливался желать, Мариус думал о смерти, которая казалась ему легкой и сладкой, и он призывал ее всеми фибрами своей души, считая единственным средством избавления от страданий.

Вспоминал он и о своей матери, и его духовная вера помогала ему стойко переносить всю горечь этого воспоминания. Он был готов пожертвовать собой, желая одновременно спасти и своего отца, и своего благодетеля. Господь Бог не мог оставить его без помощи, и, обращаясь к нему с последней просьбой, Мариус очень надеялся, что Господь удовлетворит ее. В молитве своей он просил его поддержать Милетту на том трудном тернистом пути, часть которого ей еще предстояло пройти на этой земле.

Итак, он останется непоколебимым во время своего первого допроса, который состоится на другой день.

Следователь только распорядился, чтоб Мариуса провели до дверей одиночной камеры, в которой тот содержался, как вдруг ему сообщили, что одна молодая дама настоятельно требует встречи с ним.

Нетерпение особы, добивавшейся этой аудиенции, было столь велико, что она, не дождавшись возвращения своего посыльного, прошла в комнату для посетительниц, и сквозь приоткрытую дверь в наступивших сумерках можно было заметить ее силуэт.

Следователь предстал перед ней и, указав ей рукой на стул, сел напротив.

Она не дожидаясь, пока представитель судебной власти первым обратится к ней с вопросом.

— Моя просьба, месье, вне всякого сомнения, покажется вам странной и необдуманной, — сказала она

гвердо, несмотря на волнение.— Быть может, вы не примете ее во внимание и даже осудите меня; но моя совесть и, чтоб быть до конца искренней, еще одно чувство оправдывают ее, и этого вполне достаточно, чтоб я выполнила свой долг. Я — Мадлен Руиф.

Следователь склонил голову в почтительном поклоне. Девушка приподняла вуаль, доселе скрывавшую ее лицо, и собеседник мог любоваться и восхищаться этим лицом, который вызвал в нем, несмотря на бледность и глубокие следы, оставленные тревогами минувшей страшной ночи, подлинный интерес.

— Я ушла из комнаты, где на кровати агонизирует мой бедный брат,— продолжала Мадлен,— с тем, чтоб прийти к вам и выполнить свой наипервейший долг, перед лицом которого должно отступить любое другое соображение.

— Мне кажется, я догадываюсь о том, что привело вас ко мне, мадемуазель,— ответил следователь,— и даже предвидя это, я буду вынужден, к моему великому огорчению, ответить вам отказом на такую просьбу. Как мужчина я испытываю, разумеется, сильное отвращение при необходимости предавать это широкой огласке, таким образом давая возможность злым языкам в обществе трепать имя и репутацию женщины, особенно когда эта женщина принадлежит, как вы, мадемуазель, к почетному семейству; но судебный исполнитель должен быть выше соображений такого рода. Он гораздо больше зависит от Бога, нежели от ближнего своего, и, выполняя миссию, должен так же, как Господь Бог, расценивать как нечто суетное и пустое привилегии и различия в социальном составе, существующие в этом мире.

— Я вас не понимаю, месье,— быстро ответила Мадлен.

— Я буду более точным: вы, разумеется, пришли повторить просьбу, с которой этот несчастный — и я воздаю ему за это должное — обратился ко мне вчерашним вечером: сделаю так, чтоб исчезло письмо, подтверждающее характер отношений, какие мне не надлежит оценивать, существовавших между вами и обвиняемым

— Нет, месье, вовсе нет. Вы ошибаетесь,— горя благодарной энергией, возразила Мадлен,— и я протестую против такого предположения, поскольку оно отвратительно. Я люблю Мариуса и без тени стыда признаюсь сегодня в том, о чем не постыдилась написать вчера.

Я пришла к вам вовсе не для того, чтоб просить скрыть правду, а с тем, чтоб ее восстановить. Я только сейчас узнала об аресте Мариуса и имею весьма несовершенное представление о сопровождавших его подробностях; я очень боюсь, что он, из благородных чувств и самопожертвования, откажется сознаться в том, что придавало законный характер его присутствию на территории моего владения, и я пришла, чтоб сообщить вам об этом.

— Такое благородство чувств делает вам честь, мадемуазель, однако все это бесполезно. Если признания подозреваемого и вызывали у нас сомнения, то сопоставление некоторых обстоятельств дела, а также заявление господина Кумба практически сняли все вопросы. Доказано, мадемуазель, что на том, кого вы полюбили, лежит вина за попытку убийства, в результате чего вы, очень возможно, лишитесь своего брата, которым вы тоже очень дорожите.

Следователь особо подчеркнул последние слова, но Мадлен оставалась невозмутимой.

— Я вам сейчас покажусь весьма странной молодой особой, месье; но, даже рискуя навлечь на себя ваше порицание, я не склоню смиренно голову, уверенная в том, что позже буду вознаграждена вашим почтительным уважением за ошибку, которая способна в данный момент ввести вас в заблуждение. Сердечно полюбив того, о ком мы с вами ведем беседу, я подчинилась вовсе не пустому капризу; да он меня, благодарение Господу, и не обольщал. Предоставленная самой себе с самых ранних лет, я уже тогда осознала, что все в этой жизни серьезно. Я избрала его по своей воле и собственному желанию; я долго размышляла, как мне поступить, и пришла к выводу; и для того, чтоб я скорбела о нем, понадобится совершенно иное, чем те утверждения, на которых, вне всякого сомнения, основывается ваше обвинение. В отношении намека, содержащегося в вашей последней фразе, я отвечаю так: если я и оставила эту скорбную кровать, где мой долг обязывает меня сейчас быть, то только потому, что сам брат, с трудом разжавший губы и, вероятно, тронутый приближением нашего расставания навечно, сказал мне: «Пойди и спаси невинного!»

— Невинного! — повторил представитель судебной власти.

— Да, месье, невинного, — уверенно ответила Мадлен.

— По правде говоря, мадемуазель, я с сожалением отношусь к вашему ослеплению. Редко случается так, что нам дается возможность обосновать свое мнение о преступности обвиняемого до окончания следствия; но на этот раз, при наличии доказательств, какие я нахожу с избытком, причем на каждом шагу, постепенно продвигаясь вперед в этом злополучном деле, я смею, наоборот, начиная с сегодняшнего дня, утверждать не только то, что Мариус виновен, но шаг за шагом проследить за ним весь путь, каким было совершено преступление, а также уточнить обстоятельства его совершения. Он ищет вас в саду, но не находит; тогда он проникает в дом, где встречает вашего брата, и из-за невозможности объяснить ему свое присутствие у вас в столь поздний час, он наносит ему удар. Бог мой, такое случается на свете каждый день.

— Нет, месье, все происходило совсем не так, поскольку Мариус уже находился в саду, рядом со мной, в тот момент, когда мой брат издал первый крик. А почему, по-вашему, произошла эта кража?

— Да потому, что, думая о необходимости бежать, не имея личных денежных средств, он в растерянности схватил первое, что ему попало под руку.

— А как быть со сломанным секретером и тем человеком, кого мы мельком увидели и в погону за которым побежал Мариус?

— Ваши возражения, мадемуазель, очевидно, могут лишь ухудшить положение несчастного; они заставляют нас сделать предположение о соучастии и о предумышленности, о чем мы даже и не подозревали вплоть до сегодняшнего дня, ведь до сих пор мы не нашли против него ни одного свидетеля, кроме него самого.

— Так неужели же вы, месье, от которого ничто не ускользает, не поняли,— все больше оживляясь, продолжала Мадлен,— что он признал себя виновным лишь для того, чтоб отвести подозрения от своего старика отца?

— Такое самопожертвование в самом деле было бы весьма похвально,— холодно ответил следователь,— если бы проявление такого чувства можно было допустить, но увы! Оно вряд ли имеет право на существование: дело в том, что господин Кумб не является отцом обвиняемого.

— Что вы такое говорите? Господин Кумб не отец Мариуса?!

— Мадемуазель, за несколько минут общения с вами

я получил возможность оценить ваш характер. Я выражаю вам свое сожаление, но вы вызываете во мне интерес, достаточный для того, чтоб попытаться приоткрыть завесу с ваших глаз, которую вы никак не хотите снимать; более того, поднести к вашей ране раскаленное железо. Да, мадемуазель Мадлен, Мариус вовсе не является сыном господина Кумба. Мы с вами живем в такое время, когда с глупцами в обществе уже расправились тем, что их судьба предрешена с самого рождения; тем не менее чувство человеческой справедливости не позволит преодолеть различие между вами и тем, кого вы встретили, даже если вы будете сильно упорствовать в своем желании непременно соединить свою судьбу с этим молодым человеком.

— Замолчите, месье, ради Бога, помилуйте меня! — воскликнула Мадлен, задыхаясь от волнения.

— Отец Мариуса был справедливо заклемен как преступник. Отца Мариуса зовут не господин Кумб, а Пьер Мана.

Мадлен приподнялась, чтобы лучше расслышать то, что ответил ей представитель судебной власти. Когда он закончил, она в изнеможении упала в кресло, словно в словах его заключался ее смертный приговор. Силы, до сих пор ее поддерживавшие, внезапно оставили ее. Она задохнулась от рыданий и быстро закрыла вуалью лицо, залитое слезами.

Следователь наклонился к ней.

— Не падайте духом, дитя мое, — сказал он ей, — вы только что поведали мне, как с самого раннего детства привыкали к серьезной жизни, и вот настал момент воспользоваться полученными уроками. То, что в вашем возрасте называют любовью, чаще всего зависит не от щедрости сердца, а от богатства воображения. То, что вы испытываете, не должно вас поэтому чрезмерно огорчать. Вообразите себе, что вам приснился сон, и вот, наконец, настал момент пробуждения. Будьте более благоразумны в будущем; не доверяйте той восторженности чувств, которая принимает, чтоб искусно ввести в заблуждение тех, кто поддается ей, видимость здравого смысла. Помните, что мы давно уже не живем в сказочные времена Римской империи, что все весьма неприятно в нашем современном обществе; и, чтобы быть в нем правильно понятой и почитаемой, добродетель никак не должна преувеличивать свои возможности, даже если это касается ве-

личия души, и, наконец, этого молодого человека, виновен он или нет, что, впрочем, будет доказано во время публичного судебного разбирательства, вы непременно должны забыть. Преступления его отца не являются его собственными, это верно; не отвечает он и за волю случая, бросившего его в одну колыбель гораздо раньше, чем в другую, и это тоже верно; предубеждение несправедливо и абсурдно, и я заранее соглашусь в этом с вами, однако в мире существуют свои законы, и перед ними следует смиренно склонить голову, если вы не испытываете желания быть раздавленной их железной пятой. А теперь простите меня за эту нудную проповедь, уместность которой оправдывают только мои седые волосы и право отца семейства.

Мадлен выслушала следователя молча, не пытаюсь прервать его, и по мере того, как он произносил свою речь, рыдания девушки постепенно утихали; когда же он кончил говорить, она снова открыла свое благородное и гордое чело.

— Я благодарю вас, месье,— сказала она,— за вашу благосклонность и человеческую симпатию, какие вы столь явно желаете засвидетельствовать мне. Я полагаю, что вы сохраните эти чувства по отношению ко мне, поскольку, чем лучше вы меня узнаете, тем больше сочтете меня достойной их. Я уверена: если вы и осуждаете меня, разделяя мнение общества, то сердце ваше великодушно прощает меня.

— Как! — воскликнул следователь, искренне полагавший, что убедил Мадлен.— Неужели вы все еще думаете об этом?

— Месье, вы только что сказали сами: такое предубеждение несправедливо и нелепо. Итак, будучи женщиной и христианкой, я не могу согласиться, чтобы несправедливое и нелепое стало считаться приличным и порядочным; я не могу также согласиться с тем, чтобы какой-то абсурд и несправедливость могли бы освободить меня от клятвы, данной мною по доброй воле. Если Мариус невиновен, во что я продолжаю верить, я буду вместе с ним скорбеть о совершенных его отцом преступлениях, краснея за них наравне с ним; и я буду бок о бок с ним работать над тем, чтобы реабилитировать фамилию, которую мы будем носить вместе.

— Я восхищаюсь вами, мадемуазель, хотя я не вправе, и в этом я сознаюсь, одобрить вас.

— Не предрешая будущего, я хочу заняться настоящим. Я являюсь главной причиной всех несчастий Мариуса,— именно я посодействовала тому, чтоб низвергнуть его в страшную пропасть; именно мне надлежит сделать все, что в моих силах, чтобы вытащить его оттуда.

— Я очень сомневаюсь, что вы добьетесь в этом успеха,— с грустью ответил следователь. Все предположения, основанные на вероятности, против него, а еще больше против него его собственные признания.

— Здесь есть одна тайна, какую я в самом деле не могу постичь; но с Божьей помощью, возможно, мне это удастся.

— Единственно, кто мог бы ее прояснить, мадемуазель, так это ваш брат, но, к несчастью, весьма сомнительно, что к нему, как мне стало известно после разговора с хирургом сегодня утром, вернется речь прежде, чем он скончается.

— Она обязательно вернется к нему, месье, и Господь поможет ему в этом, чтоб наказать виновного и оправдать невинного.

Мадемуазель Риуф раскланялась со следователем, оставив его в состоянии крайнего ошеломления от мужества, обнаруженного у столь юной особы.

День еще не наступил, когда Милетта покинула деревенский домик господина Кумба.

Создав человека для борьбы, Провидение разумно соизмерило в нем чувствительность с выносливостью. Когда сердце буквально кровоточит от боли, когда достаточно лишь капли к переполняющей его горечи, чтоб окончательно разбить его, тогда слезы сами перестают литься из глаз, мысль становится парализованной, а способность восприятия пропадает; и кажется, будто душа покидает тело, оставляя его в оцепенении, держащем его в некоем состоянии между сном и смертью, а душа, уступив телу злу, устремляется в просторы Вселенной, где становится недостижимой для его воздействия.

Именно так случилось с матерью Мариуса. Она столь беззаветно любила свое дитя, что разразившаяся катастрофа наверняка убила бы ее, если бы разум, отказавшийся воспринять причину обрушившегося на нее горя, не погрузил бы бедную мать в то состояние оцепенения, в котором мы с вами, дорогой читатель, видели ее в по-

следний раз. Она долго сидела на камне, такая же холодная и инертная, как и он. Когда она пыталась, сделав над собой усилие, мысленно сосредоточиться, когда она старалась припомнить все обстоятельства того страшного вечера, ей казалось, что она стала жертвой какого-то тягостного кошмара, однако у нее еще оставалось достаточно чувства самосохранения, чтобы бояться пробуждения.

Она думала о Мариусе и больше ни о чем, кроме Мариуса, но странное дело: в необычных видениях перед ее мысленным взором проходил и вновь появлялся беззаботный ребенок, а не обвиняемый в убийстве юноша. Иногда, правда, случалось так, будто сознание ее стыдилось этого чувства болезненной тревоги, будто бы оно решало, что для испытания ее материнской верности такое страдание не было еще достаточно жестоким, и тогда сильная нервная дрожь искажала черты ее лица; и посреди облака, красного от крови, ее взору представлялось хаотичное нагромождение кинжалов, цепей и эшафотов. Все клеточки ее мозга вибрировали в одно и то же время, и ей казалось, что голова ее расколется, как только слезы, наконец, смогут ручьем хлынуть из глаз; но только глаза ее оставались сухими и воспаленными. Способность Милетты к воспоминаниям угасла, и она снова впала в состояние инертности. И инертность эта была столь глубокой, что она мгновенно заснула, не меняя ни места, ни положения.

Когда Милетта проснулась, лучи зари, отражаясь от белоснежных вершин Маркиа-Вейр, пробивались сквозь оконные стекла и слегка освещали комнату. Первое, что различил ее взгляд в полумраке, было курткой, которую накануне сын взял с собой на рыбалку, а по возвращении бросил на стул. Тогда она все припомнила: она услышала голос господина Кумба, обвинявшего ее дорогого сына, затем последний обвинял самого себя; она вновь увидела тесно сгрудившихся любопытных, представителя судебной власти и жандармов, и реальность, иными словами, арест Мариуса, впервые за все время ясно и отчетливо предстал в ее сознании.

Она бросилась к куртке — немому свидетелю, лишний раз доказывавшему ей, что происходящая драма никак не была сном. Она прижала куртку к своей груди, неистово покрывая всю ее поцелуями, словно пыталась уловить в ее плотной ткани какие-нибудь запахи того, кто ее носил. Затем разрыдалась судорожно и беззвучно, и

несколько горячих слезинок омыли ее налитые кровью глаза. Внезапно бедная женщина отбросила в сторону свою драгоценную реликвию и устремилась к выходу из дома.

Милетта вдруг подумала, что ей наверняка не откажут в том, чтобы обнять на прощание сына, каким бы виновным он ни был. У нее ушло едва ли полчаса, чтоб преодолеть путь от Монредона до Марселя. Всех, кто встречался ей на пути, она расспрашивала, как найти дорогу к тюрьме, и при виде ее — такой бледной, с блуждающим взглядом, с седеющими прядями волос, выбившимися из-под чепчика и ниспадавшими на лицо, прохожие вполне могли заподозрить, что она сама совершила какое-то преступление.

Потрясение, которое Милетта получила, ослабив работу мозга, подготовило ее к такого рода спокойному безумию, какое обычно называется навязчивой идеей или мономанией, и монomanия Милетты целиком и полностью сконцентрировалась на сыне.

Сначала она спрашивала себя, будет ли ей предоставлена возможность обнять дорогого ей сына, и тут же приходила к убеждению, что непременно увидит его. Именно поэтому, позвонив в дверь тюрьмы и увидев, как она открылась перед нею, она пересекла порог так уверенно, что подбежавшему стражнику пришлось применить силу, чтоб вытолкнуть ее обратно на улицу. Он объяснил ей, что, имея при себе пропуск, подписанный генеральным прокурором, можно посетить заключенного, однако Мариусу, сидящему в одиночной камере, такая милость не могла быть оказана.

Милетта не слушала его; она была вся поглощена созерцанием этих мрачных толстых стен, железных дверей, решеток, цепей, замков и вооруженных людей, блящих у входа; она никак не могла понять, почему все эти излишние предосторожности приняты против ее доброго и кроткого Мариуса; вся эта груда камней показалась ей похожей на могилу, всей своей тяжестью давящей на тело ее сына, и она содрогнулась от этих мыслей.

Тюремщик еще раз повторил ей то, что только что сказал, но это ее вовсе не остановило, более того, она не стала отчаиваться.

— Я подожду,— сказала она ему.

И, перейдя через улицу, села прямо на мостовой, напротив входа в тюрьму.

Весь день Милетта провела не сходя с места, не обращая ни малейшего внимания ни на насмешки прохожих, ни на струи дождя, методично стекавшие с крыши как раз над облюбованным ею местом; но, не реагируя на замечания в свой адрес по поводу бесполезности питаемых ею надежд, она сразу становилась внимательной и тревожной при малейшем шуме, возникавшем за огромной черной дверью; она вся трепетала, услышав, как скрипят дверные петли, и продолжала по-прежнему верить в появление в железной пасти двери своего сына, готовая в любую минуту раскрыть ему свои объятия.

Проявление такой стойкости и смирения тронули даже сердце самого тюремщика, ставшее твердокаменным от ежедневного созерцания картины человеческих страданий.

С наступлением вечера он вышел из своего служебного помещения и направился прямо к бедной женщине. Милетта решила, что он ищет именно ее, и от радости громко вскрикнула.

— Славная моя женщина,— сказал тюремщик,— вы не можете оставаться здесь.

— Почему? — спросила Милетта нежным и печальным голосом.— Я ведь никому не причиняю неприятностей.

— Разумеется, это так, но, учитывая то, как вы промокли, вы непременно заболете, стоит вам только провести всю ночь на улице.

— Тем лучше! Господь ради него примет во внимание и мои страдания.

— Да и потом, если патруль увидит вас здесь, он вас арестует и посадит в тюрьму.

— В тюрьму вместе с ним? Тем лучше!

— Нет, не с ним, как раз наоборот, в тот момент, когда вход к нему в одиночную камеру будет разрешен, вы не сможете с ним увидеться, поскольку вас задержат как бездомную и вы будете находиться в тюрьме.

— Что ж, я уйду отсюда, добрый господин, сейчас уйду, только скажите мне, как скоро я смогу прижать его к своему сердцу? Бог мой, мне кажется, что уже вечность, как мы разлучены с ним, но не продлится же это очень долго, не так ли, мой добрый господин? И потом, он никого не убивал. Он не способен совершить преступление, и если б вы увидели его, то тотчас же подумали бы именно так. Не правда ли, он очень красив, мой сын? Но

сейчас это не имеет никакого значения. Когда он был маленьким мальчиком, он был такой славный! Такой набожный! Знаете ли, однажды на праздник «Тела Господня» я одела его в костюм святого Иоанна Крестителя, мне кажется, будто вчера все это было; знали бы вы, как он был прекрасен в овчине с небольшим деревянным крестом на плече! Если б вы увидели его, то поклялись бы, что это добрый ангел Божий, убежавший из рая. Когда мы вечером возвращались после окончания шествия домой, нам встретился нищий с протянутой рукой; ребенку нечего было дать ему, а я шла под руку с господином Кумбом, и он не осмелился попросить у меня. Когда я обернулась, у моего бедного дорогого ребенка все лицо было мокрым от слез! И вот моего сына обвиняют в том, что он пролил кровь ближнего своего! Полноте, неужели это возможно? Я полагаюсь на вас... И потом, если его осудят, я не смогу пережить его смерть. Вы понимаете меня, не так ли? Мать не может продолжать жить после смерти своего ребенка. Судьи, конечно, справедливы, но то они и судьи, они не захотят одним ударом покарать и мать, и сына. Они отдадут его мне... Не правда ли, месье, они отдадут его мне?

Пока она скороговоркой произносила эту речь, которой ее нервная интонация придавала еще большую бессвязность, тюремщик с шумом потряхивал огромной связкой ключей, висевшей у него за поясом, и несколько раз подносил руку к глазам.

— Вы вправе надеяться, моя мужественная женщина; надежда так же необходима нашему сердцу, как воздух нашим легким; но вам надо вернуться домой; ваш сын чувствует себя хорошо...

— Вы его видели? — воскликнула Милетта с живостью.

— Разумеется.

— И вы еще раз увидите его?

— Вполне возможно.

— Ох, какой же вы счастливый! Но вы можете передать ему, что я здесь, рядом с ним, настолько близко от него, насколько это возможно для меня? Скажите же ему об этом, умоляю вас; этим вы облегчите страдания сразу двух несчастных, потому что он любит меня, мой бедный мальчик, так же, как и я его нежно люблю. И я уверена, что разлука со мной вызывает у него безысходное отчаяние. Вы ему скажите, что я пришла сюда, что день

за днем я буду приходить сюда, пока, наконец, вы не позволите мне войти туда, где он сидит... Бог мой, ведь вы скажете ему все это, не так ли?

— Я обещаю вам это при условии, что вы сейчас совершенно спокойно и разумно пойдете к себе домой.

— О да, я сейчас уйду отсюда, мой добрый господин, уйду сию же секунду, только вы скажите ему, что сегодня я была у двери его тюрьмы, и я все время буду повторять ваше имя в своих молитвах.

Милетта схватила служащего тюрьмы за руку и, не смотря на все усилия, предпринятые им, чтобы отдернуть свою руку, поднесла ее к губам и быстро удалилась, бросив взгляд на угрюмые тюремные стены, которые заточили самое дорогое, что только было у нее в этой жизни.

Она долго блуждала в лабиринте улиц старого Марселя, обойдя таким образом полуостров, протянувшийся вдоль всего расстояния от старого порта до того места, где в наши дни построили новые доки. Милетта не искала ни крова, ни ночлега; она шла без всякой цели, чтоб как-то убить время, то время, что отделяло ее от столь желанного завтра, когда сбудутся, в чем она не сомневалась, ее надежды. В тот момент, когда, обогнув старый крытый рынок, она собиралась пойти по одной из узких улочек, окружавших его, совсем рядом с ней прошел мрачного вида человек.

Его вид произвел на Милетту необыкновенное действие: с ее лица вдруг исчезло выражение меланхолической протрации, какое оно приобрело с момента постигшего ее накануне горя, оно явно оживилось, глаза ее заблестели в темноте, и в то же время она судорожно вздрогнула всем телом. Она ускорила шаг, чтоб обогнать этого человека. И, когда они оба проходили под уличным фонарем, Милетта резко обернулась и оказалась лицом к лицу с этим запоздалым прохожим.

— Пьер Мана! — воскликнула она, хватая его за обшлаг рукава.

И, хотя улочка была совершенно пустынной, совесть Пьера Мана была не настолько чиста, чтоб с удовольствием услышать свое имя, произнесенное кем-то во весь голос; резким движением он попытался высвободить свою руку, чтоб убежать, но пальцы Милетты, можно сказать, приобрели мощь клещей. И какие усилия ни предпринимал бандит, он не мог вырвать свою руку из ее руки. Тог-

да мать Мариуса приблизила свое лицо почти вплотную к лицу своего бывшего мужа.

— Узнаешь меня, Пьер Мана? — с дрожью в голосе промолвила она.

Пьер Мана побледнел и с ужасом откинул голову назад.

— Ах, так ты узнал меня! — продолжала бедная женщина. — Ну что ж, тогда верни мне моего ребенка.

— Твоего ребенка? — с неподдельным ужасом переспросил Пьер Мана.

— Да, моего ребенка, Мариуса, моего сына; верни мне моего ребенка, которого забрали вместо тебя. Верни мне Мариуса, который понесет наказание за твое преступление. Мне надо его вернуть, слышишь меня, Пьер Мана?

— Ах, черт тебя побери, да замолчишь ты или же...

— Мне — замолчать? Ты и не думай об этом, — ответила Милетта с новым приливом энергии, — замолчать, когда руки его связаны цепями, которые должны были бы сковывать тебя?! Молчать, когда он — пленник, а ты — на свободе? И мне молчать?.. Так ты считаешь, что я не знаю, что именно ты совершил это убийство и кражу? Господь второй раз сталкивает меня с тобой, чтоб я, наконец, поняла, что виновником случившегося являешься ты. Я видела, как ты тем вечером, словно волк, рыскал вокруг наших домов, а я, даже чувствуя запах крови и зная о следах грабежа, не воскликнула: «Это именно он прошел там!» Я была как помешанная.

— Я не понимаю тебя, да и не знаю, что ты хочешь всем этим сказать.

— Какое мне дело! Только бы судьи были совершенно убеждены в том, что именно ты убил господина Риуфа.

— Господина Риуфа!

— И Мариус пришел с повинной, — продолжала Милетта, которая благодаря материнскому инстинкту вдруг обрела потрясающую интуитивную ясность, — только потому, что не хотел позволить обвинить невиновного, да и не мог он подставить своего отца под топор палача

— Мариус? — переспросил Пьер Мана, начавший что-то понимать. — Такой стройный брюнет с черными усами?

— Он был со мной вчера именно тогда, когда ты появился у двери в наш дом.

— Эх, черт побери! — продолжал бандит, которого

никогда на протяжении многих лет не покидало чувство уверенности.— Вот парень, который окажет честь своей фамилии.

— Поразмысли над примером, какой он подает тебе, Пьер.

— Ай-ай, бедняжка! Конечно, я безумно горд тем, что являюсь его отцом.

— Скорее последуй такому примеру; это твой сын так же, как и мой: так не дай ему одержать над тобой верх в отваге и в благородстве. Само небо предоставляет тебе возможность такого искупления, которое покроет все твои ошибки. Пойди найди судей, пойди освободи нашего сына, и я тоже забуду обо всех причиненных мне тобою страданиях, и если только Господь позволит мне жить на этой земле, так только затем, чтоб молиться о твоей душе и благословлять память о тебе.

Пьер Мана почесал затылок, но не проявил никакого энтузиазма по поводу предложения, только что сделанного Милеттой.

— Ну! — сказал он. — Меня мороз продирает по коже от твоих просьб. Прежде чем решиться, надо поразмыслить. Что касается меня, то я ничего не делаю необдуманно.

— Тогда подумай над тем, что ему грозит эшафот! Подумай и над тем, что во избежание такого позора он может посягнуть на свою жизнь.

— Дурачок! Это было бы скверно с его стороны, — холодно возразил Пьер Мана, любивший вставлять в свою речь кое-какие словечки из гнусного словаря злодеев, — по внешнему виду он просто господин, — продолжал он с чувством некоего презрительного превосходства, — и в то же время не знает Свода законов. Он понесет наказание, это правда; но, что бы ни делал королевский прокурор, преднамеренность убийства будет снята, у него будут смягчающие вину обстоятельства; мы увидим его на каторге, вот и все.

— На каторге! — сказала Милетта, угадывавшая что-то страшное в загадочных выражениях, долетавших до ее слуха.

— Или же, если тебе так больше нравится, в Тулоне, — дерзко отвечал Пьер Мана. — Или, если ты все еще не поняла, о чем идет речь, на каторжных работах, как выражаются буржуа.

— На галерах! — воскликнула Милетта.

— Ну что ж, верно, и так тоже говорят: на галерах.

— Но галеры — это же хуже, чем смерть.

— Полноте! Какая глупость; мертвецы не согреваются, в то время как те, кто носит колодки...

— О Боже! — промолвила Милетта, закрывая лицо руками.

— ...Их однажды выбрасывают на свалку, и наглядное доказательство этому — то, что я стою сейчас здесь.

— О Боже! — снова повторила бедная женщина, привнося во второе восклицание больше неподдельного ужаса, чем в первое.

— Не считая, конечно, — добавил бывший каторжник, — что если он там и окажется, то в качестве моего родного сына, а это пойдет ему там на пользу; я пошлю пароль, и ему останется только выбрать, чтоб найти там товарища, способного оказать содействие: друзья есть даже в воровском мире. Так что будь спокойна, он там не пропадет.

— На галерах! Мой сын на галерах! — воскликнула Милетта. — Но ты ведь не знаешь, Пьер, что, какой бы огромной ни была моя любовь к нему, я лучше предпочту оплакивать его смерть, чем краснеть за его позор!.. На галерах! Мариус — каторжник! Ты сошел с ума, Пьер!

— Послушай, приди на встречу со мной завтра, в это же время; ты встретишь меня на этой же улице, и мы посмотрим, что мы сможем сделать.

— Нет, — твердо ответила Милетта, — я не питаю к тебе доверия, Пьер, если бы у тебя действительно было отцовское сердце, разве стал бы ты откладывать на завтра то, что можешь сделать сегодня для Мариуса, когда он страдает, когда окропляет своими горячими слезами солону, на которую его бросили.

Милетта протянула руку, чтобы схватить Пьера Мана за блузу; но он, пригнувшись, проскользнул у нее под рукой и в один прыжок пересек улицу.

— Тогда следуй за мной! — крикнул он.

Каким бы быстрым и неожиданным ни было бегство бандита, Милетта не отступилась от того, чтоб его догнать; она пересекла улицу так же быстро и ловко, как и он; поскольку материнская ярость придала ей сверхъестественную силу, она почти догнала его, и следуя за ним на расстоянии нескольких шагов, громко звала на помощь.

Пьер Мана сделал крутой поворот.

— А, попался,— закричала Милетта, цепляясь за край его одежды,— не думай ускользнуть от меня, я тебя больше не покину, я неотступно буду следовать за тобой, как твоя тень!

И заметив, что несчастный поднял на нее руку, смело продолжала, подставляя ему свою грудь:

— Ну, ударь меня! Я тебя больше не боюсь; убей меня, если хочешь! Господь не захочет, чтоб невинный погиб вместо преступника, и из моего трепещущего и безжизненного тела поднимется голос и будет повторять так, как я тебе повторяю: «Это Пьер Мана, каторжник, вор и убийца; это не мой сын, а Пьер Мана обокрал и убил господина Риуфа!»

Положение Пьера Мана становилось критическим.

Он стоял как раз напротив одного из самых мрачных и мерзких домов, находившихся на одной из отвратительных узких улочек, являвшихся позором старого Марселя, напротив одного из тех притонов под открытым небом, где посреди самых отвратительных отбросов кишело и быстро размножалось пятое поколение фокейцев — жителей старинного поселения, из которого позже вырос Марсель; точнее, это были потомки страшных представителей вертепа, при встрече с которыми прохожий с ужасом отступал, спрашивая самого себя, несмотря на живое подтверждение, какое видел собственными глазами,— как только люди соглашаются прозябать в подобных трущобах?

Эти средоточия нечистот в то же время являются рассадником всех человеческих пороков; они служат сценой вакханалий, устраиваемых матросами; пьяные вопли, стук раздаваемых ударов, хрипы раненых являются для них традиционными; поэтому, несмотря на крики бедной Милетты, ни одно из окон не отворилось, и ни один из обитателей этих кварталов не появился на пороге.

Но полиция очень бдительно следит за порядком в этих кварталах и может совершить обход в любую минуту.

Пьер Мана понял, что ему для собственного спасения требовалось немедленно прекратить разыгравшуюся сцену; его огромная рука опустилась на нижнюю часть лица бывшей жены и, прикрывая ее, с силой зажала той рот.

Милетта вцепилась зубами в ненавистную ей руку и с неистовой яростью укусила ее.

Но, несмотря на нестерпимую боль, Пьер Мана не отдернул свою руку; свободной рукой он так сильно сдавил горло матери Мариуса, что охватившее ее удушье последовало незамедлительно.

Тогда, продолжая зажимать ей горло кляпом, обгаренным кровью, он приподнял Милетту другой освобожденной рукой, и с этим живым грузом на плече углубился в темный и зловонный узкий проход одного из домов, о которых мы упоминали выше.

Он пришел во двор, такой темный и узкий, что тот походил на колодезь. Добравшись сюда, до мрачного убежища, где ему, вне всякого сомнения, нечего было опасаться и заботиться о шуме, который он, весьма вероятно, мог наделать, он бросил свою бывшую жену сквозь наполовину разбитую оконную раму, расположенную на уровне мостовой.

Все, что осталось от оконного стекла, сразу же разлетелось вдребезги, и бездыханное тело Милетты, проломив несколько сгнивших деревянных досок, упало в нечто вроде подвала, который мог вполне сойти в Марселе за погреб, учитывая его расположение ниже уровня земли.

Пьер Мана исчез на несколько минут; вернувшись обратно, он нес фонарь и ключ.

Он отпер дверь в подвал и, спустившись туда по ступенькам, открыл замок и задвижки двери, находившейся в углу подвала, и, обхватив тело Милетты, потащил его к углублению, скрывавшемуся за той дверью.

Милетта так и не сделала ни одного движения; Пьер Мана грубо положил свою руку ей на грудь и почувствовал, что сердце ее все еще продолжало биться.

— Эх, черт побери! — сказал он. — Я так и знал, что еще не забыл, как надо правильно выполнять такое упражнение; я только хотел привести его в исполнение в два счета и был абсолютно уверен, что лишь слегка подтолкнул ее к этому. Черт! Ну не убивают же свою жену тогда, когда находят ее после двадцати лет разлуки; посмотрим, так ли уж старательно в течение этих двадцати лет она блюла интересы хозяйства?

Он поставил фонарь совсем рядом с лицом Милетты и принялся выворачивать карманы бедной женщины с ловкостью, говорящей о его большом опыте в прошлом.

Он нашел в них ключи и несколько монет; презрительно бросив ключи на землю, он положил деньги к себе в

карман, тщательно закрыл на замок и на засов дверь конуры, где оставил свою жертву, а также дверь этого подвала; в довершение он из предосторожности положил перед разбитой рамой несколько бочек и ушел оттуда прочь, чтоб закончить эту ночь в одном из притонов Марсея.

Глава XIX.

В КОТОРОЙ ПЬЕР МАНА, КАЖЕТСЯ, РЕШАЕТСЯ ПРИНЕСТИ В ЖЕРТВУ СВОИМ ОТЦОВСКИМ ЧУВСТВАМ ЛЮБОВЬ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Мы с вами, дорогой читатель, вовсе не последуем за Пьером Маном в кабаки, в которые он, как мы видели, столь резво направился. Наше авторское перо редко прибегало, за исключением какой-нибудь чрезвычайной ситуации, к описаниям подобного рода мест, и лишь с чувством глубочайшего отвращения мы приподнимаем темную завесу, которая кажется естественным прикрытием некоторым из этих столь низко опустившихся существ, покусившихся на сами основы общества и затеявших против него борьбу преступную и враждебную. Только необходимость продолжения нашего повествования вынуждала нас прибегать к подобным описаниям. Но, рискуя утратить всю прелесть живописности и преимущества колорита, мы не будем далее пользоваться необдуманном любопытством, представляя на последних страницах нашего романа картины нравов современного сброда; мы не будем марать наш анатомический стол, на котором пытаемся вскрыть некоторые тайны человеческой души путем ее соприкосновения с отвратительным распутством, в коем прозябают подонки общества.

Итак, покинем Пьера Мана и вернемся к Милетте.

Пьер Мана не ошибся,— она действительно не была мертвой, но прошло довольно много времени, прежде чем она пришла в себя.

Когда наконец бедная женщина вновь открыла глаза, то обнаружила, что находится в кромешной тьме.

Сделав естественное в ее положении движение, она поднялась на ноги и уперлась головой в сводчатый потолок.

Она вовсе не подумала о том, что сама была фактически заживо погребена в этом жутком месте, похожем на склеп; первая ее мысль была, конечно же, о Мариусе, находящемся в тюрьме.

Быть может, пробил час, когда вход в тюрьму был открыт для нее; быть может, именно в этот час ее приглашали туда, а она никак не могла воспользоваться этим.

Несмотря на окружавший ее мрак, она инстинктивно нащупала дверь, попробовала трясти плотные деревянные доски, но лишь сильно ушибла руки и ноги о дерево и сорвала все ногти, в полном отчаянии выкрикивая имя своего сына.

Однако Пьер Мана не зря рассчитывал на крепость стен и надежную изолированность подвала, который должен был нести ответственность за ту, чье одно слово могло его погубить.

Дверь твердо выдерживала яростные нападки бедной женщины, и отчаянные крики той растворялись в мертвой тишине, царившей вокруг.

И тогда ее объял приступ бешенства, какой обычно близок к безумию. Она покатила по земле, стала рвать на себе волосы, бить себя в грудь кулаками и ударяться головой о стену. То она громко произносила имя Мариуса, призывая небо в свидетели, что вовсе не ее вина была в отсутствии у него в эту минуту; то жалобно умоляла палача и заклинала вернуть ей сына.

В конце концов, изнуренная, разбитая и подавленная горем, она, вытянувшись, легла на землю, и ее бесконечное отчаяние прорывалось в глухих рыданиях, в свою очередь перераставших в мучительную икоту.

Милетта пришла уже в весьма удрученное состояние духа, как вдруг проделанное в верхней части двери окошечко, которое ускользнуло от ее внимания, неожиданно отворилось. Глаза Милетты, уже привыкшие к темноте, различили голову незнакомца, склоненную над железной решеткой, прибитой к окошечку с внутренней стороны.

— Послушай-ка! Не собираешься ли ты поскорее заткнуться, мерзавка? — спросил он грубо. — Ну и голосок у тебя! Похуже, чем свист в кузнечном цеху. Ты так и будешь кричать с утра до вечера без остановки?!

— О, месье! — воскликнула Милетта, умоляюще складывая руки.

— Ну же, чего ты хочешь? Говори!

— Я хочу увидеть Мариуса, ради Бога, позвольте мне увидеть Мариуса!

— Понятно, значит, этот негодяй счастлив, когда его желают таким образом; но, поскольку в мои обязанности не входит сделать так, чтоб ты увидела Мариуса, я могу лишь призвать тебя к одному — замолчать, или в противном случае, когда твой друг придет, чтоб принести тебе порцию дневного пропитания, я настоятельно попрошу его преподать тебе урок, как здесь усыпляют непослушных деток.

После чего окошечко захлопнулось. Появление этого человека и его зловещие слова несколько утихомирили бедную женщину, но не навели на нее страха. Напротив, услышав все это, она обрела уверенность, что вовсе не была в том положении, какого она так боялась всего мгновение тому назад, иными словами, она не была навсегда отрезана от мира живых людей, и поверила, что еще могла увидеть того, ради которого она готова была отдать собственную жизнь. Кстати, тот, кого незнакомец назвал ее другом, не мог быть не кем иным, как Пьером Мана; значит, она еще увидит его, и он принесет ей еду, — совершенно ясно, что он не хотел ее смерти.

Итак, если у него в сердце осталась еще капля жалости к своей несчастной бывшей жене, возможно, и у нее возникнет ответное расположение. И после этой, внезапно пришедшей к ней мысли, в ее воспаленном мозгу стали во множестве неожиданно появляться самые разные соображения и размышления, к которым на протяжении последних нескольких часов она была совершенно неспособна. Сначала Милетта подумала о побеге; она попыталась ясно представить себе место своего пребывания, для чего исследовала его вдоль и поперек, заменяя свое зрительное восприятие осязанием.

Это действительно был подвал, составлявший в длину около десяти футов, а в ширину — шести или восьми, не имевший ни окошка, через которое пробивался бы дневной свет, ни какого-либо другого выходного отверстия для воздуха, кроме упомянутого нами окошечка в двери. Руки узницы, ощупывавшие все окружающие ее поверхности, не ощутили ничего, кроме липких от влажности стен, что лишней раз указывало на расположение подвала ниже уровня земли. Кроме того, камни, слагавшие стену, были такими широкими, что, когда Милетта

прикинула их подлинную толщину, ей стало совершенно очевидно, на сколько удастся сдвинуть с места хоть один из них, и хватит ли у нее сил, чтоб вытащить его из каменной ячейки.

Тогда она села на голый пол, глубоко расстроенная и обескураженная; одна-единственная надежда оставалась у нее на этой земле, правда, она никак не была связана с ее собственной жизнью — какое ей было до этого дело! Зато ее надежда питалась страстным желанием снова увидеть своего сына, и осуществление ее целиком и полностью зависело от Пьера Мана: именно он держал в своих руках судьбу Мариуса. И тогда постепенно, несмотря на добродетельные от природы инстинкты Милетты, многие вещи предстали перед ней в новом свете. Каторга, перспективу которой для Мариуса нарисовал Пьер Мана, казалась ей уже менее страшной с того момента, как только такой приговор сделает из Мариуса невинного мученика; по крайней мере каторга была все еще продолжением жизни, там она смогла бы его снова увидеть; красный плащ каторжника, прикрывающий это преданное и великодушное сердце, пожертвовавшее собой ради своего отца, представлялся ей теперь менее безобразным и отталкивающим. Она упрекала себя в том, что перепутала отца с сыном, предложив первому проявить беззаветную преданность, к которой была способна только душа второго, и мало-помалу ошибки, совершенные ею в тот памятный вечер, одна за другой зримо предстали перед ней.

Она окончательно решила, вместо того чтоб угрожать бандиту — эта безуспешная попытка была однажды предпринята ею,— сделать все возможное и невозможное, чтоб растрогать его; и она принялась заранее готовиться к тому, что скажет ему, как только увидит его вновь. Она старательно исследовала все уголки и тайники своего сердца, с целью найти там хоть что-то, способное смягчить эту очерствевшую душу; но слова, произносимые ею про себя совсем тихо, не могли верно передать громкий вопль материнской души, буквально вырвавшийся из ее уст и готовый снова и снова сорваться у нее с языка. Вопль этот звучал в самом ее чреве, и едва долетал до ее рта, как она просто отчаивалась от неспособности человеческого языка. Она восклицала: «Это не так, это не то!» — и снова бралась за ту же тему, пытаясь придать ей новую форму.

Наконец, в подвале раздались тяжелые шаги, и вся кровь Милетты отлила от ее сердца, у нее перехватило дыхание,— осужденный на казнь, слышащий шаги палача, спокоен не больше, чем была спокойна бедная женщина в тот момент.

Со своей стороны Пьер Мана — ведь это был именно он — показался бы ей, если б только она могла его видеть, встревоженным и озабоченным. На самом деле, и тревога, и озабоченность имели полное право на существование. Хозяин разбойничьего притона, где квартировался Пьер Мана, недвусмысленно заявил — а ему принадлежал и подвал, в котором Пьер поместил свою жертву,— что не желал ее держать там более ни дня, преступление по незаконному лишению какого-то лица свободы было предусмотрено в уголовном кодексе. Хозяин также добавил к вышесказанному, что лично он вовсе ничего не слышал о том, что в его доме было совершено преступление. Пьеру Мана оставалось только сожалеть, что в процессе удушения своей жертвы он так и не дошел до третьей стадии, проявив таким образом то, что наедине с самим собой он характеризовал не иначе, как малодушие.

Он вошел в подвал в весьма задумчивом состоянии, тщательно запер дверь, поставил в угол кувшин с водой и положил кусок черного хлеба, который на всякий случай всегда имел при себе, и, прислонившись к стене, встал недалеко от Милетты, чтоб наглядно продемонстрировать ей, с какими добрыми намерениями он пожаловал.

— Итак,— сказал он,— ты наконец решила помолчать, не так ли? Само собой разумеется, ты правильно сделала, черт побери!

Бедная женщина подползла к тому месту, откуда раздавался этот голос, и обняла своего мужа за колени.

— Пьер,— сказала она ему с оттенком мягкого упрека в голосе и так, словно успела забыть характер того, к кому она обращалась,— Пьер, ты весьма грубо обошелся со мной этой ночью, и почему же? Да потому, что я больше жизни люблю бедного ребенка, которого я имею от тебя.

— Но, судьба-индейка, я упрекаю тебя вовсе не за то, что ты любишь его больше своей жизни, нет, а потому, что ты любишь его больше моей жизни,— с ухмыл-

кой ответил Пьер Мана, впрочем, явно восхищенный такой переменной, происшедшей с несчастной женщиной, переменной, которая даст ему возможность немедленно выполнить приказания хозяина этого жуткого жилья.

— Я не стану больше говорить о жертве твоей жизни, Пьер, ведь каждая мать страстно мечтает об этом. Я тогда была как помешанная, ты же видел; этот арест, тюрьма, куда посадили Мариуса,— все это так подействовало на меня, что я просто потеряла голову. И я думала, что ты будешь счастлив спасти своего ребенка ценой собственной жизни, как сделала бы я, будь я на твоём месте. Не надо на меня за это сердиться, я забыла, что мать любит дитя на свой лад, а отец — на свой; но и ты, Пьер, в свою очередь пообещай мне сделать одну вещь: пообещай, что ты не похоронишь меня в этом подвале и что я выйду отсюда живой и невредимой.

— Ах, так ты боишься, как мне кажется; а совсем недавно прикидывалась такой храброй!

— О да, я боюсь, но не за себя, клянусь тебе в этом; я боюсь за него, моего бедного мальчика. Ты только подумай, Пьер, если бы я умерла, у него не осталось бы никого в целом свете, чтоб утешить его, разделить с ним его горе, помочь ему нести груз этих оков. О, я умоляю тебя, Пьер, не лишай его нежности родной матери, в которой он так нуждается сейчас. Позволь мне вернуться к нему.

— Позволить тебе выйти, чтоб ты меня выдала, а потом, как только они задержат Пьера Мана, избавление от которого не должно тебя огорчить, ты будешь смеяться над ним вместе с этим мальчуганом? Полноте, ты принимаешь меня за кого-то другого, моя славная!

— Мученическим Крестом нашего Спасителя, головой нашего ребенка я свято клянусь не выдавать тебя, Пьер.

— Да уж, ты их прекрасно держишь, эти свои клятвы,— нагло сказал бандит,— я свидетель данных тобою супружеских клятв.

Милетта смиренно склонила голову и ничего не ответила.

— Нет уж, ты покинешь меня не раньше, чем по ту сторону границы. По существу говоря, глупо иметь законную супругу и потерпеть ущерб вместо того, чтоб воспользоваться выгодой такого положения. Закон требует, чтобы ты следовала за мной, моя красotka, и надо под-

чиняться букве закона. Мне не очень хотелось бы показаться слишком строгим судьей в отношении прошлого, но что касается будущего, то это другое дело.

Затем, указывая пальцем на стены подвала, похожего на тюремный карцер, добавил:

— Вот тебя и вернули в супружеский дом, и я желаю, чтобы ты здесь оставалась.

— А Мариус! Как же Мариус! — воскликнула бедная мать.— Тогда я больше не увижу Мариуса! О, Пьер, жалься надо мной; вспомни, что когда-то ты любил меня, что ты лежал у моих ног, чтобы я воспротивилась воле моих родителей, желавших выдать меня за другого, и я дала согласие, бросившись в твои объятия. Ну, ради памяти об этом дне, Пьер, не отталкивай меня, не разлучай меня с моим сыном.

— Послушай,— сказал бандит, явно начавший намечать какой-то план,— я не namного злее кого-либо другого; наш ребенок — храбрый парень, и, если только это не будет стоить мне моей шкуры, я расположен кое-что сделать для него.

— О мой Бог! — промолвила Милетта, задыхаясь от забрезжившей перед ней надежды.

— Да,— добавил он, притворившись, что размышляет,— я все решил: я не стану сам его спасать, но позволю тебе спасти его.

— И что требуется для этого сделать?

— Видишь ли, не сегодня, и даже не завтра наш малыш предстанет перед судьями, и будет вынесен приговор; правосудие не очень-то спешит, таким образом, у меня есть время дать тягу и оказаться по ту сторону границы. Как только я окажусь там, куда ты будешь так любезна сопровождать меня, я скажу тебе: «Вот теперь, Милетта, ты можешь делать и говорить все, что захочешь; Пьеру Мана наплевать на все, он говорит в последний раз «прощай» своей неблагодарной Родине, на которую он больше никогда не вернется».

— О, Пьер, не говоря ни слова я буду сопровождать тебя туда, куда ты только захочешь; я даже буду защищать тебя в случае надобности. Какая же я глупая, что не поняла,— ведь есть именно такой способ!

— Разумеется, он есть, но...

— В чем дело?

— Но Родину не покидают вот так, без единого су в кармане, и Пьер Мана далеко не ребенок, чтоб не по-

нимать таких уроков. Ну, поищи как следует, какую сумму ты можешь выделить в пользу несчастного и горючего супруга? Кстати, малыш пообещал мне кое-что принести, но его взяли как раз до того, как он собирался выполнить свое благое намерение.

Затем проявлявший волчьи повадки стал пастухом:

— Ты поищи, моя славная, поищи как следует,— сказал он ей, садясь рядом.

— Но у меня ничего нет, абсолютно ничего,— ответила она.

— Ничего?

— Ни одного обб¹ла!

— А как ты думаешь, сколько малыш собирался мне дать?

— Да все, что у него было, я уверена в этом.

— А какой суммы могло достичь то, чем он обладал?

— Возможно, шести или семи сотен франков.

— Это не так уж много,— добавил Пьер Мана,— но в конце концов...

И, помолчав минуту, спросил:

— А где лежат эти шесть или семь сотен франков малыша?

— Они находятся в его комнате, у господина Кумба

— Ну что ж, ты дашь мне эти деньги, и я вместе с ними перейду границу. Впрочем,— продолжал Пьер Мана,— мы живем в государстве, и мы нигде не стеснены.

— Но эти деньги,— прошептала Милетта,— не мои, Пьер.

— Так, значит, спасая своего ребенка, ты еще будешь колебаться, распоряжаться тебе его деньгами и теми деньгами, что он собирался мне дать, или нет?

— Ну, что ж,— сказала Милетта,— действительно ты прав, я пойду найду эти деньги и вручу их тебе.

— Женщина, ты знаешь, что именно я тебе сказал?

— Что ты мне сказал, Пьер? Ведь ты говорил немало.

— Я сказал тебе, что мы не расстанемся друг с другом до тех пор, пока я не буду по ту сторону границы.

— Если мы не будем расставаться, то как же тогда

¹ Ни гроша; обол -- старинная французская монета.

ты хочешь, чтоб я достала эти деньги из комнаты Мариуса?

— Мы пойдем туда вместе.

— Вместе?

— Ну, решай, или-или,— сказал Пьер Мана, возвращаясь к своему обычному грубому тону.

— И когда мы пойдем туда?

— Сегодня же вечером, и не позже, и прямо отсюда; будь умницей — выпьем нашу воду, съедим наш хлеб и не будем шуметь.

И Пьер Мана встал, ловко и бесшумно положив в свой карман два или три ключа, продолжавших со вчерашнего вечера лежать на том же месте, на земле,— ключи, о которых Милетта даже и не вспомнила, но о которых он, будучи весьма осмотрительным человеком, не забыл. После этого он вышел из подвала, на прощанье еще раз порекомендовав узнице быть благодарной.

Во дворе он встретил хозяина притона.

— Ну и,— спросил у него последний,— когда будет переезд?

— Сегодня вечером, папаша Вели!

— Это слишком поздно — сегодня вечером.

— Полно, немного терпения.

— Нет уж, слишком много проявил я терпения по отношению к тебе, а ты, бездельник, шатаешься с утра до вечера, ничего не платишь за жилье, а теперь еще создаешь мне проблемы с какой-то старой юбкой, от одной которой гораздо больше шума, чем от всего остального заведения. Ну же, немедленно сматывайтесь отсюда, ты и твоя краля!

— Не гоните вы коней. Я замышляю одну кражу, а вы беспокоите меня именно в тот момент, когда я это обдумываю.

— Не заливаешь ли ты мне здесь?

— Вовсе нет, именно для того, чтоб довести дело до благополучного конца, я помирился со своей супругой, с которой вот уже двадцать лет состою в имущественном и физическом разводе. В данный момент она как раз составляет завещание в мою пользу.

Услышав такое, кажущееся правдоподобным, объяснение, папаша Вели, казалось, явно смягчился, и, поскслску уже рассвело, отправился по своим многочисленным делам.

**В КОТОРОЙ ГОСПОДИН КУМБ
СОВЕРШАЕТ САМЫЙ ОТЛИЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ,
КАКОЙ КОГДА-ЛИБО ПРОИЗВОДИЛ ЛЮБИТЕЛЬ ОХОТЫ**

Когда дело касалось денег, Пьер Мана был образцом пунктуальности. Двенадцать часов спустя после разговора, изложенного нами выше, то есть в девять часов пополудни, в безлунный вечер, он во второй раз за этот день открыл дверь подвала, где была заключена Милетта.

Она уже стояла и ждала его. Совесть ее была абсолютно спокойна; она поняла, что никто, даже Господь Бог не упрекнет ее за желание спасти своего сына за счет денег последнего.

— Ну что? — мрачно спросил Пьер Мана.

— Итак, ответила Милетта, — я готова следовать за тобой и выполнить то, что ты требуешь от меня.

Пьер Мана удивленно посмотрел на нее; он полагал, что ему еще предстояло сломить ее последнее сопротивление. Неужели Милетта за его почти невинным требованием не разгадала подлинного плана, отнюдь не содержащего в себе ничего невинного? Будучи не в состоянии поверить в такое простодушие, бандит охотно верил в скрытность.

Слова Милетты, таким образом, вызвали у него глубокое недоверие.

— Ах-ах-ах, — сказал он, — кажется, флюгер повернулся в другую сторону?

— Вовсе нет, — просто ответила Милетта, разве я тебе не говорила, что готова выполнить все, что ты от меня требуешь?

— Тогда пошли, — грубо прервал ее Пьер Мана.

Бедная женщина выбежала из подвала. Глядя на тот неподдельный восторг, с каким она начала бегство из своей тюрьмы, можно было понять, сколь сильны в ней были воспоминания об опасностях, которым она еще совсем недавно подвергалась. Пьер Мана резко остановил ее, схватив за платье. Толчок был таким сильным и неожиданным, что Милетта упала на колени.

— О, не так быстро, — сказал он, — по правде сказать, такая поспешность не предвещает ничего хорошего: ты заставляешь меня думать, что так торопишься

наружу, чтобы закричать «Караул!» для привлечения четырех мужчин и капрала, которые избавят тебя от твоего дорогого супруга. Послушай, я, конечно, не знаю, но ты вызываешь у меня желание обойтись без твоего общества, каким бы приятным оно ни было.

— Я клянусь тебе, Пьер!..— поспешно вымолвила бедная женщина.

— Не клянись,— прервал ее Пьер Мана,— вот кто мне ответит за тебя лучше, чем все твои клятвы.

И Милетта почувствовала холодное прикосновение острого кинжала, который презренный негодяй приставил ей прямо к груди.

— Видишь ли,— сказал Пьер Мана,— что касается меня, то я не совершаю предательства, но надо, чтоб ты твердо знала, что я от этого не страдаю. Когда мы выйдем на улицу, закричи попробуй, скажи одно только слово, сделай жест, который меня не устраивает, и тогда мой смертоносный нож выполнит свою работу. Стоит того, чтоб подумать об этом, не так ли? Так подумай над этим, я советую тебе, и, чтоб еще лучше доказать тебе, насколько мне важно твое внимательное отношение к моим советам, я сейчас приму небольшую меру предосторожности, которая никак не позволит тебе поддаваться искушениям, каким ты, будучи женщиной, возможно, не сумеешь противостоять.

Пьер Мана потушил фонарь и положил его к себе в карман; затем он наложил повязку на глаза своей жены, туго завязал ее, особенно позаботившись о необходимости закинуть завязки чепчика назад таким образом, чтоб скрыть верхнюю часть ее лица, потом взял ее руку и зажал под мышкой, крепко прижав ее при этом к груди И, наконец, для большей уверенности, сжал руку Милетты в своей руке.

— Теперь,— сказал он ей,— не бойся опереться на свою естественную и вполне законную опору, моя дорогая подруга. Ах, черт побери! Я даже уверен, что издалека в ночных сумерках нас примут за влюбленных друг в друга жениха и невесту.

Болтая так на ходу, Пьер Мана шел вперед, а Милетта, почувствовав порыв свежего ветра, ударивший ей в лицо, поняла, что они вышли из узкой улочки.

Она вздохнула более легко и свободно.

— Так-так,— сказал Пьер Мана, от внимания которого ничто не ускользало,— вот и нормальное дыхание

к нам снова возвращается; впрочем, оно нам весьма необходимо, ведь нам еще предстоит такой большой переход без отдыха.

Постепенно они продвигались вперед, и, хотя повязка на глазах бедной женщины не давала ей что-либо увидеть вокруг, она тем не менее признала, что ее муж приберет к невероятным предосторожностям, чтоб пройти через город. Он никогда не ступал на новую улицу, прежде чем не обследовал ее внимательным взглядом, — остановки в пути были частыми; не раз бандит делал крутой поворот, возвращаясь назад, словно на дороге возникала какая-то непредвиденная опасность. Милетта же, начавшая серьезно тревожиться, предполагая, что ее муж намеревался избавиться от нее, казалось, стала жертвой раздиравших ее мучительных волнений; как только он останавливался, она настораживалась и прислушивалась с таким неподдельно глубоким вниманием, с каким воин-индеец, встав посреди леса, вслушивается в шаги неприятеля, идущего за ним по пятам; но то ли Пьер Мана маневрировал с потрясающей скоростью, то ли в этот поздний час он редко встречался с прохожими на улицах, но напрасно она прислушивалась: она слышала лишь звуки шагов, своих и ее проводника, громко раздававшиеся в ночи на плитах мостовой

Вскоре они перебрались через крутой скат, по всей ширине которого галька перекатывалась у них под ногами, а глухой и монотонный шум морских волн, бившихся о скалы, понемногу пробуждал внимание Милетты и указывал ей направление пути. Она возвращалась в Монредон.

Они продолжали молча идти вперед. И в тот момент, когда свежий ветер с моря и легкий шелест волн подсказали ей, что они, наконец, достигли побережья, она вдруг почувствовала, как муж легко поднял ее на руки, вошел в воду, твердо приказав ей не дотрагиваться до повязки на глазах, сделал несколько шагов вперед, несмотря на сопротивление волн; уцепился за лодку, тихо покачивавшуюся на волнах, положил туда свою ношу, влез сам и расположился рядом с ней, перерезал канат и, взявшись за весла, пустился в открытое море. И только тогда он позволил Милетте приподнять платок, которым завязал ей глаза. Воспользовавшись этим, Милетта огляделась вокруг: они были совсем одни в лодке

с Пьером Мана, затерянные среди беспредельного морского пространства, величие которого лишь усиливалось наступившими сумерками. Бывший каторжник хранил молчание и с нетерпением налегал на весла. Милетта поняла, что он спешил удалиться от берега, от которого они, впрочем, были уже настолько далеко, что звук человеческого голоса мог, возвышаясь, перекрыть шум прибоя; со стороны открытого морского пространства она не заметила ничего, кроме огней маяка Планье, гигантской звездой то вспыхивавшего, то погасавшего на фоне безграничного черного занавеса, образованного небом, слившимся с горизонтом.

Несколько мгновений спустя Пьер Мана убрал назад весла, распустил длинный реек, вокруг которого был намотан парус, и вверил ветрило воле морского ветра; однако ветер дул с юго-востока и такое его направление никак не способствовало ускорению хода их лодки. И, только дав галсы, как говаривают моряки, лодка могла подойти к Монредону, на который бывший каторжник и взял курс. Добрых два часа он потратил таким образом на лавирование, и только когда лодка находилась на одном уровне с Прадо, он убрал парус и вновь налег на весла.

Они уже начали различать вдали пики горы Маркиа-Вейр. По мере приближения, а двигались они, как догадалась Милетта, в неизвестность, биения ее сердца возобновились с новой силой, — временами эти биения были столь частыми и сильными, что казалось, будто сердце вот-вот разорвет сдерживающую его оболочку и вырвется из груди. Вплоть до этого момента Пьер Мана по-прежнему оставался молчаливым; но при виде цели, на которой сконцентрировались его грабительские мысли, он вновь обрел свою обычную насмешливую словоохотливость.

— Черт побери! — воскликнул он. — Ты не можешь не сказать, Милетта, что у тебя лучший во всем Провансе муж. Посмотри-ка, я не только привел тебя за город, но еще и ставлю под угрозу свои дела и теряю час в пути, чтобы доставить тебе удовольствие, совершая морскую прогулку. И теперь, — добавил он, высаживаясь на берег, — ты отлично понимаешь, я надеюсь, что такая галантность должна быть вознаграждена по достоинству.

— Пьер, — ответила Милетта, — если только осво-

бождение нашего бедного сына в конечном счете зависит от того, что ты хочешь от меня, я сделаю все, что доставит тебе удовольствие.

— Ну что ж, отлично, в добрый час тому, кто сказал так, как ты.

И взяв свою жену за руку, Пьер Мана направился к деревенскому домику, мрачная громада которого выделялась в темноте даже на фоне темной южной ночи.

Подойдя к двери домика, Милетта, словно к ней только сейчас вернулась память, стала проворно рыться у себя в кармане и, наконец, издала удивленный возглас.

— В чем дело? — спросил Пьер Мана.

— Дело в том, что я потеряла ключи от дома.

— К счастью, именно я их нашел,— сказал бандит, позвякивая небольшой связкой ключей, собранных им на одну веревочку.

И с первой же попытки Пьер Мана с ловкостью, наглядно доказывавшей его опытность в делах подобного рода, без труда подобрал ключ к двери.

Последняя отворилась, слегка поскрипывая. Господин Кумб был слишком бережливым, чтоб использовать свое оливковое масло для смазывания дверных петель.

— Теперь,— сказала Милетта, дотронувшись до руки Пьера Мана,— позволь мне войти сюда одной.

— То есть, как — одной?

— Вот так, и я принесу тебе то, что я пообещала.

— Ах, черт возьми! Хорошенькое дело! Наручники, вот что ты мне принесешь, да? И потом, по пути сюда множество разных мыслей пришло мне в голову, как говорится, утро вечера мудренее, ты же знаешь.

Бедная женщина затрепетала от страха.

— И какие же мысли пришли тебе на ум? — спросила она.— Я полагала, что между нами все решено.

— Сколько уже лет ты живешь вместе с господином Кумбом?

— Приблизительно около девятнадцати,— ответила Милетта, потупив взор.

— Тогда ты сама должна иметь приличное состояние.

— То есть, как это — состояние?

— Вот так, я тебя знаю, ты — женщина экономная, и за твою работу, каким бы скрягой ни был этот старый чудака, он должен был платить тебе, самое малое, около

двух сотен франков в год; и если считать по двести франков в год, то вместе с процентами это составит около десяти или двенадцати тысяч франков, ты знаешь об этом? Итак, поскольку я являюсь главой общего имущества супругов, именно мне принадлежит право распоряжаться этими деньгами. Так где эти десять или двенадцать тысяч франков?

— Но, несчастный ты человек,— ответила Милетта,— я никогда и не думала что-либо просить у господина Кумба, так же, как и он никогда не думал о том, чтоб давать мне что-нибудь. Я старательно блюла интересы нашего дома, он одевал и кормил меня; то же самое он делал по отношению к Мариусу. Кроме того, он взял на себя расходы по его воспитанию.

— Что ж, я понимаю так, что тебе и господину Кумбу нужно сесть и составить счет. Отлично, проводи меня в его комнату, и мы составим счет, и, как только это будет сделано, я ему дам в конце концов расписку, погашающую обязательства, чтобы после меня ему никто ничего не предъявлял.

— Что ты такое говоришь, несчастный человек?

— Я говорю только о том, что речь идет о необходимости сразу же проводить меня в комнату старого скряги и, не мешкая, как только мы там окажемся, сказать мне, где негодяй прячет наши деньги.

— Наши деньги?

— Ну да, наши деньги; потому что он тебе не платил жалованья за работу; потому что ты тщательно блюла его интересы; и, поскольку за счет тебя он составил себе капитал, половина всех сбережений, накопленных за долгие годы вашей совместной жизни, принадлежит тебе по праву. Я обещаю тебе взять ровно половину, ни больше, ни меньше. Итак, никаких угрызений совести, и вперед.

— Никогда! — воскликнула Милетта. И только она собралась еще раз ответить отказом, как вскрикнула от боли, почувствовав как холодное острие ножа бандита коснулось кожи ее плеча.

— Пьер! Пьер! — сказала она.— Я сделаю все, что ты требуешь, но поклянись мне, что ни один волосок не упадет с головы того, кого ты хочешь ограбить.

— Будь спокойна, я слишком хорошо понимаю, чем мы с тобой обязаны ему за заботу, проявленную к тебе на протяжении двадцати лет, а также за те небольшие

сбережения, что он приберет нам с тобой на старость. И не будем терять времени: как говорят американцы, время — это деньги.

— Бог мой! Бог мой! Ты же дал мне возможность надеяться, что покинешь Францию, как только кошелек Мариуса окажется у тебя в руках.

— Что ты хочешь? Аппетит приходит во время еды, и потом, я старею и, когда окажусь за границей, меня не огорчит возможность пожить немного на свою ренту. Кстати, кроме Мариуса, у меня нет другого законного наследника, поэтому однажды все это достанется ему. Бедный ребенок. Так, значит, для него мы сейчас с тобой поработаем. Именно поэтому я так спешу приняться за дело. Идем, веди меня, бездельница! — И он снова ткнул острием ножа ей в плечо.

Милетта тяжело вздохнула, первой пошла вперед и, остановившись перед дверью, пробормотала:

— Здесь.

Приложив ухо к двери, бандит прислушался; несмотря на разделявшую их дверь, явственно доносилось шумное дыхание господина Кумба, указывавшее, что храпун спал глубоким сном.

Пьер Мана нащупал рукой замок; ключ был в замочной скважине, — несмотря на то, что дверь дома была закрыта, господин Кумб принял дополнительные меры предосторожности.

Бандит осторожно отодвинул язычок замка, и так же, как в случае с дверью в дом, раздался слабый скрип замка, заглушенный храпом мирно спящего господина Кумба.

Пьер Мана быстро вошел, следом за ним Милетта, ни жива, ни мертва; бандит плотно закрыл за собой дверь и, приняв эту меру предосторожности, пробормотал, словно был у себя дома:

— Ну, теперь зажжем свечу, при ее свете работа спорится лучше.

Милетта шептала про себя молитву, от страха она почти лишилась чувств.

Ярко вспыхнула спичка, ее пламя зажгло фитилек, и тусклый свет от небольшой сальной свечи разлился по всей комнате.

При этом свете, каким бы слабым он ни был, можно было разглядеть господина Кумба, спящего в своей постели сном праведника.

Пьер Мана подошел к нему и пальцем тронул его за плечо.

Господин Кумб пробудился ото сна.

Ничто не способно лучше описать выражение лица бывшего грузчика, чем ужас, смешанный с изумлением, что отразился в его глазах, как только он, открыв их, заметил зловещий силуэт бандита.

Он хотел закричать, но Пьер Мана приставил нож к его горлу.

— Не надо шума, прошу вас, мой добрый господин,— сказал каторжник.— Ведь лучшая работа всегда делается молча, и потом, вы видите в моей руке то, чем я могу заткнуть вам рот, если только вы откроете его слишком широко и слишком громко.

Господин Кумб растерянно поводил глазами вокруг себя.

Он увидел Милетту, которую он в сильном волнении до сих пор не успел заметить.

— Милетта! Милетта! — воскликнул он.— Что это за человек?

— Так вы меня не узнаете? — спросил Пьер Мана.— Что ж, это забавно, а я узнал вас сразу же и нахожу вас таким же безобразно уродливым, каким видел в последний раз. Такова счастливая способность мерзких лиц — не меняться на протяжении жизни, и у вас были все предпосылки, чтоб остаться таким, каким вы были в молодости; не то, что я, за кого эта мадам вышла замуж по любви, потому, что я был красивым парнем, но не мог пользоваться такой счастливой привилегией, как вы, именно поэтому вы и не узнаете меня. Милетта, назови, наконец, мое имя господину Кумбу.

— Пьер Мана! — воскликнул последний, собравшись с мыслями и воскрешая воспоминание той страшной ночи, когда бандит хотел повесить свою жену

— Да, вот именно, Пьер Мана, мой славный господин, пришел к вам вместе со своей супругой с целью свести с вами кое-какие счеты, долгое время остававшиеся неподведенными.

— О, Милетта, Милетта! — промолвил господин Кумб, в растерянности не замечавший, как бедная женщина глазами указывала ему на находившееся у него под рукой ружье, ствол которого отбрасывал блик света в один из углов комнаты.

— Мой дорогой месье, речь идет не о Милетте,— про-

должил Пьер Мана.— Черт побери! В вашем возрасте стыдно не знать, что именно муж блюдет интересы общего имущества супругов. Поскольку вы не обращаетесь с этими вопросами к моей жене, то обратитесь ко мне.

— В таком случае, чего вы желаете? — запинаясь, спросил господин Кумб.

— Черт возьми! Так вы не знаете, чего я хочу? Денег! — нагло заявил бывший каторжник.— Будьте столь любезны отдать их мадам, тем самым оплачивая те значительные услуги, которые она оказывала вам на протяжении девятнадцати лет.

Цвет лица господина Кумба из мертвенно-бледного превратился в зеленоватый.

— Но у меня нет денег,— сказал он.

— При вас, я полагаю, их действительно нет, если только ваша кубышка не припрятана в соломенном тюфяке, но тогда денежки лежат под вами. Я уверен, что поискав как следует там-сям, вы найдете несколько банковских билетов в тысячу франков, которые валяются без дела кое-где в углах вашей комнаты.

— Так, значит, вы хотите меня обокрасть? — спросил господин Кумб с таким неподдельным изумлением, какое бы выглядело весьма комичным, не будь ситуация столь серьезной.

— Эх, судьба-индейка! — сказал в ответ Пьер Мана.— Я не придираюсь к словам, все будет отлично, лишь бы вы побыстрее выложили денежки, в противном случае, черт возьми! Я опасный человек, и об этом я вас предупреждаю.

— Денежки! — повторил господин Кумб, которому его потрясающая скупость придала даже некоторую смелость.— И не рассчитывайте на них, вы не получите ни единого су, и, если я и должен что-то вашей жене, пусть она придет сюда завтра. Наступит день, и тогда каждый со своей стороны увидит, как следует подытожить наши отношения.

— К несчастью,— вымолвил Пьер Мана, принимая все более угрожающий вид,— моя жена так же, как и я, стала ночной птичкой; немедленно сведем наши счета.

— Ах, Милетта, Милетта! — повторял несчастный господин Кумб.

Последняя, глубоко взволнованная жалобно-горестной интонацией этого обращения к ней, сделала попытку ускользнуть из рук бандита, но тот, согнув Милетту как

тростинку своей левой рукой, повалил ее, подмяв под себя, и сильно придавил ей грудь тяжелым башмаком.

— Ах, черт побори! — закричал он. — Так ты уже забыла то, что недавно сказала мне, а?! Ты хотела прийти сюда, но не пожелала сообщить мне, где он прячет свои денежки, этот сердечно любимый тобою месье! Ну, что ж! Знаешь ли ты, что я сейчас сделаю, а? Я вас сейчас убью обоих и уложу рядом в одну кровать, а сам буду прогуливаться с высоко поднятой головой; закон — на моей стороне.

Говоря так, бандит ударял Милетту в грудь своим тяжелым башмаком.

Господин Кумб не смог вынести этого зрелища. Забыв обо всем, — о своем золоте, о неравенстве сил, о том, что был совсем раздетым и безоружным, забыв о самом себе, он кинулся на этого хищного зверя.

Ужас и отчаяние придали этому простодушному человеку такую энергию, что Пьер Мана пошатнулся от его удара и, вынужденный сделать шаг назад, приподнял, сам того не желая, ногу, которой придерживал лежавшую на полу Милетту.

Совершенно истерзанная, с трудом переводящая дыхание, она воспользовалась этой короткой передышкой, чтоб с ловкостью пантеры выпрямиться и броситься к окну.

Но Пьер Мана разгадал ее замысел. Он сделал невероятное усилие, и, освободившись от господина Кумба, резко оттолкнул его, в результате чего тот навзничь упал на свою кровать, и бросился на Милетту с ножом в руке.

Холодное оружие, словно зигзагообразная молния, сверкнуло в полутьме комнаты и, с силой вонзившись в Милетту, перестало блестеть.

Милетта упала на пол, даже не отозвавшись криком на крик, исторгнутый из груди господина Кумба.

Казалось, ужас парализовал бывшего грузчика, и он закрыл лицо руками.

— Твои деньги! Твои деньги! — словно волк, завывал бывший каторжник, резко встряхивая его.

Господин Кумб уже было указал пальцем на свой секретер, как ему показалось, что он увидел в темноте передвигающуюся человеческую фигуру, приближавшуюся к убийце.

То была Милетта, бледная, умирающая, теряющая кровь из-за глубокой раны, собравшая последние свои силы, чтоб прийти на помощь господину Кумбу.

Пьер Мана не видел и не слышал ее; шум, доносившийся извне, завладел в этот момент его вниманием.

— Ах, так вот где лежит твое золото? — вымолвил, наконец, Пьер Мана.

— Да, — ответил господин Кумб, стучавший зубами от обуявшего его страха, — и всем самым святым, что только есть у меня, я клянусь вам в этом.

— Ну что ж, черт побери! Я буду проедать и пропивать его за ваше здоровье, за здоровье вас обоих. Я отомстил за себя и обогатился, то есть за один раз сделал два добрых дела.

И, подняв нож, с лезвия которого стекала кровь, Пьер Мана сказал угрожающе:

— Ну, отправляйся же вслед за своей любовницей.

И замахнулся на господина Кумба своим орудием убийства, но именно в этот момент Милетта бросилась на него и цепко обхватила его руками.

— Ваше ружье! Ваше ружье! — вскрикнула бедная женщина голосом умирающей. — Или он вас сейчас убьет, так же, как и меня.

Поняв, с кем он имеет дело, Пьер Мана решил, что ему будет легко отделаться от Милетты.

Но та обхватила его с такою силой, какая обычно характерна для расстающихся с жизнью и которая особенно поразительна у утопленников; руки ее приобрели силу железных ободов, намертво спаянных друг с другом.

Напрасно Пьер Мана извивался по-змеиному, изо всех сил тряс умирающую и даже снова ударил ее ножом, он никак не мог добиться того, чтоб заставить ее выпустить его.

Однако крик отчаяния, исторгнутый умирающей Милеттой, пробудил, наконец, в господине Кумбе инстинкт самосохранения, утерянный им было из-за страха близкой смерти. Ружье оказалось в его руках в полной боевой готовности, практически самопроизвольно, что, много позже описывая эту сцену, он отнес за счет чудесного проявления хладнокровия; он вскинул ружье и выстрелил, не приложив его к плечу и не целясь, как будто это было обыкновенно свойственно ему. И Пьер Мана, сраженный прямо в грудь двумястами дробинок, составляв-

шими заряд патрона, упал как подкошенный к ногам хозяина деревенского домика.

Задыхаясь от волнения, господин Кумб чуть было, в свою очередь, не упал в обморок, как вдруг услышал громкий стук в дверь домика и женский голос, громко кричавший:

— Да что же вы там делаете, господин Кумб? Мой брат заговорил, и вовсе не Мариус является его убийцей!

Глава XXI

МУЧЕНИЧЕСТВО

Господин Кумб отбросил ружье в сторону, чтоб скорее помочь Милетте. Услышав этот незнакомый голос, он вдруг решил, что ему угрожает целый легион бандитов; но одержанная им победа воодушевила его; вздрагивая, словно добрый конь при звуке трубы, он вновь схватил свое оружие и подбежал к окну как солдат, готовый к новому выстрелу.

Тем не менее он не забыл, несмотря на вызванное храбростью возбуждение, что основной воинской доблестью всегда является осмотрительность, и прежде, чем открыть окно, он предпринял некоторые меры предосторожности и ни в коем случае не стал высовываться наружу.

— Чего вы там требуете? — промолвил он с такой замогильной интонацией в голосе, какую только смог найти в самой глубине своих легких.

— Того, чтоб вы немедленно отправлялись в Марсель. Мой брат спасен, к нему вернулась способность говорить, и он уже сделал заявление о том, что Мариус не является убийцей. Пойдите, походатайствуйте об очной ставке.

Услышав женский голос, господин Кумб моментально осознал всю бесполезность только что предпринятых им усилий по сосредоточению в себе нового запаса доблести.

— Эх, три тысячи чертей, — в сердцах сказал он, возвращаясь к Милетте, которую пытался освободить из-под тела ее презренного мужа, — так речь идет о Мариусе? Да плевать мне в общем-то и на него, и на ваше поручение, и на вашего брата. Что вы там мне рассказываете, когда я только что сражался, как настоящий спар-

танец, когда я по пояс в крови и когда вся моя помощь и забота требуются сейчас бедной Милетте. Пойдите же, если вам будет угодно, и сами прогуляйтесь в Марсель, или скорее придите мне на помощь, поскольку этот презренный негодяй оказался таким же тяжелым, каким он был злым.

Господин Кумб действительно нуждался в помощи.

Его нервная система была настолько сильно расшатана, что в то время как колени его дрожали и ноги подкашивались, руки его, словно став парализованными, потеряли всю заключенную в них силу. Напрасно он пытался сдвинуть труп, всей своей тяжестью давивший на тело матери Мариуса. Один вид Милетты, голова которой виднелась из-под груди бандита, ее мертвенно-бледное и окровавленное лицо, широко открытый рот, слегка приоткрытые глаза и, наконец, невозможность оказать ей помощь — все это попеременно бросало его то в безграничное отчаяние, то в неистовую ярость. Он обращался к бедной женщине с теми словами нежности, какие не говорил ей с тех самых пор, как узнал ее; затем, раздражаясь страшными проклятиями в адрес ее палача, оплакивал ее судьбу в поистине патетических выражениях, и, наконец, совершенно обезумев от ярости, бил пинками труп ее убийцы.

Ответ господина Кумба, крики, рыдания и глухие удары, доносившиеся из комнаты, повергли Мадлен — ведь именно она звала с улицы хозяина деревенского домика — в странное недоумение. Господин Кумб днем и ночью вел такую яростную войну с птичками, что выстрел, услышанный молодой особой при входе в сад, вовсе не удивил ее; но странные слова, с какими сосед обратился к ней, зловещие звуки, долетевшие до ее слуха, заставили ее сделать два предположения по поводу несчастья: либо господин Кумб сделался сумасшедшим, либо же разразилась новая страшная беда.

Она стала звать на помощь и на свой страх и риск попыталась открыть дверь.

Но, как мы уже упоминали об этом выше, Пьер Мана слишком хорошо знал толк в своем деле, чтоб не закрыть за собой дверь.

— Если вы хотите, чтоб я вошла, необходимо, чтоб вы открыли мне. Откройте же, господин Кумб! — кричала Мадлен, сбившая себе все пальцы в попытках расшатать замочную задвижку.

— Да о чем вы просите,— ответил господин Кумб,— сломайте ее, разбейте ее, эту дверь, если она не хочет открываться. У меня есть средства для замены ее новой. Мне нет дела до двери, мне ни до чего нет дела, лишь бы только моя бедная Милетта была жива... Ах, Боже мой, Боже мой!

И, возбужденно и судорожно цепляясь руками за труп, господин Кумб вновь и вновь пытался уменьшить тяжесть груза, давившего на бездыханное тело его подруги.

Тем временем со стороны шале доносился голос мадемуазель Риуф. Там забили тревогу так, чтоб было слышно во всех окрестностях; оттуда поспешили на помощь люди и пришли к месту действия кровавой сцены.

Мадлен, вошедшая первой, в ужасе отступила назад при виде двух трупов; но, узнав Милетту, Мадлен с энергией, какую, как мы видели, она успела проявить, справившись с волнением и поборов страх, помогла перенести мать своего возлюбленного на кровать господина Кумба. Последний, казалось, совершенно потерял разум; он брал холодные руки Милетты в свои и жалобным голосом восклицал:

— Дóктора! Дóктора! Я — лишь обыкновенный грузчик, это правда, но я смогу оплатить его визит как негоциант.

Мадлен приложила руку к груди Милетты и по биению ее сердца почувствовала, что основа жизненной силы еще не полностью погасла в ней.

И действительно, несколько минут спустя раненая приоткрыла глаза

Первое слово, что она произнесла, было именем ее сына. Услышав его, Мадлен разрыдалась и, наклонившись над кроватью, обняла бедную женщину и, прижимая ее к своему сердцу, воскликнула:

— Он спасен! Живите, только живите, моя матушка, чтоб разделить с нами наше счастье!

Милетта осторожно отстранила девушку и в течение нескольких минут с умилением, в котором отражалось все, что происходило в ее душе, взирала на нее. Потом две огромные слезы тихо покатались по ее бледным щекам.

— Вы его любите,— сказала она,— я могу умирать. Не он поразил вашего брата, убийца лежит здесь, вот

он. Засвидетельствуйте это в случае необходимости! Я готова предстать перед Господом, клянусь в этом.

И, сделав неимоверное усилие, она подняла руку и жестом указала на Пьера Мана, труп которого как раз поднимали.

— Этого не нужно, моя матушка,— ответила Мадлен,— его невиновность вполне может быть доказана без вашего свидетельского показания; придя в себя, мой брат заявил, что Мариус вовсе не является виновным.

Милетта подняла очи к небу, сложила руки, и вся ее поза, шевеление губ, выражение лица явно указывали на то, что она благодарила Господа.

— Повелитель мой! — в конце сказала она.— Пусть по милости твоей именно он закроет мне глаза.

— Не думайте об этом, моя матушка! Вы не умрете, вы будете жить, чтоб быть счастливой его счастьем...

— Да, только бы она жила,— перебил ее господин Кумб прерывающимся от рыданий голосом,— и пусть даже это будет стоить мне сумасшедших денег, я все равно хочу, чтоб она жила. Ты будешь жить, моя бедная Милетта, будешь, как и говорит эта добрая мадемуазель, обладающая значительно большими достоинствами по сравнению с другими членами ее семьи; ты будешь жить, чтоб быть счастливой. Видишь ли,— добавил он, наклоняясь над ней и шепча раненой на ухо,— теперь, когда мы окончательно отделались от этого подонка, я могу жениться на тебе, и я женюсь на тебе и дам свою фамилию твоему сыну, у тебя будет все... нет, половина того, чем я владею; и, хотя я постоянно ношу один и тот же длинный сюртук,— прошептал он, понизив голос так, чтоб никто, кроме Милетты, не услышал его,— я богат, и, быть может, я гораздо богаче,— добавил он с горечью,— тех людей, что растрачивают богатства земли нашего милостивого Господа, выращивая на ней массу зловонной дряни. В нижней части секретера, который этот злодей взломал бы, если б ты так храбро не бросилась на него, так вот, в нем лежат 60 тысяч франков золотом, и это еще не все, вот так-то! Еще есть рента, дом в Марселе и деревенский домик. Итак, ты всем этим будешь владеть вместе со мной. Ты прекрасно понимаешь, что не можешь умереть!

Услышав такой аргумент, в силу действия которого господин Кумб не сомневался, Милетта горько улыбнулась. Богатства бывшего старшего грузчика стоили сли-

шком мало перед вечным сиянием неба, раскрывавшего уже для нее свои безграничные горизонты. Однако она, приблизив свои губы к лицу господина Кумба, запечатлела у него на лбу целомудренный и в то же время нежный поцелуй; затем повернула голову в сторону Мадлен:

— Будьте тысячу раз благословенны,— сказала она,— за вашу любовь к нему... Я прошу вас о последнем утешении: постарайтесь сделать так, чтоб я обняла его еще один раз!

Мадлен понимающе кивнула и вышла из домика.

Прибыл комиссар полиции; он ожидал увидеть Мадлен, чтоб получить свидетельские показания у Милетты и господина Кумба по поводу событий, происшедших той памятной ночью. Мадлен проводила его в шале к постели своего брата.

Длинный нож Пьера Мана поразил Жана Риуфа прямо в грудь и вошел в грудную полость, затронув стенки сердца; рана была опасной, но не смертельной. Холодное оружие, войдя в соприкосновение с наиболее важным из наших органов, вызвало кровотечение в легких, что привело к тому глубокому и продолжительному обмороку, который лишил раненого чувств более, чем на тридцать часов.

Он повторил комиссару полиции то же, что сказал своей сестре, и, благодаря данному им своему убийце описанию примет, совершенно точно совпадавшим с обликом того, кто смертельно ранил Милетту, вся сия мрачная история начала постепенно проясняться. Он передал свои показания с Мадлен для представителя судебной власти, чтоб испросить его разрешения, исходя из желания умирающей, распорядиться о хотя бы временном освобождении Марнуса из-под стражи.

Тем временем Милетта слабела прямо на глазах.

Ей стоило нечеловеческих усилий рассказать в подробностях обо всем, что произошло между нею и ее мужем; ей это удалось, но силы ее были на исходе. Ее рану надрезали по краям и раскрыли, и только сокращение мышц, возникшее вследствие удерживания ею Пьера Мана для предоставления господину Кумбу необходимого времени для защиты, привело к весьма значительному внутреннему кровоизлиянию; дыхание ее стало более затрудненным, а хрип — более пронзительным. Красноватая пена появлялась на ее губах при каждом приступе икоты, вызывавшем у нее сильнейшую боль; голубоватые круги

под глазами расширились, выражение глаз становилось неподвижным; капли холодного пота выступили у нее на лбу, а кожа, еще совсем недавно такая белоснежная и атласная, стала вдруг неровной.

Печальное зрелище этой агонии закончилось для господина Кумба тем, что он почти лишился трезвого рассудка. Казалось, когда для него пробили час потерять свою спутницу жизни, он вдруг явственно осознал истинную цену своих сокровищ, о коих на протяжении двадцати лет — столь долго — судил неправильно, за что и заплатился неблагоприятной безучастностью с их стороны. Его безысходное отчаяние выражалось в приступе ярости; он никак не хотел смириться с тем, что приношение в жертву денег не могло сохранить для него Милетту, и его скорбь, насквозь пропитанная тщеславием, лишь восхваляла то, что лично он был так расположен сделать. Он дурно обращался с врачом; смущал последние мгновения пребывания умирающей на этой земле, и было просто необходимо удалить его от нее.

Лицо Милетты, напротив, сохраняло безмятежный мир и покой. Когда специалиста, занимавшегося ею, сменил священник, она слушала его увещевания с сосредоточенностью и искренней верой. Однако, несмотря на ее религиозное усердие, время от времени она казалась беспокойной: она с усилием отрывала голову от подушки и внимательно прислушивалась; губы ее растягивались в улыбке, слабый огонек света появлялся в глазах, обращенных к небу, и, осознавая, что тот, кого она так упорно ждала, еще не пришел, шептала помертвевшими губами:

— Господи, Господи, да исполнится воля твоя!

Вскоре показалось, что она была совсем близка к концу; глаза ее стали неподвижно смотреть в одну точку; о едва заметном биении жизни в ней можно было судить лишь по легкому шевелению ее губ, а пена, появлявшаяся на них, становилась все более и более бесцветной. Она потеряла много крови и должна была вот-вот испустить последний вздох.

Вдруг, в тот момент, когда врач пытался уловить последние биения ее пульса, она приподнялась и села на кровати неожиданно и быстро, что привело в ужас присутствующих. Тогда все явственно услышали шаги человека, стремительно поднимавшегося по лестнице; звук их

чудесным образом связал нить, вот-вот готовую оборвать, на которой все еще висела ее жизнь.

— Это он!... Благодарю тебя, Господь мой, благодарю! — воскликнула она внятно.

И в самом деле, в проеме двери показалась фигура Мариуса с потрясенным выражением на лице; но прежде, чем он пересек порог двери, каким бы стремительным ни был его порыв, руки бедной женщины, протянутые навстречу ему, тяжело упали на кровать. Она испустила слабый вздох, и молодой человек, потерявший от горя голову, бросился обнимать не что иное, как покинутое жизнью тело своей дорогой матушки.

Господь Бог, вне всякого сомнения, предназначал другие утешения этому смиренному и достойному похвалы созданию, поскольку отказал в последнем — еще один раз почувствовать на губах поцелуй своего дорогого ребенка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мариус без колебаний рассказал об обстоятельствах, заставивших его взять на себя ответственность за одно из последних преступлений Пьера Мана, поскольку отца его теперь уже не должны были казнить за очередное преступление перед обществом. Показания Милетты и заверения господина Жана Риуфа подтвердили его рассказ. Его временное освобождение стало окончательным.

Какой бы сильной ни была его любовь к Мадлен, какими бы очевидными ни были проявления ее нежной любви к нему, он тем не менее никак не отреагировал на ее напоминание об их планах будущей супружеской жизни, взлелеянных ими еще во время памятной прогулки среди прибрежных скал.

Будучи благородным в своих чувствах и чрезмерно деликатным в своих намерениях, он ужасался при одной мысли о том, что может принести молодой девушке позор, связанный с именем его родного отца. Он испытывал непреодолимое отвращение перед необходимостью давать той, кого он любил больше всего на свете, фамилию человека, заклеянного каторгой и убийством.

Тем временем намеки мадемуазель Риуф становились более явными и Жан, оправившийся от ранения и совер-

шенно убежденный в том, что счастье его сестры связано только с этим браком, отправился делать Мариусу вполне определенное предложение. Сын Милетты по-прежнему хранил молчание и попросил дать ему несколько дней на размышление.

В действительности эта отсрочка была нужна ему лишь для того, чтобы внутренне подготовить себя к тому жертвенному пути, который он рассматривал как свой непреложный долг. Он окончательно решил удалиться от мира; он рассчитывал, что его отсутствие и время вылечат сердечную рану мадемуазель Мадлен; что же касается его душевной муки, то он не хотел и думать об этом. Накануне того дня, когда Мариус должен был дать ответ господину Риуфу, в час, когда господин Кумб, по его мнению, должен был крепко спать, он взвалил на плечо мешок со своими скромными пожитками и, взяв в руки дорожный посох, отправился в путь, не осмеливаясь даже бросить прощальный взгляд на шале, где оставалась та, кого он обожал больше всего на свете.

Когда он преодолел полчетверти лье, ему вдруг слышались позади легкий скрип песка и чье-то сдержанное дыхание, словно кто-то крадучись шел за ним по пятам. Он резко обернулся и увидел Мадлен, шедшую за ним следом.

— Это вы, вы, Мадлен?! — воскликнул он.

— Ну разумеется, неблагодарный, — ответила она, — лично я не забыла, как мы поклялись, что ничто в этом мире не сможет помешать нам принадлежать друг другу. Вы уходите отсюда, так разве место вашей супруги не рядом с вами?...

Пятнадцать дней спустя тот же священник, что принял последний вздох Милетты, сочетал молодых людей браком в небольшой церкви Бонвена.

По такому случаю господин Кумб проявил редкое великодушие: он захотел усыновить Мариуса и щедро одарить его наследством. Молодой человек не согласился на это, и сразу после свадьбы он и его супруга уехали в Триест, где намеревались основать Торговый Дом, соответствующий тому, что оставался в Марселе под началом Жана Риуфа.

Довольно долго после смерти Милетты хозяин деревенского домика оставался безутешным, но в утешениях он не испытывал недостатка.

Мариус и его жена не захотели, чтоб шале было продано; право пользования им они предоставили господину Кумбу, взявшему на себя обязанность содержать его в порядке; однако тот столь хорошо избегал заниматься этим, что по прошествии некоторого времени, впрочем, как он того давно желал, в прекрасном саду мадемуазель Риуф, подобно тропическим зарослям, буйно разрослись крапива, колючий кустарник и сорная трава. Господин Кумб любил подниматься по лестнице, с помощью которой Мариус являлся перед своей возлюбленной, и с наслаждением созерцать унылую картину приходящего в полное запустение места; с удовольствием следить за наглядным воздействием, которое истощение оказывало на произраставшие в саду кусты; с безукоризненной точностью отмечать следы, всякий раз оставляемые мистралем на великолепном шале. И в этой неопровержимой констатации своего триумфа он находил забвение своим скорбям, отравившим последние годы его жизни и, вдоволь понаслаждавшись этим зерлищем, он возвращался к себе в дом, и тогда уже одиночество не казалось ему таким горьким.

Постигшая его катастрофа имела своеобразную компенсацию: происшедшая в его доме кровавая развязка прочно закрепила за господином Кумбом репутацию храброго мужчины, какой он столь упорно добивался. В Монредоне добропорядочные отцы семейств рассказывали о его подвигах своим детям; вечерами напролет они оттачивали и форму, и содержание этих рассказов.

Первые годы все, что напоминало господину Кумбу ту, которая столь смиренно принесла себя в жертву ради него, бросало его в дрожь, но понемногу похвалы его поведению стали настолько приятно щекотать его самолюбие, что это последнее испытываемое им чувство подавило разом и его скорби, и угрызения совести; и очень скоро его застаревшее тщеславие настолько сильно обрело свою былую выразительность, что в результате он вместо того, чтоб бояться разговоров, имевших отношение к смерти Пьера Мана, сам провоцировал их. Справедливости ради надо сказать, что преувеличения народа, взявшегося восхвалять подвиги господина Кумба, явно придавали тем весьма привлекательные размеры.

Бандит постепенно превратился в пять ужасных отрядов, половину которых убил господин Кумб, тогда как другая половина обратилась в бегство.

Господин Кумб, читая восхищение в обращенных к нему взорах слушателей, говорил:

— Ах, Боже мой, но это не так уж трудно, как кажется; надо всего лишь немного сноровки и хладнокровия... Или, может, вы думаете, что этих качеств недоставало такому мужчине, как я, который попадает дробинкой прямо в глаз воробья так же деликатно и точно, словно составляет ее собственной рукой?

Короче говоря, преобладающая страсть господина Кумба восторжествовала надо всем, и все, что у него на этой земле было от бедной Милетты, так это только воспоминание.

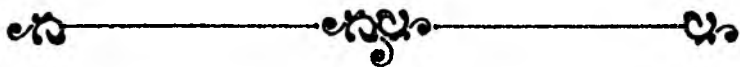
Мало-помалу его посещения кладбища в Бонвене, где покоились останки Милетты, становились все менее и менее частыми; вскоре он и вовсе перестал туда ходить, и земляной свод, что покрывал ее прах, порос густой травой, такой же буйной, как и в саду шале.

Он забыл о ней столь прочно, что когда скончался, выбрав, как и все эгоисты на свете, исключительно удобный момент — за пятнадцать дней до открытия канала на реке Дюранс, благодаря чему уединенные места Монредона быстро расцвели бы садами, что, несомненно, вновь внесло бы беспокойство в его жизнь, — так вот, в его завещании не было обнаружено ни слова, подтверждавшего, что он все еще помнит либо о Мариусе, либо о его матери.

Нет мелких страстей, зато есть мелкие сердца.



КАТРИН
БЛЮМ



Часть первая

I

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Вчера я услышал от тебя, дитя мое: — Милый папа, у тебя мало таких книг, как «Консьянс»¹?

На что я ответил:

— Приказывай, ты ведь знаешь, я сделаю все, что ты захочешь. Объясни, какую книгу мне написать, и ты ее получишь.

И вот какое объяснение последовало:

— Ну, мне бы хотелось прочитать какую-нибудь историю твоей юности, одну из маленьких, мало кому известных драм, случившуюся под сенью огромных деревьев того прекрасного леса, чьи таинственные чащи сделали тебя мечтателем, а меланхолический шепот —

¹ Роман А. Дюма (1852) о сельской жизни, о французской провинции первой половины XIX века

поэтом. Пусть это будет одно из тех событий, о которых ты иногда рассказываешь нам в семейном кругу, чтобы отдохнуть от своих длинных романтических эпопей. По-твоему, эти события не стоят того, чтобы их записывать. А я люблю твой край, незнакомый мне и предстающий передо мной только в твоих воспоминаниях, словно далекий пейзаж, увиденный однажды во сне!

— О, я тоже люблю его, мой славный уголок, мою милую деревню — ибо это, конечно же, деревня, хотя она гордо именуется городом. Я так люблю его, что могу утомить — не вас, друзья мои, а тех, кто к нему равнодушен. Для меня местечко Вилле-Коттре то же, что для моего старого Рускони его Кольмар. Для него Кольмар — главное место на земле, ось, вокруг которой вращается земной шар и вся вселенная!

Всеми своими знакомствами он обязан Кольмару.

Каррель! «Где вы познакомились с Каррелем, Рускони?» — «Мы участвовали с ним в заговоре в 1821-м, в Кольмаре».

Тальма! «Где вы познакомились с Тальма, Рускони?» — «Я видел его игру в Кольмаре, в 1816 году».

Наполеон! «Где вы познакомились с Наполеоном, Рускони?» — «Я встречал его, когда он проезжал через Кольмар в 1808 году».

Все начинается с Кольмара для Рускони. А для меня все начинается с Вилле-Коттре.

У Рускони есть только одно преимущество передо мной, а может, это вовсе не преимущество, а недостаток: он родился не в Кольмаре, а в Мантуе, главном городе герцогства, на родине Вергилия и Сорделло, в то время как я родился в Вилле-Коттре.

Поэтому, ты понимаешь, дитя мое, меня не надо долго упрашивать, чтобы я рассказал о моем любимом городке, белые домики которого, сгрудившись в основании подковы, образованной огромным лесом, напоминают птичье гнездо, а церковь с узенькой высокой колокольней похожа на мать, опекающую своих птенцов. Тебе надо лишь снять с моих губ печать, чтобы мои мысли и слова вырвались из плена, сверкая и искрясь, словно пенная струя пива, заставляющая нас вскрикивать и отодвигаться друг от друга, или же струя шампанского, которая вызывает улыбку, сближая нас, изгнанников, напоминанием о солнце родного края.

Разве не там я жил по-настоящему потому только, что был преисполнен ожиданием будущего? А ведь надежда больше, чем реальность, делает жизнь насыщенной и яркой. Отчего грядущее кажется нам таким лазурно-голубым? Увы, бедное дитя, только благодаря надежде. Придет день, и ты это узнаешь.

Я родился в том краю, там я издал свой первый крик, там, под взглядом моей матери, расцвела моя первая улыбка. Там я, розовощекий и белокурый, гонялся за детскими иллюзиями, что ускользают от нас, а если и удастся их догнать, от них остается лишь немного бархатистой пыльцы на пальцах. Эти иллюзии зовутся бабочками. Увы, я скажу тебе еще одну странную вещь, но это правда: только в детстве и юности мы видим прекрасных бабочек. Позже прилетают осы, которые жалят нас. А еще позднее летучие мыши, предвестники смерти.

Жизнь можно разделить на три поры: молодость, зрелость, старость — бабочки, осы, летучие мыши. Там же, в этом благословенном краю, умер мой отец. Я был в том возрасте, когда еще не знают, что такое смерть, и почти не знают, что такое отец.

Именно туда я привез тело моей матери, и на прелестном кладбище, похожем скорее на цветник, предназначенный для детских игр, чем на печальное место, где покоятся усопшие, она спит вечным сном рядом с тем кто был солдатом в лагере при Мольтке и генералом в битве у Пирамид. Рукой подруги там был возложен могильный камень, укрывший обоих.

Слева и справа от них находятся могилы бабушки и дедушки, отца и матушки моей матери, и могилы тетюшек, которых я помню по именам, но чьи лица лишь смутно различаю сквозь дымку долгих-долгих лет.

И, наконец, сам я тоже найду там свой последний приют, дай только Бог, чтобы это случилось попозже, ибо тебя, дитя мое, я смогу покинуть только против своей воли!

В этот день я увижусь не только с той, что выкормила меня грудью, но и с той, которая укачивала меня в колыбели. Это мама Зин, о которой я рассказываю в своих «Мемуарах». Это возле ее постели призрак моего отца сказал мне последнее прощание!

Могу ли я не испытывать удовольствия, рассказывая об этой огромной зеленой колыбели, где каждая вещь

вызывает у меня воспоминания! Мне все было там знакомо — и жители этого городка, и камни домов, и даже деревья в лесу! По мере того как исчезали из моих воспоминаний образы времен моей юности, я оплакивал их. Седые старцы города, дорогой аббат Грегуар, добрый капитан Фонтэн, достойный отец Ниге, дорогой кузен Девиолен, я несколько раз пытался воссоздать ваш облик, но я был расстроен тем, какими бледными и немыми получались у меня вы, бедные призраки, несмотря на самые нежные и дружеские чувства, с которыми я пытался воскресить вас в памяти.

И вас я оплакал, темные камни монастыря Сен-Ремми, мощные решетки, гигантские лестницы, узкие кельи, исполинские кухни, которые на моих глазах постепенно разрушались, слой за слоем, пока кирка и мотыга не расчистили от обломков ваш фундамент, широкий, словно основание крепостного вала, открыв зияющие бездны ваших погребов.

А больше всего я оплакивал вас, прекрасные деревья парка, лесные гиганты, дубы с шероховатыми стволами, буки с гладкой серебристой корой, трепещущие тополя, каштаны с пирамидальными цветами, вокруг которых в мае и июне жужжали пчелы, тяжело нагруженные медом и воском! Вы рухнули сразу, за какие-нибудь несколько месяцев, вы, у кого впереди могло быть еще столько лет жизни, стольким поколениям вы могли бы еще дать приют под вашей сенью, столько таинственных любовных историй могло бы произойти в тишине на древних мшистых коврах у вашего подножья. Вы видели Франциска I и мадам Д'Этамп, Генриха II и Диану де Пуатье, Генриха IV и Габриеллу. Об этих знаменитых именах говорили знаки, вырезанные на вашей коре, и вы надеялись, что эти трижды переплетенные полумесяцы, эти любовные сплетения цифр, эти лавровые и розовые венки спасут вас от общей участи — окончить свои дни на кладбище, прозаически называемом дровяным складом. Увы, вы заблуждались, прекрасные деревья! Однажды вы услышали звонкий стук топора и глухой скрежет пилы. Это был ваш конец, это смерть крикнула вам: «Теперь ваша очередь, гордецы!»

И я увидел вас распростертыми на земле, искалеченными от корней до кроны. Ваши отрубленные ветви были разбросаны вокруг, и мне показалось, что я, перене-

сясь на пять тысяч лет назад, прошел по гигантскому полю битвы между горами Пелнион и Осса и увидел поверженных титанов, трехглавых и сторуких, которые попытались взобраться на Олимп и были испепелены молниями Зевса.

Если когда-нибудь, любимое мое дитя, ты, взяв меня под руку, прогуляешься со мной по этому огромному лесу, если ты пройдешь по этим редко разбросанным деревушкам, если ты присядешь на эти мшистые камни и склонишься над этими могилами, то вначале все здесь покажется тебе молчаливым и немым. Но я обучу тебя языку всех старых друзей моей юности, живых и ушедших, и тогда ты поймешь, как сладок мне их тихий голос.

Мы начнем прогулку с востока, чтобы ты увидела восход солнца, и твои большие голубые глаза, в которых отражается небо, зажмурятся от первых солнечных лучей. Держась немного южнее, мы дойдем до очаровательного маленького замка Виллье-Эллон, где я играл совсем ребенком, отыскивая разбросанные в цветниках и в зеленых грабовых аллеях живые цветы, которых звали Луиза, Сесиль, Августина, Каролина, Генриетта, Гермина. Увы, сегодня холодный ветер смерти уже сломал два или три гибких стебелька, а остальные стали мамами и даже бабушками. Ведь все, о чем я говорю, дитя мое, было сорок лет тому назад, а ты только через двадцать лет узнаешь, что такое сорок лет.

Продолжая наше путешествие, мы пересечем Корси. Видишь тот крутой склон, на котором растут яблони? Он спускается к пруду, заросшему зеленью. Однажды трое молодых людей в повозке, запряженной взбесившейся или разъяренной лошадью (они так никогда и не узнали, что это с ней случилось), стремительно, словно лавина, неслись прямо к этому подобию Коцита,— мрачной реке подземного царства Аида. К счастью, одно колесо повозки зацепилось за яблоню, и ее наполовину вывернуло с корнями из земли! Двое из этих молодых людей вылетели из повозки, оказавшись впереди лошади, а третий повис на ветвях, подобно Авессалому, только зацепившись не волосами, хоть они вполне для этого годились, а рукой. Те двое, что вылетели из повозки, были мой кузен Ипполит Леруа, о котором я несколько раз тебе говорил, и мой друг Адольф де Левен, о котором я тебе говорю всегда, ну а третьим был я.

Что было бы со мной, а значит, и с тобой тоже, мое бедное милое дитя, не очутись той яблони тогда на моем пути?

Примерно в половине лье, продвигаясь по-прежнему с востока на юг, мы должны увидеть большую ферму. Смотри, вот и она, с жилым домом под черепичной крышей и подсобными пристройками, крытыми соломой. Это Вути.

Там, дитя мое, еще живет, я надеюсь, хотя ему уже за восемьдесят, человек, который в моей духовной жизни, если можно так сказать, был тем же, чем та яблоня, о которой я только что рассказывал, стала в моей материальной жизни. Посмотри мои «Мемуары», и ты найдешь там его имя. Это старый друг моего отца, который однажды пришел к нам, потеряв на охоте полруки из-за разорвавшегося ружья. Когда я загорелся желанием уехать из Вилле-Коттре в Париж, вместо того чтобы жить, как другие, на поводке и с путами на ногах, он сказал мне: «Поезжай, это твоя судьба!» И он дал мне письмо к генералу Фуа, то самое письмо, что открыло мне двери дома генерала и приемную герцога Орлеанского.

Мы крепко обнимем милого старика, которому стольким обязаны, и продолжим наш путь. Большая дорога приведет нас к вершине горы.

Посмотри с высоты этой горы на долину, реку и город. Река и долина носят название Д'Уруа, а город называется Ферте-Милон, это родина Расина.

Однако напрасно было бы спускаться вниз по склону и заходить в город: никто не сможет показать дом, где жил соперник Корнеля, неблагодарный друг Мольера, поэт, впавший в немилость при Людовике XIV.

В каждой библиотеке есть его книги, на главной площади стоит его статуя, созданная нашим великим скульптором Давидом, а вот дома его нет нигде, или, вернее, весь город, обязанный ему своей славой,— это его дом. Ведь в конце концов известно, что Расин родился в Ферте-Милоне, а между тем никто не знает, где родился Гомер.

Ну а теперь мы идем с юга на восток. Вот эта красивая деревенька, которая словно только что высунулась из лесу, чтобы погреться на солнышке, называется Бурсон. Если ты помнишь «Графиню де Шарни», одну из твоих любимых книг, написанных мною, то это наз-

вание должно быть тебе знакомо. Маленький замок, в котором живет мой старый друг Ютен — это замок бедного Исидора де Шарни. Именно отсюда молодой дворянин выезжал по вечерам тайком, припав к шее своей английской лошади. Через несколько минут он оказывался по другую сторону леса, в тени этих тополей, откуда было видно, как открывается и закрывается окно Катрин. Как-то ночью он вернулся весь в крови: одна из пуль отца Бийо пробила ему руку, другая попала в бок. И, наконец, однажды он ушел, чтобы никогда больше не вернуться. Он поехал сопровождать короля в Монмеди и остался лежать на главной площади в Варен, напротив дома бакалейщика Сосса.

Мы пересекли лес с юга на запад, пройдя через Плесси-о-Буа, Шапель-оз-Овернья и Койоль. Еще несколько шагов, и мы на вершине горы Де Восьен.

Вот здесь, в каких-нибудь ста шагах позади нас, я обнаружил, возвращаясь как-то ночью из Крепи, тело молодого человека лет шестнадцати. Я рассказал в своих «Мемуарах» об этой таинственной, неразгаданной драме. Кроме Бога, одна только ветряная мельница, задумчиво и неторопливо вращающая крыльями, знает, как все произошло. Оба они молчат. Справедливость все же восторжествовала благодаря случаю: к счастью, умирая, убийца признал, что приговор был справедлив.

Далее мы проследуем вдоль гребня горы. Внизу, справа от нас, лежит большая равнина, а слева — красивая долина. Это места моих охотничьих подвигов. Здесь я ступил на путь Немрода и Левайяна, двух самых великих охотников, позволю себе так сказать, глубокой древности и нашего времени. Справа водились зайцы, перепела и куропатки, слева — дикие утки и кулики. Видишь вон то место, выделяющееся своей яркой зеленью и похожее на очаровательный газон с картины Ватто? Это торфяное болото, где я едва не сложил голову. Я потихоньку в него погружался, когда, к счастью, мне пришла в голову мысль пропустить между ногами мое ружье. И вот приклад с одной стороны и конец ствола с другой уперлись в почву немного более твердую, чем там, куда меня затягивало. Мой вертикальный спуск, который непременно привел бы меня прямехонько в ад, приостановился. Я стал кричать, и мельник с ближней мельницы прибежал на мой крик. Он бросил мне поводок свей собаки, я поймал поводок, он вытя

нул меня, и я был спасен. Что же касается моего ружья, дальнобойного, которым я дорожил, так как для покупки нового мне не достало бы средств, то мне оставалось только покрепче сжать ноги, и ружье было спасено вместе со мной.

Продолжим наш путь. Теперь мы идем с запада на север. Вон те развалины, среди которых возвышается остов, напоминающий башню де Венсен, это башня де Вез, единственное, что осталось от давно разрушенной средневековой усадьбы. Эта башня, гранитный призрак ушедших времен, принадлежит моему другу Пайе. Ты помнишь этого любезного стряпчего, с которым, охотясь, мы вместе прошли от Крепи до Парижа, и его лошадь, как только мы замечали лесного обходчика, любезно уносила на спине одного из нас вместе с ружьем, зайцами, куропатками и перепелами, в то время как другой охотник прогуливался с видом безобидного путешественника, засунув руки в карманы, восхищаясь пейзажем и изучая ботанику.

А вот этот маленький замок — это замок де Фоссе. Там пробудились мои первые чувства, оттуда начинаются мои воспоминания. Помню, как отец выходит из воды, после того как с помощью своего слуги, умного негра Ипполита, он спас трех молодых людей, которые тонули. Одно из них звали Дюлюи, именно его вытащил мой отец. И это единственное имя, которое я запомнил. Ипполит, будучи превосходным пловцом, спас двух других.

Там жил Моке, лесной обходчик. Его мучили кошмары, и он ставил ловушки и капканы где ни попадя. А его ближайшим соседом был Пьер, садовник, разрубавший своей мотыгой ужей, у которых из живота выпрыгивали живые лягушки. И, наконец, там величественно старился Трюф, четвероногое непонятого происхождения, наполовину собака, наполовину медведь. Меня сажали на него верхом, и это были мои первые уроки верховой езды.

Ну а теперь, если мы направимся на северо-запад, то увидим Арамон, очаровательную деревушку, всю в яблоневох садах, посреди лесной поляны. Она знаменита тем, что здесь родился почтенный Анж Питу, племянник тетюшки Анжелики, ученик аббата Фортье, одноклассник юного Жильбера и боевой соратник патриота Бийо. Но поскольку это единственная достопри-

мечательность Арамона, к тому же оспариваемая некоторыми людьми, которые полагают, возможно, не без оснований, что Питу существовал лишь в моем воображении, мы не будем здесь задерживаться и продолжим наш путь. Мы дойдем до маленького пруда у перекрестка двух дорог, ведущих одна в Компьен, другая — на Вивьер. Там мне оказал гостеприимный прием Буду. Это было в тот день, когда я убежал из материнского дома, чтобы не поступать в семинарию в Суассоне, где спустя два или три года во время взрыва порохового погреба погибло несколько моих товарищей, среди которых мог бы оказаться и я.

А теперь пойдём по этой широкой просеке, которая ведет с юга на север. В половине лье позади нас находится массивный замок, построенный Франциском I. А впереди, закрывая горизонт, возвышается большая гора, поросшая дроком и папоротниками. С этой горой связано одно из самых ужасных воспоминаний моей юности.

Однажды зимней ночью, когда эта длинная и широкая аллея была устлана снежным ковром, я заметил, что за мной молча следует какой-то зверь ростом с большую собаку. Глаза его светились, словно два раскаленных уголька. Мне достаточно было один раз взглянуть, чтобы узнать его, — это был огромный волк!

Ах, если бы у меня было с собой ружье или карабин, или хотя бы огниво и кремьень... Но у меня не было ни пистолета, ни ножа, хотя бы перочинного.

К счастью, поскольку я вот уже пять лет, хотя мне было всего пятнадцать от роду, занимался охотой, я хорошо знал нравы ночного бродяги, с которым имел дело. Я знал, что, пока я стою на ногах и не бегу, мне нечего бояться. Но взгляни, дитя мое, на эту гору — она вся изрезана рытвинами. Стоило мне провалиться в одну из них, волк одним прыжком настиг бы меня, и тогда легко можно было бы убедиться, у кого из нас острее когти и зубы.

Сердце мое колотилось. Тем не менее я принялся петь. Пел я всегда ужасающе фальшиво, и любой маломальски музыкальный волк непременно бы сбежал, но мой волк явно не разбирался в музыке, и похоже было, что мое пение ему даже понравилось: он начал подпевать, издавая жалобный голодный вой. Я прекратил петь и продолжил свой путь в молчании, подобно про-

клятым грешникам, которых Данте встречает в третьем круге Ада. Сатана вывернул им шеи, и они, идя вперед, смотрели назад.

Вскоре я заметил, что веду себя очень неосторожно. Оглядываясь на волка, я не смотрел себе под ноги, и, как только я споткнулся, волк приготовился к прыжку. К счастью, я не упал, но волк оказался уже не более чем в десяти шагах от меня. На мгновение почувствовал, как ноги мои подкосились. Несмотря на десятиградусный мороз, по лбу у меня тек пот. Я остановился — волк остановился тоже.

Мне понадобилось пять минут, чтобы прийти в себя, и время это показалось, видимо, слишком долгим моему спутнику: усевшись, он снова завыл, и вой его был еще более жалобным и голодным, чем в первый раз.

От этого воя дрожь пробрала меня до самых костей. Я вновь пустился в путь, поглядывая теперь себе под ноги и останавливаясь всякий раз, когда мне хотелось взглянуть, как далеко от меня идет волк. Он пустился в путь вместе со мной, и, останавливаясь всякий раз, когда останавливался я, держался от меня на расстоянии, которое постепенно сокращалось. Через четверть часа он был не более чем в пяти шагах от меня.

Я приближался к парку, а это означало, что я был в тот момент всего в каком-нибудь километре от Вилле-Коттре. Но дорога там была перерезана широкой канавой. Помнишь ту знаменитую канаву, через которую я перепрыгивал, чтобы показать прекрасной Лоранс свою ловкость, и где я так неудачно порвал свои нанковые штанишки, сшитые по случаю первого причастия.

Конечно, я перепрыгнул бы через эту канаву, и более удачно, чем в тот злосчастный день, но, чтобы ее перепрыгнуть, мне надо было разбежаться, а при разбеге я бы не успел сделать и нескольких шагов, как волк бросился бы мне на спину.

Следовательно, мне надо было идти в обход и пройти через загородку с турникетом. Все было бы ничего, если бы меня не отделяла от загородки густая тень, которую отбрасывали большие деревья парка. Что может случиться, пока я буду пересекать это темное пространство? Может быть, темнота вызовет у волка ощущение, прямо противоположное моему? Меня пугал этот

мрак, а его, возможно, сделает более дерзким? Ведь чем гуще темнота, тем лучше волк видит

Однако выбора у меня не было, и я углубился в темноту. Без преувеличения могу сказать, что у меня на голове не было ни единого сухого волоска, и рубашка моя была мокрая до нитки. Проходя через турникет, я оглянулся: мрак был настолько густым, что даже смутных очертаний не было видно, лишь два раскаленных огонька пылали во тьме, словно угли.

Пройдя через турникет, я резко толкнул перекладину, и она загремела. Этот шум напугал волка, и он на мгновение остановился. Но почти сразу же он перемахнул через загородку, да так легко, что я не услышал даже поскрипывания снега под его лапами, когда он вновь оказался позади меня на том же расстоянии, что и прежде.

Я шел по самой середине аллеи, стараясь идти строго по прямой. Вновь очутившись на свету, я увидел не только два пугающих глаза, светящихся во тьме, но и всего волка целиком.

По мере того как я приближался к городу, его инстинкт говорил ему, что я могу от него ускользнуть, и он подходил ко мне все ближе.

Он был уже не более чем в трех шагах от меня, и, однако, не было слышно ничего — ни шума шагов, ни дыхания. Слово это было какое-то фантастическое животное, призрак волка!

Тем не менее я продолжал идти вперед. Я пересек площадку для игры в мяч и оказался на так называемом Партере, большой лужайке, открытой и гладкой, где я не боялся угодить в рытвину. Волк был от меня так близко, что если бы я резко остановился, то он бы уткнулся носом мне в ноги. Мне страшно хотелось топнуть ногой или хлопнуть в ладоши, выкрикнув при этом какое-нибудь крепкое ругательство, но я не решился. Хотя, если бы я осмелился, волк скорее всего убежал бы или по крайней мере отошел бы подальше.

Мне понадобилось десять минут, чтобы пересечь лужайку и подойти к углу стены замка.

Там волк остановился, он был в каких-нибудь полутора шагах от города. Я продолжал идти, теперь уже не торопясь, а волк снова, как раньше, сел и смотрел мне вслед.

Когда я отошел от него шагов на сто, он в третий раз издал вой, еще более голодный и тоскливый, чем в первые два раза. Ему ответили дружным хором все пятьдесят собак своры герцога Бурбонского.

Вой этот выражал горькое сожаление по поводу невозможности откусить хоть кусочек моей плоти. Теперь это было ему совершенно ясно. Не знаю, долго ли еще он так сидел, но я, едва почувствовав себя в безопасности, кинулся бежать изо всех сил и прибежал в дом моей матери бледный и еле живой.

Если бы ты знала мою бедную мать, то мне незачем было бы говорить, что она была перепугана моим рассказом больше, чем я — самим приключением.

Она раздела меня, передела в чистую рубашку, согрела грелкой мою постель и уложила меня, как она это делала раньше, лет десять тому назад. Потом она принесла мне чашку подогретого вина, и выпитое вино, ударив мне в голову, умножило мои сожаления о том, что я не отважился прогнать своего врага, совершив какой-нибудь смелый шаг, о котором я неотступно думал в пути.

А теперь, милое дитя, позволь мне, как умному рассказчику, этим эпизодом закончить мои воспоминания. Ничего более увлекательного я бы тебе больше не смог рассказать. К тому же предисловие получилось очень длинным, куда длиннее, чем надо. Выбери среди всех историй, которые я пересказывал по десять раз, ту, что я должен рассказать читателям. Только смотри подумай хорошенько. Ты ведь понимаешь, что если сделаешь неудачный выбор, то скучать-то придется тебе, а не мне.

— Ну ладно, отец, расскажи нам тогда историю Катрин Блюм.

— Ты действительно этого хочешь?

— Да, это одна из моих любимых историй.

— Ну что же, пусть будет одна из твоих любимых. Слушайте же, мои дорогие читатели, историю Катрин Блюм. Я расскажу вам ее, выполняя желание ребенка с голубыми глазами, которому я ни в чем не могу отказать.

Брюссель, 2 сентября 1853 г.

НОВЫЙ ДОМ У ДОРОГИ В СУАССОН

По самой середине северо-восточной части леса, окружающего Вилле-Коттре,— мы о ней не упомянули, поскольку начали наше путешествие от замка Вилле-Элон, а закончили у горы Де Вивьер,— проходит, плавно извиваясь, словно огромная змея, дорога из Парижа в Суассон.

Пройдя через Вилле-Коттре, она ныряет в чашу леса, пересекает его и выходит через два с половиной лье около почтовой станции под названием Вертфей.

На протяжении этого долгого пути можно увидеть один-единственный домик, стоящий справа от дороги. Он был построен во времена Филиппа Эгалите для главного лесничего, и его называли тогда «Новым домом». И хотя прошло уже почти семьдесят лет с тех пор, как он вырос словно гриб у подножия огромных тенистых дубов и буков, он по-прежнему сохраняет это название далекой юности, словно стареющая кокетка, требующая, чтобы ее называли по имени.

Да почему бы и нет? Ведь Новый мост, построенный в 1577 году при Генрихе III архитектором Дюсерсо, все еще называют Новым!

Но вернемся к Новому дому, центру тех стремительно развернувшихся незамысловатых событий, о которых мы собираемся поведать, и познакомим с ним читателя путем подробного описания.

Новый дом стоит, если идти из Вилле-Коттре в Суассон, почти сразу за Прыжком Оленя, местом, где дорога зажата между двух склонов и которое называется так потому, что однажды во время охоты герцога Орлеанского — Филиппа Эгалите испуганный олень перепрыгнул с одного склона на другой, преодолев таким образом расстояние более чем в тридцать футов!

Вот при выходе из этого узкого прохода и видишь перед собой, примерно в пятистах шагах Новый дом — трехэтажную постройку под черепичной крышей, на которой виднеются слуховые окна. На первом и втором этаже по два окна. Окна эти расположены на одной стене дома, обращенной на запад, то есть в сторону Вилле-Коттре, в то время как на фасаде, выходящем как раз на дорогу, находится дверь, ведущая в нижнюю залу, и окно, освещающее спальню последнего этажа.

Окно расположено точно над дверью.

В этом месте, как при Фермопилах, где могли проехать только две колесницы, дорога сужается до ширины своей мощеной части, зажата между домом с одной стороны и садом этого дома с другой. Сад находится напротив дома, а не за домом и не рядом с ним, как это обычно бывает.

Дом выглядит по-разному в зависимости от времени года.

Весной, весь увитый зелеными лозами, словно одетый в легкое платье, он наслаждается апрельским солнышком. Кажется, он вышел из лесу, чтобы отдохнуть на краю дороги. Его окна, особенно одно из окон второго этажа, украшены цветами левкоя, ромашки, кобеи и вьюнка, которые образуют зеленый занавес с серебристыми, сапфировыми и золотыми цветами. Дым поднимается над трубой прозрачной голубоватой струйкой, едва видимой в воздухе. Справа от двери, возле дощатой будки, перегороженной надвое, расположились две собаки. Одна мирно спит, положив морду на вытянутые лапы, другая, вероятно хорошо выспавшись за ночь, важно восседает, шуря на солнце. Вне всякого сомнения, обе собаки принадлежат к почтенной породе бассетов, отличающейся кривыми лапами, породе, которой выпала честь быть изображенной на картинах моего знаменитого друга Декампа. Не подлежит сомнению также и то, что собаки эти разного пола, она зовется Равод, а он — Барбаро. Что касается кличек, то понятно, что быть здесь очень требовательным значило бы проявить излишний педантизм.

Летом все по-другому: дом как бы погружен в послеобеденный сон, он сомкнул свои деревянные веки, и ни один луч света через них не проникает. Не дымит бездыханная труба. Открыта только дверь, выходящая на север, чтобы наблюдать за дорогой. Собаки либо сидят в конуре, в глубине которой их едва можно различить, либо лежат, вытянувшись вдоль стены, пользуясь прохладой тени и освежающим холодком камня.

Осенью зеленые лозы становятся багряными, зеленое весеннее платье окрашивается в теплые переливающиеся тона, свойственные старому бархату и шелку. Окна полуоткрыты, но на смену весенним цветам пришли астры и хризантемы. Из трубы снова вылетают белые клубы дыма, а пляшущий в очаге огонь, хоть он и скрыт

наполовину котелком с кипящим жарким или кастрюлей, где тушится кролик, притягивает к себе взор путника, проходящего мимо двери.

Равод и Барбаро сбросили с себя весеннюю сонливость и дрему жаркого лета. Они горят задором и нетерпением, они рвутся, натягивая цепь, лают, воют, понимая, что пришло их время проявить себя — начинается охотничий сезон, пора сражений, причем серьезных сражений с их вечными врагами: кроликами, лисами и даже кабанами.

Зимой здесь становится уныло: дом мерзнет, дрожит от холода. Нет у него больше ни зеленого, ни разноцветного платья. С печальным шорохом один за другим тихо опали листья с лоз, и теперь только оголенные жилистые стебли висят вдоль стены. Окна плотно закрыты, нет больше цветов, остались только слабо натянутые, словно струны молчащей арфы, бечевки, по которым прежде взбирались вьюнки и кобеи. Судя по густому дыму, который широкой спиралью поднимается над трубой, дров для топки не жалеют, благо в лесу их предостаточно. Что же до Равод и Барбаро, то в конуре их нет, но, если проходящий мимо путник бросит любопытствующий взгляд через случайно приоткрывающуюся дверь в глубь дома, он сможет заметить собак перед горящим очагом, откуда хозяйин или хозяйка постоянно их выпроваживают пинками и куда они упрямо возвращаются в поисках тепла. Пятидесятиградусный жар обжигает им лапы и морду, но они терпеливо переносят его, меланхолично поворачивая морду то вправо, то влево и поднимая по очереди то одну, то другую лапу, жалобно при этом покусывая.

Вот каким был, впрочем, он и сейчас остался таким же, только без цветов — ведь цветы обычно расцветают благодаря присутствию какой-нибудь юной девушки с нежным и беспокойным сердцем, — Новый дом у дороги в Суассон, если смотреть на него снаружи.

Если же посмотреть изнутри, то на первом этаже можно было увидеть большую комнату, где стояли стол, буфет и шесть стульев орехового дерева и стены которой были украшены пятью или шестью гравюрами, изображающими, в зависимости от того, какое очередное правительство было у власти, Наполеона, Жозефину, Марию-Луизу, римского короля, принца Евгения и смерть Понятовского или же герцога Ангулемского, герцогиню

Ангулемскую, Людовика XVIII, его брата герцога де Берри, или, наконец, короля Луи-Филиппа, королеву Марию-Амелию, герцога Орлеанского и группу белокурых и темноволосых детей, состоящую из герцога Немурского, принца Жуэнвильского, герцога Омальского и принцесс Луизы, Клементины и Марии.

Не знаю, что там изображено сегодня.

Над камином висят три двуствольных ружья, обернутых промасленными тряпками, обсыхая после последнего дождя или тумана.

За камином расположена домашняя пекарня, маленькое окошко которой выходит в лес.

С восточной стороны прилепилась кухня, пристроенная в то время, когда дом оказался тесноватым для своих обитателей и пришлось переделать бывшую кухню в спальню.

Эта комната, бывшая раньше кухней, обычно служит спальней сыну хозяев дома.

На втором этаже находятся две другие спальни — хозяина и хозяйки, то есть лесничего и его жены, а также комната дочери или племянницы, если таковая у них есть.

Добавим, что пять или шесть поколений лесничих сменили друг друга в этом доме, и именно здесь, в этой большой комнате, которую мы попытались описать, произошла в 1827 году кровавая драма, закончившаяся смертью лесничего Шорона¹.

Но к моменту начала истории, которую мы собираемся рассказать, то есть в первые дни мая 1829 года, в Новом доме жили: Гийом Ватрен, главный лесничий лесничества Шавиньи, его жена Марианна-Шарлотта Шсрон, которую называли просто матушкой, и Бернар Ватрен, их сын, известный всем просто как Бернар.

Героиня нашей истории, юная девушка по имени Катрин Блюм, тоже жила раньше в этом доме, но вот уже полтора года, как ее там нет.

Впрочем, мы изложим причины присутствия и отсутствия действующих лиц, а также будем описывать их внешность, возраст и характер, как мы обычно это делаем, по мере их появления на сцене.

Давайте же просто перенесемся в то время, о котором мы говорим, а именно в день 12 мая 1829 года.

¹ См. «Мемуары», том V.— *Примеч. автора.*

Сейчас три с половиной часа утра. Слабый предутренний свет брезжит сквозь нежную зелень молодой листвы, распустившейся всего несколько недель тому назад. От малейшего ветерка холодные капли росы, дрожащие на кончиках ветвей, осыпаются на траву алмазным градом.

Молодой человек лет двадцати трех — двадцати четырех, белокурый, с живым и умным взглядом, идет размеренным шагом, свойственным обычно тем, кто привык к длительной ходьбе. На нем форменная одежда лесничего, то есть синяя куртка с серебряными дубовыми листьями на воротнике и такая же фуражка, а также вельветовые штаны и высокие кожаные гетры с медными застежками. Одной рукой молодой человек придерживает ружье на плече, другой держит на поводке охотничью собаку. Он пролезает через одну из брешей в стене парка и идет, старательно придерживаясь середины просеки — скорее по привычке, чем из-за падающей с листьев росы, от которой он все равно уже промок, словно от дождя, — по направлению к Новому дому у дороги в Суассон. Уже издалека он видит по ту сторону дороги западную стену дома, ту, на которой расположены все четыре окна. Однако, дойдя до конца просеки, он замечает, что дверь и окна закрыты. У Ватренов все еще спят.

— Однако! — воскликнул молодой человек. — Не знают забот у папаши Гийома! Я еще понимаю, отец с матерью... Но Бернар, влюбленный! Разве влюбленный должен спать?

И он перешел через дорогу, направившись к дому с явной целью бесцеремонно нарушить сон его обитателей.

При звуке его шагов обе собаки выскочили из конуры, готовые облаять человека и его собаку, но, очевидно, узнали обоих, так как вместо того, чтобы угрожающе залаять, они добродушно зевнули во всю пасть, радостно виляя хвостом при приближении гостей, которые, хоть и не принадлежали к числу обитателей дома, не были здесь чужими.

Подбежав к порогу, гончая дружелюбно приветствовала бассетов, в то время как молодой человек, поставив на землю ружье, постучал кулаком в дверь. Никто не ответил.

— Эй, папаша Ватрен! — проворчал молодой человек, постучав второй раз еще сильнее, чем в первый. — Вы там, случаем, не оглохли? — И он приложил ухо к двери.

— Наконец-то,— сказал он через несколько мгновений — Ну вот и славно!

Обрадовался он потому, что услышал внутри какой-то слабый звук, приглушенный расстоянием и массивной дверью. Это поскрипывала лестница под ногами старого лесничего.

Слух у молодого человека был тонким, так что он никак не мог ошибиться, приняв поступь пятидесятилетнего мужчины за шаги двадцатилетнего юноши. Поэтому он прошептал:

— Ага! Это папаша Гийом.

А потом во весь голос прокричал:

— Здравствуйте, папаша Гийом! Откройте, это я!

— А, это ты, Франсуа? — ответил голос из-за двери.

— А кто же еще, по-вашему?

— Иду, иду!

— Ладно уж, натягивайте ваши штаны, не торопитесь. Мы не спешим, хоть здесь и не жарко... Бр-р!

И молодой человек потопал ногами, чтобы согреться. Его собака сидела и дрожала, вся мокрая от росы, как и ее хозяин.

В этот момент дверь открылась, и показалась поседевшая голова старого лесничего. Он держал в зубах, несмотря на ранний час, коротенькую трубку-носогрейку, правда еще не зажженную.

Надо сказать, что эту трубку, которая когда-то была обычной длины, но в результате разного рода злоключений укоротилась, Гийом Ватрен вынимал изо рта только для того, чтобы вытряхнуть пепел и набить ее табаком. После этого носогрейка вновь занимала свое обычное место слева в щербине между двумя зубами.

Впрочем, еще при одном обстоятельстве трубка дымила в руке, а не во рту папаши Гийома: когда господин инспектор достаивал его своим обращением.

В этом случае папаша Гийом почтительно вынимал трубку изо рта, аккуратно вытирал губы рукавом куртки, отводил за спину руку с трубкой и отвечал.

Похоже, что папаша Гийом был учеником школы Пифагора: когда он открывал рот, чтобы задать вопрос, вопрос всегда был как нельзя более кратким, а если он открывал рот, чтобы ответить, то ответ бывал как нельзя более лаконичным.

Мы сказали «когда папаша Гийом открывал рот» — и ошиблись. Папаша Гийом открывал рот только для то-

го, чтобы зевнуть, если предположить — вещь невероятная, — что он когда-либо зевал.

Все остальное время папаша Гийом не разжимал зубов, привычно держащих огрызок трубки длиной иногда не более шести или восьми линий¹.

Результатом этого был свистящий звук, подобный змеинному, издаваемый при разговоре, так как словам приходилось протискиваться через щель, образованную между зубами и зажатой в них трубкой, такую узкую, что через нее едва бы пролезла монета в пять су.

Когда папаша Гийом вынимал изо рта трубку, чтобы набить ее табаком или же для разговора с каким-нибудь высоким лицом, речь его, вместо того чтобы стать разборчивей, делалась еще более невнятной. Свист не уменьшался, а становился еще громче, да это и понятно: не разделенные трубкой, челюсти плотно смыкались, и тогда нужно было большое искусство, чтобы понять, что говорил папаша Гийом!

Итак, описав самую выдающуюся черту облика папаши Гийома, завершим его портрет. Это был, как мы уже сказали, человек пятидесяти лет, чуть выше среднего роста, прямой и сухопарый, с редкими седеющими волосами и бакенбардами. У него были маленькие острые глазки, длинный нос, насмешливый рот и острый подбородок. Папаша Гийом всегда смотрел в оба и держал ухо востро, хотя по виду это и было незаметно. Он прекрасно слышал и видел все, что происходило как у него дома между женой, сыном и племянницей, так и в лесу между курслатками, кроликами, зайцами, лисами, хорьками и ласками — теми животными, которые со дня сотворения мира ведут между собой столь же ожесточенную войну, какая велась между Спартой и Мессенией с 744 до 370 года до рождества Христова.

Ватрен с большим почтением относился к моему отцу, да и меня очень любил. Он хранил под стеклянным колпаком бокал, из которого обычно пил генерал Дюма, приезжая на охоту, и спустя десять, пятнадцать и даже двадцать лет он непременно подавал мне напитки в этом бокале, когда мы вместе охотились.

Таким был человек с насмешливым лицом и трубкой в зубах, который высунулся в приоткрытую дверь

¹ Линия — старинная мера длины, равная 2,25 мм.

Нового дома у дороги в Суассон на стук молодого человека по имени Франсуа, жаловавшегося на холод, хотя вот уже месяц и двадцать семь дней царило, по словам Матье Лансберга, очаровательное время года, называемое весной.

Увидя гостя, Гийом Ватрен широко распахнул дверь, и молодой человек вошел в дом.

III

МАТЬЕ ГОГЕЛЮ

Франсуа направился прямо к камину, поставив ружье в угол, а его пес, заслуженно носивший кличку Косой, просто уселся на еще теплую золу.

Кличку свою собака получила из-за того, что у нее в уголке глаза на веке топорщился пучок рыжих волосков, что-то вроде родинки, из-за чего она время от времени скашивала глаз.

У Косого была репутация лучшей ищейки на три лье вокруг Вилле-Коттре.

Сам же Франсуа, хотя и был еще слишком молод для того, чтобы занять выдающееся место в большом искусстве псовой охоты, считался тем не менее одним из лучших в округе в умении найти дичь по следу. Если надо было выследить волка или поднять кабана, то эту нелегкую задачу возлагали обычно на Франсуа. Для него даже самый глухой лес не имел тайн: по сломанной травинке, по перевернутому опавшему листу, по клочку шерсти на колючке кустарника он мог представить от первой до последней сцены целую драму, разыгравшуюся на лесной поляне ночью, при свете звезд и не имевшей, кроме деревьев, других зрителей.

В следующее воскресенье в Корси должен был состояться праздник. По этому случаю лесничие всех ближайших к этому прелестному уголку лесничеств получили от инспектора, господина Девиолена, разрешение на отстрел кабана. И хотя у кабана не было особых шансов оставить охотников с пустыми руками, выследить его поручили Франсуа.

Он как раз возвращался, выполнив эту кропотливую работу со своей обычной добросовестностью, когда мы встретили его на лесной просеке, проследовали за ним

до дверей дома папаша Гийома и услышали, как он говорит, притоптывая ногами:

— Ладно уж, натягивайте ваши штаны, не торопитесь. Мы не спешим, хоть здесь и не жарко Бр-р!

— Как это,— откликнулся папаша Гийом, когда Франсуа поставил свое ружье, а собака уселась на золу,— не жарко, в мае-то месяце? А что бы ты запел, если бы тебе пришлось воевать в России, мерзляк?

— Погодите! Когда я говорю «не жарко», то просто имею в виду... Я говорю, что ночью не жарко! Ночи, как вам приходилось замечать, тянутся дольше, чем дни, может, потому, что ночью темно. Днем стоит май, а ночью — февраль. Так что я не отказываюсь от своих слов, сейчас вовсе не жарко! Бр-р!

Гийом прекратил на мгновение высекать огонь и, скосив глаза в сторону Франсуа, на манер Косого, сказал:

— Слушай, парень! Хочешь, скажу тебе одну вещь?

— Скажите, папаша Гийом,— ответил Франсуа, посмотрев на старого лесничего с тем особым насмешливым выражением, которое свойственно крестьянам из Пикардии и соседней с ней Иль-де-Франса, — скажите, ведь вы так хорошо говорите, когда соглашаетесь говорить!

— Так вот! Ты прикидываешься дурачком, чтобы кое-что получить!

— Что-то я вас не пойму.

— Не понимаешь?

— Нет, честное слово!

— Ты говоришь, что замерз, для того, чтобы я тебе предложил стаканчик!

— Ей-Богу нет, даже и не думал об этом! Это, конечно, не значит, вы слышите? Что если бы вы мне предложили, то я бы отказался... Нет, нет, папаша Гийом, я вас слишком уважаю!

И он склонил голову, по-прежнему поглядывая на папашу Гийома с лукавым видом.

Гийом, не ответив ничего, кроме «Гм!», что выражало его сомнения в бескорыстии и уважении Франсуа, снова принялся за свое огниво. Только с третьего удара о кремень трут загорелся, и папаша Гийом пальцем, который, видимо, был совсем нечувствительным к жару, прижал трут к отверстию набитой табаком трубки и принялся ее раскуривать. Он втягивал дым, выдыхая его вначале едва заметным облачком, а потом все более густыми

клубами до тех пор, пока трубка не разгорелась достаточно, чтобы уже больше не погаснуть

Все время, пока он занимался этой весьма серьезной работой, лицо уважаемого главного лесничего выражало только озабоченность и полную сосредоточенность. Но как только операция успешно завершилась, на лице его вновь появилась улыбка, и, достав из буфета бутылку и два стакана, он сказал:

— Ну что ж, ладно! Вначале шепнем словечко вот этой бутылочке коньяка, а уж потом поговорим о наших делах.

— Одно словечко? Она, стало быть, скупа на слова, папаша Гийом!

Словно для того, чтобы опровергнуть слова Франсуа, папаша Гийом наполнил оба стакана до краев, а затем, осторожно чокнувшись, сказал:

— Твое здоровье!

— Ваше здоровье и здоровье вашей жены! И пусть Господь будет милостив и сделает ее менее упрямой!

— Ладно! — промолвил папаша Гийом с гримасой, которая должна была означать улыбку. И, отведя, как всегда, левую руку с трубкой за спину, правой он поднес стакан к губам и выпил его залпом.

— Да погодите,— засмеялся Франсуа,— я еще не закончил, придется нам продолжить... За здоровье господина Бернара, вашего сына!

И он выпил свой стаканчик, но, в отличие от старого лесничего, пил медленно, наслаждаясь.

Потом, допив до дна, он вдруг топнул ногой, словно с досады:

— Вот тебе на! А я ведь забыл кое-кого!

— И кого же это? — спросил Гийом, выпустив два густых клуба из трубки, которая чуть было не погасла за время ее пребывания за спиной у хозяина.

— Кого я забыл? — воскликнул Франсуа.— Да мадемуазель Катрин, вашу племянницу! Эх, нехорошо забывать об отсутствующих!.. Но поскольку стакан-то пустой, вот, глядите, папаша Гийом...

И, опрокинув стакан, он вылил последнюю каплю вина на ноготь большого пальца.

— Смотрите,— сказал он,— вот она, последняя капля!

Гийом скорчил гримасу, означавшую: «Знаю я твой план, шутник, но извиняю, поскольку намерение твое одобряю».

Как мы уже говорили, папаша Гийом был неразговорчив, но зато он довел до совершенства искусство пантомимы. Он снова взял бутылку и налил столько, что вино перелилось через край и вылилось в блюдец.

— Держи! — сказал он.

— Ого! — воскликнул Франсуа. — Не поскупился на этот раз папаша Гийом! Сразу видно, что он любит свою хорошенькую племянницу! — Затем, поднеся стаканчик к губам с воодушевлением, вызванным как упоминанием о девушке, так и выпитым вином, он продолжал:

— Да и как ее не любить, милую мадемуазель Катрин? Это же прямо как коньяк!

И на этот раз, последовав примеру папаши Гийома, он опустошил стаканчик одним глотком.

Старый лесничий повторил то же действие с военной точностью, вот только удовлетворение от выпитого вина каждый выразил по-своему.

— Хм! — произнес один.

— Х-хо! — выдохнул другой.

— Ну что, тебе все еще холодно? — спросил папаша Гийом.

— Нет, наоборот, мне жарко, — ответил Франсуа.

— Значит, лучше стало?

— Право же, я теперь прямо как ваш барометр, показываю «ясно», черт возьми!

— В таком случае, — сказал папаша Гийом, приступая к вопросу, о котором оба пока умалчивали, — поговорим немного о кабане.

— Кабан-то! — отозвался Франсуа, подмигнув — Ну, на этот раз он у нас в руках

— Ну да, совсем как в последний раз! — раздался позади них пронзительный насмешливый голос, и оба лесничих вздрогнули от этого резкого звука.

Они одновременно повернулись, хотя прекрасно узнали обладателя этого голоса.

А тот привычно, как свой человек в доме, прошел за спиной сидящих, добавив к сказанному им:

— День добрый папаше Гийому и его гостю!

И он уселся перед камином, бросив в него охапку хвороста, которая вспыхнула, как только он поднес спичку. Затем, вытащив из кармана три-четыре картофелины, он уложил их рядом в камин, закопав в золу со знанием дела опытного кулинара.

Человек, прервавший после первой фразы рассказ Франсуа, заслуживает, в силу той роли, которую он сыграл в этой истории, чтобы мы обрисовали его портрет и описали его характер.

Это был малый лет двадцати — двадцати двух, с рыжими прямыми волосами, низким лбом, косящими глазами, курносым носом, выступающей вперед челюстью, скошенным подбородком, неопрятной жидкой бородачкой. На шее у него из-под драного воротника рубашки виднелась опухоль, которую обычно называют зобом и которую довольно часто можно встретить у жителей Вале, но, к счастью, очень редко у нас. Его нескладные, чересчур длинные руки и шаркающая ленивая походка придавали ему сходство с большими обезьянами, которых великий классификатор Жоффруа Сент-Илер обозначил, если я не ошибаюсь, именем шимпанзе. Когда он сидел на корточках или присаживался на табуретку, становилось особенно разительным сходство этого уродливого человека с безупречным экземпляром обезьяны. Ведь он мог, точь-в-точь как эти двуногие карикатуры на человека, поднимать с земли различные предметы, почти не наклоняя при этом нескладного торса. Наконец, вся эта неуклюжая фигура завершалась опромными широченными ступнями, которые могли бы соперничать размером с ногами Карла Великого и вполне были способны послужить эталоном того, что со времен знаменитого предводителя Каролингов называют «королевской ногой».

Что же касается душевных качеств, то здесь природа обделила беднягу еще больше. Иногда бывает, что в засаленных скверных ножнах прячется прекрасный сверкающий клинок. Здесь же было совсем не так: в теле Матье Гогелю — ибо так звался наш персонаж — жила злая душа. Был ли он таким от природы, или же он причинял другим страдания потому, что люди заставляли страдать его самого? Мы оставляем обсуждение и решение этого вопроса тем, кто более сведущ в философской проблеме взаимодействия физического и духовного.

Во всяком случае, любое существо, которое было слабее, чем Матье, испускало крик, когда тот к нему прикасался: птице он выдергивал перья, собаке наступал на лапу, ребенка дергал за волосы. С теми же, кто был сильнее, Матье, хоть и сохраняя насмешливость, держался смиренно. Какой бы сильной ни была причиненная

обида, какое бы тяжкое ни наносили ему оскорбление, каким бы жестоким ни был полученный удар, с лица его не сходила глуповатая ухмылка. Однако он хранил в своей памяти каждую нанесенную ему обиду, оскорбление или удар, и однажды зло возвращалось обидчику сторицей, причем так, что тот и не догадывался о настоящей причине случившейся беды. В такие минуты Матье испытывал в глубине души угрюмую злую радость, и ему приходила в голову мысль, что причиняемое ему зло делало его счастливым, поскольку он испытывал удовольствие, когда за него мстил.

Впрочем, в оправдание этой дурной природы надо признать, что его жизнь всегда была полна лишений и тягот. Когда-то его нашли у оврага, где его, должно быть, бросили кочующие цыгане, бродящие по лесам. Ему было три года, он почти не говорил. Одежды на нем не было почти никакой. Крестьянина, который его нашел, звали Матье, овраг, из которого он выбрался, назывался Гогелю, и ребенка дали имя Матье Гогелю. О крещении не было и речи. Матье не мог сказать, был ли он крещен, да и кто бы стал заниматься душой, когда тело было в столь плачевном положении, что единственным способом существования для него могли быть милостыня или мелкое воровство.

Так Матье рос и достиг возраста совершеннолетия. Несмотря на безобразие и нескладность, Матье обладал большой силой. Туповатый с виду, он был хитрым и изворотливым. Родись он где-нибудь в Океании, на берегах Сенегала или Японского моря, тамошние обитатели могли бы сказать о нем то, что они говорят об обезьянах: «Они не разговаривают потому, что боятся, как бы их не приняли за людей и не заставили работать!»

Матье делал вид, что он слаб, он притворялся идиотом, но, если при случае ему необходимо было употребить силу или проявить смекалку, Матье не уступал в силе медведю, а в хитрости лисе. Но как только опасность проходила или же он добивался желаемого, он вновь превращался в прежнего Матье, такого, каким все его знали: немощного, слабоумного, осыпаемого насмешками.

Аббат Грегуар, о котором я рассказывал в моих «Мемуарах» и который сыграет свою роль в этой книге, жалел это убогое создание. Взяв на себя задачу опекать несчастного сироту, он решил хоть на шаг вперед продвигать место, занимаемое им в классификации живых су-

ществ, превратив этот простейший организм в организованное животное. С этой целью в течение целого года он трудился, не жалея ни физических, ни душевных сил, чтобы научить Матье читать и писать. Через год Матье вышел из рук почтенного аббата с репутацией законченного тупицы. По общему мнению, то есть по мнению одноклассников Матье и по частному мнению его учителя, Матье не знал толком ни одной буквы. Но и общее, и особое мнение было ошибочным, заблуждались и соученики Матье, и его учитель: Матье, конечно, читал не так хорошо, как господин де Фонтан, слышавший лучшим чтением своего времени, но он все-таки читал.

Матье писал не так, как господин Прюдом, ученик Брара и Сент-Омера, но он тем не менее писал, и даже вполне разборчиво. Однако никто и никогда не видел Матье за чтением или за письмом.

В свою очередь, папаша Гийом пытался развить его физические способности. Им двигали те же чувства, что и аббатом Грегуаром, когда тот пытался развить умственные способности Матье, то есть чувство сострадания к человеческому существу и чувство самоуважения, которые живут в каждом добром сердце. Он заметил способность Матье подражать пению птиц и крику животных и его умение идти по следу. Он понял, что, несмотря на косоглазие, Матье прекрасно мог высмотреть зайца или кролика в укрытии. Гийом не раз замечал, что у него из мешка исчезают порох и дробь. Из этого он заключил, что поскольку вовсе не обязательно иметь фигуру Аполлона или Антиноя, чтобы стать хорошим лесничим, то, возможно, ему удастся использовать склонности Матье и сделать из него вполне приличного помощника лесничего. Он поговорил о своем подопечном с господином Девиолоном, и тот разрешил папаше Гийому доверить Матье ружье. Таким образом у Матье оказалось ружье. Но за шесть месяцев обучения новому делу Матье убил двух собак да ранил загонщика, не добыв при этом ни одного трофея. Тогда папаша Гийом, убежденный в том, что Матье, обладая всеми инстинктами браконьера, не имел ни одного из качеств, необходимых лесничему, отобрал у него ружье, которым тот столь неудачно пользовался. Матье равнодушно снес эту обиду, хотя он лишался теперь той блестящей перспективы, о которой мы упоминали и которая, конечно же, показалась бы весьма заманчивой человеку менее беззаботно-

го или не такого философского нрава, и без малейших угрызений совести вернулся к существованию бродяжки и воришки.

В этой бродячей жизни одним из его любимых мест отдыха был Новый дом у дороги в Суассон и очаг папаша Гийома, несмотря на ненависть или, вернее, инстинктивное отвращение, которое питали к нему матушка Мадлен — слишком хорошая хозяйка, чтобы не замечать ущерба, наносимого ее саду и кладовке присутствием Матье Гогелю — и Бернар, которого мы пока знаем лишь по тосту, произнесенному в его честь Франсуа. Бернар, казалось, догадывался о роковой роли, которую этот бродячий гость сыграет однажды в его судьбе.

Мы забыли упомянуть о том, что, подобно тому, как никто не знал об успехах Матье в чтении и письме, никто не подозревал также и о том, что его неумелость в стрельбе была притворной. Когда Матье хотел, он попадал в куропатку или кабана более метко, чем любой охотник в округе.

Почему же Матье скрывал свои таланты, избегая восхищения окружающих? Дело в том, что, по мнению Матье, полезным было не только уметь читать, писать и стрелять из ружья, но и сделать так, чтобы при этом все считали его неловким и неграмотным. Словом, вы видите теперь, каким скверным и злым был тот, кто вошел в дом и прервал рассказ Франсуа недоверчивыми словами по поводу кабана, который, по мнению молодого лесничего, был у него в руках: «Ну да, совсем как в прошлый раз!»

— Ну нет, как в прошлый раз больше не будет! — возразил Франсуа. — Мы сейчас как раз об этом поговорим.

— Ну и где же он, кабан-то? — спросил папаша Гийом, получивший возможность открыть рот благодаря необходимости вновь набить трубку.

— В засолочной, коли он у Франсуа в руках, — сказал Матье.

— Нет еще, — ответил Франсуа, — но прежде чем кукушка на часах моей матери прокукует семь часов, он там будет. Верно, Косой?

Собака, блаженно растянувшаяся у разгоревшегося очага, обернулась на голос хозяина и, взметая золу своим длинным хвостом, издала дружелюбное ворчание, ко-

торое вполне можно было воспринять как утвердительный ответ на заданный вопрос.

Удовлетворенный ответом Косога, Франсуа с нескрываемым отвращением отвернулся от Матье Гогелю и продолжал разговор с папашей Гийомом.

Тот, довольный тем, что его ждала свеженабитая трубка, приготовился благодушно выслушать своего молодого приятеля.

— Я потому так сказал, папаша Гийом,— продолжал Франсуа,— что кабан в какой-нибудь четверти лье отсюда, в чаще леса Тет-де-Сальмон, рядом с полем Метар... Он вышел где-то в половине третьего утра из подлеска у дсроги в Дампле...

— Ладно,— прервал его Гогелю,— откуда это ты знаешь, если сам вышел только в три часа?

— Нет, вы только послушайте, папаша Гийом! Ну и дела! Он меня спрашивает, откуда я знаю! Сейчас расскажу тебе, Косой, дружище, это тебе может когда-нибудь пригодиться.

У Франсуа была плохая привычка, очень задевавшая Матье: он называл одним и тем же именем и человека, и собаку, убежденный в том, что, поскольку оба они страдают одним пороком — хотя, по его мнению, косоглазие собаки выглядело куда привлекательней,— можно было не делать различия между двуногим и четвероногим.

На первый взгляд казалось, что и человек, и собака воспринимают это с одинаковым безразличием. Но надо сказать, что искренней в своем безразличии была только собака.

Франсуа продолжал, не подозревая, что добавляет еще одну обиду к тем, что Матье давно затаил против него в своей злопамятной душе.

— В котором часу выпадает роса? В три часа утра, верно? Ну так вот! Если бы он вышел после того, как пала роса, он бы ступал по сырой земле, и в его следах не было бы воды. Но он, наоборот, шел по сухой земле, роса пала уже потом, и следы от его копыт превратились в поилки для малиновок на всем его пути. Вот так!

— Сколько лет зверю? — спросил Гийом, не придавая замечанию Матье особой важности либо полагая, что Франсуа уже достаточно его просветил.

— Лет шесть или семь,— уверенно ответил Франсуа.

— Ну глядите-ка, теперь он ему показал свое свидетельство о рождении,— вставил Матье.

— Почти что так, да еще и подпись свою поставил. Не у всякого так бы получилось!.. И если только у него нет причин скрывать свой возраст, то скажу, что могу ошибиться не больше чем на три месяца. Верно, Косой? Смотрите, папаша Гийом, Косой говорит, что я не ошибаюсь!

— Он один? — спросил папаша Гийом.

— Нет, с кабанихой, и к тому же стельной!..

— Ух ты!

— Вот-вот опоросится

— Тебе что, случалось быть кабаньим акушером? — спросил Матье, который не мог удержаться и не мешать Франсуа спокойно продолжать рассказ.

— Велика хитрость!.. Посмотрите, папаша Гийом, малого нашли посреди леса, а он не знает, когда кабаниха стельная, когда нет! Чему ж ты в школе учился?.. Да раз она тяжело ступает, балда ты этакая, раз копыта у нее расширяются при ходьбе так, что того гляди треснут, это значит, что живот у нее тяжелый, у бедной скотины!

— Он здесь недавно? — спросил папаша Гийом, которому важно было знать, увеличивалось, уменьшалось или оставалось без изменений количество кабанов в его лесничестве.

— Кабаниха — да, недавно, — ответил Франсуа с обычной уверенностью. — А кабан нет! Ее я никогда раньше не встречал, а его знаю. Я ведь вам как раз говорил, когда вошел этот несчастный Гогелю, что я снова встречу своего последнего кабана... Это тот самый, которому две недели назад я всадил пулю в левую лопатку недалеко от Иворской лесосеки.

— А почему думаешь, что это тот самый?

— Да неужто надо вам объяснять, такой старой ищейке, которая самого Косого обойдет? . Гляди, Косой, папаша Гийом спрашивает... Ну да ладно! Я точно знал, что задел его, только попал в лопатку, а не рядом с ней, как надо было.

— Гм, — покачал головой папаша Гийом, — крови-то не было.

— Так потому что пуля застряла под кожей, в сале. Сейчас рана заживает и чешется, и он трется о дуб, третий слева от источника Сарацинов... И вот он терся, терся и оставил на коре клочок шерсти. Вот, глядите!

И в подтверждение своих слов Франсуа вытащил из кармана жилета клочок шерсти, покрытый засохшей кровью.

Гийом взял его, оглядел взглядом знатока и, возвратив его Франсуа, словно это была величайшая драгоценность, сказал:

— Ей-Богу, правда, он здесь, теперь я его будто своими глазами увидел.

— Увидите еще лучше, когда будем его разделявать!

— У меня прямо слюнки текут. Хочу я сходить прогуляться в ту сторону.

— Конечно, сходите! Я уверен, вы увидите все, как я вам описал. А что до кабана, то его логово в колючих зарослях в Тет-де-Сальмон... Можете не стесняться с месье, подходите так близко, как захотите, он и с места не двинется — ведь супруге нездоровится, а месье — учтивый кавалер!

— Ну что же, пойду, пожалуй, — сказал папаша Гийом с такой решимостью, что зубы его сжались, и его коротенькая трубка уменьшилась еще сантиметра на три.

— Хотите взять Косого?

— Зачем это?

— Да и то верно, глаза у вас есть, посмотрите и увидите, поищите и найдете... А тезку мэтра Матье отправим в конуру, только вручим ему в дар кусочек хлеба — вознаграждение за прекрасную работу сегодня утром

— Э, Матье, — сказал папаша Гийом, с сожалением глядя на бродягу, который спокойно ел свою картошку, сидя у огня, — ты слышишь? Он и про белку мне скажет, на каком она дубе сидит, и про ласку, в каком месте она дорогу перебежала, а ты вот так никогда не сумеешь?

— А на кой черт мне это уметь! Что мне от этого?

Гийом пожал плечами при виде такой беззаботности, непонятной ему. Потом он надел куртку, застегнул полугетры, взял ружье — по привычке и потому что без ружья он бы не знал, что ему делать со своей правой рукой, — и ушел, дружески пожав Франсуа руку.

А Франсуа, выполняя обещание, данное Косому, проводил взглядом папашу Гийома, направившегося по дороге в Тет-де-Сальмон, подошел к хлебному ларю, открыл его и отрезал кусок черного хлеба примерно в полливра, прошептал:

— Ах, старая ищейка! То-то ему не терпелось, пока я тут докладывал. Ну, Косой, дружище, вот, по-моему, славный кусочек горбушки! А теперь, после всех трудов, пошли в конуру, да поживей.

И он тоже вышел, но через пекарню, к которой снаружи примыкала конура Косого. Собака, для которой горбушка была некоторым утешением при огорчительной необходимости вернуться в конуру, последовала за ним. Матье остался один со своей картошкой.

IV

ПТИЦА, ПРИНОСЯЩАЯ НЕСЧАСТЬЕ

Едва Франсуа исчез из виду, Матье поднял голову, и его туповатая физиономия мгновенно преобразилась, обретя вполнемышленное выражение.

Потом он прислушался к удаляющемуся звуку шагов и затихающему вдаль голосу и на цыпочках подошел к бутылке, поглядывая своими косящими глазами одновременно на ту дверь, через которую вышел папаша Гийом, и на ту, за которой исчез Франсуа.

Он поднял бутылку вверх, чтобы разглядеть в потоке света, пронизывающем комнату золотистой стрелой, много ли еще там осталось, и решить, сколько можно отпить, чтобы это было не слишком заметно.

— Ах, старый скряга! — сказал он. — Подумать только, даже не угостил!

И, чтобы исправить последствия забывчивости папаша Гийома, Матье поднес к губам бутылку и отхлебнул из горлышка три или четыре глотка обжигающего напитка так, словно это была самая безобидная водичка, не издав при этом ни «хм», как папаша Гийом, ни «хо», как Франсуа.

Однако шаги последнего приближались к двери, и Матье так же быстро и неслышно вернулся на свое место возле камина и с невинным видом, способным обмануть Франсуа, затянул песню, которую оставил на память здешнему селению стоявший некогда в замке Вилле-Коттре полк королевских драгун.

Матье дошел до второго куплета, когда Франсуа вновь появился на пороге пекарни

Вероятно, для демонстрации своего безразличия как к отсутствию, так и присутствию Франсуа, Матье затянул второй куплет, намереваясь продолжить нескончаемую песню, но Франсуа, подойдя к нему, сказал:

— Что это ты тут распелся?

— А разве петь запрещено? — спросил Матье. — Тогда пусть господин мэр объявит об этом повсюду, и геть больше не будут.

— Нет, — ответил Франсуа, — это не запрещено, но это принесет мне несчастье.

— Это почему же?

— Потому что, если первая птица, которую я слышу утром, — сова, то я всегда говорю: «Дело плохо!»

— Я, значит, стало быть, сова. Ну что ж, сова так сова, мне все равно, как ни назови!..

И, сложив ладони ковшичком, предварительно поплевав на них в качестве неперменного ритуала, Матье издал звук, который удивительно походил на печальный, монотонный крик ночной птицы.

Франсуа даже вздрогнул.

— Да замолчи ты, птица, приносящая несчастье.

— Замолчать?

— Да.

— А если я смогу тебе пропеть кое-что интересное, что ты на это скажешь?

— Я скажу, что мне некогда тебя слушать... Знаешь, окажи мне лучше одну любезность.

— Тебе?

— Да, мне... А что, ты разве не можешь оказать кому-нибудь любезность или услугу?

— Ну ладно. А что тебе надо?

— Чтобы ты подержал мое ружье перед огнем, посушил его, пока я переодену гетры.

— Ишь ты, переоденешь гетры! Поглядите-ка на господина Франсуа, он боится схватить насморк.

— Не боюсь я схватить насморк, я просто хочу надеть форменные гетры, потому что может приехать инспектор, и я хочу, чтобы у меня в одежде все было как положено... Ну так как? Просушишь мое ружье?

— Ни твое, ни чье-нибудь другое... Пусть мне лучше разmozжат голову камнем, словно какому-нибудь вонючему зверю, если я с сегодняшнего дня и до того, как меня заруют в землю, когда-нибудь возьму в руки хоть какое-нибудь ружье.

— Ну что же, по тому, как ты им пользуешься, можно сказать, что потеря будет невелика, — сказал Фран-

суа, открывая кладовку под лестницей, где хранилась целая коллекция всевозможных гетр, чтобы отыскать свои среди тех, что принадлежат Ватренам.

Матье следил за ним левым глазом, в то время как правый, казалось, был устремлен исключительно на последнюю картофелину, которую Матье чистил медленно и неумело. Потом он проворчал сквозь зубы:

— Скажи-ка! И чего это ради мне лучше управляться с ружьем, когда я им пользуюсь для других? Пусть только выпадет случай употребить его себе на пользу, и тогда посмотрим, кто из нас больший неумеха!

— А что же ты тогда возьмешь в руки, если не ружье? — спросил Франсуа, поставив ногу на стул и зашнуровав гетры.

— А в руки я возьму свое жалованье! Господин Ватрен мне, правда, предлагал стать внештатным лесничим, но, поскольку надо служить его светлости целый год бесплатно, или два года, или даже три, нет уж, спасибо! Я отказался... Лучше уж я пойду служить в дом к господину мэру!

— Как это! Служой к господину мэру? Господину Руазену, торговцу лесом?

— К господину Руазену, торговцу лесом, или к господину мэру, это одно и то же.

— Ладно! — буркнул Франсуа, продолжая застегивать гетры и передернув плечами в знак презрения к прислуге.

— Тебе это не нравится?

— Мне? Мне все равно! Я вот только думаю, что тогда станется со старым Пьером?

— Ну, наверное, уйдет, — беззаботно откликнулся Матье.

— Уйдет? — повторил Франсуа, и в его голосе слышался интерес к старому слуге, о котором шла речь.

— Наверное. Поскольку я определяюсь на его место, надо, стало быть, чтобы он ушел, — продолжал Матье.

— Да как же можно! Он же служит в доме Руазена вот уже двадцать лет!

— Ну, тем более, значит, теперь очередь кого-нибудь другого, — злобно усмехнулся Матье.

— Эх, и скверный же ты парень, Косой! — воскликнул Франсуа.

— Во-первых, — возразил Матье с глуповатым видом, который он умел на себя напускать, — меня зовут не так. Это собаку, которую ты сейчас отвел в будку, зовут Косой.

— Да, твоя правда. И, когда он узнал, что тебя иногда случайно называют одним с ним именем, он заявил протест. Бедное животное утверждало, что оно-то не способно, будучи ищейкой папаши Ватрена, потребовать место ищейки господина Девиолена, хотя дом инспектора уж, конечно, лучше, чем дом главного лесничего. И вот с тех пор, хоть ты и косишь по-прежнему, Косым тебя больше не зовут.

— Смотри-ка! Так я, значит, скверный парень, так ты считаешь, а, Франсуа?

— И я, и все так считают.

— И почему же это?

— Неужто тебе не совестно отбивать хлеб у несчастного старого Пьера? Что с ним будет, когда он лишится места? Ему придется просить милостыню, чтобы прокормить жену и двоих детей!

— Ну, что же, ты ему станешь платить пенсию из тех трехсот пятидесяти ливров, которые ты получаешь каждый год как помощник лесничего!

— Пенсию я ему платить не буду, потому что на свое жалованье я прежде всего должен кормить свою мать. Но у меня в доме всегда, когда он только захочет туда зайти, он найдет тарелку лукового супа и кусок кроличьего жаркого, обычной еды лесничего... Слугой к господину мэру! — продолжал Франсуа, застегнув наконец свои гетры. — Как это на тебя похоже, сделаться прислугой!

— Подумаешь, что здесь ливрея, что там. Только та, в которой денежки звенят в кармане, мне милее той, где карман пустой.

— Э, друг, погоди-ка, — воскликнул Франсуа, но, спохватившись, поправился: — Нет, я ошибся, ты мне все не друг... Так вот, наша одежда — это вовсе не ливрея. Это форма.

— Дубовый лист на воротнике или галун на рукаве, какая разница! — Матье замотал головой, выражая свое полнейшее безразличие и к одной, и к другой одежде.

— Может, и так,— возразил Франсуа, не желая оставить за своим собеседником последнего слова,— да только тот, у кого дубовый лист на воротнике, работает, а тот, который с галунами, баклуши бьет. Разве не из-за этого ты предпочитаешь галун дубовому листу, а, бездельник?

— Может, и так,— согласился Матье, и вдруг, словно эта мысль только что пришла ему в голову, он произнес: — Кстати, говорят, что Катрин возвращается сегодня из Парижа...

— Что еще за Катрин? — спросил Франсуа.

— Ну как же, Катрин — это Катрин, племянница папаша Гийома, кузина господина Бернара, которая выучилась на белошвейку и модистку в Париже, и теперь к ней перейдет магазин мадемуазель Риголо, что на площади Де ля Фонтен, в Вилле-Коттре.

— Ну и что дальше?

— Ну так, если бы она возвратилась сегодня, я бы, пожалуй, ушел только завтра... Здесь же небось закатят пир в честь этой добродетельнейшей особы!

— Послушай, Матье,— сказал Франсуа очень серьезно, не так, как он говорил до этого,— когда ты будешь говорить в этом доме о мадемуазель Катрин с кем-нибудь еще, кроме меня, то смотри, с кем ты говоришь.

— Почему это?

— Потому что мадемуазель Катрин — дочь родной сестры господина Гийома Ватрена.

— Да и к тому же возлюбленная господина Бернара, так ведь?

— А вот насчет этого, Матье, если кто тебя спросит что-нибудь, советую тебе сказать, что ты ничего об этом не знаешь!

— А вот здесь ты как раз и ошибаешься — я скажу все, что знаю... Что видели, то видели, что слышали, то слышали.

— Да-а,— сказал Франсуа, глядя на Матье с выражением, в котором настолько смешались отвращение и презрение, что трудно было понять, какое из чувств преобладает,— ты совершенно правильно сделал, пойдя в лакеи. Это просто твое призвание, Матье! Шпион и доносчик! Удачи тебе в новом ремесле! Если Бернар выйдет, я его жду в ста шагах отсюда, в назначенном месте, то есть у Прыжка Оленя, слышишь?

И, перебросив через плечо ружье привычным жестом человека, превосходно владеющего этим оружием, он вышел, повторив:

— Нет, я правду сказал, ты злой и скверный парень, Матье.

Матье посмотрел ему вслед со своей обычной туповатой улыбкой, но как только Франсуа скрылся из виду, лицо его снова приняло вполне осмысленное выражение, и он пробормотал с угрозой, которая звучала тем громче, чем больше удалялся тот, кому она предназначалась.

— Ах, вот как! Ты, стало быть, правду сказал, и я — скверный парень! И стреляю я плохо! И собака Бернара заявила протест, когда меня назвали ее именем! И я, значит, шпион, бездельник, доносчик!.. Терпение, терпение и еще раз терпение! Конец света еще не сегодня, и я, может, еще успею тебе за все отплатить!

В это мгновение деревянные ступеньки лестницы, ведущей на второй этаж, заскрипели, дверь открылась, и на пороге появился красивый и крепкий молодой человек двадцати пяти лет в полном снаряжении егеря, только без ружья.

Это был Бернар Ватрен, сын Ватренов, о котором уже упоминалось в предыдущих главах.

Костюм молодого человека был безукоризненным. Его голубой сюртук с серебряными пуговицами, застегнутый сверху донизу, обрисовывал великолепную фигуру, бархатные панталоны и кожаные гетры обтягивали стройные ноги безупречной формы. Наконец, рыжевато-белокурые волосы и чуть более темные бакенбарды прекрасно сочетались с юношеской свежестью лица, которую не мог скрыть густой загар.

В нем было что-то столь привлекательное, что, несмотря на твердый взгляд светлого-голубых глаз и резкую линию подбородка — признак воли, граничащей с упрямством, — было невозможно не почувствовать к нему глубокой симпатии.

Однако Матье был не из тех, кто мог поддаться такому чувству. Красивая внешность Бернара, составлявшая резкий контраст с уродством Матье, была для последнего предметом постоянной зависти и ненависти. С уверенностью можно сказать, что, если бы Матье было достаточно пожелать одного несчастья себе для того, чтобы накликать двойное несчастье на Бернара, он

без колебаний отдал бы свой глаз, с тем чтобы Бернар потерял оба, или сломал бы себе одну ногу, чтобы у Бернара оказались сломанными обе.

Чувство это было столь непреодолимым, что, хоть он и делал над собой усилие, чтобы улыбнуться Бернару, улыбка у него получалась весьма кислая.

А в тот день она получилась у него еще более кислой, чем обычно. Была в ней сдерживаемая нетерпеливая радость — радость Калибана¹ при первых раскатах грома, предвещающих бурю.

Бернар не обратил никакого внимания на эту улыбку. У него в душе, напротив, все пело, радуясь молодости, жизни, любви.

Он с удивлением и даже с некоторым беспокойством обвел глазами комнату.

— Странно, мне показалось, что я слышал голос Франсуа... Разве его здесь не было только что?

— Он здесь и вправду был, да только ему надоело вас ждать, вот он и ушел.

— Ну ладно, встретимся на условленном месте.— И Бернар подошел к камину, снял свое ружье, продул стволы, проверяя их чистоту, вставил пистон, засыпал порох и достал из охотничьей сумки два войлочных пыжа.

— Вы что, всегда пользуетесь такими пыжами? — спросил Матье.

— Да, я считаю, что они равномерней прижимают порох... А куда же я дел свой нож? — Бернар поискал во всех карманах, но ничего не нашел.

— Хотите мой возьмите,— предложил Матье.

— Да, давай.

Бернар взял нож, нацарапал на двух пулях по кресту и положил их себе в карман.

— Что это вы делаете, господин Бернар? — спросил Матье.

— Помечаю свои пули, чтобы отличить их в случае, если выйдет спор. Когда двое стреляют в одного кабана, интересно бывает узнать, кто его убил.

И Бернар направился к двери.

Матье проводил его своими косящими глазами, и взгляд его горел невероятной злобой.

¹ Злобный персонаж драмы Шекспира «Буря».

А когда молодой человек был уже у самого порога, он вдруг окликнул его:

— Погодите-ка, господин Бернар. Одно только словечко. Поскольку кабана выследил Франсуа, этот ваш любимчик, вы знаете, что вернетесь не с пустыми руками... Да и к тому же в такую рань у собак плохое чутье.

— Ну хорошо, что ты хочешь сказать? Говори.

— Что я хочу сказать?

— Да.

— Верно ли, что сегодня приезжает это чудо из чудес?

— О ком это ты? — спросил Бернар, нахмутив брови.

— Да о Катрин же!

Едва Матье произнес это имя, Бернар дал ему звонкую пощечину. Матье отступил на два шага, причем выражение его лица несколько не изменилось. Однако, поднеся руку к щеке, он спросил:

— Что это сегодня с вами, господин Бернар?

— Ничего, просто хочу научить тебя произносить отныне это имя с таким же уважением, которое к нему питают все, и я — в первую очередь.

— О, вы еще пожалеете, что дали мне пощечину, когда узнаете, что в этой бумаге, — сказал Матье, по-прежнему держась одной рукой за щеку, а другой роясь тем временем в карманах.

— В этой бумаге? — повторил Бернар.

— Да.

— Что ж, тогда посмотрим ее.

— О, имейте терпение!

— Покажи эту бумагу, говорю тебе. — И, сделав шаг к Матье, он вырвал бумагу у него из рук.

Это было письмо. На конверте было написано: «*Мадмуазель Катрин Блюм, улица Бур-л'Аббе, 15, Париж*».

V

КАТРИН БЛЮМ

Взяв письмо в руки и прочитав адрес, Бернар вздрогнул — он словно угадал, что это письмо означало для него начало нового периода жизни и предвещало целую цепь неведомых несчастий.

Девушка, которой было адресовано письмо и о которой мы уже упоминали, была дочерью сестры папаша Гийома и, следовательно, приходилась Бернару кузиной.

Почему же девушка носила немецкую фамилию? Почему ее воспитали не отец с матерью? Почему в настоящий момент она проживала на улице Бур-л'Аббе в Париже? Вот об этом мы и собираемся рассказать.

В 1808 году колонна немецких пленных, возвращавшихся с полей сражения при Фридланде и Эйлау, шла по французской земле, останавливаясь на постой у местных жителей, как это делали и французские солдаты.

Молодой немец из Бадена, тяжело раненный в первом из двух сражений, был определен на постой к Гийому Ватрену. В доме Ватрена, женившегося четыре или пять лет тому назад, жила его сестра Роза Ватрен, красивая девушка лет семнадцати-восемнадцати.

Ранение немецкого солдата, достаточно серьезное уже в тот момент, когда он вышел из полевого госпиталя, настолько осложнилось от длительных переходов, усталости и отсутствия лечения, что, по заключению врача и хирурга Вилле-Коттре, господина Лекоса и господина Рейналя, ему было предписано остановиться в родном городе автора этих строк.

Его хотели отправить в больницу, но молодой иностранец выказал такое отвращение к этому заведению, что папаша Гийом, которого в то время называли просто Гийомом, поскольку он был тогда красивым молодым человеком лет двадцати восьми—тридцати, сам предложил ему остаться в Фезандри. Так называлось в 1808 году тогдашнее жилище Гийома, расположенное в какой-нибудь четверти лье от города, под самыми красивыми и большими деревьями той части леса, которую сейчас называют Парком.

Среди причин, вызвавших у Фредерика Блюма — так звали раненого — столь непреодолимое отвращение к больнице, были не только опрятность хозяина дома и его молодой жены и не только великолепный воздух Фезандри и прелестный вид, открывающийся из его комнаты на цветочные клумбы и зеленые деревья леса. Главный причиной был очаровательный цветок, словно сорванный на одной из этих клумб, цветок по имени Роза Ватрен.

Что касается девушки, то, видя, как этот красивый молодой человек, такой бледный и страдающий, готов лечь на убогие носилки и отправиться в больницу, она испытала такую боль, что сердце ее не выдержало, и она прибежала к брату со слезами на глазах, умоляюще сложив руки и не решаясь произнести ни слова. Однако молчание ее было куда убедительней, чем любые самые настойчивые просьбы, выраженные словами.

Ватрен понял, что происходит в душе его сестры, и, уступая желанию девушки, а еще больше — тому чувству сострадания, которое всегда можно найти в душе людей, живущих в удалении и уединении, он согласился на то, чтобы молодой иностранец остался в Фезандри.

С этой минуты, по молчаливому соглашению, жена Ватрена Марианна полностью взяла на себя все работы по хозяйству и заботы о трехлетнем сынишке Бернаре, а Роза, этот прелестный лесной цветок, посвятила все свое время уходу за раненым.

Рана была вызвана — да простит нам читатель несколько научных терминов, которые нам придется употребить, — итак, рана была вызвана пулей, которая пробила мышцелок берцовой кости, прошла через апоневроз fascia lata и застряла в глубоких тканях, вызвав сильное воспаление.

Вначале хирурги решили, что бедренная кость раздроблена, и хотели произвести ее удаление. Но молодой человек не согласился на операцию, которая пугала его, и не столько болезненностью, непременно в подобных случаях, сколько мыслью о пожизненной инвалидности. Он заявил, что предпочитает умереть. Ну а поскольку он имел дело с французскими хирургами, которым было в общем-то все равно, умрет он или выживет, они оставили его в полевом госпитале, где мало-помалу пуля — употреблю снова научный термин — внедрилась в мышечные ткани, окруженная апоневрическим секретом.

Тем временем пришел приказ отправить пленных во Францию. Все они, раненые и здоровые, были размещены в повозках и отправлены по месту назначения, и Фредерик Блюм был в числе всех прочих. Таким образом он проделал 200 лье. Но когда он прибыл в Вилле-Коттре, страдания его стали столь невыносимы, что он не смог ехать дальше.

К счастью, то, что могло показаться ухудшением, было, напротив, началом выздоровления. Пуля то ли в

результате какого-то резкого усилия, то ли под тяжестью собственного веса сдвинулась со своего места и опустилась вдоль мышечных перегородок, повредив при этом промежуточную ткань.

Понятно, однако, что такое чудо природы, такое необыкновенное выздоровление, совершенное самим организмом, не могло произойти быстро и безболезненно. Три месяца раненый лежал в горячке, потом мало-помалу появились признаки явного улучшения. Он смог подняться, дойти сначала до окна, потом до двери, потом выйти из дома, потом пройтись, опираясь на руку Розы Ватрен, под большими деревьями, окружавшими Фезандри. И, наконец, однажды он почувствовал между сгибательными мышцами ноги какое-то инородное тело. Он вызвал хирурга, хирург сделал небольшой надрез, и пуля, чуть было не ставшая когда-то смертельной, упала прямо в руку оперирующего.

Фредерик Блюм выздоровел.

Но следствием этого выздоровления стало появление двоих раненых в доме Ватрена вместо одного.

К счастью, был заключен Тильзитский мир. В 1807-м образовалось новое королевство. В него вошли отделенные от прежнего герцогства Вестфалии епископство Падерборна, Хорн и Билефельд, а также часть округов Верхнего Рейна и Нижней Саксонии, и, кроме того, оно включало в свой состав юг Ганновера, Гессе-Кассель и княжества Магдебургское и Верденское.

Это королевство называлось теперь Вестфалией. Оно оставалось мифом до тех пор, пока главный вопрос не решился силой оружия в битвах при Фридланде и Эйлау. После этих побед, по заключении Тильзитского мира, оно было признано Александром и стало считаться европейским королевством, в коем качестве и просуществовало шесть лет.

Итак, однажды утром Фредерик Блюм проснулся подданным Вестфалии и, следовательно, союзником французского народа, а не его врагом.

И тогда всерьез встал вопрос о том, как осуществить мечту молодых людей, вот уже более полугода занимающую все их помыслы — мечту о свадьбе.

Единственное препятствие исчезло. Оно заключалось в том, что Гийом Ватрен был слишком хорошим французом, чтобы отдать свою сестру человеку, который мог однажды по долгу службы направить оружие против

Франции и выстрелить в Бернара. А отец уже видел Бернара одетым в военную форму и шагающим в строю на бой с врагами Франции. Однако, поскольку Фредерик Блюм стал вестфальцем и, следовательно, французом, брак между молодыми людьми становился самой обычной, вполне доступной вещью.

Фредерик дал слово честного храброго немца вернуться через три месяца и уехал. При отъезде было пролито много слез, но на лице Блюма так явно читались верность и честность, что ни на мгновение не возникло сомнений в его возвращении.

У него был план, о котором он никому не сказал: пойти к новому королю в Кассель, подать ему прошение, где, изложив свою историю, он попросит дать ему место лесничего в том лесном массиве, который простирается на восемьдесят лье в длину и на пятнадцать в ширину между Рейном и Дунаем и который называют Шварцвальдом.

План был прост и наивен, и именно поэтому он удался.

Однажды с балкона своего замка король увидел солдата с бумагой в руке, желающего, вероятно, просить о какой-либо милости. Король был в прекрасном расположении духа, как все короли, только что взшедшие на престол, и, вместо того чтобы послать за прошением, он велел позвать самого солдата. Тот на достаточно хорошем французском языке изложил суть своего прошения. Король написал на бумаге слово «разрешаю», и Фредерик Блюм стал лесничим одного из кантонов Шварцвальда.

К документу, который обеспечивал будущность молодой пары, было приложено разрешение на отпуск, что давало возможность новому лесничему съездить за невестой и получить денежное пособие в пятьсот франков на дорожные расходы.

Фредерик Блюм говорил о трех месяцах, а вернулся через шесть недель. Это было доказательством его любви, говорившим само за себя, да так убедительно, что Гийому Ватрену нечего было возразить.

Однако у Марианны было возражение, и притом серьезное.

Марианна была доброй католичкой, каждое воскресенье она ходила слушать мессу в церковь Вилле-Коттре и четыре раза в год, по самым большим праздникам, причащалась у аббата Грегуара.

Однако Фредерик Блюм был протестантом и, в глазах Марианны, душа его должна была неминуемо погибнуть, а душа ее свояченицы подвергалась большой опасности.

Пригласили аббата Грегуара.

Это был прекрасный человек. Он был подслеповат, как крот, но слабое физическое зрение сделало более острым зрение внутреннее, зрение души. Было невозможно судить о предметах земных и небесных более справедливо и честно, чем это делал достойнейший аббат, и я ручаюсь, что ни один священник, с тех пор как человек начал давать Богу обет самоотречения, не соблюдал этот обет более неукоснительно, чем аббат Грегуар.

Аббат Грегуар ответил, что есть одна религия, которой надо следовать прежде всего, — это религия души, а души молодых людей связаны клятвой взаимной любви. Пусть же Фредерик Блюм останется верен своей религии, а Роза Ватрен — своей, их дети будут воспитаны в вере той страны, где они будут жить, а в день Страшного Суда Бог, который весь — милосердие, отделит, как надеялся добрый аббат, не протестантов от католиков, а просто добрых людей от злых.

Поскольку решение аббата Грегуара, одобренное женихом с невестой и Гийомом Ватреном, собрало три голоса, в то время как противоположное решение получило только один голос — Марианны, было условлено, что свадьба состоится сразу же, как только будут выполнены все гражданские и религиозные формальности.

Формальности заняли три недели, после чего Роза Ватрен и Фредерик Блюм сочетались браком в мэрии Вилле-Коттре, где можно найти их имена, внесенные в регистрационную книгу 12 сентября 1809 года, и в церкви того же города.

Из-за отсутствия протестантского пастора венчание в протестантской церкви было отложено до тех пор, пока молодые супруги не придут в Вестфалию.

Спустя ровно месяц, день в день, они были повенчаны пастором из Вердена, и таким образом все церемонии, требуемые обоими приверженцами разных религий, были полностью соблюдены.

Через десять месяцев родился ребенок женского пола, который, или, вернее, которая получила имя Катрин

и была воспитана, согласно обычаю страны ее рождения, в протестантской вере.

Молодые супруги прожили в полном счастье три с половиной года. Потом началась кампания 1812 года, повлекшая за собой не менее гибельную кампанию 1813 года.

Огромная армия исчезла в снегах России и подо льдом Березины. Надо было создавать новую армию — все, кто служили раньше и все, кому было меньше тридцати лет, были призваны на военную службу.

Согласно этому декрету, Фредерик Блюм подлежал призыву на двойном основании: во-первых, он уже был на военной службе, во-вторых, ему было всего двадцать девять лет и четыре месяца.

Он мог бы обратить внимание короля Вестфалии на обстоятельство, дававшее возможность освобождения от военной службы — его старую рану, причинявшую ему порой сильные страдания. Он об этом даже не подумал. Он поехал в Кассель, явился к королю, напомнил о себе, попросился снова на службу в кавалерию, отрекомендовал королю свою жену и ребенка и отбыл в чине бригадира с вестфальскими стрелками.

Он был в числе победителей под Люценом и Бауценом, он остался среди побежденных и погибших при Лейпциге.

На этот раз саксонская пуля пробила ему грудь, и он упал, чтобы никогда больше не подняться, среди шестидесяти тысяч других сраженных в тот день. В той битве было произведено сто семнадцать тысяч пушечных выстрелов — это на сто одиннадцать тысяч больше, чем при Мальплаке¹. Таков прогресс, который приносят нам новые времена!

Король Вестфалии не забыл о своем обещании: вдове Фредерика Блюма была пожалована пенсия в триста флоринов, которую она получила, проливая слезы, в самые горестные траурные дни. Но с начала 1814 года королевства Вестфалии более не существовало, и король Жером не считался теперь коронованной особой.

Фредерик Блюм был убит, сражаясь в рядах французской армии. В эпоху реакции этого было достаточно, чтобы на его вдову очень косо смотрели в тогдашней

¹ Битва при Мальплаке в 1709 г., где одержала победу английская армия.

Германии, которая вся целиком поднялась против нас. Поэтому вдова отправилась в путь с остатками французской армии, пересекла границу и однажды утром, держа на руках свое дитя, постучалась в дверь своего брата Гийома.

Этот добрейший человек принял мать и ребенка словно Божьих посланников.

Девочка — ей было три года — стала сестрой Бернару, которому было девять лет. А мать слегла, заняв то место, где лежал раненый Фредерик Блюм, в той комнате, откуда был виден сад и большие лесные деревья.

Увы, болезнь бедной женщины оказалась более опасной, чем болезнь ее мужа. Усталость и горе послужили причиной воспаления легких, которое перешло в чахотку, и, несмотря на все заботы брата и его жены, болезнь оказалась смертельной.

Так, к концу 1814 года, в возрасте четырех лет Катрин Блюм осталась сиротой. Конечно, она не была сиротой в полном смысле этого слова, так как обрела в лице Гийома Ватрена и его жены отца и мать, если только можно вновь обрести потерянных родителей.

Но вот уж кто был с ней таким же нежным и преданным, каким мог быть только родной брат, так это Бернар.

Дети росли вместе, нисколько не заботясь о политических превратностях, сотрясавших Францию и два или три раза поставивших под угрозу материальное благополучие их родителей.

Наполеон отрекся в Фонтенбло, спустя год вернулся в Париж, снова потерпел крах при Ватерлоо, сел на корабль в Рошфоре, был закован в кандалы и окончил свои дни на скалистом острове Святой Елены, и все эти великие катастрофы в глазах детей вовсе не имели того значения, которое было придано им историей. Для семьи, укрытой под сенью густой листвы, куда доносились лишь слабые отголоски жизни и смерти сильных мира сего, важно было лишь то, что герцог Орлеанский, вновь ставший владельцем удела и, следовательно, собственником леса Вилле-Коттре, сохранил за Гийомом Ватреном место главного лесничего.

Сохраненная за ним должность к тому же еще улучшила его положение: после трагической гибели Шорона Ватрен был переведен из лесничества Пепиньер в лес-

ничество Шавиньи, и ему пришлось переехать из Фезандри в Новый дом при дороге в Суассон.

А в новом лесничестве жалованье было на сто франков больше, и эта сумма была весьма значительной добавкой для старого лесничего.

Тем временем подрастал Бернар. В восемнадцать лет он был принят на должность помощника лесничего, а в тот день, когда он достиг совершеннолетия, его назначили лесничим с жалованьем в пятьсот франков. Получалось тысяча четыреста франков на семью, что, учитывая бесплатное жилье и добываемую охотой дичь, делало семью вполне зажиточной.

Последствия этого почувствовали все члены семьи: Катрин Блюм поместили в пансион в Вилле-Коттре, где она получила образование, постепенно превратившее крестьянскую девушку в городскую барышню. В то же время расцвела ее красота, и в шестнадцать лет Катрин Блюм стала одной из самых прелестных девушек Вилле-Коттре и его окрестностей.

Вот тогда-то братская любовь, которую Бернар с детства питал к Катрин, незаметно изменила свой характер и превратилась во влюбленность.

Однако молодые люди не отдавали себе отчета в природе этого чувства, хотя каждый понимал, что, по мере того как детство проходит и наступает юность, его любовь к другому становится все сильнее. Но никто из них не понял собственного сердца до того момента, пока не случилось обстоятельства, доказавшего им, что они связаны друг с другом в их совместном существовании, как два цветка, растущие на одном стебле.

По выходе из пансиона, то есть в возрасте тринадцати-четырнадцати лет, Катрин Блюм поступила на обучение к мадемуазель Риголо, лучшей белошвейке-модистке Вилле-Коттре. Катрин пробыла там два года и проявила при этом столько ума и вкуса, что мадемуазель Риголо заявила, что если девушка проведет год или полтора в столице, чтобы перенять столичные вкусы, то она не колеблясь предпочтет Катрин любому другому претенденту, уступив ей свое дело, причем без уплаты наличными, но с выплатой двух тысяч ливров в год в течение шести лет.

Предложение было очень серьезным и заставило задуматься Гийома Ватрена и его жену. Было решено, что Катрин уедет из Вилле-Коттре с рекомендательным

письмом мадемуазель Риголо к ее парижской знакомой и проведет год или полтора в столице.

Улица Бур-л'Аббе, по-видимому, не была местом демонстрации самых элегантных моделей одежды, но именно здесь жила та, кому было адресовано письмо мадемуазель Риголо, и поэтому можно было надеяться, что Катрин исправит отсталые вкусы жителей этой мещанской улицы.

Только теперь Бернар и Катрин по-настоящему оценили свои чувства, заметив, что ревнивая влюбленность очень отличается от снисходительной братской любви.

Молодые люди дали взаимное обещание постоянно думать друг о друге и писать не реже трех раз в неделю. Храня молчание, как истинные влюбленные, они сокрыли в глубине сердца тайну своей любви, всей силы которой они, возможно, не осознавали и сами.

За полтора года отсутствия Катрин Бернару два раза удавалось получить отпуск на четыре дня благодаря особому покровительству инспектора, который по-человечески любил обоих Ватренов и ценил их служебные качества. И само собой разумеется, что Бернар употребил свободные дни на то, чтобы съездить в Париж. Эти две встречи сделали узы, связывающие молодых людей, еще более тесными. Наконец пришел день возвращения Катрин, и, чтобы отпраздновать этот день, инспектор дал разрешение убить кабана. Франсуа поднялся в три часа утра, выследил кабана, доложил об этом папаше Гийому, а папаша Гийом отправился в лес, чтобы лично убедиться в доложенном. Лесники округа Шавиньи, приглашенные на праздник хозяевами Нового дома, условились встретиться возле Прыжка Оленя.

Бернар, погруженный в самые сладкие мечты о встрече, вышел из своей комнаты причесанный, завитый, разодетый, улыбающийся и счастливый. Но при виде письма, протянутого Матье Гогелю, он перестал улыбаться, нахмурился, а радость на его лице сменилась беспокойством.

VI

ПАРИЖАНИН

Дело в том, что Бернар узнал почерк некоего молодого человека по имени Луи Шолле, сына торговца лесом из Парижа, который вот уже два года как жил у господи-

на Руазена, первого торговца лесом в Вилле-Коттре и мэра города.

Молодой человек изучал практическую сторону своего будущего дела, то есть работал у господина Руазена подручным по продаже леса, подобно тому, как в Германии сыновья самых крупных владельцев гостиниц работают у других хозяев в качестве коридорных.

Отец Шолле был очень богат и давал своему сыну на мелкие расходы пятьсот франков в месяц.

Имея пятьсот франков в месяц, в Вилле-Коттре можно иметь свой экипаж, лошадь для верховой езды и лошадь для упряжи.

К тому же, особенно если одеваться в Париже и найти способ платить портному из отцовского кармана, можно стать королем среди законодателей провинциальной моды.

Это и произошло с Луи Шолле.

Молодой, красивый, богатый, привыкший в своей парижской жизни к легким любовным связям, он имел о женщинах обычное представление всех молодых людей, имеющих дело лишь с гризетками да содержанками. Он полагал, что никто не сумеет устоять перед ним и что, даже живи в Вилле-Коттре пятьдесят данаид, он смог бы за более или менее продолжительное время повторить тринадцатый подвиг Геракла, придавший особое очарование репутации сына Юпитера.

Итак, придя в первое воскресенье на танцы, он решил, что благодаря своему фраку, сшитому по самой модной выкройке, своим панталонам нежнейшего цвета, своей украшенной ажурной вышивкой рубашке и золотой цепочке со множеством брелоков ему, словно султану Солиману, оставалось лишь бросить платок своей избраннице. Появившись в танцевальном зале и изучающе осмотрев всех девушек; он «бросил платок» Катрин Блюм.

К несчастью, с ним случилось то же, что три века назад со знаменитым суданцем, сравнением с которым мы оказали Шолле честь: современная Рокслана не подняла платка так же, как и Рокслана средневековая, и Парижанин — ибо такое прозвище получил приезжий — остался ни с чем.

Более того, поскольку Парижанин слишком явно демонстрировал свой интерес к Катрин, на следующее воскресенье она вовсе не пришла на танцы.

Получилось это само собой: она прочитала в глазах Бернара беспокойство, вызванное ухаживаниями молодого щеголя, и сама предложила кузену, а он с восторгом согласился провести воскресенье в Новом доме, вместо того чтобы Бернару приехать в Вилле-Коттре, как он это делал каждое воскресенье, с тех пор как Катрин жила в городе.

Однако Парижанин вовсе не считал себя побежденным. Он принялся заказывать у мадемуазель Риголо сначала рубашки, потом платки, потом воротнички, что дало ему множество возможностей видеть Катрин, которая в качестве работающей за прилавком барышни встречала его с безукоризненной вежливостью, но демонстрировала полную холодность как женщина.

Визиты Парижанина, в причине которых трудно было ошибиться, очень беспокоили Бернара. Но как можно было им помешать? Будущий торговец лесом был единственным, кто решал, сколько рубашек, платков и воротничков ему надо иметь, и, если ему хотелось иметь двадцать четыре дюжины рубашек, сорок восемь дюжин платков и шестьсот воротничков, это никак не касалось Бернара Ватрена.

Кроме того, он был вправе заказывать эти рубашки по одной, а также по одному заказывать платки и воротнички, что давало ему возможность заходить к мадемуазель Риголо триста шестьдесят пять раз в году.

Из этого числа дней мы должны, однако, вычесть все воскресенья. Не потому, что мадемуазель Риголо закрывала магазин по воскресеньям, но оттого, что каждую субботу в восемь часов вечера Бернар приходил за своей кухней и каждый понедельник привозил ее обратно. Необходимо заметить, что, лишь только Парижанин узнал об этом, он не только не стал ничего заказывать по воскресеньям, но даже не приходил справиться о предыдущем заказе.

Тем временем от мадемуазель Риголо поступило предложение послать Катрин в Париж, которое, как мы уже говорили, было благосклонно принято Гийомом Ватреном и его женой и против которого Бернар протестовал бы, конечно, куда сильнее, если бы ему не пришла мысль о том, что если осуществится этот план, то ненавистного Луи Шолле и обожаемую Катрин будут разделять семьдесят два километра.

Итак, эта мысль немного смягчила Бернару горечь разлуки.

Но, хотя в то время еще не было железной дороги, семьдесят два километра не являлись препятствием для влюбленного, особенно если этот влюбленный не был обязан отпрашиваться у хозяина, чтобы отлучиться, и имел пятьсот франков карманных денег в месяц.

В результате Бернар за полтора года побывал в Париже два раза, а Шолле, совершенно свободный в своих действиях и получавший тридцатого числа каждого месяца такую же сумму, какую Бернар получал, а вернее, получил в последний день предыдущего года, побывал там двенадцать раз!

Была еще одна примечательная вещь: со времени отъезда Катрин в Париж Шолле стал заказывать рубашки не у мадемуазель Риголо на площади Де ля Фонтен в Вилле-Коттре, а у мадемуазель Кретте и К. на улице Бур-л'Аббе, 15.

Разумеется, что Катрин тотчас же сообщила Бернару об этом факте, довольно важном для мадемуазель Риголо, но имеющем совершенно особую важность для молодого человека.

Так уж устроено человеческое сердце: хоть Бернар и был уверен в чувстве, которое питала к нему кузина, преследования Парижанина продолжали его тревожить.

Двадцать раз ему в голову приходила мысль затеять с Парижанином крепкую ссору, из тех, что заканчиваются ударом шпаги или пистолетным выстрелом. Поскольку благодаря многократным упражнениям Бернар был первоклассным стрелком, а благодаря одному своему товарищу, армейскому преподавателю фехтования, который по-соседски давал ему сколько угодно уроков, он очень неплохо владел шпагой, то последствия такой ссоры его не пугали. Но как найти способ поссориться с человеком, к которому нельзя было предъявить никаких претензий, который был вежлив со всеми, а с Бернаром более чем с кем-либо иным? Совершенно невозможно!

Надо было ждать случая. Бернар ждал его полтора года, и за все это время случай не представился.

И вот в тот самый день, когда должна была вернуться Катрин Блюм, ему передают письмо, адресованное девушке, и он узнает на конверте руку своего соперника.

Можно понять волнение и бледность Бернара при одном только виде этого письма.

Как мы уже сказали, он повертел его в руках, потом достал из кармана платок и вытер лоб.

Затем, вместо того чтобы положить платок в карман, он зажал его под мышкой левой руки, словно полагая, что он ему еще пригодится, и с видом человека, принявшего серьезное решение, распечатал письмо.

Матье смотрел на действия Бернара со своей всегдашней злой улыбкой и, заметив, что тот становился все более взволнованным и бледным, углубляясь в чтение письма, сказал:

— Знаете, господин Бернар, что я сказал себе, когда вытаскил это письмо из кармана у Пьера? Я сказал: «Вот хорошо! Я открою господину Бернару глаза на уловки Парижанина и заодно сделаю так, чтобы прогнали Пьера». Так и вышло: когда он сказал, что потерял письмо... Вот болван! Как будто нельзя было сказать, что он отнес его на почту! От этого была бы та выгода, что Парижанин, думая, что первое письмо отправлено, не написал бы второго, и, значит, мадемуазель Катрин не получила бы его. А коли бы она его не получила, то она на него и не ответила бы.

В этот момент Бернар, перечитывавший письмо во второй раз, оторвался от него и почти прорычал:

— Как это «ответила»? Ты сказал, несчастный, что Катрин ответила Парижанину?

— Да ну! — сказал Матье, прикрыв щеку рукой из опасения снова получить пощечину. — Так я вовсе не говорил!

— А что же ты тогда сказал?

— Я сказал, что мадемуазель Катрин — женщина, а дочери Евы всегда искушаемы грехом.

— Я тебя спрашиваю, ответила ли Катрин? Ты слышишь, Матье?

— Очень может быть, что нет... Но ведь вы же знаете, молчание — знак согласия.

— Матье! — крикнул молодой человек угрожающе.

— Во всяком случае, он должен был уехать сегодня утром, чтобы отправиться ей навстречу в своей коляске.

— И он уехал?

— Уехал ли он? Откуда я знаю, если я спал здесь, в пекарне! Но вы хотите это узнать?

— Ну, разумеется, хочу!

— Ну так это очень просто. Если вы спросите первого попавшегося в Вилле-Коттре: «Уехал ли господин Луи

Шолле в сторону Гондревилля в своем экипаже?» — вам ответят: «Да!»

— Да! Значит, он ее встретил?

— Или да, или нет... Я ведь бестолковый, вы же знаете... Я вам сказал, что он должен был туда отправиться, но я вовсе не говорил, что он там был!

— А откуда ты вообще можешь об этом знать?.. Ах да, ведь письмо было распечатано и снова запечатано.

— Да может это Парижанин его вскрыл, чтобы дописать постскрипtum, так это называется.

— Значит, не ты его вскрыл и потом запечатал снова?

— Для чего это, скажите на милость... Разве я умею читать? Разве мне, неотесанному тупице, смогли вбить в голову азбуку?

— Да, правда,— прошептал Бернар.— Но откуда ты знаешь, что он должен ехать ей навстречу?

— Ну, он мне так сказал: «Матье, надо будет почистить лошадь рано утром, потому что я выезжаю в шесть утра в коляске, поеду встречать Катрин».

— Он так и сказал, просто Катрин?

— А вы думали, он будет церемониться?

— Ах, если бы я был при этом,— прошептал Бернар,— если бы я это услышал!

— Вы бы дали ему пощечину, как мне... Хотя нет, ему-то вы бы не дали.

— Почему это?

— Потому, что хоть вы и хорошо стреляете из пистолета, но на лесном участке господина Руазена есть деревья, все изрешеченные пулями, а это доказывает, что Парижанин тоже стреляет неплохо... Потому, что хоть вы и хорошо фехтуете, но он однажды дрался с помощником инспектора, с тем, который из телохранителей, и ловко отделал, как говорят.

— И что же, ты думаешь, что это меня бы удержало? — спросил Бернар.

— Я этого не сказал. Но, может, прежде чем дать пощечину Парижанину, вы немного больше подумали бы, перед тем, как ударить Матье, беззащитного, как ребенок.

Чувство жалости и стыда охватило Бернара, и он в добром порыве протянул руку Матье:

— Прости меня, я виноват.

Матье осторожно подал ему холодную дрожащую руку.

— Хотя... хотя,— продолжал Бернар,— хотя не любишь ты меня, Матье!

— Ах, Господи Боже! — вскричал бродяга.— Как вы можете говорить такое, господин Бернар?

— Я уж не говорю о том, что всякий раз, когда ты открываешь рот, ты врешь.

— Ладно, допустим, что я соврал... Но что мне от того, приходится или нет Парижанин дружком мадемуазель Катрин, поедет он ей навстречу или нет, если господин Руазен, который делает все, что захочет господин Шолле в надежде, что тот женится на его дочери Эфросин, уволил Пьера и взял меня на его место?.. И я скажу, что мне-то было бы лучше, чтобы никто не знал, что это я из преданности вам взял письмо из кармана у старика. Скверный он мужик, старый Пьер, хитрый чертовски. А когда кабан затравлен, берегись его удара!

Бернар, погруженный в свои мысли, продолжая сжимать письмо в руке, слушал Матье, но, казалось, не слышал его. И вдруг, повернувшись к нему, стукнул о землю стволом ружья, топнул ногой и проговорил:

— Нет, Матье, ты все-таки...

— О, договаривайте, не стесняйтесь, господин Бернар,— сказал Матье со своим обычным наполовину тупым, наполовину хитрым видом,— сдерживаться — это очень вредно!

— Ты мерзавец! — сказал Бернар.— Убирайся! — И он шагнул к бродяге, чтобы вытолкать его силой, если тот не захочет уйти по доброй воле. Но Матье, как всегда, не оказал никакого сопротивления и, как только Бернар сделал шаг вперед, отступил назад на два шага. Затем, пятясь и оглядываясь, чтобы видеть дверь, он ответил:

— Может, меня бы стоило иначе поблагодарить, ну да у вас своя манера... Каждый действует на свой лад, как говорится. До свиданья, господин Бернар, до свиданья!

И уже из-за двери он прокричал, и в голосе его кипела и застарелая, и недавняя ненависть.

— Слышите? Я сказал «до свидания»!

Ускорив свой шаг, обычно вялый и ленивый, он перепрыгнул через канаву, отделяющую дорогу от леса, и исчез в тени больших деревьев.

Но Бернар даже не взглянул вслед убежавшему Матье и не обратил внимания на его угрозу, он был вновь поглощен письмом.

— То, что этот Парижанин написал письмо, это я прекрасно понимаю,— прошептал он.— Ведь он же в себе так уверен! Но то, что она возвращается той дорогой, о которой он ей пишет, и что она соглашается сесть в его коляску, в это я не могу поверить!.. А, черт! Это ты, Франсуа! Добро пожаловать!

Эти слова были обращены к молодому лесничему, которого папаша Гийом впустил в свой дом, а мы — в первую главу нашего повествования.

— Это я,— ответил тот.— Признаться, я пришел взглянуть, не хватил ли тебя вдруг удар!

— Пока нет,— проговорил Бернар, криво усмехнувшись.

— Ну, тогда в дорогу! Бобино, Фей, Женесе и Бертелен уже у Прыжка Оленя, и если наш ворчун застанет нас здесь, когда вернется, то несдобровать нам, а не кабану!

— А пока подойди-ка сюда! — сказал Бернар. Эти слова были сказаны таким суровым, властным голосом, совсем не свойственным Бернару, что Франсуа посмотрел на него с удивлением. Но, увидев искажившиеся черты, побледневшее лицо и письмо в руке, которое, по-видимому, и было причиной этих изменений в лице и манерах молодого человека, он шагнул к нему с улыбкой, в которой сквозила обеспокоенность, и, поднеся руку к фуражке на манер военного, приветствующего начальника, сказал:

— Вот и я, мой командир!

Бернар, поймав взгляд Франсуа, устремленный на письмо, спрятал руку с письмом за спину и, положив другую на плечо Франсуа, спросил его:

— Что ты скажешь о Парижанине?

— Об этом молодом человеке, который работает у господина Руазена, торговца лесом?

— Да.

Франсуа кивнул головой и прищелкнул языком:

— Скажу, что он здорово одевается, всегда по самой последней моде.

— Да не об одежде речь!

— Тогда, значит, каков он собой? Ну что ж, красивый парень, спорить не буду,— снова одобрительно кивнул Франсуа.

— Да я не о внешности спрашиваю,— сказал Бернар, теряя терпение.— Я тебя спрашиваю о том, что он за человек, о его порядочности.

— О порядочности? — воскликнул Франсуа так, что стало ясно: в порядочности Шолле он сомневается.

— О порядочности, о том, какой он,— уточнил Бернар.

— Ну что ж, тогда можно сказать, что он из тех людей, что не сумеют, пожалуй, отыскать следы коровы ма-тушки Ватрен, если корова забредет в поле Метар. Хотя уж коровий-то след попробуй не замети!

— Да, но ему вполне по силам выследить лань, догнать ее и затравить, особенно если эта лань носит юбку и чепец?

Лицо Франсуа приняло выражение одобрительной на-смешки, в котором уж никак нельзя было ошибиться:

— Ну, в этом-то у него репутация славного охотника!

— Пусть так! — проговорил Бернар, сжимая кулаки.— Но только пусть не охотится на моих землях, а иначе — берегись, браконьер!

В голосе Бернара была слышна такая угроза, что Франсуа спросил испуганно:

— Что это с тобой?

— Иди сюда! — сказал Бернар.

Франсуа подошел.

Бернар обхватил его за шею правой рукой, а левой поднес к его лицу письмо:

— Что ты скажешь об этом письме? — Франсуа посмотрел сначала на Бернара, потом на письмо и наконец начал читать: «Дорогая Катрин!..»

— О-о! — прервал он чтение,— твоя кузина?

— Да,— ответил Бернар.

— Мне, однако, кажется, что ему не помешало бы обратиться к ней «мадемуазель Катрин», как все это делают.

— Да, во-первых... но погоди, ты дочитай до конца!

Франсуа продолжил чтение, начиная понимать, в чем дело:

«Дорогая Катрин, я узнал, что вы возвращаетесь после полутора лет отсутствия, во время которого я так

редко мог видеть вас при моих кратких приездах в Париж и совсем не имел возможности поговорить с вами. В течение всех этих долгих месяцев ваше очаровательное личико не выходило у меня из головы, я день и ночь думал только о вас. Поскольку я спешу высказать вам вслух то, о чем пишу, я поеду вам навстречу до Гондревилля. Надеюсь, что по возвращении вы станете более благоразумной, чем были до отъезда, и что воздух Парижа заставил вас забыть этого мужлана Бернара Ватрена. Ваш поклонник на всю жизнь

Луи Шолле».

— О, это написал Парижанин?

— И весьма удачно!.. «Этого мужлана Бернара Ватрена». Ты же понимаешь!

— Да, но... а как мадемуазель Катрин?

— Вот именно, Франсуа, как мадемуазель Катрин?

— Ты думаешь, он поехал к ней навстречу?

— Почему бы нет? Эти городские, они так в себе уверены! И потом, чего ради стесняться из-за такого «мужлана», как я?

— Ну а ты?

— Я? Что я?

— Слушай, ты-то, наверное, знаешь, как к тебе относится Катрин.

— Я знал это до ее отъезда. Но за те полтора года, что она в Париже, как знать?

— Но ты ведь ездил ее повидать?

— Два раза, и в последний раз восемь месяцев назад... А за восемь месяцев девушке чего только не придет в голову!

— Да полно, что за дурные мысли! — воскликнул Франсуа. — Нет, я знаю мадемуазель Катрин и могу за нее поручиться.

— Франсуа, Франсуа, самая лучшая женщина если не обманщица, то по меньшей мере кокетка... Эти полтора года в Париже!

— А я тебе говорю, что, когда она вернется, она будет такой же, какой ты ее знал, доброй и милой!

— О, если только она поднимется в его коляску... — вскричал Бернар с угрожающим жестом.

— Что же тогда? — испуганно спросил Франсуа.

— Вот две пули, — проговорил Бернар, доставая из кармана две пули, на которых он ножом Матье нацарапал

крест,— две пули с моей отметкой, которую я нанес для стрельбы в кабана...

— Ну и что?

— Ну так одна из них достанется ему, а другая — мне!

И он вогнал обе пули в стволы ружья.

— Пойдем, Франсуа! — сказал он.

— Э, Бернар, Бернар,— сказал Франсуа, упираясь.

— Я тебе говорю, идем! — яростно закричал Бернар.— Иди же!

И он потянул Франсуа за собой, но вдруг остановился: перед ним стояла его мать.

— Матушка!..— прошептал Бернар.

— Вот хорошо! — Франсуа довольно потер руки, надеясь, что присутствие матери что-нибудь изменит в ужасных намерениях Бернара.

Добрая женщина вошла, улыбаясь, держа в руке на гарелке чашку кофе с двумя неизменными гренками.

Ей достаточно было взглянуть на сына, чтобы понять материнским чутьем, что с ним творилось что-то неладное.

Однако она не подала виду и с обычной улыбкой сказала:

— Добрый день, сынок!

— Спасибо, матушка,— ответил Бернар.

Он направился было к выходу, но она удержала его:

— Как ты спал, мальчик?

— Прекрасно!

Потом, видя, что Бернар идет к двери, она спросила:

— Ты что, уже уходишь?

— Они ждут возле Прыжка Оленя, Франсуа зашел за мной.

— О, это не спешно,— сказал Франсуа,— они подождут. Десять минут позже или раньше погоды не сделают.

Но Бернар не остановился.

— Подожди минутку! — вновь заговорила матушка Ватрен.— Я с тобой едва поздоровалась и даже не обняла!

Взглянув на него, она продолжала:

— Кажется, погода сегодня пасмурная!

— Ничего, разгуляется... Прощай, матушка.

— Погоди!..

— Что?

— Съешь что-нибудь перед уходом.

И она протянула молодому человеку чашку кофе, которую только что приготовила для себя.

— Спасибо, матушка, я не хочу есть,— сказал Бернар.

— Это такой кофе, какой ты любишь, и Катрин тоже,— настаивала мать.— Попей!

Бернар покачал головой.

— Нет? Ну хотя бы губами дотронься. Если ты его попробуешь, он мне покажется вкуснее.

— Бедная моя матушка! — прошептал Бернар.

И, взяв чашку, он поднес ее к губам и вновь поставил на тарелку.

— Спасибо!

— Кажется, тебя дрожь пробирает, Бернар? — спросила мать, которую охватывало все большее беспокойство.

— Нет, наоборот, у меня сегодня как никогда верная рука... Посмотрите.

И привычным для охотников жестом он перебросил ружье из правой руки в левую.

Затем, словно желая порвать ту цепь, которая, он чувствовал, начинала удерживать его, он сказал:

— Ну все, матушка, теперь прощайте! Мне надо идти

— Ну что же, иди, раз уж тебе непременно хочется. Но возвращайся побыстрее, ты ведь знаешь, что сегодня Катрин приезжает.

— Да, я это знаю,— сказал молодой человек с непередаваемым выражением в голосе.— Пошли, Франсуа!

И Бернар устремился к выходу. Однако на самом пороге он столкнулся с Гийомом.

— А, отец, как раз вовремя! — сказал он, отступая на шаг.

Папаша Гийом возвращался, по-прежнему, как и перед уходом, держа в зубах трубку. Только теперь в его небольших серых глазках поблескивало явное удовольствие.

Он даже не заметил Бернара или не показал вида, что заметил, и обратился к Франсуа:

— Молодец, парень! Bravo! Знаешь, я не любитель делать комплименты...

— Это уж точно! — отвечал Франсуа, который, несмотря на свою озабоченность, не мог сдержать довольной улыбки.

— Ну так вот, ты молодец! — повторил Гийом.

— Ага! Значит, все, как я вам описал!

— Все!

Бернар снова сделал движение к выходу, пользуясь тем, что отец, казалось, не обращает на него внимания, но Франсуа остановил его.

— Да послушай же немного, Бернар. Речь-то о кабане.

— Ты хочешь сказать — о кабанах! — поправил Гийом.— Да. Лежат они, как ты и сказал, в зарослях Тет-де-Сальмон... бок о бок, рядышком. Кабаниха вот-вот опоросится, кабан ранен в лопатку. Шесть лет ему... ты просто как взвесил его. Видел я их обоих совсем как вас сейчас, тебя и Бернара. Если бы я не боялся, что другие мне скажут: «Так чего ради вы нас побеспокоили, папаша Гийом?» — вот честное слово, я бы не стал откладывать!

— Ну что же,— сказал Бернар,— вы видите, нельзя терять времени... Прощай, отец!

— Сынок, не рискуй понапрасну! — сказала мать. Старый лесничий посмотрел на жену, беззвучно смеясь сквозь сжатые зубы:

— Ну, если ты хочешь вместо него пойти поохотиться на кабана, мать, то он заменит тебя на кухне.

Потом, отвернувшись, чтобы поставить в камин ружье, он пробормотал, пожимая плечами в присущей только ему манере:

— Разве эта женщина может оставить кого-то в покое?

Тем временем Бернар подошел к Франсуа.

— Франсуа, извинись там за меня перед всеми, ладно?

— Почему?

— Потому что после первого поворота мы с тобой расходимся в разные стороны.

— Ну да!

— Вы все ведь пойдете в Тет-де-Сальмон?

— Да.

— Ну а я к вересковым зарослям Гондревилля... У каждого своя дичь.

— Бернар! — воскликнул Франсуа, хватая молодого человека за рукав.

— Ну, хватит! Я совершеннолетний и свободен делать, что хочу.

Потом, почувствовав на плече чью-то руку, он обернулся и увидел Гийома.

— Что, отец? — спросил он.

— Ты зарядил ружье?
— Да!
— Настоящими пулями, как положено хорошему стелку?
— Настоящими пулями.
— Ну тогда помни, целься под лопатку!
— Я знаю, спасибо! — ответил Бернар.
Потом протянул руку старому лесничему:
— Давай руку, отец!
Затем, повернувшись к Марианне:
— И вы, матушка, обнимите меня!
Обняв мать, он воскликнул:
— Прощайте! — И выбежал из дома.
Гийом, взглянув на жену, обеспокоенно спросил:
— Скажи, мать, что это сегодня с твоим сыном? Он вроде бы не в себе!
— Мне тоже так показалось! — воскликнула жена. — Тебе надо бы вернуть его, отец!
— Зачем это? — откликнулся Гийом. — Чтобы спросить, не приснился ли ему дурной сон?
И, подойдя к порогу, с трубкой в зубах и держа руки в карманах, он прокричал:
— Эй, Бернар, слышишь? Пониже лопатки!
Но Франсуа один шел к Прыжку Оленя, Бернар уже свернул на свою дорогу.
Тем не менее голос молодого человека донесся до отца, и старый лесничий вздрогнул, услышав:
— Да, отец! Слава Богу, знаю, куда всадить пулю, будьте спокойны!
— Да сохранит Господь бедного мальчика! — прошептала Марианна, перекрестившись.

VIII

ОТЕЦ И МАТЬ

Оставшись наедине, Гийом и Марианна посмотрели друг на друга.

Затем Гийом спросил вслух сам себя, словно присутствие жены в подобных обстоятельствах не имело никакого значения для ответа на вопрос:

— Какого черта ему понадобилось идти в сторону города?

— В сторону города? Разве он туда пошел? — спросила Марианна.

— Да... Причем по самому короткому пути. Вместо того чтобы идти по дороге, пошел напрямик через лес.

— Через лес, ты в этом уверен?

— Черт! Вот и наши охотники уже на просеке, а Бернара с ними нет... Эй!

Папаша Гийом направился было к лесникам, но жена его остановила:

— Останься, отец, мне надо с тобой поговорить.

Гийом искоса взглянул на нее, Марианна закивала, подтверждая свои слова.

— Ну, тебя послушать, так у тебя всегда есть что сказать! — воскликнул он. — Только надо еще выяснить, стоит ли слушать то, что ты собираешься рассказать.

И он снова приготовился выйти, чтобы расспросить Франсуа или его спутников о том, почему ушел Бернар.

Но Марианна снова остановила его:

— Да говорят же тебе, останься!

Гийом остался, но с явной неохотой.

— Ну, — с нетерпением сказал он, — что ты от меня хочешь? Говори быстрее.

— Да имей же терпение! Тебя слушаться, так надо закончить раньше, чем начнешь.

— Так ведь когда ты заговоришь — это всем ясно, а вот когда закончишь — никто не знает!

— Я-то?

— Да... Ты же начинаешь говорить об одном, а заканчиваешь уже совсем о другом.

— Ну ладно, на этот раз я начну с Бернара и закончу им же... Ты доволен?

— Давай говори, — сказал Гийом, смирившись и скрестив руки на груди, — а потом я тебе отвечу.

— Ну так вот! Ты же мне сам сказал, что Бернар пошел в сторону города?

— Да.

— И что он даже пошел через лес, чтобы срезать путь.

— Ну и дальше что?

— И, наконец, он не пошел с остальными в сторону Тет-де-Сальмон?

— Так ты что, знаешь, куда он пошел? Если знаешь, то говори, и дело с концом... Если не знаешь, нечего меня здесь задерживать!

— Заметь, что говоришь сейчас ты, а не я.

— Я молчу,— отвечал Гийом.

— Ну так вот,— продолжала женщина,— он пошел в город...

— Чтобы пораньше встретить Катрин? Велика хитрость! Если в этом твои новости, побереги их для прошлогоднего календаря.

— Вот ты и ошибаешься, он вовсе не ради Катрин пошел в город!

— А ради кого же тогда?

— Он пошел ради мадемуазель Эфросин.

— Дочка торговца лесом, дочка мэра, господина Руазена? Да полно!

— Да, ради дочери торговца лесом, да, ради дочери мэра, господина Руазена!

— Замолчи!

— Почему это?

— Замолчи!

— В конце концов...

— Да замолчи же!

— Ах, никогда я не видела такого человека! — вскричала матушка Ватрен, в отчаянии воздевая руки к небу.— Все ему не так! Сделано так — плохо, сделано по-другому — опять плохо. Заговорю я — надо было молчать, молчу — опять не так, надо было говорить! Но Боже милостивый! На что же дан человеку язык, если не для того, чтобы высказать то, что у него на душе?!

— Но мне кажется,— отвечал папаша Гийом, насмешливо поглядев на жену,— что ты свой язык на замке не держишь!

И Гийом принялся набивать свою трубку, словно он уже узнал все, что хотел. При этом он насвистывал мотив охотничьей песни с целью намекнуть жене, что пора прекратить разговор.

Но Марианна не собиралась сдаваться.

— Ну а если я тебе скажу,— продолжала она,— что сама девушка первая мне об этом сказала!

— Когда? — коротко спросил Гийом.

— В прошлое воскресенье, когда мы возвращались после мессы. Вот!

— И что же она тебе сказала?

— Она сказала... Но ты слушаешь или нет?

— Да, я тебя слушаю!

— Она сказала: «Знаете, госпожа Ватрен, господин Бернар очень дерзкий молодой человек!»

— Кто? Бернар?

— Я тебе только передаю, что она сказала... «Когда я прохожу мимо, он так на меня смотрит! Ах, если бы у меня не было веера, я бы просто не знала, куда глаза девать».

— Она сказала тебе, что Бернар с ней разговаривал?

— Нет, этого она мне не говорила.

— Ну и что дальше?

— Подожди же! Боже мой, что ты так спешишь! Но она добавила: «Мадам Ватрен, мы с отцом на днях придем к вам в гости, так постарайтесь, чтобы господина Бернара при этом не было: мне будет очень неловко, потому что я сама нахожу, что ваш сын очень хорош собой!»

— Ну а тебе это, конечно, доставляет удовольствие,— пожал плечами Гийом.— Твоему самолюбию лестно, что красивая городская барышня, дочка мэра, сказала тебе, что считает Бернара красивым парнем!

— Конечно!

— И в твою голову полез всякий вздор, и ты начала строить всякие планы на этот счет!

— А почему бы нет?

— И ты вообразила Бернара зятем господина мэра!

— Ну так если бы он женился на его дочери...

— Ну знаешь,— сказал Гийом, сжимая одной рукой фуражку, а другой хватая себя за пучок седоватых волос, словно желая выдернуть их,— у бекасов, уток и журавлей, которых я перевидал немало, больше соображения, чем у тебя!.. Ах, Боже мой, Боже мой! Ну не наказание ли — слушать вот этакое! Ну ладно, раз мне все равно деться некуда, придется отбыть всю повинность.

— Ну а если бы я добавила,— продолжала жена, словно не слыша мужа,— что только вчера господин Руазен остановил меня, когда я возвращалась с покупками, и сказал: «Госпожа Ватрен, я много слышал о вашем фрикассе из кролика, и я непременно найду как-нибудь его отведать с вами и папашей Гийомом».

— Ты что, не понимаешь, в чем здесь дело? — вскричал Ватрен, сделав несколько глубоких затяжек, как всегда, когда он горячился, и почти скрывшись в клубах дыма, словно Юпитер-громовержец в облаках.

— Нет,— ответила Марианна, не понимая, как можно было увидеть в этих словах какой-то другой смысл.

— Ну что ж, я тебе объясню.

И поскольку объяснение должно было быть долгим, папаша Ватрен, как всегда в торжественных обстоятельствах, вынул трубку изо рта, отвел руку за спину и, сжав зубы крепче, чем обычно, заговорил:

— Твой господин мэ́р — наполовину нормандец, наполовину пикардиец — большой плут. Честности у него ровно столько, сколько нужно, чтобы не быть повешенным. Так вот, он надеется, что после разговоров его дочери о твоём сыне и его комплиментов твоему фрикассе ты стараешься, чтобы я закрыл глаза на то, что он срубит какой-нибудь дуб или бук без разрешения... Но не выйдет, господин мэ́р! Можете косить сено на земле вашей коммуны, чтобы кормить ваших лошадей, это меня не касается. Но напрасно вы будете расточать мне ваши комплименты, вам не срубить ни одной жердины сверх того, за что вы заплатили!

Не чувствуя себя побежденной, Марианна все же покинула головой, признавая, что в конце концов какая-то доля правды могла быть во всем, что наговорил там ее старик.

— Ладно, не будем больше об этом, — вздохнула она. — Но ты по крайней мере не станешь отрицать, что Парижанин влюблен в Катрин?

— Ну, хватит! — закричал Гийом, взмахнув рукой так, словно он хотел разбить свою трубку о землю. — Час от часу не легче, из огня да в полымя!

— Да почему же?

— Все сказала?

— Нет.

— Слушай, — сказал Гийом, засовывая руку в карман, — я у тебя куплю то, что тебе осталось сказать... при условии, что ты этого не скажешь.

— Ты что, имеешь что-нибудь против него?

Гийом вытащил из кармана монету.

— Красивый парень! — продолжала жена, с тем самым упрямством, от которого желал ей избавиться Франсуа, поднимая стаканчик за ее здоровье.

— Слишком красивый!

— Богатый! — настаивала Марианна.

— Чересчур богатый!

— Любезный!

— Чересчур любезный, черт подери! Чересчур любезный! Как бы из-за своей любезности ему не лишиться кончиков ушей, а то и вовсе без ушей не остаться!

— Не пойму я тебя.

— А мне это и не важно! Мне достаточно, что я сам понимаю!

— Согласись хотя бы,— продолжала Марианна,— что это была бы прекрасная партия для Катрин.

— Для Катрин? — переспросил Гийом.— Ну, во-первых, никакая партия не может быть слишком хорошей для Катрин.

Марианна довольно высокомерно покачала головой:

— Однако ее будет не так-то легко пристроить.

— Ты что, хочешь сказать, что она некрасива?

— Боже сохрани! — воскликнула Марианна.— Она просто красавица!

— Ну, значит, что она нескромна?

— Да она чиста, как Пресвятая Дева!

— Тогда, что она небогата?

— Да как же! Если Бернар не будет против, то ей достанется половина всего, что у нас есть.

— О, можешь быть спокойна,— засмеялся Гийом своим беззвучным смехом,— Бернар возражать не будет!

— Да нет,— покачала головой жена,— дело совсем не в этом.

— А в чем же тогда?

— Я говорю про ее религию.

— Ах вот что! Из-за того, что Катрин — протестантка, как и ее бедный отец... Все та же песня!

— Ну, знаешь, не много найдется людей, которые с радостью примут еретичку в семью.

— Такую еретичку, как Катрин? Ну в таком случае я совсем не похож на других: я каждое утро благодарю Бога за то, что она живет в нашей семье!

— Все еретики одинаковы! — настаивала Марианна с категоричностью, которая сделала бы честь какому-нибудь богослову шестнадцатого века.

— Ты это точно знаешь?

— В последней проповеди, которую я слышала, его высокопреосвященство епископ Суассонский сказал, что все еретики прокляты!

— То, что говорит епископ Суассонский, меня интересует не больше, чем зола из моей трубки,— сказал Гийом, постукивая своей носогрежкой по ногтю большого пальца, чтобы выгряхнуть пепел.— Разве аббат Грегуар не говорил нам в каждой своей проповеди, а не только в последней, что все люди с добрым сердцем — избранники Божьи.

— Да, но епископ лучше знает, потому что он — епископ, а аббат Грегуар — только аббат, — упорно стояла на своем жена.

— Ладно, — сказал Гийом, который за это время снова набил трубку и, по-видимому, желал выкурить ее в полном покое, — ты сказала все, что хотела?

— Да, хотя все это не значит, что я не люблю Катрин, так и знай!

— Я это знаю.

— Я люблю ее, как родную дочь!

— Я в этом не сомневаюсь.

— И я знать не желаю того, кто вздумает мне сказать что-нибудь дурное о Катрин или сделать ей какую-нибудь неприятность!

— Прекрасно! А теперь один совет тебе, маты!

— Какой?

— Ты уже достаточно поговорила.

— Кто, я?

— Да, так я считаю... Поэтому не говори больше ничего, пока я тебя не спрошу... или же, тысяча проклятий!..

— Именно потому, что я люблю Катрин так же, как Бернара, я сделала то, что сделала, — продолжила жена, которая, по-видимому, подобно мадам де Севиньи, приберегла для постскриптума самое интересное.

— Ах, черт возьми! — почти испуганно вскричал Гийом. — Значит, тебе мало разговоров, ты еще что-то сделала?.. Ну что же, послушаем, что ты там сделала! — Гийом, вновь зажав губами не зажженную, но плотно набитую трубку, скрестил руки на груди и приготовился слушать.

— Потому что, если бы Бернар мог жениться на мадемуазель Эфросин, а Парижанин — на Катрин... — продолжала женщина, оборвав фразу на самом захватывающем месте по всем правилам ораторского искусства, в знании которого ее трудно было заподозрить.

— Ну, так что ты сделала? — спросил Гийом, который вовсе не собирался поддаваться на ораторские уловки.

— В тот день, — продолжала Марианна, — папаша Гийом должен будет признать, что я не бекас, не утка и не журавль!

— О, это я признаю прямо сейчас: бекас, утка и журавль — птицы перелетные, а ты вот уже двадцать шесть

лет меня выводишь из себя каждую весну, лето, осень и зиму!.. Ну говори же! Что ты сделала?

— Я сказала господину мэру, который расхваливал мое фрикассе из кролика: «Что ж, господин мэр, завтра у нас двойной праздник: общий, праздник Корси, мы ведь его прихожане, и семейный — возвращение моей племянницы Катрин. Приходите к нам с мадемуазель Эфросин и господином Луи Шолле отведать моего фрикассе. А после обеда, если будет хорошая погода, сходим вместе на праздник Корси».

— И он, конечно, согласился? — спросил Гийом, так стиснув при этом зубы, что его трубка уменьшилась еще на два сантиметра.

— Без всяких церемоний!

— Ах, старая аистиха! — в отчаянье вскричал Гийом. — Ведь знает, что я терпеть не могу мэра, что я не выношу эту ханжу Эфросин, что я за версту обхожу ее Парижанина! И вот она приглашает всех их ко мне на обед! И когда же? В день праздника!

— Ну, в конце концов, — сказала матушка Ватрен, которая испытывала явное облегчение, признавшись в своем поступке, — теперь они уже приглашены.

— Вот именно, приглашены! — в бешенстве повторил Гийом.

— Нельзя же теперь отменить приглашение, правда?

— К несчастью, нет! Но я знаю кое-кого, у кого этот обед застрянет в горле или скорее он его вообще в рот не возьмет... Прощай!

— Куда ты?

— Я слышал, как стреляло ружье Франсуа, хочу посмотреть, убили ли кабана.

— Отец! — умоляюще сказала Марианна.

— Нет!

— Если я была не права...

И бедная женщина умоляюще сжала руки.

— Ты была не права!

— Прости меня, Гийом, я все делала с добрыми намерениями.

— С добрыми намерениями?

— Да.

— Добрыми намерениями вымощена дорога в ад!

— Послушай же!

— Оставь меня в покое, или...

И Гийом поднял руку.

— Ах, мне все равно! — решительно сказала Марианна. — Я не хочу, чтобы ты ушел вот так, не хочу, чтобы ты со мной расстался в гневе! Гийом, в нашем возрасте, когда расстаешься, один Бог знает, когда снова свидишься.

И по ее щекам покатились две большие слезы. Гийом увидел эти слезы. Слезы были редкостью в доме старого лесничего! Он пожал плечами и, сделав шаг к жене, сказал:

— Дуреха ты этакая! Я в гневе из-за господина мэра, а не из-за моей старухи!

— А-а!

— Ну, обними же меня, пустомеля! — продолжал Гийом, прижимая жену к груди и задрал голову, чтобы не повредить свою трубку.

— Все равно, — прошептала Марианна, которая, успокоившись насчет главного, была не прочь поправить еще кое-какие мелочи, — ты назвал меня старой аистихой.

— Ну и что с того? — отозвался Гийом. — А разве аист не добрый вестник? Разве не он приносит счастье дому, где он свивает гнездо? Ну так вот, ты свила свое гнездо в этом доме, и ты ему приносишь счастье, вот что я хотел сказать.

— Послушай, что это еще такое?

До слуха старого лесничего и впрямь донесся шум повозки, свернувшей с мощеной дороги и остановившейся перед домом. Тут же молодой голос радостно прокричал:

— Папа Гийом! Мама Марианна! Это я! Я приехала!

При этих словах красивая девушка девятнадцати лет сыргнула с подножки повозки и очутилась на пороге дома.

— Катрин! — в один голос воскликнули лесничий и его жена, бросившись к девушке с раскрытыми объятиями.

IX

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Это и в самом деле была Катрин, вернувшаяся из Парижа.

Как мы только что сказали, Катрин была красивой юной девушкой девятнадцати лет, стройной и изящной,

как тростинка, полна очаровательной нежности, свойственной немецкому типу красоты.

Белокурая и голубоглазая, с розовыми губками, белозубой улыбкой и нежной кожей, она походила на одну из тех лесных нимф, что древние греки называли Аглаей или Глицерией.

Две пары рук открыли ей свои объятия, но первым, к кому бросилась девушка, был Гийом. Видимо, она чувствовала, что вызвала у него безоглядную симпатию.

Потом пришла очередь Марианны.

Пока девушка обнимала приемную мать, папаша Гийом удивленно оглядывался: ему казалось невероятным, чтобы Бернар отсутствовал, когда Катрин здесь.

В первые минуты встречи раздавались только отрывистые восклицания, которыми обменивались взволнованные участники.

Но тут же послышались другие крики, смешанные со звуками труб и рожков: это Франсуа с товарищами возвращался, одержав победу над новым кабаном из Калидона¹.

Старый лесничий колебался несколько мгновений между двумя желаниями: еще раз обнять племянницу и поговорить с ней или же удовлетворить свое любопытство и взглянуть на кабана, который, судя по крикам и звукам труб, находился на пути к засолочной.

Но в тот самый момент, когда папаша Гийом принял решение и отошел от девушки, на пороге появились охотники, держащие кабана, привязанного за ноги к жерди.

Из-за появления охотников Гийом и Марианна на мгновение забыли о приезде Катрин, а охотники, напрогив, увидев девушку, прокричали в ее честь дружное ура.

Но надо сказать, что, когда первое любопытство было удовлетворено, когда Гийом осмотрел и старую, и новую рану, когда он поздравил Франсуа, с шестидесяти шагов подстрелившего кабана, словно кролика, когда, наконец, он посоветовал отделить внутренность зверя и взять каждому охотнику соответствующую долю добычи, внимание его целиком переключилось на Катрин.

¹ Калидон — город в Греции, которому, согласно древнему мифу, угрожал чудовишный кабан, побежденный Мелеагром.

Франсуа был счастлив увидеть Катрин, которую он любил всей душой, и, самое главное, увидеть ее улыбающейся. Ведь это свидетельствовало о том, что ничего страшного не случилось. Франсуа заявил, что он уже достаточно сделал для общего блага, одолев кабана, и посему оставляет своим товарищам заботу о разделке туши, а сам посвящает все свое время мадемуазель Катрин.

В результате разговор, едва начатый с приходом Катрин, десять минут спустя возобновился и потек стремительно и шумно, удовлетворяя накопившееся за эти десять минут любопытство его участников.

Впрочем, папаша Гийом внес в расспросы немного порядка.

Он заметил, что Катрин приехала не по большой дороге, а по просеке Флери.

— Почему ты приехала в такую рань и по дороге на Ферте-Милон, доченька? — спросил он.

Слышав этот вопрос, Франсуа наострил уши — он узнал, что Катрин, оказывается, приехала не по дороге на Гэндревиль.

— Правда, как это ты приехала с той стороны и в семь часов, а не в десять? — удивилась Марианна.

— Сейчас все вам расскажу, дорогой отец, все расскажу, матушка, — ответила Катрин. — Понимаете, вместо дилижанса из Вилле-Коттре я поехала в дилижансе из Мо и Ферте-Милона, который выезжает из Парижа в пять часов, а не в десять.

— Вот и хорошо! — прошептал Франсуа, явно довольный новостью. — Напрасно, значит, Парижанин старался со своей коляской!

— А почему ты поехала по этой дороге? — спросил Гийом, не понимая, как можно предпочесть прямой линии кривую и зачем без необходимости делать четыре лишних лье.

— Потому что в дилижансе из Вилле-Коттре не было мест, — ответила Катрин, покраснев, хотя ложь была совсем невинной.

— Как Бернар будет благодарен тебе за эту мысль, прекрасный Божий ангел! — прошептал Франсуа.

— Да посмотрите же на нее! — воскликнула матушка Ватрен, переходя от общих вопросов к частностям. — Она выросла на целую голову!

— А может, на голову вместе с шеей? — пожал плечами Гийом.

— Но ведь это же очень легко проверить,— настаивала матушка Ватрен со свойственным ей упрямством, которое она проявляла как в важном, так и в мелочах.— Когда она уезжала, я ее измерила и сделала отметку на дверном косяке... А, вот она! Я на нее каждый день смотрела... Поди посмотри, Катрин!

— Не забыла, значит, своего старика? — говорил тем временем Гийом, обнимая Катрин.

— О, как вы можете говорить такое, милый батюшка? — вскричала девушка.

— Да поди же поглядеть на твою отметку, Катрин! — настаивала мать.

— Ах, да замолчишь ты со своими глупостями! — топнул ногой Гийом.

— Да уж,— прошептал Франсуа, прекрасно знавший нрав матушки Ватрен,— постарайтесь, чтобы она помолчала!

— Я в самом деле так сильно подросла? — спросила Катрин у Гийома.

— Подойди к двери и увидишь,— не сдавалась матушка Ватрен.

— Чертова упрямица! — вскричал старый лесничий.— Ведь не отстанет! . Ну ладно, походи к двери, Катрин, иначе нам целый день не иметь покоя!

Катрин с улыбкой подошла к двери и прислонилась к косяку. Макушка головы закрыла метку.

— Ну вот, я же говорила! — торжествующе воскликнула матушка Ватрен.— Выросла на целый дюйм! Конечно, это меньше, чем на голову, но все равно важно.

Катрин, довольная тем, что ей удалось выполнить желание матушки, вновь подошла к Гийому.

— Ты что же, всю ночь провела в дороге? — спросил он.

— Да, отец, всю ночь! — отвечала девушка.

— О, но в таком случае ты, должно быть, падаешь от усталости и умираешь с голоду, бедное дитя! — воскликнула Марианна.— Что ты хочешь — кофе, вина, бульона? Пожалуй, лучше кофе... Я пойду сама приго-товлю.

И матушка Ватрен принялась рыться в карманах.

— Но где же мои ключи? Не понимаю, куда я их дела... Вдруг запропастились куда-то!.. Ну куда же я их сунула? Погоди-ка!

— Да я же вам говорю, матушка, мне ничего не надо!

— Ничего не надо после ночи, проведенной в дилижансе и повозке? Ох, только бы мне найти ключи!..

И матушка снова стала ожесточенно перетряхивать свои карманы.

— Да не надо же! — повторила Катрин.

— Ах, вот они! — воскликнула Марианна.— Не надо? Как это не надо? Я лучше знаю. Проехать всю ночь напролет и утром не подкрепиться! Нет, это невозможно. Ведь ночи-то холодные, нужно обязательно согреться. Вот уже скоро восемь утра, а ты еще не пила ничего горячего!.. Сейчас ты получишь твой кофе, дитя мое, сию же минуту!

И женщина выбежала из комнаты.

— Наконец-то! — сказал Гийом, посмотрев ей вслед.— Славная, видать, у матери кофемолка, если она мелет кофе так же, как наша мать мелет всякий вздор!

— Ах, милый мой папочка! — сказала Катрин, которой не надо было больше сдерживать свою нежность к старому лесничему из опасения вызвать ревность матушки Ватрен.— Представь себе, этот скверный возница испортил мне все удовольствие, потому что плелся шагом и потратил три часа, чтобы доехать сюда из Ферте-Милона.

— Какое же это удовольствие, милая моя девочка?

— Я хотела приехать в шесть часов утра, прийти на кухню, никому ничего не говоря, и когда вы крикните: «Жена, давай завтрак!», я бы его принесла и сказала бы, как раньше: «Вот он, папочка!»

— Ты хотела так сделать, доброе дитя? — отозвался папаша Гийом.— Дай же я тебя поцелую, так, будто ты это сделала... Ах, этот возница, скотина этакая! Не надо было давать ему чаевых!

— Я тоже так думала, но, к сожалению, это уже сделано!

— Как же это?

— Да когда я увидела милый дом моего детства, белеющий у дороги, я все забыла. Я вынула сто су и сказала вознице: «Возьмите, это вам, друг мой! Да благовословит вас Бог!»

— Милое, милое дитя! — воскликнул Гийом.

— Но скажите, отец... — произнесла Катрин, которая с самого начала искала кого-то глазами и была больше не в силах молчать и довольствоваться этими бесплодными поисками.

— Да, что такое? — спросил Гийом, понимая причину обеспокоенности Катрин.

— Мне кажется... — прошептала Катрин.

— Что не хватает того, кто должен бы прийти раньше всех! — сказал Гийом.

— Бернар!

— Да, но ты успокойся — он только что здесь был и не мог уйти далеко... Пойду добегу до Прыжка Оленя, оттуда дорога видна на половину лье, и, если я его замечу, я его позову.

— Так, значит, вы не знаете, где он?

— Нет, — ответил Гийом, — но, если он не дальше, чем в четверти лье, он узнает, что это я его зову.

И папаша Гийом, который, как и Катрин, не мог больше выносить отсутствие Бернара, вышел из дому и самым быстрым своим шагом направился к Прыжку Оленя.

Оставшись наедине с Франсуа, который все это время, как вы заметили, сохранял молчание, Катрин подошла к нему и, глядя ему в лицо так, чтобы прочесть в его душе, если он попытается что-нибудь скрыть, спросила:

— А ты, Франсуа, знаешь, где он?

— Да, — ответил Франсуа, кивнув головой.

— Ну так где же он?

— На дороге в Гондревиль.

— На дороге в Гондревиль? — вскричала Катрин. — Боже мой!

— Да, — продолжал Франсуа, делая ударение на каждом слове, чтобы подчеркнуть всю его важность, — он пошел вам навстречу.

— Боже мой! — повторила Катрин с еще большим волнением. — Благодарю за то, что Ты подсказал возвратиться не через Вилле-Коттре, а через Ферте-Милон!

— Тсс! Матушка идет, — сказал Франсуа. — А, она забыла сахар!

— Тем лучше! — воскликнула Катрин.

Потом, бросив взгляд на матушку Ватрен, которая поставила чашку на край орехового буфета и побежала

за сахаром, она подошла к молодому человеку и сказала, взяв его за руку:

— Франсуа, друг мой, окажите мне одну услугу!

— Одну? Десять, двадцать, тридцать, сорок услуг! К вашим услугам всегда, в любое время!

— Так вот, Франсуа, дорогой, пойдй ему навстречу и скажи, что я приехала по дороге из Ферте-Милона.

— И все? — вскричал Франсуа.

И он бросился к двери, выходящей на большую дорогу.

Катрин остановила его с улыбкой:

— Нет, только не туда!

— Вы правы, а я глупец. Старый ворчун увидит меня и спросит: «Куда ты?»

И вместо двери Франсуа выпрыгнул в окно, выходящее в лес.

Это было сделано вовремя: Марианна возвращалась, неся сахар.

— В самый раз! — сказал Франсуа.— Вот и матушка!

И, прежде чем исчезнуть в лесу, он махнул Катрин рукой:

— Не волнуйтесь, мадемуазель Катрин, я вам его приведу!

Тем временем вошла матушка Ватрен, положила сахар в кофе, словно для ребенка, и, протягивая Катрин чашку, сказала:

— Держи твой кофе. Только подожди, он, наверное, еще горячий... Дай-ка я на него подую.

— Спасибо, мама! — сказала Катрин с улыбкой, принимая чашку.— Уверю вас, что с тех пор, как уехала от вас, я научилась сама дуть на кофе.

Марианна смотрела на Катрин с нежностью и восхищением, сложив руки и покачивая головой.

Полюбовавшись девушкой, она спросила:

— Трудно тебе было распрощаться с Парижем?

— Боже мой, совсем нет! Я же там никого не знаю.

— Как, тебе не жаль было покидать всех этих красивых господ, спектакли, прогулки?

— Мне ничего было не жаль, милая матушка.

— Ты, значит, никого там не полюбила?

— Там?

— В Париже.

— В Париже? Нет, никого.

— Тем лучше! — сказала матушка, возвращаясь к

своему замыслу, столь недоброжелательно принятому час назад Гийомом.— Видишь ли, у меня есть одна мысль, как устроить твою судьбу.

— Устроить мою судьбу?

— Да, ты знаешь, Бернар...

— О, милая добрая матушка! — воскликнула Катрин, обрадованная таким началом. Однако она ошиблась...

— Ну так вот, Бернар...

— Что Бернар? — повторила Катрин, уже почувствовав что-то неладное.

— Ну вот, Бернар, — продолжала матушка доверительным тоном, — любит мадемуазель Эфросин.

Катрин вскрикнула и сильно побледнела.

— Бернар, — пролепетала она дрожащим голосом, — Бернар любит мадемуазель Эфросин!.. Боже мой! Что вы говорите, мама?

И, поставив на стол чашку с кофе, которого она почти не попробовала, она опустилась на стул.

Когда матушка Ватрен что-нибудь задумывала, она, как все упрямые люди, не замечала ничего вокруг, поглощенная только своим замыслом.

— Да, — продолжала она, — Бернар любит мадемуазель Эфросин, а она любит Бернара, так что остается только сказать: «Я согласна» — и дело слагено!

Катрин вздохнула и провела платком по лбу, вытирая выступившие капли пота.

— Вот только старик ни за что не хочет.

— Да? — прошептала Катрин, несколько оживая.

— Да, он считает, что это неправда, что я слепа как крот и что Бернар не любит мадемуазель Эфросин.

— А-а! — вздохнула Катрин с некоторым облегчением.

— Да, он так считает... он говорит, что в этом уверен.

— Милый дядюшка! — прошептала Катрин.

— Но теперь приехала ты, дитя мое, и ты сможешь мне его убедить.

— Я?

— А когда ты выйдешь замуж, — продолжала матушка наставительным тоном, — постарайся удержать твою власть над мужем, иначе с тобой будет то же, что со мной.

— То же, что с вами?

— Да... то есть ты ничего не будешь значить в доме.

— Матушка,— сказала Катрин, подняв глаза к небу с непередаваемым выражением мольбы.— Если Бог пошлет мне такую же жизнь, как ваша, то в старости я скажу, что я была одарена Божьей милостью.

— О-о!

— Не надо жаловаться. Боже мой, ведь дядя вас так любит!

— Конечно, он меня любит,— в замешательстве произнесла матушка,— но...

— Никаких «но», милая тетушка! Вы его любите, он любит вас, небо вас соединило — все счастье жизни в этих словах.

Катрин поднялась и направилась к лестнице.

— Ты куда? — спросила матушка.

— Я поднимусь в свою комнату,— сказала Катрин.

— Ах, и впрямь! Мы ведь ждем гостей, так что тебе надо приодеться, кокетка!

— Гости?

— Да, господин Руазена, мадемуазель Эфросин и господин Луи Шолле, Парижанина... Мне кажется, ты его знаешь?

При этих словах матушка хитро улыбнулась и добавила:

— Да, дитя мое, оденься получше!

Но Катрин печально покачала головой:

— О, видит Бог, я не для этого туда иду!

— А для чего же?

— Ведь моя комната выходит на дорогу, по которой Бернар должен вернуться, а Бернар единственный, кто еще не поздоровался со мной в этом милом доме.

И Катрин медленно поднялась по лестнице, деревянные ступеньки которой поскрипывали даже под ее легкими и изящными ножками. В то мгновение, когда она входила в свою комнату, тяжелый вздох, идущий из глубины сердца, донесся до слуха Марианны. Она с удивлением посмогрела на Катрин, и истина, кажется, начала ей открываться. Вероятно, матушка Ватрен, ум которой не был приспособлен к быстрому переходу от одной мысли к другой, еще долго бы обдумывала зародившуюся в глубине ее сознания мысль, если бы она не услышала позади себя чей-то голос:

— Эй, матушка Ватрен, послушайте!

Марианна обернулась и увидела Матье, одетого в дрянной сюртук, некогда претендовавший, вероятно, на звание ливреи.

— А, это ты, шалопай? — сказала она.

— Благодарю! — сказал Матье, снимая шляпу с почерневшим галуном из фальшивого золота. — Только вот попрошу обратить внимание, что с сегодняшнего дня я нахожусь на службе у господина мэра, вместо старого Пьера. Значит, оскорблять меня — это оскорблять господина мэра!

— Ладно! Ну, а зачем ты пришел?

— Я пришел как посыльный — селезенку мне не успели вырезать¹, вот поэтому я и запыхался, — и должен сообщить вам, что мадемуазель Эфросин и ее батюшка прибывают с минуты на минуту в их экипаже.

— В экипаже? — воскликнула матушка, необыкновенно польщенная, что будет принимать гостей, приехавших в собственном экипаже.

— Да уж не как-нибудь, а в экипаже!

— Боже мой! И где же они?

— Господин Руазен и господин мэр беседуют о делах.

— А мадемуазель Эфросин?

— Да вот и она! — сказал Матье.

И, войдя в роль прислуги, объявил:

— Мадемуазель Эфросин Руазен, дочь господина мэра.

Х

МАДЕМУАЗЕЛЬ ЭФРОСИН РУАЗЕН

Девушка, о появлении которой было столь торжественно объявлено, величественно вплыла в дом старого лесничего. Все в ее манерах говорило, что она ни на мгновение не сомневается в том, что, переступая скромный порог этого бедного дома, она оказывает ему огромную честь.

Она, бесспорно, была красивой, хотя красота ее, соединявшая яркую свежесть молодости с вульгарностью и спесивостью, не вызывала симпатии.

В ее наряде изобиловали всевозможные украшения — неперемнное свойство провинциальной элегантности.

Войдя, она огляделась вокруг, ища взглядом, очевидно, двоих отсутствующих — Бернара и Катрин.

¹ Прежде считалось, что удаление селезенки у собак и лошадей позволяет им быстрее бегать.

Матушка Ватрен застыла от восхищения, глядя на ослепительную красавицу, представшую в девять часов утра в туалете, который годился скорее для вечернего бала при свечах.

Потом, кинувшись к стулу, она подвинула его в сторону прекрасной гостьи и воскликнула:

— О милая барышня!

— Здравствуйте, дорогая мадам Ватрен,— ответила мадемуазель Эфросин покровительственным тоном, жестом показывая, что не хочет садиться.

— Боже мой, неужели это вы! В нашем бедном скромном доме!— продолжала матушка Ватрен.— Но садитесь, прошу вас! Ах, стулья-то у нас без обивки, не как у вас! Ну ничего, садитесь все-таки, очень прошу!.. Ох, да я ведь не одета! Никак я не ожидала вас так рано!

— Извините нас, дорогая мадам Ватрен,— отвечала Эфросин,— но всегда хочется побыстрее увидеть тех, кто тебе приятен.

— О, как вы добры! Право, мне так неловко!

— Да что вы!— произнесла мадемуазель Эфросин, распахивая накидку, чтобы показать свой роскошный туалет.— Вы же знаете, я не придаю значения церемониям. И сама я, как видите...

— Я вижу, что вы прекрасны как ангел и разодеты как картинка... Но я не виновата, что замешкалась,— дело в том, что сегодня утром приехала из Парижа наша девочка.

— Вы говорите о вашей племяннице, о маленькой Катрин?— небрежно спросила мадемуазель Эфросин.

— Да, о ней самой... Хотя мы и называем ее девочкой, а вы — маленькой Катрин, но она уже взрослая девушка, на голову выше меня.

— Ах, вот как! Тем лучше!— ответила мадемуазель Эфросин.— Мне ваша племянница очень нравится.

— Это большая честь для нее, мадемуазель!— ответила матушка Ватрен, приседая в реверансе.

— Какая скверная погода!— продолжала барышня, переходя от одной темы к другой, как это и подобало столь возвышенной натуре.— Подумать только, ведь уже май!

Затем она спросила как бы между прочим:

— Кстати, а где же Бернар? Наверное, на охоте?

Я слышала, инспектор дал разрешение убить кабана по случаю праздника Корси, это верно?

— Да, и еще по случаю возвращения Катрин.

— Вы думаете, что инспектора заботит ее возвращение?

И мадемуазель Эфросин сделала гримаску, которая означала: «Очевидно, он не очень занят своей работой, если находит время думать о подобных пустяках».

Матушка Ватрен инстинктивно почувствовала недоброежелательность мадемуазель Эфросин и поспешила перевести разговор на тему, более приятную, как она предполагала, для гости.

— Вы спрашивали о Бернаре? Я, по правде сказать, сама не знаю, где он. Он бы должен быть здесь, раз вы здесь... Эй, Матье, может, ты знаешь, где он?

— Я? Как это я могу знать, где он?

— Должно быть, он возле своей кухни,— язвительно заметила мадемуазель Эфросин.

— О, нет, нет! — решительно запротестовала матушка.

— А она похорошела, ваша племянница? — спросила мадемуазель Эфросин.

— Моя племянница?

— Да.

— Похорошела?

— Я вас об этом спрашиваю.

— Она... она мила,— неуверенно проговорила матушка Ватрен.

— Я очень рада, что она вернулась,— сказала мадемуазель Эфросин, вновь обретая покровительственный тон.— Только бы она не приобрела в Париже привычек, не соответствующих ее скромному положению.

— О, нет, этого можно не бояться. Вы знаете, что она училась в Париже на белошвейку и модистку?

— И вы думаете, что она не научилась чему-нибудь другому в Париже? Что ж, тем лучше!.. Да что это с вами, мадам Ватрен? Вы, кажется, чем-то обеспокоены?

— О, не обращайтесь внимания, мадемуазель... Однако, если позволите, я позову Катрин, чтобы не оставлять вас одну, покуда я...

И мадам Ватрен с отчаянием поглядела на свое неказистое платье, которое она носила дома.

— Как вам будет угодно,— небрежно бросила маде-

муазель Эфросин, полная достоинства.— Что касается меня, я буду рада увидеть вашу милую племянницу.

Как только матушка Ватрен была удостоена этого разрешения, она повернулась к лестнице и прокричала:

— Катрин, Катрин! Спускайся побыстрее, дитя мое! Здесь мадемуазель Эфросин!

Через мгновение Катрин появилась на лестничной площадке.

— Спускайся, дитя мое! Спускайся! — повторила матушка.

Катрин молча спустилась по лестнице.

— А теперь я пойду, если позволите, мадемуазель,— попросила Марианна, повернувшись к мадемуазель Эфросин.

— Ну, конечно, ступайте, ступайте!

Пока матушка Ватрен пятилась к двери, делая реверансы, мадемуазель Руазен украдкой бросила взгляд на Катрин и, нахмурившись, прошептала:

— Но она скорее красива, чем мила! Что там наболгала матушка Ватрен?

Тем временем Катрин без смущения и показной скромности подошла к мадемуазель Эфросин, смотревшей на нее с важным видом.

— Извините меня, мадемуазель,— сказала Катрин с очаровательной простотой,— но я не знала о вашем присутствии. Иначе я бы поспешила выйти и засвидетельствовать свое почтение.

— О-о! — прошептала мадемуазель Эфросин как бы сама себе, но тем не менее достаточно громко, чтобы Катрин услышала каждое слово из ее монолога,— «о вашем присутствии», «засвидетельствовать свое почтение»... Да она настоящая парижанка. Надо будет выдать ее замуж за господина Шолле, они будут прекрасной парой.

Затем, повернувшись к Катрин, она сказала насмешливо:

— Мадемуазель, я имею честь вас приветствовать.

— Тетушка не забыла спросить, не нужно ли вам чего-либо, мадемуазель? — спросила Катрин, совершенно, казалось, не заметив недоброжелательства в словах важной особы.

— Не забыла, мадемуазель, но мне ничего не надо.

Потом, очевидно, не желая больше разговаривать с Катрин как с равной, она спросила:

— Вы привезли из Парижа новые выкройки?

— Я старалась в течение последнего месяца перед отъездом собрать все самое модное, мадемуазель.

— Вы там научились шить чепчики?

— Чепчики и шляпы.

— У кого вы были в обучении, у мадам Бодран или у мадам Барен?

— Я была в более скромном ателье, мадемуазель. Но тем не менее я надеюсь, что неплохо изучила свое ремесло.

— А вот это мы посмотрим,— ответила мадемуазель Эфросин с покровительственным видом.— Как только вы начнете работать в вашем магазине на площади Де ля Фонтен, я пришлю несколько старых чепцов для починки и прошлогоднюю шляпу, которую надо обновить.

— Благодарю вас, мадемуазель! — с поклоном сказала Катрин. И вдруг девушка подняла голову, прислушалась и встрепелась. Ей показалось, что она услышала, как произнесли ее имя. И действительно, дорогой ее сердцу голос, все ближе к дому, кричал с улицы:

— Катрин!.. Да где же Катрин?

И в следующее мгновение в комнату вбежал Бернар. Он был покрыт пылью, и по лбу у него ручьями лился пот.

— Ах, Боже мой! — воскликнул он с выражением человека, который наконец вынырнул из глубины на поверхность воды и сделал глоток воздуха.— Это ты! Наконец-то!

И, схватив девушку за руки, он рухнул на стул.

— Бернар! Милый Бернар! — вскричала Катрин, подставляя ему щеку.

На голос сына прибежала матушка Ватрен и, видя с одной стороны мадемуазель Эфросин с вытянутым лицом, стоящую в одиночестве, а с другой — молодых людей, целиком поглощенных друг другом, она поняла, что заблуждалась относительно влюбленности своего сына в мадемуазель Руазен. Уязвленная тем, что ее проницательность оказалась поставленной под сомнение, она вскричала:

— Бернар! Разве так ведут себя!

Однако Бернар, не слушая матери и не обращая внимания на мадемуазель Эфросин, продолжал разговаривать с Катрин.

— Ах, Катрин, если бы ты знала, как я измучился!

Я думал... я боялся... Но все прошло, ты здесь! Ты поехала через Мо и Ферте-Милон, правда? Я знаю, Франсуа мне рассказал. Значит, ты всю ночь была в дороге и проехала три лье в повозке! Бедная милая девочка! Ах, как я рад, как я счастлив тебя видеть!

— Но мальчик, мальчик! — с возмущением повторила матушка Ватрен. — Ты что же, не заметил мадемуазель Эфросин?

— О, простите меня! — сказал Бернар, с удивлением посмотрев на девушку. — Я и вправду не заметил вас, извините... Всегда рад служить!

Затем, повернувшись к Катрин, он воскликнул:

— Какая она взрослая! Какая красивая! Ну посмотрите, матушка, посмотрите же!

— Вы удачно поохотились, господин Бернар? — спросила Эфросин.

Этот вопрос донесся до Бернара словно сквозь густой туман, но он все-таки уловил его смысл:

— Я? Нет... да... Я не знаю... А кто охотился?.. Знаете, извините меня, я от радости просто голову потерял! Я ходил встречать Катрин, вот где я был!

— Но, судя по всему, вы ее не встретили? — возразила Эфросин.

— Нет, к счастью! — воскликнул Бернар.

— К счастью?

— О, да, да! На этот раз я знаю, что говорю.

— Вы знаете, что говорите, господин Бернар, — произнесла Эфросин, вытягивая вперед руку, как бы ища поддержки, — а я вот не знаю, что это со мной... Я плохо себя чувствую!

Но Бернар был так занят Катрин, она так нежно ему улыбалась, так ласково сжимала его руки, благодаря за пережитое им волнение, что он вовсе не слышал, что говорила Эфросин, и не заметил ни ее бледности, ни ее дрожи, подлинной или притворной.

Матушка Ватрен, напротив, не теряла мадемуазель Эфросин из виду и поэтому закричала:

— Боже мой! Боже мой, Бернар, ты что, не слышишь, что мадемуазель плохо себя чувствует?

— О да, здесь, наверное, слишком жарко! Матушка, возьми под руку мадемуазель Эфросин, а ты, Франсуа, вынеси кресло на улицу, — распорядился Бернар.

— Вот оно, кресло! — сказал Франсуа.

— Нет, нет,— запротестовала Эфросин,— это ни к чему.

— Да как же! — настаивала матушка Ватрен.— Вы так побледнели, милая барышня, можно подумать, что вы сейчас лишитесь чувств!

— Мадемуазель нужен воздух, свежий воздух! — сказал Бернар.

— Если вы хотя бы дали мне вашу руку, господин Бернар,— томно сказала мадемуазель Эфросин.

Бернар понял, что дальнейшее сопротивление бесполезно.

— Ну, конечно, мадемуазель, с большим удовольствием! — сказал он.

И тихо добавил, обращаясь к Катрин:

— Оставайся здесь, я сейчас вернусь!

Затем он взял мадемуазель под руку и повел ее к выходу, пожалуй, быстрее, чем позволяла ее кажущаяся слабость.

— Пойдемте, мадемуазель, пойдемте! — приговаривал он.

А Франсуа, подчиняясь полученному распоряжению, следовал за ними, говоря:

— Вот оно, кресло!

А матушка Ватрен добавила:

— И уксус, чтобы потереть виски.

Катрин осталась одна.

Все только что происшедшее — искренняя преданность Бернара, притворный обморок Эфросин — больше говорили ее глазам, а еще более ее сердцу, чем могли бы сказать все объяснения и клятвы в мире.

— Ах, теперь матушка Марианна может говорить все что угодно,— я совершенно спокойна.

Едва она произнесла эти слова, Бернар вернулся и опустился перед ней на колени. В то же мгновение Франсуа, закрыв дверь снаружи, оставил влюбленных наедине с их счастьем.

— О Катрин,— вскричал Бернар, обнимая ее колени,— как я люблю тебя, как я счастлив!

Катрин наклонила голову. Глаза молодых людей так ясно говорили друг другу все, что без единого слова губы их сблизились и соприкоснулись.

Единый радостный взглас вырвался у обоих, и, погруженные в сладостный восторг, глядя друг на друга затаманенным взглядом, они не заметили злобного ли-

да Матье в приоткрытой двери кухни и не услышали его скрипучего голоса, прошептавшего:

— А, господин Бернар, вы дали мне пощечину, ну так она вам дорого обойдется.

XI

ЛЮБОВНЫЕ МЕЧТЫ

Час спустя двое влюбленных исчезли, словно птицы, вспорхнувшие с утренним ветерком над шепотом деревьев. На их месте в нижней комнате дома сидели двое мужчин, склонившихся над планом леса Вилле-Коттре, и чертили некий контур. Видно было, что один из них все время старался его расширить, а другой упорно этому противился.

Эти двое были Анастас Руазен, мэр Вилле-Коттре, и наш старый друг Гийом Ватрен.

Контур, который торговец лесом так стремился расширить, а лесничий безжалостно сокращал до пределов, очерченных циркулем инспектора, обозначал границы участка леса для вырубki, купленного господином Руазеном на последних торгах.

Наконец, Гийом Ватрен одобрительно покачал головой и, постукивая трубкой о ноготь, чтобы выколотить золу, заметил, обращаясь к лесоторговцу:

— Знаете, у вас очень недурной участок, и совсем недорого.

Господин Руазен оторвался от плана.

— Двадцать тысяч франков — недорого? — вскричал он. — Видно, денежки вам легко достаются, папаша Гийом!

— Ну что же, смотрите сами, — отвечал папаша Гийом. — Девятьсот ливров в год, жилье, дрова, каждый день два кролика в кастрюле, по большим праздникам кусок кабана — есть с чего стать миллионером, верно?

— Ну! — сказал торговец лесом, глядя на папашу Ватрена с хитрой улыбкой человека, умеющего торговаться. — Всегда можно стать миллионером, если захотеть...

— Так поделитесь вашим секретом, — ответил Ватрен, — я с удовольствием послушаю, честное слово!

Лесоторговец снова пристально посмотрел на лесни-

чего, глаза его поблескивали. Потом, словно решив, что еще не время открывать такую важную вещь, он сказал:

— Ну что же, вы услышите этот секрет после ужина, в разговоре с глазу на глаз за стаканчиком вина, который мы выпьем за здоровье наших детей. И если есть какой-нибудь способ для того, чтобы... поспособствовать кое в чем, ну что ж... Вы меня понимаете, папаша Гийом? Тогда дела пойдут!

Папаша Гийом, в свою очередь, посмотрел на него, сжав губы и покачивая головой, и было трудно угадать, что же он собирается ответить на это почти откровенное предложение мэра, когда вошла Марианна. Она была сильно перепугана.

— О господин мэр! — вскричала она. — Несчастье!

— Бог ты мой, что за несчастье, мадам Ватрен? — спросил мэр с некоторым беспокойством.

Что же до папаша Ватрена, то он слишком хорошо знал характер своей жены и поэтому не выразил такого же беспокойства, как его гость.

— Что же случилось? — снова спросил мэр.

— Что тамстряслось, мать? — повторил вопрос папаша Ватрен.

— Стряслось то, что мадемуазель Эфросин говорит, что она нездоровала!

— А, ну это ничего! — сказал мэр, который, очевидно, знал свою дочь так же хорошо, как Гийом знал свою жену.

— У, притворщица! — прошептал лесничий, который тоже, казалось, составил верное представление о достоинствах мадемуазель Эфросин.

— Но дело в том, — продолжала матушка Ватрен, — что она непременно хочет вернуться в город.

— Ну-ну! — сказал мэр. — Шолле здесь? Если он здесь, он сможет ее отвезти.

— Нет, его еще нет, и я думаю, что из-за этого мадемуазель стало еще хуже.

— А где Эфросин?

Она сидит в экипаже и просит, чтобы вы пришли.

— Ну ладно! Погодите-ка.. До свидания, папаша Ватрен, у нас с вами долгий разговор, поэтому я ее отвезу и через час — эти кони просто звери — через час я вернусь сюда, и если вы будете себя хорошо вести...

— Если буду хорошо себя вести?

— Ну что ж, тогда ударим по рукам! Больше пока

ничего не скажу... До свидания, папаша Гийом! До свидания, матушка Ватрен, смотрите хорошенько за вашим фрикассе, и у вас будут булавки, чтобы закалывать кухонный фартук.

И поскольку эти слова мэр говорил, направляясь к двери, матушка Ватрен следовала за ним, делая реверансы и приговаривая:

— До свидания, господин мэр! До свидания! Передайте наши извинения мадемуазель Эфросин!

Гийом не двинулся с места и сидел, покачивая головой. Нет, конечно, он не заблуждался относительно причины любезности господина мэра. Речь действительно шла о том, чтобы, как он и говорил, заставить лесничего закрыть глаза на кое-какие вещи.

Поэтому, когда Марианна вернулась, горько сожалея об отъезде Эфросин, и сказала ему:

— Ах, отец, я надеюсь, ты побранишь Бернара!

— За что же мне его бранить? — резко ответил Гийом.

— Да как же! За то, что он только с Катрин глаз не сводил, а с мадемуазель Руазен едва поздоровался.

— Да ведь мадемуазель Руазен он видел почти каждый день за последние полтора года, а свою кузину — два раза за это время.

— Все равно... Ах, Боже мой, Боже мой! — прошептала Марианна.

Папаша Гийом не только не проявил никакого сочувствия к этому отчаянию, но, пожалуй, даже выказал при виде его некоторое нетерпение.

Он посмотрел на жену.

— Скажи-ка мне, мать, — попросил он.

— Ну, что?

— Ты слышала, что сказал господин мэр?

— Насчет чего?

— Насчет твоего фрикассе, за которым он просил тебя приглядывать.

— Да.

— Ну так вот, жена, он дал тебе хороший совет!

— Но дело в том, что я хотела бы тебе сказать...

— И пирог надо бы уже в печь посадить.

— Ах вот что, понимаю, ты меня прогоняешь.

— Я не прогоняю, я просто советую тебе пойти на кухню, чтобы убедиться, прав ли я.

— Хорошо, я ухожу на кухню, ухожу! — произнесла матушка Ватрен, оскорбленная тоном мужа.

— Смотри-ка,— сказал лесничий, провожая жену взглядом,— оказывается, совсем нетрудно оказать любезность, а ты это делаешь так редко!

— Ах вот как! Я оказываю любовь тем, что ухожу? Очень мило говорить мне такое!

Папаша Гийом подошел к окну, вынул изо рта трубку и принялся насвистывать какой-то мотив.

— Да, очень любезно с твоей стороны! — не унималась матушка Ватрен.— Что ж, свисти. Свисти и любуйся видом!

Дойдя до двери, она испустила тяжелый вздох и вышла.

— Да,— прошептал Гийом, оставшись в одиночестве,— я люблюсь видом... Любуюсь, потому что вижу этих милых бедных детей, и мне доставляет радость их видеть! Поглядите-ка,— продолжал он, хотя рядом не было никого, кто бы мог разделить его радость,— как они хороши, как улыбаются, точь-в-точь два ангела небесных. Идут сюда — не буду их беспокоить!

И папаша Гийом направился к своей комнате, продолжая насвистывать. По мере того как влюбленные приближались, он свистел все тише. Когда он открывал свою дверь, они как раз входили в нижнюю комнату. И с верхней площадки, где он задержался, чтобы еще немного полюбоваться молодыми людьми, он прошептал:

— Да благословит вас Бог, дети!.. Они не слышат меня, ну и хорошо. Ведь они слушают сейчас другой голос, который звучит нежнее моего!

Гийом был прав: голос, который он не слышал, но угадывал, был небесным голосом молодости и любви, и вот что он говорил устами молодых людей:

— Ты всегда будешь любить меня? — спрашивала Катрин.

— Всегда! — отвечал Бернар.

— Знаешь, вот странно,— сказала Катрин,— мне бы надо радоваться этому обещанию, а мне почему-то грустно.

— Бедная моя, милая Катрин! — прошептал Бернар своим самым нежным голосом.— Если ты грустишь, когда я говорю, что люблю тебя, тогда я не знаю, что же мне сказать, чтобы тебя развеселить!

— Бернар,— продолжала девушка, отвечая скорее собственным мыслям, чем своему возлюбленному,— твои родители женаты вот уже двадцать шесть лет, и, если не считать мелких пустяковых размолвок, они живут так же счастливо, как и в первый день их совместной жизни... Каждый раз, когда я на них смотрю, я думаю: а будем ли мы счастливы так же долго?

— А почему же нет? — спросил Бернар.

— Если бы у меня была мать, то она задала бы тебе этот вопрос, беспокоясь о счастье дочери. Но у меня нет ни отца, ни матери, и все мое счастье, как и вся моя любовь, в твоих руках! Послушай, Бернар, если ты думаешь, что однажды ты будешь любить меня меньше, чем теперь, давай расстанемся сейчас. Я знаю, что умру от этого, но если уж суждено, чтобы ты когда-нибудь меня разлюбил, то я предпочитаю умереть сейчас, пока ты меня любишь, чем ждать того дня!

— Посмотри на меня, Катрин,— отвечал Бернар,— и ты прочтешь ответ в моих глазах.

— Но испытал ли ты себя, Бернар? Ты уверен, что любишь меня настоящей любовью, а не любовью брата?

— Я не испытывал себя, но ты меня испытала!

— Я? Как это?

— Уехав на полтора года! Ты думаешь, что полтора года разлуки недостаточное испытание? Не считая двух моих поездок в Париж, этих нескольких дней счастья, с тех пор как ты уехала, я просто не жил. Нельзя же назвать жизнью существование, когда у тебя отняли душу, когда ничего тебе не нравится, когда ты все время в дурном настроении. Боже мой, да все, кто меня знает, скажут тебе, что с тех пор, как ты уехала, мне ничего не мило — ни этот прекрасный лес, где я родился, ни шепот моих дубов, ни мои прекрасные буки с серебристой корой... Раньше, когда я уходил поутру, в утреннем пении птиц я слышал твой голос! Вечерами, когда я возвращался и, простившись с товарищами, сворачивал на тропинку и углублялся в лес, какое-то прелестное светлое видение звало меня и, скользя между деревьями, указывало мне дорогу. А когда я подходил к дому, это видение обретало плоть и ждало меня, стоя на пороге. С тех пор, как ты уехала, Катрин, не было ни одного утра, чтобы я не спросил: «Куда это делись птицы? Я их совсем не слышу!» — и не прошло ни одного вечера, чтобы я не приплелся домой самым последним, уставший и

грустный, вместо того чтобы прибежать раньше всех, веселым и радостным, как это было прежде!

— Милый Бернар!..— прошептала Катрин, подставляя для поцелуя свое прелестное лицо.

— Но с тех пор как ты здесь, Катрин,— продолжал Бернар с тем юношеским восторгом, который свойствен первым движениям сердца и первым мечтам,— с тех пор как ты здесь, все изменилось! Птицы снова запели в ветвях, а мое прекрасное видение, я в этом уверен, снова ждет меня под деревьями, чтобы поманить с тропинки и повести к дому... И я знаю, что на пороге дома я встречу не призрак любви, а настоящее счастье!

— О мой Бернар, как я тебя люблю! — вскричала Катрин.

— И потом... потом...— продолжал Бернар, нахмурившись и проведя ладонью по лбу,— да нет, я не хочу говорить тебе об этом!

— Нет, говори, скажи мне все! Я хочу все знать!

— И потом, сегодня утром, когда этот мерзкий Матье показал мне письмо Парижанина... письмо, в котором этот человек обращается к тебе, моя Катрин, с которой я разговариваю, как с Пресвятой Девой, к тебе, мой чистый лесной ландыш, словно к какой-нибудь девице из города... Ну так вот, я тогда почувствовал такую боль и в то же время такую ярость, что я сказал себе: «Пусть я умру, но, прежде чем умереть, я убью его!»

— Так вот почему ты поехал по дороге на Гондревиль с заряженным ружьем, вместо того чтобы спокойно ждать здесь свою Катрин,— с нежностью сказала девушка.— Вот почему ты прошел шесть лье за два с половиной часа, едва не умерев от усталости! Но ты был наказан — ты увидел свою Катрин на целый час позже... Правда, вместе с провинившимся была наказана и невинная!.. Ревнивец!

— О да, ревнивец! — прошептал Бернар, стиснув зубы.— Ты верно сказала! Но ты-то не знаешь, что такое муки ревности!

— Да нет, было мгновение, когда и я почувствовала ревность,— засмеялась Катрин.— Но будь спокоен, сейчас я больше не ревную.

— Ведь если бы, к несчастью,— продолжал Бернар, стукнув себя по лбу кулаком,— ты бы не получила этого письма или же, получив его, не поехала бы через Вилле-Коттре и встретила бы этого фага... ой-ой-ой!

При одной этой мысли, Катрин, рука моя тянется к рубью, и...

— Замолчи! — вскрикнула Катрин, испуганная тем выражением, которое приняло лицо молодого человека, и в то же время пораженная чьим-то появлением.

— Замолчать? Но почему? — спросил Бернар.

— Там, он там, у двери! — прошептала Катрин на ухо Бернару.

— Он! — вскрикнул Бернар. — Зачем он сюда пришел?

— Тише! — сказала Катрин, сжимая руку молодого человека. — Твоя мать пригласила его, господина мэра и мадемуазель Эфросин... Бернар, он твой гость!

На пороге действительно стоял элегантный молодой человек, в утреннем сюртуке и цветном галстуке, с хлыстом в руках. Увидев молодых людей, которые были почти в объятиях друг друга, он, казалось, раздумывал, войти ему или выйти.

В этот момент Бернар, глаза которого метали молнии, встретился с ним взглядом.

Парижанин почувствовал себя так, словно попал в логово тигра.

— Извините, господин Бернар, — прошептал он, — но я искал...

— Да, и в ваших поисках вы нашли совсем не то, что искали?

— Бернар! — прошептала Катрин. — Бернар!

— Оставь! — сказал молодой человек, пытаясь освободиться от рук Катрин. — Мне надо сказать господину Шолле несколько слов. А после того, как я скажу эти слова и задам ясный и четкий вопрос, все будет кончено.

— Бернар, будь спокойнее, сохраняй хладнокровие! — настаивала Катрин.

— Не волнуйся, дай только мне сказать два слова этому... господину! Или же, вместо двух, я скажу ему куда больше!

— Хорошо, но...

— Да не волнуйся, я тебе сказал!

И резким движением Бернар подтолкнул Катрин в сторону двери.

Девушка поняла, что всякое противодействие, физическое или моральное, только усилит гнев Бернара. Сцепив руки, она бросила на него умоляющий взгляд и направилась к выходу.

Когда дверь кухни захлопнулась за Катрин, молодые люди остались одни.

Бернар подошел к двери и, убедившись в том, что она закрыта, поплотнее задвинул щеколду.

Затем он повернулся к Парижанину:

— Ну что ж, я тоже искал кое-что или вернее кое-кого. Но мне повезло больше, чем вам, сударь, потому что я нашел того, кого искал. Я искал вас, господин Шолле!

— Меня?

— Да, вас.

Молодой человек улыбнулся. Теперь перед ним стоял мужчина, и Шолле мог ответить по-мужски.

— Вы меня искали?

— Да.

— Но мне кажется, что меня не так уже трудно найти.

— За исключением того случая, когда вы уезжаете утром в коляске, чтобы дожидаться парижского дилижанса на дороге в Гондревиль.

Молодой человек вскинул голову и ответил с высокомерной улыбкой:

— Я выезжаю в такое время, какое мне подходит, и еду туда, куда хочу, господин Бернар. Это никого не касается.

— Вы совершенно правы, сударь, каждый человек свободен в своих действиях. Но есть одна истина, которую, я надеюсь, вы не будете оспаривать, несмотря на то, что вы услышите ее от меня, так же как я не оспариваю то, что сказали вы.

— Какая же это истина?

— Та, что каждый человек — хозяин своего добра.

— Я не спорю с этим, господин Бернар.

— Вы, конечно, понимаете, господин Шолле, что мое добро — это мое поле, если я обрабатываю землю, моя овчарня, если я выращиваю скот, моя ферма, если я крестьянин... Так вот, если кабан выйдет из лесу, чтобы опустошить мое поле, я подстерегу кабана и убью его. Если волк зарежет моего барана, я выстрелю в него, и он получит пулю. Если лиса забежит в курятник и задушит моих кур, я поставлю капкан и, когда она попадется, размозжу ей голову! Пока это поле не было моим, пока бараны и куры принадлежали другому, у меня не было такого права. Но как только я стал их владель-

цем — дело меняется... Кстати, господин Шолле, я имею честь объявить вам, что, при условии согласия родителей, я женюсь на Катрин, через две недели Катрин станет моей женой. Моей, а следовательно, моим добром, моей собственностью! А это значит — берегись, кабан, если хочешь разорить мое поле! Берегись, волк, если бродишь вокруг моих овец! Берегись, лиса, если охотишься за моими курами! А теперь, господин Шолле, если у вас есть какие-нибудь возражения, изложите их. Я вас слушаю.

— К сожалению, вы не единственный, кто будет меня слушать, — ответил Парижанин, который, при всей своей смелости, был, пожалуй, доволен тем, что ему помогли выйти из неприятного положения.

— Не единственный?

— Да... Вы хотите, чтобы я ответил вам в присутствии женщины и священника?

Бернар обернулся и действительно увидел аббата Грегуара и Катрин на пороге двери.

— Нет... Вы правы, прекратим разговор, — сказал он.

— В таком случае, до завтра, не так ли? — спросил Шолле.

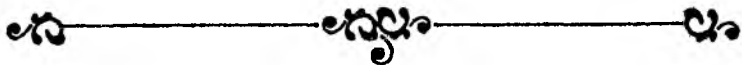
— До завтра, до послезавтра — когда вы захотите, где вы захотите и как вы захотите!

— Прекрасно.

— Друг мой, — прервала их разговор Катрин, довольная тем, что благодаря приходу доброго аббата Грегуара она смогла вмешаться, — вот наш дорогой аббат Грегуар, которого я не видела целых полтора года и которого мы все так любим.

— Здравствуйте, дети мои, здравствуйте! — сказал аббат. Молодые люди в последний раз обменялись взглядами, в которых читался вызов, и, пока Луи Шолле удалялся, поклонившись Катрин и аббату, Бернар с улыбкой подошел к священнику и поцеловал ему руку, сказав при этом:

— Добро пожаловать с миром в наш дом! В нем больше всего хотят жить в мире и спокойствии!



Часть вторая

I

АББАТ ГРЕГУАР

Даже в совершенно обыденной жизни случаются иногда события, которые, кажется, ниспосланы самим провидением. Появление аббата Грегуара как раз в тот момент, когда оба молодых человека готовы были кинуться друг на друга, несомненно принадлежало к числу подобных событий. Для старого аббата было весьма не просто успеть между мессой и вечерней посетить Новый дом, вроде бы ничто и не предвещало его присутствия в этот час, когда он неожиданно появился, поэтому, приложившись к его руке, Бернар с улыбкой спросил:

— Что привело вас сюда, господин аббат?

— Меня?

— Да... Готов держать пари,— продолжал Бернар,— вы и не подозревали, что ожидает вас в Новом доме сегодня!

Аббат не стал ломать себе голову решением этой загадки.

— Человек предполагает, а Господь располагает,— сказал он.— Я полагаюсь на Божью волю.

Потом он добавил:

— Что касается меня, я просто намеревался нанести визит вашему отцу.

— Вы уже видели его? — спросил Бернар.

— Нет еще,— ответил аббат.

— Господин аббат,— произнес Бернар, не сводивший с Катрин нежного взгляда,— мы всегда рады видеть вас у себя, но сегодня — особенно.

— Да, я догадываюсь,— ответил аббат,— это из-за приезда нашей милой малышки.

— Разумеется, дорогой аббат, немного из-за этого, но главным образом — по другой причине.

— Ну, дети мои,— воскликнул аббат, оглядываясь в поисках стула,— сейчас вы мне все расскажете!

Бернар схватил кресло и пододвинул его к священнику, который, устав после долгого пути, не заставил себя упрашивать, чтобы сесть в него.

— Послушайте, господин аббат,— начал Бернар,— возможно, я должен бы произнести длинную речь, но я предпочитаю все высказать вам в двух словах: мы хотим обвенчаться. Катрин и я.

— Ах! Ах! Значит, ты любишь Катрин? — осведомился аббат Грегуар.

— Думаю, что люблю.

— А ты, ты любишь Бернара, дитя мое?

— Да, всей душой!

— Но это признание вы должны сделать не мне, а родителям.

— Да, господин аббат,— заметил Бернар,— но вы друг моего отца, вы духовник моей матери; вы наш общий и любимый пастырь. Так поговорите об этом с моим отцом Гийомом, а тот уж поговорит с моей матерью Марианной. Попытайтесь получить у них согласие, что, я надеюсь, не будет для вас особенно трудно; и вы обнаружите двух самых счастливых на свете молодых людей!.. Кстати,— Бернар коснулся рукой плеча аббата,— вот и мой батюшка Гийом выходит из своей комнаты... Ну, теперь вам известно, господин аббат, какой редут предстоит завоевать, готовьтесь к бою! А мы с Катрин тем временем пойдем прогуляться, распевая хвалы в вашу честь... Пошли, Катрин!

И они оба выпорхнули в дверь, легкие, как птицы, и скрылись в лесу.

В это время Гийом на секунду остановился на ступенях лестницы и аббат приветствовал его взмахом руки.

— Я еще издали вас заметил,— проговорил Гийом,— и я сказал себе: «Бог мой! Да это же аббат!» Просто не поверил своим глазам. Какая удача! Именно сегодня! Уверен, что вы пришли не из-за нас, а из-за Катрин!

— Нет, нет, вы заблуждаетесь, я и не знал о том, что она возвратилась домой.

— В таком случае вам будет приятно увидеть ее здесь, не так ли? Как она похорошела! Вы останетесь обедать, я надеюсь? Но предупреждаю, господин аббат, вошедший в этот дом сегодня, покинет его не раньше двух часов ночи.

И Гийом стал быстро спускаться, раскрыв объятия для аббата Грегуара.

— Два часа ночи! — повторил аббат.— Но мне никогда еще не доводилось ложиться спать в два часа ночи.

— Ба! А когда вы служите полуночную мессу?!

— Но как я доберусь до дому?

— Господин мэр отвезет вас в своем экипаже.

Аббат покачал головой.

— Увы,— сказал он,— мы не очень ладим, мэр и я!

— Это по вашей вине,— заметил Гийом.

— По моей вине? — искренне удивился аббат.

— Да, да, да, вы имели несчастье сказать в его присутствии: «Ты же будешь отнимать добро у ближнего твоего и удерживать его для себя!»

— Ладно,— отозвался аббат,— я не говорю, что опасность позднего возвращения пешком помешает мне остаться с вами. Напротив, идя сюда, я предполагал уже, что, возможно, задержусь позже обычного, и попросил господина кюре заменить меня на вечерне и полуночной мессе.

— Отлично! И теперь я снова в прекрасном настроении!

— Тем лучше! — произнес аббат, кладя руку на плечо лесничего.— Мне как раз и надо, чтобы вы были в хорошем расположении духа.

— Я? — удивился папаша Гийом.

— Да... иначе вы начнете брюзжать.

— Ну что вы...

— А сегодня... как раз...

Аббат замолк и как-то странно посмотрел на Гийома.

— Что сегодня? — спросил лесничий.

— Ну, хорошо! Сегодня мне предстоит попросить у вас две или три вещи.

— У меня?

— Скажем, две вещи, чтобы вас не пугать.

— Для кого вы просите об этом?

— Вы, я вижу, привыкли, что всякий раз мои просьбы оборачиваются словами: «Проявите милосердие, дорогой Ватрен!»

— Ну, разумеется! Так чей черед сегодня? — смеясь воскликнул папаша Гийом.

— Речь идет о старом Пьере.

— Да, да. Бедняга! Я слышал про его беду. Этот бродяга Матье постарался, чтобы Пьера выгнали из дома господина Руазена.

— Господин Руазен поступил скверно, — заметил Гийом, — я сам ему сказал об этом еще утром; и вы тоже ему это скажете, когда он сюда вернется. Нельзя прогонять слугу, который работал в доме двадцать лет, ведь он уже стал как бы членом их семьи. Я бы не выгнал даже собаку, десять лет прожившую на моем дворе.

— А! Я знаю ваше доброе сердце, дорогой мой Гийом... С самого раннего утра я отправился собирать среди прихожан средства для несчастного Пьера. Одни дали мне десять су, другие двадцать... Тогда я подумал о вас и сказал себе: «Я пойду в Новый дом у дороги на Суассон; полтора лье туда и столько же обратно — всего три лье. Я попрошу у Гийома по одному франку за одно лье — то есть три франка, и к тому же доставлю себе удовольствие пожать ему руку».

— Да вознаградит вас Бог, господин аббат! Вы хороший человек!

И, порывшись в карманах, он извлек оттуда две монеты по пять франков и протянул их аббату Грегуару.

— О! — вскричал аббат, — десять франков! Пожалуй, это слишком большая сумма для вас, дорогой господин Ватрен, ведь вы — не богач!

— Я должен дать денег больше других, поскольку именно я подобрал этого волчонка Матье; можно сказать, что он вышел из моего дома, чтобы творить зло.

— Я предпочел бы, — сказал аббат, вертя пальцами пятифранковые монеты и словно испытывая угрызения совести от того, что лишил небогатую семью такой суммы, — я предпочел бы, чтобы вы дали всего три франка

в пользу Пьера, но зато позволили бы ему собирать хвост на вашем участке.

Папаша Гийом посмотрел прямо в лицо аббату; потом решительно заявил с присущей ему восхитительной наивной честностью:

— Лес, господин аббат, принадлежит герцогу Орлеанскому, а не мне, в то время как эти деньги — мои собственные. Возьмите поэтому для него деньги, и пусть Пьер поостережется брать что-нибудь в лесу! Ну вот, теперь мы вроде разобрались с одним делом и можем перейти ко второму. Вы ведь хотели, кажется, о чем-то меня попросить.

— Мне поручили передать одну петицию...

— Кому?

— Вам.

— Петицию, мне? Вот дела!

— Эта петиция изложена в устной форме.

— От кого же она?

— От Бернара.

— Чего он хочет?

— Он хочет... Одним словом, он хочет жениться!

— Ох, ох! — вздохнул Гийом.

— Почему «ох, ох»? — поинтересовался аббат Грегуар.— Разве он не достиг брачного возраста?

— Вполне достиг. Но на ком же он собирается жениться?

— На славной девушке, которую он любит и которой нежно любим.

— Он может взять себе в жены любую женщину, хоть мою бабушку, лишь бы это не оказалась мадемуазель Эфросин.

— Успокойтесь, мой славный друг! Женщина, которую он любит, — это Катрин.

— Неужели правда? — обрадовался папаша Гийом, — Бернар любит Катрин, а Катрин любит его?

— Разве вы не догадывались об этом? — спросил аббат Грегуар.

— Да, конечно, догадывался, но боялся ошибиться!

— Значит, выходит, что вы согласны?

— Всем сердцем — за! — воскликнул папаша Гийом.

Потом вдруг умолк на минуту.

— Но, — нерешительно промолвил он

— Что «но»?

— Но только нужно об этом поговорить с моей ста-

рухой?.. Ведь за последние двадцать шесть лет нашей жизни мы с ней все делали совместно. И Бернар как мой сын, так же и ее, и поэтому с ней нужно поговорить обстоятельно. Да, да, — продолжал Гийом, — это просто необходимо.

Затем, подойдя к кухонной двери, он крикнул:

— Эй, мать! Иди сюда!

Зажав свою трубку в зубах, он вернулся к аббату и принялся потирать руки, что было у него признаком наивысшего удовлетворения.

— Ах, какой шустрый этот Бернар, — добавил он. — Это самая умная из всех его глупостей.

Тут в дверях кухни показалась матушка Ватрен, обтирающая лоб белым фартуком.

— Ну, что там случилось? — спросила она.

— Подойди сюда, тебе говорят, — ответил Гийом.

— Кем надо быть, чтобы мешать мне как раз тогда, когда я начала месить тесто!

Но узнав гостя, которого сперва не заметила, она воскликнула:

— Боже мой! Господин аббат Грегуар! Я — ваша верная служанка, и, если бы я только знала, что вы здесь, господин аббат, я бы прибежала сама, меня и звать-то не нужно было!

— Ну, ну, — вмешался Гийом. — Вы будете слушать ее болтовню? Она заговорит вас.

— Надеюсь, вы в добром здравии, господин аббат, — продолжала матушка Ватрен, — и ваша племянница, мадемуазель Аделаида тоже хорошо себя чувствует? Вы знаете, у нас дома такая радость — вернулась наша Катрин!

— Так, так... Ну что, господин аббат, вы поможете мне закрыть ей рот платочком, если мне одному не удастся остановить ее красноречие?

— Тогда зачем ты позвал меня, — возразила Марианна с еще не выветрившимся раздражением на мужа, — если ты мне мешаешь приветствовать господина аббата и осведомиться о его делах?

— Я позвал тебя сюда, чтобы ты доставила мне удовольствие.

— И какое же?

— Я хочу, чтобы ты без долгих слов, кратко высказала бы нам свое мнение по одному очень важному вопросу. Дело в том, что Бернар хочет жениться.

- Бернар! Жениться?! И на ком же?
- На своей кухне.
- На Катрин?
- Да, на Катрин... Ну же, твое мнение? И поскорее!
- Катрин,— ответила матушка Ватрен,— славное дитя, добрая девушка.
- Так, хорошо! Продолжай...
- Катрин мы можем не стыдиться...
- Дальше! Ближе к делу!
- Но только у нее ничего нет?
- Абсолютно ничего. Но не надо ради нескольких жалких экю делать несчастными этих бедных детей!
- Но все же без денег жить плохо!
- Но без любви жить еще хуже!
- Ах, это верно...— прошептала Марианна.
- Когда мы с тобой поженились,— взволнованно произнес Гийом,— разве у нас были деньги? Нет, мы были нищими, как канцелярские крысы, и хоть и сегодня не так уж богаты, но все же... Ну, а что бы ты тогда сказала, если бы наши родители захотели нас разлучить из-за того, что нам не хватило нескольких сотен экю, чтобы основать семью?
- Да, все это так, я тебя понимаю,— ответила матушка Ватрен,— но дело в том, что бедность не главное препятствие. Она произнесла это тоном, который давал понять Гийому, что он глубоко заблуждался, полагая дело оконченным, и что сейчас речь пойдет о трудности неожиданной и непреодолимой.
- Хорошо! — сказал Гийом, со своей стороны готовясь к сопротивлению жены,— ну и что же это за препятствие такое, любопытно узнать?
- О! Ты и сам прекрасно знаешь,— обронила Марианна.
- Неважно, говори так, будто я не понимаю.
- Эх, Гийом, Гийом,— вздохнула Марианна Ватрен.— Мы же совершим тяжкий грех, если позволим детям пожениться.
- И почему же?
- Бог мой! Да потому, что Катрин — еретичка!
- Ах жена, жена! — воскликнул Гийом, гневно топнув ногой.— Я опасался, что это обстоятельство будет камнем преткновения, но все-таки мне не верилось.

— Но что же ты хочешь? Я и сегодня думаю так же, как и двадцать лет назад... Я как могла противилась браку ее бедной матери с Фредериком Блюмом. Но, к сожалению, это была твоя сестра, она была взрослой и не нуждалась в моем совете и согласии; я только сказала ей: «Роза! Запомни мое предсказание: тебе это принесет несчастье, если выйдешь замуж за еретика!» Она меня не послушалась, вышла замуж, и что же? Мое предсказание сбылось... Отец убит, мать умерла, девочка осталась сиротой!

— Не будешь же ты ее в этом упрекать?!

— Нет, я упрекаю ее за то, что она еретичка.

— Но скажи, несчастная, — накинулся на нее Гийом, — ты хоть знаешь, что это значит — «еретичка»?

— Это значит, что это существо будет осуждено Богом.

— Даже если она честна?

— Даже если она честна!

— Даже если она хорошая мать, хорошая жена, хорошая дочь?

— Даже если все это сразу.

— Даже если она наделена всеми добродетелями?

— Никакие добродетели ее не спасут, коль скоро она еретичка.

— Черт побери! — воскликнул Гийом.

— Можешь ругаться, если тебе это нравится, — заметила Марианна, — но ругательствами делу не поможешь.

— Ты права, больше я в это не вмешиваюсь.

Затем, обернувшись к достойному священнослужителю, не проронившему ни слова во время спора, он произнес:

— Ну, господин аббат, я больше не стану ее убеждать. Теперь ваш черед!

И бросился вон из комнаты, с видом человека, желающего скорее вдохнуть струю свежего воздуха.

— О женщины, женщины! Вас создали специально для того, чтобы был проклят род людской! — восклицал он.

Она же, покачивая головой, тихо повторяла про себя:

— Нет, что бы он ни говорил, это невозможно! Бернар не женится на еретичке. Все, что угодно, только не это...

ОТЕЦ И СЫН

Папаша Гийом вышел. Аббат Грегуар остался в комнате вдвоем с мадам Ватрен. Разумеется, аббат согласился выполнить просьбу лесника, который отступил от борьбы, как человек, боявшийся, что для победы ему придется применить средства, которых впоследствии он будет стыдиться. К сожалению, за те тридцать лет, что аббат был духовником Марианны, он прекрасно ее изучил. Он знал, что главным грехом этой женщины было упрямство, и не слишком надеялся преуспеть там, где Гийом потерпел неудачу.

Поэтому он приступил к делу с некоторым сомнением в удаче, хотя и старался придать себе уверенный вид.

— Дорогая мадам Ватрен,— нет ли у вас какой-нибудь другой причины возражать против свадьбы, кроме религиозного различия?

— У меня,— ответила женщина,— никакой другой причины нет. Но мне кажется, что этой одной вполне достаточно.

— Ну, ну! Откровенно говоря, матушка Ватрен, вместо того, чтобы сказать «нет», вам бы следовало сказать «да».

— О господин аббат! — воскликнула Марианна, заводя глаза к небу,— и это вы мне советуете! Дать согласие на подобный брак!

— Не сомневайтесь, мадам Ватрен, именно я советую.

— Так я скажу вам, что должно быть совсем наоборот — ваш долг противиться такому брачному союзу!

— Мой долг, дорогая мадам Ватрен, состоит в том, чтобы дать как можно больше счастья тем, кто следует за мной по узкой тропе, по которой я иду. Мой долг — утешать несчастных и помогать стать счастливым тому, кто может им стать.

— Этот брак был бы погибелью души моего сына, и я против!

— Погодите, поговорим спокойно, дорогая мадам Ватрен,— настаивал аббат,— протестантка Катрин или нет, но вы все же заменили ей мать, любили ее как собственную дочь, не так ли?

— Это верно, тут мне сказать нечего. Она заслуживает этого!

— Она ведь мягкая в обращении, добрая, отзывчивая?

— Да, все это так.

— В таком случае, дорогая мадам Ватрен, пусть ваша совесть будет спокойной: религия, которая внушает ей эти добродетели, не позволит ей погубить душу вашего сына.

— Нет, нет, господин аббат,— повторила Марианна,— нет...— твердила она, всеми силами упорствуя в слепом упрямстве.

Аббат поднял глаза к небу.

— О Боже мой! Боже мой,— взмолился он.— Ты так добр, так милосерден и великодушен. Тебе достаточно одного взгляда, чтобы понять и оценить каждого. О мой Бог! Ты видишь, в каком заблуждении находится эта женщина, которая принимает свое ослепление за набожность! Боже! Просвети ее!

Но Марианна упорно стояла на своем. В эту минуту папаша Гийом, который, несомненно, все слышал, находись тут же за дверью, вернулся в комнату.

— Ну, господин аббат,— спросил он, искоса поглядывая на жену,— вняла ли она голосу разума?

— Мадам Ватрен еще немного подумает и примет, я надеюсь, правильное решение,— ответил аббат.

— Гм! — усмехнулся Гийом, качая головой и сжав кулаки.

Этот жест заметила матушка Ватрен, но, по-прежнему упорствуя, заявила:

— Делай, как хочешь,— сказала она.— Я знаю, ты тут хозяин, но, если ты их поженишь, это произойдет против моей воли.

— Дьявольски упрямая женщина! Вы слышите, что она говорит? — спросил Ватрен.

— Терпение, дорогой мой Гийом, терпение! — ответил аббат, видя, что его собеседник уже рассердился не на шутку.

— Терпение! — воскликнул старик,— но тот, кто хранит терпение в подобной ситуации — не человек, а просто жалкая скотина!

— Не надо так,— прошептал аббат,— у нее же доброе сердце. Успокойтесь, она еще одумается.

— Конечно, вы правы, и я не хочу насильно заставлять ее соглашаться со мной, как не хочу, чтобы она выступала в роли жены-мученицы и несчастной матери... Я даю

ей день на размышление. И если сегодня же вечером она не придет ко мне и не скажет: «Старик, нужно поженить наших детей...»

Гийом бросил взгляд в сторону супруги, но та отрицательно покачала головой, и это зрелище удвоило ярость лесника.

— Итак, если она не придет и не скажет мне этого,— продолжал он,— подумайте только, господин аббат, ведь мы живем вместе уже двадцать шесть лет, да... пятнадцатого июня исполнится как раз двадцать шесть лет... так вот, клянусь, что, если она этого не сделает, мы с ней расстанемся навсегда несмотря ни на что и будем доживать свой век порознь, отдельно друг от друга.

— Что он говорит? — воскликнула старуха.

— Господин Ватрен,— вмешался аббат.

— Я говорю правду. Слышишь, жена? Слышишь?

— Да, да, я слышу. О! Какая же я несчастная!

Она разрыдалась и бросилась к кухонной двери.

Оставшись вдвоем, лесник и аббат посмотрели друг на друга. Священнослужитель прервал молчание первым.

— Мой дорогой Гийом,— сказал он,— наберитесь мужества, не теряйте хладнокровия.

— Вы когда-нибудь встречали что-либо подобное? — вскричал разъяренный Ватрен.

— Я еще надеюсь,— добавил аббат, чтобы утешить собеседника,— что с ней поговорят ваши дети, и, может, им удастся уговорить ее.

— Она не захочет даже разговаривать с ними на эту тему! Ведь речь идет не о том, чтобы она пожалела их, а о том, чтобы она просто была доброй к ним. Что я могу с ней поделать?

Чтобы дети с ней поговорили? Ни в коем случае, я просто умру со стыда! Не хочу, чтобы они знали, что у них такая глупая мать!

В этот момент в приотворенную дверь просунулась голова Бернара, заметив которого, Гийом обратился к аббату:

— Господин аббат, не говорите ничего об упрямой старухе, прошу вас!

Бернар обнаружил, что замечен отцом, молчание которого встревожило юношу.

— Ну как, отец? — задал он наконец вопрос робким тоном.

— А тебя сюда звали? — сказал Гийом.

— Но отец! — почти умоляюще пробормотал Бернар. Эта жалобная интонация болезненно отозвалась в сердце папаша Гийома, но он взял себя в руки и ответил сыну столь же резким тоном, насколько просителен был голос Бернара.

— Я спрашиваю тебя: кто тебя сюда звал? Ответь мне!

— Никто не звал, но я надеялся...

— Уходи! Ты был дураком, если надеялся!

— Отец! Дорогой отец,— воскликнул Бернар,— скажи мне хоть одно доброе слово! Хоть одно!

— Уходи!

— Ради Бога, отец!

— Уходи, сказано тебе! — закричал папаша Гийом.— Нечего тебе сейчас тут делать!

Все Ватрены были похожи на мольеровского Оргона тем, что каждый из них был наказан своей порцией упрямства. Вместо того чтобы подождать, пока остынет и успокоится отец, и вернуться немного попозже—что вообще-то в несколько грубоватой манере и советовал сделать старый Ватрен,— Бернар, напротив, зашел в комнату, продолжая настаивать.

— Отец,— сказал он уже более твердо,— мать плачет и ничего не отвечает, вы в гневе и гоните меня.

— Ты ошибаешься.

— Спокойнее, Бернар, спокойнее,— промолвил аббат,— еще все переменится...

Но Бернар совершенно не реагировал на призыв аббата, подчиняясь отчаянию, закипавшему в его груди.

— О! Несчастный! — бормотал он, считая, что мать согласна на брак, а противится отец.— О, как же я несчастлив! Двадцать пять лет я любил своего отца, а он не любит меня!

— Несчастный! Да, ты несчастен, ибо говоришь кощунственные слова! — воскликнул аббат.

— Но вы же сами видите, что отец не любит меня, господин аббат,— заметил Бернар,— раз он отказывает мне в единственной вещи, которая может меня осчастливить!

— Вы слышите, что он говорит?! — завопил Гийом в совершенном бешенстве.— Вот как нас ценят! Эх, молодежь, молодежь!

— Но,— продолжал Бернар,— не может быть и речи о том, чтобы из-за какой-то необъяснимой причуды отца я должен был покинуть бедную девушку; если у нее име-

ется здесь всего лишь один друг, то он постарается ей заменить всех остальных!

— О! Я ведь уже три раза тебе сказал, молодой человек, чтобы ты уходил,— вскричал папаша Гийом.

— Я уйду,— ответил юноша,— но мне уже двадцать пять лет, полных двадцать пять, и я свободен в своих поступках, и закон дает мне право на то, в чем мне здесь жестоко отказывают. Я воспользуюсь этим правом.

— Закон? — выдохнул в бешенстве Гийом.— Я слышу, да простит мне Бог, что сын угрожает законом родному отцу!

— Разве это моя вина?

— Закон!..

— Вы сами меня на это толкаете!

— Закон! Вон отсюда! Грозить законом отцу! Вон отсюда, несчастный, и не смей мне на глаза показываться! Закон!

— Отец,— твердо заявил Бернар,— я уйду, поскольку вы меня выгоняете. Но запомните эту минуту, когда вы сказали собственному сыну: «Убирайся из моего дома!» Вы будете в ответе за все, что может произойти!

И, схватив ружье, Бернар как безумный выскочил из дома.

Гийом был готов броситься вдогонку.

Аббат остановил его.

— Что вы делаете, господин аббат,— воскликнул старик,— разве вы не слышали, что тут наговорил этот жалкий тип?

— Отец, отец,— тихо сказал аббат,— ты был слишком жесток со своим сыном!

— Слишком жесток?! — поразился Гийом.— И вы тоже так считаете? Разве я был слишком жесток, а не его мать? Вы и Господь Бог тому свидетели! Это я-то слишком жесток?! Да у меня слезы застлали глаза, когда я говорил с ним, ибо я люблю, вернее, любил, его, как только можно любить единственного сына... Но теперь,— продолжал старик, задыхаясь от волнения,— теперь пусть уходит куда хочет, лишь бы ушел! Пусть с ним будет что будет, лишь бы я его больше не видел!

— Одна несправедливость порождает другую, Гийом! — торжественно изрек аббат.— Поостерегитесь после вашей жестокости, проявленной в гневе, оказаться несправедливым, когда гнев схлынет... Бог простит вам

гнев и вспыльчивость, но никогда не простит несправедливости!

Едва замолк аббат, как в комнате появилась бледная и перепуганная Катрин. Из ее больших синих глаз лились слезы, подобные крупным жемчужинам.

— Милый отец! — пролепетала она, с испугом глядя на аббата и мрачную физиономию папаши Гийома. — Что происходит, в чем дело?

— Так, теперь еще одна! — пробормотал старый лесник, вынимая изо рта трубку и засовывая ее в карман, что было у него признаком крайнего волнения.

— Бернар со слезами на глазах трижды поцеловал меня, — продолжала Катрин, — затем схватил шляпу и умчался, будто сошел с ума!

Аббат отвернулся и вытер свои повлажневшие глаза платком.

— Бернар... Бернар несчастен, — ответил Гийом, — а ты... а ты...

Без сомнения, старик собирался осыпать Катрин проклятиями, но его раздраженный взгляд встретил кроткий и умоляющий взор девушки, и вся его ярость растаяла, как снег в лучах апрельского солнца.

— А ты, ты, — пробормотал он, заметно смягчаясь, — ты, Катрин, славная девушка! Обними меня, дитя мое!

Потом, мягко оттолкнув от себя племянницу, он обратился к аббату:

— Да, господин аббат, это так, я в самом деле был жесток, но вы же знаете, что виной всему — Марианна! Пожалуйста, пойдите и попробуйте уладить все это дело с ней... Ну, а я... я, пожалуй, пройду немного по лесу. Я всегда замечал, что лес и одиночество оказывают доброе воздействие на душу.

Он пожал руку аббату, избегая смотреть в сторону Катрин, и вышел из дома. Быстро перейдя дорогу, он углубился в лес по другую ее сторону.

Чтобы избежать объяснений, аббат также поспешил удалиться и направился в сторону кухни, где должна была находиться матушка Ватрен, но его остановила Катрин.

— Во имя неба, господин аббат, объясните мне, что здесь происходит?

— Дитя мое, — ответил достойный викарий, взяв девушку за руки, — вы настолько добрая, набожная и преданная, что у вас могут быть только друзья — и здесь, и

на небесах. Пребывайте в надежде, не вините никого, и предоставьте Божией милости, молитвам ангелов и родительской любви сделать так, чтобы в конце концов все уладилось.

— Но что же нужно делать мне? — спросила Катрин.

— Молитесь, чтобы отец и сын, которые поссорились в гневе и слезах, обрели бы друг друга в прощении и радости!

И, оставив Катрин, притихшую и не слишком успокоенную, он ушел в кухню, где матушка Ватрен, качая головой и повторяя «нет, нет, нет...» потрошила кролика и месила тесто.

Катрин посмотрела вслед удалившемуся аббату Грегуару подобно тому, как проводила глазами своего приемного отца-лесничего, не понимая ответа одного и молчания другого.

— Боже мой, Боже мой! — громко произнесла она. — Скажет ли мне хоть кто-нибудь, что здесь происходит?

— Скажу я! С вашего позволения, мадемуазель Катрин, — объявил Матье, появившись внезапно на одном из подоконников. И так как этот отвратительный бродяга должен был сообщить ей что-то о Бернаре, он даже перестал ей казаться таким уж уродливым.

— О да, да! — воскликнула девушка. — Скажите мне, где Бернар и почему он ушел?

— Бернар?

— Да, да, мой дорогой Матье, скажи, скажи, я слушаю тебя.

— Ну, он ушел. Ха-ха-ха!

И Матье разразился своим грубым хохотом, пугая Катрин, тревожно внимавшую ему.

— Он ушел, черт побери, надо ли это вам говорить?

— Да ведь я тебя очень прошу об этом.

— Ну хорошо! Он ушел потому, что папаша Гийом выгнал его из дома.

— Выгнал! Отец выгнал сына! Но почему же?

— Почему? Да потому, что он, безумец, хотел жениться на вас против воли родителей!

— Выгнан! Изгнан из-за меня! Выгнан из родительского дома!

— Да... Конечно же! А уж какие грубые слова при этом произносились! Видите ли, я в это время находился в пекарне, и оттуда я все слышал! Я вовсе не собирался подслушивать, я не слушал, что они говорили, но они так

громко кричали, что я невольно все услышал... Был даже один такой момент, когда господин Бернар сказал своему отцу: «Вы будете в ответе за все несчастья, которые произойдут». И тут я было решил, что господин Гийом вот-вот схватится за ружье... О, это бы скверно обернулось! Уж он-то в стрельбе не чета мне, который так стреляет, что не попадает и в ворота с двадцати пяти шагов.

— О Боже мой, Боже мой! Бедный мой дорогой Бернар!

— Да, да... Как он пострадал из-за вас... Это стоит того, чтобы вы с ним повидались еще раз, хотя бы для того, чтобы помешать ему выкинуть какую-нибудь глупость.

— О да! Увидеть его! Я только этого и хочу. Но как?

— Он будет ждать вас сегодня вечером.

— Он меня будет ждать?

— Да, именно это мне поручено вам сказать.

— Кем поручено?

— Кем? Да им же!..

— И где же он будет ждать меня?

— Возле Принцева источника.

— В котором часу?

— В девять часов.

— Непременно там буду, Матье.

— Так, значит, у Принцева источника?

— Разумеется.

— А не то мне опять попадет. Он ведь такой горячий, этот Бернар. Еще сегодня утром он дал мне такую пощечину, что щека до сих пор пылает. Но я ведь малый добрый и не держу зла.

— Будь спокоен, мой добрый Матье,— сказала Катрин, поднимаясь в свою комнату.— Да возблагодарит тебя Господь.

— Я очень на это надеюсь,— заметил Матье, провожая глазами девушку, пока дверь за ней не захлопнулась.

Затем с демонической усмешкой, довольный тем, что заманил добрую душу в свою западную, он быстрыми шагами направился в сторону леса, делая знаки кому-то, скрывавшемуся там. Появился всадник, видимо, находившийся где-то поблизости.

— Ну, что? — спросил он Матье, остановив лошадь прямо перед носом бродяги.

— Все в порядке. Тот, другой, натворил столько глупо-

постей, что, кажется, успел уже надоест, ну к тому же сожаления о Париже...

— Но что же я должен сделать?

— Что вы должны сделать?

— Да.

— Ну, вы это сделаете!

— Без всякого сомнения.

— В таком случае скажите в Вилле-Коттре, набейте карманы деньгами... В восемь часов будете на празднике в Корси, а в девять часов...

— В девять часов — что?

— А вот что. Некто, кто не смог с вами поговорить сегодня утром и не смог возвратиться через Гондревиль (только из боязни скандала)... это лицо будет ждать вас у Принцева источника.

— Значит, она согласна поговорить со мной? — воскликнул обрадованный Парижанин.

— Она согласна на все, — объявил бродяга.

— Матье! — снова обратился к нему молодой человек, — тебе двадцать пять луидоров, если ты мне не солгал... До девяти вечера!

И, подхлестнув шпорами лошадь, он галопом удалился в сторону Вилле-Коттре.

— Двадцать пять луидоров! — прошептал Матье, глядя, как тот постепенно исчезал за деревьями. — Какой прекрасный заработок! Да к тому же я смогу отомстить. Ох, и умен же я! Просто как мудрая сова. А эта птица, как известно, предвещает несчастье... Ну, господин Бернар, привет вам от «совы».

И, поднеся ко рту обе ладони, он дважды прокричал совой.

— Добрый вечер, господин Бернар!

Он углубился в лес по направлению деревни Корси.

III

ПРАЗДНИК В ДЕРЕВНЕ

Двадцать пять лет назад, то есть в то время, когда происходили описываемые нами события, в окрестностях Вилле-Коттре устраивались настоящие праздники, не только для деревень, но и для города, вокруг которого эти деревни были расположены, как спутники вокруг своей планеты.

Особенно радостными были праздники, совпадавшие с первыми теплыми днями; когда деревня пробуждалась от зимней скованности под светлыми лучами майского солнца и повсюду слышалось кудахтанье кур и пение пестухов — как будто это было гнездо славков или синиц, скрытое густой листвой, из которого доносятся оживленные голоса вылупившихся на свет птенцов. Итак, именно в это время праздник набирал особую притягательную силу и прелесть. И заранее, еще за две недели в деревне и за неделю в городе, начиналась старательная подготовка к торжеству всех тех, кто так или иначе надеялся получить свою долю выгоды или удовольствия от этого празднества. В трактирах до блеска мыли окна и скребли столы, чистили оловянные бокалы и стопки, обновляли вывески.

Сельские музыканты тщательно очищали от травы, подметали и утаптывали землю на площади, где будут танцы.

Походные буфетные возникали под купами деревьев и становились похожими скорее на лагеря, разбитые для удовольствия, чем на военные полевые кухни.

Наконец, юноши и девушки готовили наряды и красивую одежду, подобно солдатам, приготавливающим оружие и амуницию к параду.

Утром долгожданного праздничного дня все оживало, с самой зари закипала жизнь.

Устанавливали подвижные приспособления для метания колец; на четырех более или менее ровных подставках укреплялись рулетки для игры на свежем воздухе. Насаживались на палки и выстраивались в ряд гипсовые куклы, предназначенные для того, чтобы их разбили выстрелами из арбалетов. Испуганные зайцы, прижав уши к шее, ждали, когда ловко брошенный на колышек обруч решит их судьбу и они перейдут из корзины торговца в кастрюлю победителя состязания.

Для деревни праздничный день с самого раннего утра уже становился праздником.

Но горожане, принимавшие участие в торжествах, начинали праздновать значительно позже. Обычно они отправлялись в путь около трех или четырех часов пополудни, кроме тех, кто прибыл в деревню заранее, по приглашению родственников или знакомых. Как бы то ни было, около половины четвертого длинная процессия отправлялась по дороге, ведущей из города. Часть горо-

жан, в особенности модные щеголи, гарцевали верхом. Аристократы и богачи катили в экипажах, а представители так называемого третьего сословия тащились пешком.

Среди этих последних были и клерки из нотариальных контор, и мелкие служащие, налоговые инспекторы и рабочие в праздничной одежде. Многие вели под руку прелестных девушек с белыми и розовыми лентами на чепцах. Красотки, весело поблескивая глазками и сверкая белыми зубами, кокетливо выставляли напоказ нарядные нижние юбки из батиста и ситца. Некоторые мужчины горделиво шествовали рядом с шарабанами, в которых восседали пышнотелые дамы в шляпках.

К пяти часам все уже были на месте, и праздник начинался по-настоящему. В нем всегда участвовали три слоя общества — аристократы, горожане, крестьяне.

И хотя танцы происходили на одной и той же площадке, танцующие все же старались не смешиваться друг с другом, и каждая каста исполняла свою кадрили. Если же и возникала зависть, то она относилась только к той группе, среди которой плясали очаровательные гризетки, с белыми и розовыми лентами на чепцах.

К девяти вечера редели ряды танцоров. Горожане направлялись в обратный путь: аристократы — в экипажах, клерки, приказчики, рабочие и гризетки — пешком. И этот неспешный путь домой через темный лес, лишь кое-где освещаемый мягким лунным светом и продуваемый теплым летним ветерком, был преисполнен очарования.

Популярность такого рода деревенских праздников зависела от того, насколько важную роль играла деревня в жизни края и города, и от того, какой внешний вид она имела.

В этом отношении Корси могла быть поставлена на первое место.

Не было ничего прелестнее этой деревушки, расположенной в самом начале Надонской долины, в том месте, где она образует своеобразный треугольник, вместе с прудами Рамэ и Жавэ.

В десяти минутах ходьбы от Корси есть место, одновременно и поражающее своей дикой, пышной растительностью и приятное на вид: это место называется Принцев источник.

Напомнив читателю, что именно к этому источнику Матье пригласил явиться Парижанина и Катрин, вернемся в Корси.

А там, начиная с четырех часов, праздник был в самом разгаре. Но мы не приглашаем читателей окунуться в самый центр событий, а отводим их несколько в сторону: к дверям одного старого дома, который на три дня праздника превращался в трактир.

Когда-то в прошлом он служил жильем для семьи лесника, затем его перестали использовать в этом качестве, он опустел и оставался запертым триста шестьдесят дней в году.

На время праздника лесной инспектор передавал дом в распоряжение матушки Теллье — трактирщицы из Корси, которая превращала старое здание в филиал своего заведения.

Итак, праздник сам по себе занимал три дня. Из пяти же дней, которые мы вычтем из трехсот шестидесяти пяти, первый был посвящен подготовке дома, а последний, пятый день, посвящался уборке помещения. И, пока шло веселье, трактир жил своей жизнью — в нем много пили, громко пели. Трудно было поверить, что это всего лишь времянка. А потом он снова закрывался на следующие триста шестьдесят дней, во время которых выглядел мрачным зданием, притихшим, уснувшим, казался как бы умершим.

Этот дом был расположен как раз на полпути между Корси и Принцевым источником. Поэтому путник, следуя по дороге к источнику, обычно заглядывал в трактир.

В перерывах между танцами влюбленные парочки, нуждавшиеся в одиночестве, привлекаемые очарованием природы этой местности, отправлялись из деревни к источнику. Они заходили к матушке Теллье выпить стаканчик вина и освежиться мороженым.

С пяти до семи часов вечера заведение матушки Теллье было заполнено народом, потом постепенно оно пустело и к десяти часам смежало свои деревянные веки — ставни, чтобы задремать. Его сон охраняла помощница мадам Теллье, девица по имени Бабетта, пользовавшаяся полным доверием хозяйки.

На следующий день с первыми лучами солнца дом пробуждался, зевал широко растворенной дверью и одну за другой открывал свои ставни, чтобы, как это было накануне, готовиться к приему посетителей.

А посетители особенно любили усаживаться под естественным навесом из плюща, вьюнка и дикого винограда,

оббивавших столбы, которые поддерживали стеклянный козырек терасы.

Напротив трактира, возле подножия гигантского бука, был воздвигнут своего рода шалаш, сделанный из ветвей, сохранивших густую листву, и в прохладе этого шалаша днем содержалось вино; а вечером оно снова заносилось в дом, потому что матушка Теллье не слишком доверяла трезвости и честности своих сограждан, и не оставляла без присмотра на ночь столь соблазнительную жидкость, хотя, конечно, ночной воздух освежил бы вино лучше дневного.

Итак, к семи вечера, когда в деревне царило уже наибольшее оживление, в филиале трактира матушки Теллье собралось много народа.

Здесь были потребители вин за десять, двенадцать и пятнадцать су — матушка Теллье продавала вина за эти три цены, — а также любители мороженого и фруктовых соков.

Кое-кто, проголодавшись, заказывал омлет, салат с салом или колбасу.

Пять столов из шести были заняты, а матушка Теллье и Бабетта едва успевали откликаться на постоянные призывы посетителей.

За одним из столов сидели двое из тех лесников, что утром участвовали в охоте на кабана, которого выследил наш друг Франсуа.

Одного лесника звали Бобино, второго все звали не по имени, а по прозвищу «Молодой».

Бобино был кругленький невысокий толстяк с выпученными глазками на полном лице. Уроженец Прованса, он был веселым жизнелюбцем, постоянно подтрунивавшим над окружающими и безропотно сносившим чужие шутки. Как и надлежит провансальцу, говорил он сильно грассируя, был исполнен рвения в словесной атаке, в любом случае находя такие меткие словечки, что жители цитируют его до сих пор, хотя он умер уже пятнадцать лет тому назад.

Молодой же, напротив, был длинный, тощий, сухощавый. Прозвищем наградил его еще в 1784 году сам герцог Орлеанский Филипп Эгалите, ибо в ту пору он был самым молодым из всех лесников, и оно накрепко пристало к нему, хотя он сделался понемногу самым старым во всем лесничестве.

Он был настолько же серьезен, насколько Бобино искрился весельем, и столь же скуп не слова, сколь Бобино был болтлив.

Налево от дома к восточной его стороне примыкала изгородь, которая была частью ограждения, когда-то защищавшего жилье от посторонних; теперь же от него сохранилось только пять или шесть футов, заграждавших расстояние от трактира до шалаша. Дальше изгородь обрывалась, оставляя свободным доступ к дому. Пройдя через проделанное в изгороди отверстие (сохранились только следы от имевшейся здесь когда-то калитки), окажешься на пригорке, увенчанном огромным дубом, вокруг которого растет мягкий мох. С этого небольшого холма как на ладони просматривалась маленькая долина, где расположен Принцев источник.

За изгородью, у самого подножия пригорка, Матье любил играть в кегли с деревенскими парнями (я чуть было не сказал — с парнями его типа, но осекся, ибо таких, как он, найти не просто).

А повыше, в таинственной тени леса, там, где шаги заглушал ковер из мха, в глубине, как на заднем плане театральной сцены, незаметно опускались сумерки и стали появляться то по одному, то парами любители уединения.

Своеобразным аккомпанементом к праздничному шуму — голосам закусывающих в трактире, звукам игры в кегли у холма и отзвукам разговоров прогуливающих по лесу парочек — служили звуки скрипки и кларнета. Они возникали через одинаковые промежутки времени, давая возможность кавалерам успеть отвести даму на место, выбрать другую и приготовиться к новому танцу.

Итак, теперь, когда наш занавес поднят, мизансцена объяснена, возвратим наших читателей на увитую зеленью террасу матушки Теллье. Она обслуживала посетителя, потребовавшего яичницу на свином сале и вина за двенадцать су. Бабетта же подавала Бобино и Молодому кусок сыра величиной с кирпич, который должен был помочь этой парочке управиться со второй бутылкой вина.

— Ну, вот, — повествовал со своим важным видом Молодой, обращаясь к Бобино, внимавшему ему с насмешливым выражением лица, — если ты согласен, то сможешь в этом убедиться, увидев, как говорится, все собственными глазами. Значит, так: тот, о ком идет речь, — это новый лесник. Он приехал из Германии, из

страны, откуда был родом отец Катрин. Зовут его Мильде.

— А где он будет жить, этот весельчак? — спросил Бобино, со своим очаровательным провансальским акцентом, упоминавшимся выше.

— В другом конце леса, в Монтэню. У него имеется маленький карабин — вот такой, право, не больше. Ствол всего пятнадцать дюймов, тридцатый калибр. Стреляет крупной дробью. Этот парень берет подкову, вешает ее на стену и с пятнадцати шагов всаживает по пулке в каждое из отверстий для гвоздей.

— Черт побери! — произнес Бобино свое любимое ругательство, как обычно, посмеиваясь. — Так что, теперь стена подкована не хуже лошади? Почему бы ему не стать кузнецом, этому хохмачу, а? Ведь он, не боясь, что лошадь его лягнет, мог бы подковывать ее на расстоянии. Я в это поверю, только когда увижу. Я ведь прав, не так ли? Э, Моликар?!

Это обращение было адресовано новоприбывшему посетителю, развлекавшемуся только что игрой в кегли. Он еле вырвался из группы остальных игроков, изрядно выпивших и настроенных весьма агрессивно. Сам он тоже был сильно навеселе.

Услышав свое имя, Моликар, этот усердный поклонник Бахуса (как говаривали в те времена в ресторанах Парижа), обернулся и, несмотря на затуманенное сознание, узнал того, кто его окликнул.

— А! — пробормотал он, тараща глаза и округлив рот. — Это ты, Бобино?

— Да, это я.

— И ты что-то сказал? Повтори, доставь мне удовольствие.

— Да так, пустяки разные... Это все наш спутник Молодой меня тут дурачит.

— Но, — вмешался Молодой, задетый, как рассказчик, за живое. — Когда я что-нибудь говорю, то я...

— Кстати, Моликар, — прервал его Бобино, — как решилась твоя тяжба с Лафаржем?

— Тяжба? — осведомился Моликар, находившийся в том состоянии, когда нелегко становится перескакивать с одной темы на другую.

— Да, твой судебный процесс?

— С Лафаржем, цирюльником?

— Да.

- Ну, так это дело я проиграл.
- Как проиграл?
- Проиграл, потому что меня приговорили.
- Господин Бассено, мировой судья? И к чему он тебя приговорил?
- К трем франкам штрафа.
- Что же ты ему сделал, этому Лафаржу? — задал вопрос всегда обстоятельный Молодой.
- Что я ему сделал? — переспросил Моликар, покачиваясь на ногах, словно маятник в часах. — Да я ему нос подпортил... но, право же, без всякого дурного намерения, честное слово! Ты представляешь нос Лафаржа, цирюльника, а, Бобино?
- Прежде всего давай уточним, — смеясь, сказал Провансалец, — какой же это нос — это же палка от метлы.
- Вот как точно ты сказал Бобино, вот именно! Чертушка Бобино! Нет, я хотел сказать — чертов Бобино, да язык у меня малость заплетается...
- Ну, так что же в конце концов? — спросил Молодой.
- Ты это о чем? — не понял Моликар, успевший уже позабыть тему разговора.
- Он просит рассказать, что же произошло с «палкой» Лафаржа.
- Ах, да... Это было ровно две недели тому назад, — продолжил Моликар, упорно пытаясь отогнать несуществующую муху. — Мы вместе выходили из трактира...
- Значит, вы были навеселе? — спросил Бобино.
- Нет, даю слово! — возразил Моликар.
- Уверен, что вы оба были навеселе.
- Да нет же, мы были просто пьяны!
- И Моликар расхохотался, ему показалось, что он очень удачно сострил.
- Ладно, согласен! — воскликнул Бобино.
- Но ты, наверно, никогда не излечишься? — сказал Молодой.
- От чего?!
- От пьянства.
- Мне надо излечиваться от пьянства? Но для чего?
- Этот человек — воплощение благоразумия, — заметил Бобино. — Может, выпьешь стакан вина, Моликар? Моликар покачал головой.
- Как, ты отказываешься?

— Да.

— Ты отказываешься выпить вина?

— Или два стакана, или ни одного.

— А почему именно два? — поинтересовался Молодой, чей ум был гораздо тоньше, чем у Бобино, и который всегда стремился вникнуть в самую суть.

— Да потому, что если выпью еще один стакан, то это будет тринадцатый по счету за сегодняшний вечер.

— Ах вот в чем дело! — восхитился Бобино.

— А тринадцать стаканов вина принесут мне несчастье...

— Ну, какой же ты суеверный! Продолжай рассказывать, получишь свои два стакана.

— Ну, значит...— продолжал Моликар, откликнувшись на просьбу Бобино.

— В котором часу?

— О! Довольно рано!

— Вот как?

— Было что-то около часу или полвторого ночи; я хотел вернуться домой, как полагается всякому порядочному человеку, которого ждут дома три жены и ребенок.

— Три жены?

— Три жены и ребенок!

— Так ты просто турецкий паша!

— Нет, погоди, жена одна, а детей — трое! До чего же он глуп, этот Бобино! Да разве можно иметь трех жен! Да если бы у меня было три жены, я бы не стал возвращаться домой. Даже когда имеется всего одна жена, и то бывает, что домой идти не хочется. Ну, ладно! Приходит вдруг мне в голову дурацкая мысль сказать Лафаржу-цирюльнику — а ведь он живет на площади Лафонтен, а я, как тебе известно, живу в конце улицы Ларньи... вот, значит, западает мне в голову сказать ему: «Сосед, давайте проводим друг друга! Сперва вы меня проводите, потом я вас, а потом опять ваш черед провожать, а потом опять мой... И всякий раз по дороге мы будем заходить к матушке Моро, чтобы опрокинуть стаканчик... Он и ответил мне: «Ах, это отличная мысль!»

— Да уж ты, наверно, — заметил Бобино, — употребил, как и сегодня, тринадцать стаканчиков и испугался, что это принесет тебе несчастье.

— Нет, в тот день, я их вовсе не считал. И зря! Но больше такого со мной не случится. Обязательно буду считать. И так мы с ним ходили, как два добрых друга,

как два добрых соседа, пока не дошли до дома мадемуазель Шапиус, ты ее знаешь, она заведует почтой.

— Да.

— А там лежал большой камень, и было темно. Вот у тебя, Молодой, хорошее зрение, не так ли? И у тебя тоже, Бобино? Так в ту ночь вы оба приняли бы в темноте кошку за лесного обходчика.

— Никогда! — важно произнес Молодой.

— Никогда? Ты говоришь — «никогда»?

— Нет, нет, он ничего не говорит!

— Если он ничего не говорит, это совсем другое дело, значит, я ошибся.

— Да, ты ошибся, продолжай!

— Ну и, подойдя к воротам дома мадемуазель Шапиус, я и споткнулся об этот камень. Не повезло, я его не заметил. Да и как я мог его разглядеть? Сосед Лафарж и носа своего не видел, а ведь он находится ближе к его глазам, чем этот самый камень к моим. Я покачнулся, чуть не свалился и протянул руку, чтобы за что-нибудь уцепиться и удержаться. Ясно? Вот тут и подвернулся мне под руку нос соседа Лафаржа. Черт побери! Вы же знаете, когда тонут в воде, стараюсь ухватиться за что-нибудь как можно крепче. Ну, а когда тонут в вине, то цепляются еще сильнее. Ей-Богу! Было у меня ощущение, будто кто-то вытаскивает охотничий нож из ножен... А это сосед Лафарж освобождал свой нос из моей руки; ему это удалось, только кончик его носа так и остался у меня в руке! Вы же видите, что никакой моей вины тут не было и нет! Тем более что я ни в коей мере не отказывался вернуть ему этот чертов кончик носа. Так нет же, мировой судья присудил мне выплатить Лафаржу три франка.

— И Лафарж оказался таким мелочным, что согласился взять у тебя эти три франка?

— Да, но мы с ним на них сыграли в три шара; я выиграл, и мы их вместе пропили. Ладно, Бобино, наливай мне мой четырнадцатый стакан!

— Скажите, пожалуйста, Бобино, — неожиданно прервал беседу Матье, — не вы ли тут недавно говорили, что ожидаете господина инспектора?

— Нет, — ответил Бобино.

— Я, значит, что-то напутал... А то он идет сюда, я и решил вас предупредить, чтобы не трудились искать его...

— В таком случае...— начал Молодой, засовывая руку в карман.

— Ты чего? — спросил Бобино.

— Я плачу за нас обоих. Ты мне вернешь позже. Не нужно, чтобы господин инспектор видел нас за столом в трактире; из-за пропущенного по случаю стаканчика эина он еще подумает, что ты — пьяница. Тридцать четыре су, не так ли, матушка Теллье?

— Да, месье, — сказала хозяйка.

— Какие же трусы! — пробормотал Моликар, усаживаясь за стол, покинутый его собеседниками, и рассматривая на свет третью, едва начатую бутылку. — О трусы! Покинуть поле сражения, когда враг еще не добит!

Он наполнил до краев два стакана и чокнулся одним о другой, воскликнув при этом:

— Ну, твое здоровье, Моликар!

Тем временем оба лесника, хотя и спешили оставить трактир, внезапно остановились и изумленно уставились на входившего нового посетителя.

Это был Бернар. Но Бернар с искаженным, бледным, потным лицом, в развязавшемся галстуке...

IV

ЗМЕЯ

Молодой человек настолько не походил на самого себя, что оба его товарища с трудом его узнали.

Затем Молодой набрался решимости заметить:

— Смотрите-ка! Да это же Бернар... Привет, Бернар!

— Привет, — резко ответил Бернар, заметно раздраженный тем, что встретился с ними.

— И ты здесь? — флегматично подал голос Бобино.

— А почему бы и нет? Разве запрещено приходить на праздник, чтобы развлечься?

— Да я и не говорю, что запрещено, черт побери! — возразил Бобино. — Просто странно видеть, что ты один...

— Один? А сколько же меня должно быть или с кем я должен прийти?

— Но ведь, кажется, когда у тебя молодая, красивая невеста...

— Не будем больше упоминать об этом, — произнес Бернар, нахмурив брови.

Потом он ударил по столу прикладом своего ружья и крикнул:

— Вина!

— Осторожно! — заметил Молодой.

— А почему осторожно?

— Господин инспектор здесь.

— Ну и что с того?

— Я тебе сказал: учти, что господин инспектор здесь, вот и все.

— Ну и что мне с того — здесь он или в другом месте, наш господин инспектор?

— Коли так, это другое дело.

— Поссорились, видать, влюбленные, — сказал Бобино Молодому, держа его за рукав.

Молодой сделал знак, что разделяет его мнение, и обратился к Бернару:

— Видишь ли, Бернар, ведь я почему заговорил с тобой об этом? Вовсе не для того, чтобы унижить тебя или как-то поддеть, нет, чтобы просто напомнить тебе то, что ты и так знаешь: что господин инспектор не любит, когда застаёт нас в трактире.

— А если я захочу туда пойти, — возразил Бернар, — ты полагаешь, что господин инспектор помешает мне поступить по-своему?

И, стукнув вторично по столу с еще большей силой, чем в первый раз, он крикнул:

— Вина! Вина!

Оба лесника поняли, что его не переубедить.

— Ну пошли, пошли, — сказал Бобино. — Не будем мешать безумцу творить свои безумства. Пойдем, Молодой!

— Прощай, Бернар!

— Прощай, — бросил тот в ответ кратко и резко.

И друзья удалились в сторону, противоположную той, с которой появился инспектор, занятый какой-то беседой и к тому же плохо видевший, поэтому он прошел мимо трактира, не узнав своих подопечных.

— Ну, подойдет сюда кто-нибудь наконец, — кричал Бернар, стуча прикладом ружья с такой силой, что стол чуть не рассыпался на куски.

Матушка Теллье прибежала, держа по бутылке вина в каждой руке, еще не зная, кто это требует выпивку с такой настойчивостью.

— Вот! Вот! Вот! — восклицала она. — Кончился наш

запас в бутылках. Нужно было время, чтобы нацедить вина из бочки.

Поняв же, с кем имеет дело, она вскричала:

— А! Это вы, дорогой месье Бернар! Бог мой, до чего вы бледны!

— Вы находите? — спросил молодой человек. — Ну что же, для того я и хочу выпить красного вина.

— Но вы же нездоровы, месье Бернар, — настаивала на своем матушка Теллье.

Бернар пожал плечами и вырвал у нее из рук одну из бутылок.

— Давайте скорее, — сказал он.

И, поднеся бутылку ко рту, принялся пить прямо из горлышка.

— Господи, помилуй! — воскликнула добрая женщина, с потрясением глядя, как он напивается таким странным образом, столь не вяжущимся с его обычной манерой. — Вы же причиняете себе вред, дитя мое!

— Хорошо! — произнес Бернар, ставя бутылку на стол. — Оставьте мне ее, ведь кто знает, подадите ли мне еще когда-нибудь другую.

Изумление матушки Теллье все нарастало; забыв о других клиентах, она занялась только молодым лесником.

— Что же стряслось? — упорствовала она.

— Ничего. Подайте только мне перо, чернила и бумагу!

— Перо, чернила и бумагу?

— Да, пожалуйста.

Матушка Теллье отправилась выполнять его просьбу.

— Перо, чернила и бумагу, — повторил совершенно опьяневший Моликар, уже опорожнивший бутылку Молодого и Бобино. — Однако разве ходят в трактир, господин нотариус, чтобы заказать перья, чернил и бумагу? Нет! В трактир приходят, чтобы заказать вина.

И перейдя от теории к практике, он потребовал:

— Эй, вина! Матушка Теллье, еще вина!

Хозяйка поручила Бабетте обслужить Моликара, а сама, подойдя к Бернару, выложила перед ним на стол все три необходимых ему предмета.

Бернар поднял на нее глаза и заметил, что она одета в черное.

— Почему вы в трауре? — спросил он.

Добрая женщина побледнела в свою очередь и произнесла прерывающимся голосом:

— О мой Бог! Разве вы не помните, какое великое горе на меня обрушилось?

— Я сейчас ничего не помню,— сказал Бернар,— почему вы в трауре?

— Вы же знаете, господин Бернар, ведь вы же присутствовали на похоронах, что я ношу траур по моему сыну Антуану, скончавшемуся месяц назад!

— Ах, бедная женщина!

— У меня никого не было, кроме него, господин Бернар, он был моим единственным сыном, и тем не менее Господь взял его у меня. О, как мне его не хватает! В течение двадцати лет мать была неразлучна с сыном, и вдруг его больше нет!.. Что делать? Плакать! И я плачу, что же вы хотите? Что потеряно, то потеряно!

И добрая женщина разрыдалась.

Именно этот момент выбрал Моликар, чтобы затянуть песню; это была его излюбленная песня, своеобразный показатель того, сколько жидкости может вмесить человек; было известно, что, когда наступала последняя стадия его опьянения, он заводил свою песню:

— Если бы в моем саду
Рос бы виноград...

Бернар, которого сочувствие горю матушки Теллье сделало особо чувствительным к любому булавочному уколу, счел это пение оскорбительным и вскочил на ноги

— Замолчи, пожалуйста! — крикнул он.

Но Моликар, не обратив на запрет Бернара никакого внимания, запел снова:

— Если бы в моем саду...

— Замолчи, тебе говорят! — И молодой человек сделал угрожающий жест.

— А почему это я должен молчать? — спросил Моликар.

— Ты что, не слыхал, что сказала эта женщина? Не видишь, что перед тобой мать, оплакивающая потерю сына?

— Это верно,— согласился Моликар,— я буду петь совсем тихо.

— Если бы в моем саду...

— Ни тихо, ни громко! — закричал Бернар.— Замолчи или уходи!

— О! — ответил Моликар,— хорошо, я уйду... Я люблю трактиры, где смеются, а не такие, где плачут. Мату-

шка Теллье,—позвал он, стукнув кулаком по столу,—получите плату.

— Ладно,—сказал Бернар,—я сам заплачу, только оставь нас.

— Прекрасно! — восхитился Моликар.— Это меня радует.

И он удалился, хватаясь за деревья и напесвая все громче по мере того, как отходил от трактира:

— Если бы в моем саду

Рос бы виноград...

Бернар с отвращением поглядел ему вслед. Затем он повернулся к продолжавшей плакать хозяйке.

— Да, вы правы, матушка Теллье, что потеряно, то потеряно,—сказал он.— Знаете, матушка Теллье, я хотел бы поменяться местами с вашим сыном: чтобы он был бы жив, а я — нет.

— О! Храни вас Господь,—воскликнула добрая женщина,— что вы говорите, ведь у вас такие хорошие родители! Если бы вы только знали, какое горе для матери потерять своего ребенка, то не стали бы выражать такое желание!

Все это время Бернар пытался что-то писать, но бесполезно: рука его дрожала, и он не смог написать ни одной буквы.

— Нет, я не могу, не могу! — воскликнул он, ломая гусяное перо.

— И в самом деле,—заметила добрая женщина,— вы дрожите, как в лихорадке.

— Знаете что,—продолжал Бернар,—окажите мне одну услугу, матушка Теллье!

— Охотно, господин Бернар,—воскликнула хозяйка.— Какую?

— Отсюда до Нового дома в Суассоне рукой подать, не так ли?

— Да Господи, минут за пятнадцать можно дойти, если идти быстро.

— Тогда окажите мне дружескую услугу,—сходите туда и попросите Катрин...

— Так она вернулась?

— Да, сегодня утром... и скажите, что я вскоре ей напишу.

— Что вы вскоре ей напишете?

— Может быть, даже завтра, как только руки перестанут дрожать...

- Вы уезжаете?
- Говорят, мы собираемся воевать с алжирцами.
- А вам-то что до этой войны? Ведь вы уже прошли рекрутский набор, вы вытянули удачный номер и не пошли на военную службу?
- Так вы, пожалуйста, сходите туда, куда я вас прошу. Не так ли, матушка Теллье?
- Да хоть прямо сейчас... но...
- Что «но»?
- А что я скажу вашим родителям?
- Им? Ничего.
- Как ничего?
- Вот так, ничего, кроме того, что я заходил к вам, и что они больше не увидят меня, и что я говорю им — прощайте.
- Прощайте? — повторила матушка Теллье.
- Скажите им еще, чтобы они не отпускали от себя Катрин, что я буду признателен им за доброту к ней... и вот еще что — если я умру, как ваш бедный Антуан, я прошу их сделать Катрин своей наследницей.
- Измученный своим лихорадочным состоянием, молодой человек бессильно опустил голову на руки со вздохом, похожим на рыдание. Матушка Теллье взирала на него с глубокой жалостью.
- Хорошо, господин Бернар, договорились! Сейчас уже вечер, народу у меня поубавилось, Бабетта справится одна, а я сбегая в Новый дом.
- И, отойдя от Бернара, прошептала:
- Думаю, хоть этим сумею помочь бедняге.
- Бернар оставался еще несколько минут в прежней позе, погруженный в глубокую печаль и горестные раздумья. Плечи его время от времени конвульсивно вздрагивали. Потом он встряхнул головой и сказал сам себе:
- Хватит! Возьми себя в руки! Еще стакан вина — и пора в путь.
- О! Конечно, мне все равно, — раздался позади него голос, от которого он вздрогнул, — но я бы так просто не ушел!
- Бернар обернулся, хотя мог бы и не делать этого — он сразу узнал голос.
- Это ты, Матье? — спросил он.
- Да, это я, — ответил тот.
- Что ты сказал?
- Вы не слышали? Ладно! У вас плохой слух!

- Я слышал, но не понял.
- Хорошо, я повторю.
- Повтори.
- Я говорю, что на вашем месте я не ушел бы вот так просто.
- Ты не ушел бы?
- Нет, пока я не... хватит, я-то понимаю, что говорю...
- Пока «не»... чего? Говори!
- Так вот, не ушел бы, не отомстив обоим. Вот я и сказал главное.
- Что? Что? Обоим? О ком ты говоришь?
- Да, да, и ему, и ей.
- Что ж, по-твоему, я должен мстить и отцу, и матери? — пожал плечами Бернар.
- Да нет же! При чем здесь отец с матерью? Не о них речь.
- Но о ком же?
- Ха! Речь идет о Парижанине и мадемуазель Катрин.
- О Катрин и господине Шолле? — воскликнул Бернар, вскочив, словно от укуса гадюки.
- Да.
- Матье! Матье!
- Вот мне урок — не надо было ничего говорить вам.
- Почему?
- Да потому, что опять все это на меня же и обрушится. Я же буду во всем виноват.
- Нет, нет, Матье. Клянусь тебе! Говори!
- Так вы еще не догадываетесь? Ей-Богу, — продолжал бродяга, — не стоит иметь и ум, и образование, если остаешься таким слепым и глухим.
- Матье, — воскликнул Бернар, — ты что-то видел и слышал.
- Сова хорошо видит ночью, — сказал Матье. — У нее открыты глаза, когда у других закрыты: она не спит, когда другие спят.
- Погоди, — произнес Бернар, пытаясь смягчить свой голос, — что ты видел и слышал? Не тяни, рассказывай!
- Ну что ж, — ответил тот, — поскольку возникло препятствие вашему браку, — а ведь есть препятствие, не так ли?
- Да, есть, и дальше что?
- Известно ли вам, отчего оно возникло?

Пот градом катился по лицу Бернара.

— Не от чего, а от кого — от моего отца.

— От вашего отца? Да вовсе нет. Ведь он хочет вам счастья. Он, бедняга, вас любит!

— Хорошо... Значит, препятствует кто-то, кто меня не любит, так?

— Черт побери,— вскричал Матье, настороженно следя своими косыми глазами за сменой чувств на лице Бернара.— Знаете, есть тут кое-кто, кто только делает вид, что вас любит, здесь говорит: «Мой дорогой Бернар», там говорит: «Мой дорогой Бернар», а на самом деле вас обманывает.

— Ну, скажи, кто же все-таки препятствует моему браку? Кто именно?

— Да, я вам скажу, а вы схватите меня за горло и задушите.

— Нет, нет, даю слово, клянусь!

— Ну, а пока, позвольте, я от вас отойду чуть подалее.

И он отступил на два шага. Потом, чувствуя себя на этом месте в чуть большей безопасности, он сказал:

— Так вот, неужели вы не видите, что это препятствие исходит от мадемуазель Катрин?

Бернар покрылся мертвенной бледностью, но не пошевелился.

— От Катрин? — переспросил он.— Ты тут говорил, что кто-то меня не любит. Так ты утверждаешь, что меня не любит Катрин?

— Да, я утверждаю,— заявил Матье, осмелев при виде напускного спокойствия Бернара.— Когда девушка побывает в Париже, то после она, конечно, предпочтет быть любовницей богатого молодого человека в столице, чем стать женой бедного молодого человека в деревне.

— Нет, не говоришь же ты о Катрин и о Парижанине, надеюсь?

— О! — ответил Матье,— как знать!

— Ах ты, мерзавец! — крикнул Бернар, одним прыжком настигая Матье и схватив его обеими руками за горло.

— Ну, что я говорил...— задыхался Матье, пытаюсь вырваться из этого железного объятия.— Вы меня совсем задушите, месье Бернар!.. Я ничего вам не смогу сказать...

Бернар хотел все узнать. Пригубивший горькую чашу ревности допивает ее до дна. Поэтому он отпустил Матье, и его руки бессильно повисли.

— Матье,— промолвил он,— я прошу прощения, продолжай, говори,— но если ты врешь...

И кулаки его сжались, мышцы рук напряглись.

— Так, значит, если я вру,— ответил Матье,— то вы еще успеете разозлиться, но вы начали с того, что рассердились, и я замолкаю.

— Да нет, я не прав,— взял себя в руки Бернар, силясь придать лицу спокойное выражение, в то время как змеи ревности терзали его сердце.

— Ну вот, теперь вы вроде здраво рассуждаете,— заметил Матье.

— Да, да.

— Но все равно...— тянул бродяга.

— Что все равно?

— Да я хочу, чтобы вы все сами увидели, чтобы, так сказать, сами потрогали руками. Ведь вы как Фома Неверующий...

— Да,— согласился Бернар,— ты прав, покажи мне то, о чем ты говоришь.

— Я и сам хочу это сделать.

— Ты хочешь?

— Но при одном условии...

— При каком?

— Вы мне дадите слово, что досмотрите все до конца.

— До конца — даю слово. Но как же я узнаю, что уже увидел все целиком?

— Черт побери! Да когда вы увидите мадемуазель Катрин и господин Шолле у Принцева источника!

— Как, Катрин и Шолле у Принцева источника?

— Да!

— И когда я это увижу?

— Сейчас восемь часов. Восемь и сколько? Посмотрите на ваших часах, господин Бернар.

Бернар вытащил часы рукой, которая снова обрела твердость — так атлет ощущает прилив сил при приближении борьбы.

— Восемь часов сорок пять минут,— сказал он.

— Через четверть часа,— уточнил Матье.— Недолго осталось ждать, не так ли?

— Значит, ровно в девять? — спросил Бернар, проведя рукой по вспотевшему лбу.

— Да, в девять.

— Катрин и Парижанин у Принцева источника! — пробормотал Бернар, все еще окончательно не поверив этому, несмотря на уверенный тон Матье. — Но что они там будут делать?

— Черт поberi, откуда мне знать, — отвечал Матье, не упуская ни одного слова, ни одного жеста Бернара и угадывая каждое его душевное движение, — наверное, встречаются для того, чтобы организовать свой отъезд.

— Свой отъезд?! — пришел в ужас Бернар. Он сжал голову руками. Казалось, он сходит с ума.

— Да, — продолжал Матье, — сегодня вечером в Вилле-Коттре Парижанин спешно занимал деньги.

— Деньги?

— Да, у кого только мог.

— Матье, — прошептал Бернар, — ты делаешь мне больно... Если это только для того, чтобы надо мной повеселиться, то берегись!

— Тише! — окликнул его Матье.

— Кто-то скачет на лошади, — произнес, прислушиваясь, Бернар.

Матье дернул Бернара за рукав, указывая другой рукой в сторону, откуда слышался стук копыт.

И Бернар увидел, как в полумраке за деревьями мелькает всадник, в котором он узнал ненавистного соперника.

Ни секунды не раздумывая, он резко выскочил из-за стола и спрятался за ближайшим деревом.

V

НЕ ВВЕДИ БОРА В ИСКУШЕНИЕ!

Всадник остановился примерно в пятидесяти шагах от трактира тетушки Теллье, огляделся вокруг и, не найдя ничего, что внушало бы тревогу, прыгнул с лошади, привязав ее затем к дереву. После чего, внимательно глядя в темноту, направился к трактиру.

— Вот он, — прошептал Бернар. — Он приехал!

И он хотел броситься тут же навстречу Луи Шолле, но его удержал Матье:

— Потише! Если он вас сейчас заметит, вы уже ничего не увидите.

— А! Да, да, ты прав.

И Бернар обогнул дерево в поисках местечка потемнее. Тем временем Матье проскользнул под изгородью подобно змею, роль которого он так успешно выполнял.

Парижанин подошел поближе и оказался на свету возле террасы трактира, которая уже опустела в это время. Луи Шолле счел, что здесь уже никого нет, и, разглядывая представившиеся его взору предметы, заметил:

— Кажется, это трактир матушки Теллье, но, черт меня побери, если я знаю, где этот Принцев источник!

Бернар находился так близко от него, что слышал каждое слово.

— Принцев источник! — тихо повторил он. И посмотрел вокруг в поисках Матье, который исчез из поля его зрения.

— Эй, матушка Теллье! — окликнул Луи Шолле.

На его зов вышла Бабетта.

— Вы звали матушку Теллье? — спросила она.

— Да, дитя мое, — ответил он.

— А ее нет!

— Так где же она?

— Она пошла в Новый дом, что на Суассонской дороге, к Ватренам

— Черт! — воскликнул молодой человек, — лишь бы она не столкнулась с Катрин, не помешала бы ей прийти!

— С Катрин! Не помешала бы ей прийти! — взволнованно шептал Бернар.

— Ну, будем надеяться, что этого не произойдет, — продолжил Парижанин и обратился к Бабетте:

— Поди сюда, дитя мое.

— Чем могу служить, месье?

— Может быть, ты мне поможешь найти то место, которое я ищу.

— Говорите, месье.

— Принцев источник далеко отсюда?

— О нет, месье! — ответила девушка. — Это вон там, всего в ста шагах отсюда, самое большее.

— В ста шагах?

Девушка показала рукой на дуб, стоявший напротив трактира.

— Если встанете у этого дуба, вы его увидите.

— Ну так покажи мне его, дитя мое.

Бабетта поднялась вместе с Парижанином на пригорок, где возвышался великолпный дуб, современник

Франциска I, за время существования этого дуба сменилось уже двенадцать поколений деревьев вокруг него.

— Смотрите вон туда, где вода поблескивает серебром при свете луны — это и есть Принцев источник.

— Спасибо, дитя мое, — поблагодарил молодой человек.

— Не за что.

— Нет, есть за что, вот тебе и доказательство, плата за труд.

Луи Шолле, которого счастье сделало щедрым, вынул туго набитый деньгами бумажник и стал искать в нем подходящую монету. Но тяжелый бумажник выпал у него из рук, и часть содержимого высыпалась на землю.

— Ой, подождите, я сбегая за свечой, ни к чему сеять деньги, они все равно не взойдут!

— О! — пробормотал Бернар, вздрогнув от звука упавшего бумажника. — Значит, Матье был прав...

Вернувшаяся со свечой Бабетта низко опустила ее, осветив блеск золотых монет. Наружу выкатилась лишь небольшая часть денег, которыми был набит бумажник. Шолле опустился на одно колено и стал собирать золото.

Если бы он не был так поглощен своим занятием, то заметил бы Матье, высунувшегося из-за изгороди. Глаза бродяги вспыхнули от волнения, едва он увидел золото.

Но достаточно было Шолле приподняться, как Матье опять спрятался, подобно черепахе, втягивающей свою голову под панцирь.

Молодой человек собрал свой золотой урожай, последние двадцать франков он отделил от остальных и вручил Бабетте.

— Спасибо, малышка! — сказал он. — Это тебе.

— Целых двадцать франков! — радостно воскликнула девушка. — Но вы ошибаетесь, господин, это, наверно, не мне.

— Нет, тебе. Это положит начало твоему приданому. Из деревни донесся бой башенных часов.

— Сколько же это времени? — спросил Парижанин.

— Девять часов, — отвечала Бабетта.

— О! Так я могу и опоздать.

Похлопав себя по груди, чтобы удостовериться, что деньги на месте — втиснуты в слишком узкий карман жилета, Шолле взбежал на пригорок, на мгновение прислонился к дубу, стараясь получше разглядеть дорогу, и

стал быстро спускаться в маленькую долину, где поблескивала вода источника.

— Ах! — прошептала девушка ему вслед.— Повезло же мне! Вот что значит быть богатым и щедрым!

И она вернулась в дом, а поскольку новых посетителей больше не предвиделось, закрыла ставни и заперла дверь. Было слышно, как изнутри закрывается задвижка.

Бернар остался один в темноте, вернее, он полагал, что находится в одиночестве, ибо больше не думал о Матье.

Прижавшись к дереву, он постоял так некоторое время, пытаясь рукой, прижатой к сердцу, остановить сильное сердцебиение и судорожно сжимая ствол ружья в другой руке.

Матье не спускал с него глаз, следя сквозь отверстие, проделанное им в листе живой изгороди.

Минуты две Бернар неподвижно стоял на месте молча; его можно было принять за статую.

Наконец, приходя в себя, огляделся вокруг:

— Матье, где ты?

Бродяга воздержался от ответа, определив по изменившемуся голосу Бернара, что тот сильно взвинчен. Он решил помалкивать и удвоил внимание.

— А! — продолжал Бернар,— он ушел. Видимо, испугался того, что может здесь сейчас произойти. Если Катрин придет на это свидание с Парижанином, страхи Матье не напрасны...

И, отойдя от дерева, Бернар сделал несколько шагов вслед ушедшему сопернику.

Затем, снова приостановившись, стал размышлять вслух:

— В конце концов разве только именно в мою Катрин мог влюбиться этот молодой человек? Кто мне докажет, что Матье не ошибся? Может, Парижанин назначил свидание какой-нибудь девушке из Вилле-Эглона, из Корен или Лоппонта? Впрочем, мы сами все это скоро увидим. Для того я и здесь...

Но, чувствуя, что ноги у него подкашиваются, он подбодрил себя:

— Ну, Бернар, смелее! Уж лучше все узнать, чем так мучиться в догадках. О Катрин,— произнес он, добравшись до дуба,— если ты так лгала, если ты обманула меня, никому я больше никогда не поверю. Никому на свете, никому! Ведь я любил тебя так глубоко, так иск-

ренне... жизнь за тебя готов был отдать, если бы ты потребовала!

Он оглянулся вокруг с невыразимой угрозой в лице.

— К счастью,— добавил он,— никого нет, все разошлись. И то, что здесь произойдет, останется только между мной, ими и темной ночью.

Он пробирался к подножию дуба через гигантские корни неслышными шагами волка, подбирающегося к овчарне, и тяжело вздохнул, замерев у самого ствола.

Парижанин пока пребывал в одиночестве. Подобно охотнику, подстерегающему дичь, с ружьем на изготовку. Бернар следил за каждым движением своего соперника.

— Ну, хорошо,— произнес он про себя, по-прежнему вглядываясь в полумрак.

Та, которую он ожидал, должна была появиться, очевидно, со стороны Суассонской дороги.

— А что, если я пойду ей навстречу и пристыжу ее? Нет, она солжет, так я ничего не узнаю.

Вдруг он обернулся в противоположную сторону:

— Э, там какой-то шум... А... Беспокоится лошадь этого человека, она бьет копытом. Впрочем,— добавил он,— что мне до шума в той стороне? Вот сюда нужно мне смотреть, тут прислушиваться... Боже мой! Вот чья-то тень среди деревьев... Нет, показалось...

Бернар протер глаза, затуманившиеся от волнения.

— Да нет же, там кто-то есть... Это женщина, она ступает так нерешительно. Теперь она остановилась. Вот пошла опять. Сейчас она выйдет на поляну, и я увижу ее яснее.

Наступила небольшая пауза, за которой послышался тихий сдавленный стон.

— О, это Катрин! — прошептал Бернар. Наконец-то он ее увидел, но ему не успеть до нее дойти.

И он опустился на одно колено со словами:

— Катрин! Катрин! Пусть кровь, котсрая сейчас прольется, падет на твою голову!

Потом медленно поднял ружье и приложил его к плечу. Трижды щека молодого человека опускалась к прикладу, трижды его пальцы касались курка, но всякий раз он не мог решиться выстрелить.

— Нет! — пробормотал он,— нет! Я не убийца! Я — Бернар Ватрен. Я честный человек. Боже мой, дай мне силы, помоги мне.

И, отбросив ружье подальше, он как безумный бросился в лес, сам не зная, куда.

На какое-то мгновение все стихло, и читатель смог бы увидеть, как бродяга Матье высунул голову из своего укрытия под изгородью, сдерживая дыхание, приблизился к самому дубу, посмотрел в сторону источника и произнес, схватив отброшенное Бернаром ружье:

— Тем хуже! Не надо было показывать столько злобы. Не введи вора в искушение!

Вспышка осветила ночь, раздался выстрел, и Луи Шолле, вскрикнув, упал на землю.

В ответ раздался другой крик — возглас Катрин, останувившейся в растерянности, обнаружившей на месте свидания вместо своего жениха Парижанина. В ужасе она бросилась прочь, увидев, как упал соперник Бернара.

VI

У ПАПАШИ ВАТРЕНА

В то время пока у Принцева источника разыгрывалась эта ночная драма, видимая одному Господу Богу, ужин в семье Ватренов, который должен был поразить мэра кулинарными талантами хозяйки, заканчивался. Его омрачало только отсутствие Бернара.

Часы с кукушкой пробили половину девятого. Аббат Прегуар, два или три раза порывавшийся встать и уйти, казалось, окончательно решился подняться из-за стола.

Но не в правилах папаши Ватрена было так просто отпустить своих гостей.

— Нет, нет, господин аббат,— сказал он,— мы простимся только после того, как вы еще разок выпьете за чье-нибудь здоровье.

— Но где же все-таки,— обеспокоенно спросила мать, ни на минуту не спускавшая глаз с пустого стула Бернара,— где же Катрин и Франсуа? Куда они подевались?

Она не осмеливалась заговорить о Бернаре, хотя имела в виду только его.

— Действительно, где же они? — удивился Ватрен.— Ведь они были здесь совсем недавно.

— Да, но они вышли, и вышли порознь. Говорят, что нельзя пить в отсутствие тех, кто не дождался конца трапезы,— это приносит несчастье.

— Ну, Катрин должна быть где-то неподалеку. Надо ее позвать, мать!

— Я уже звала ее,— ответила женщина,— но она не откликается.

— Она вышла из дома минут десять назад,— подал голос аббат.

— А ты заходила за ней в ее комнату? — спросил Ватрен.

— Да. И ее там нет.

— А Франсуа?

— Ну, что касается Франсуа,— заметил мэр,— мы знаем, где его найти. Он вышел, чтобы помочь запрягать мою лошадь.

— Господин Гийом,— сказал аббат,— мы попросим Бога простить нас, если произнесем тост в отсутствие двух гостей, но уже поздно и я должен удалиться.

— Женщина,— сказал Ватрен,— налей господину мэру вина, и все мы выпьем, а тост скажет наш дорогой аббат.

Священник поднял свой стакан, наполненный на одну треть, и заговорил тем добрым и мягким голосом, которым он обращался к Богу и беднякам:

— За мир в этой семье, за союз между отцом и матерью, за союз между мужем и женой, единственный союз, который сделает детей счастливыми!

— Bravo, аббат! — воскликнул мэр.

— Спасибо! — сказал папаша Ватрен.— И пусть то сердце, которое вы желали растрогать, не останется глухим к вашему призыву!

И взгляд, брошенный на Марианну, ясно показал, что его пожелание относилось к ней.

— Ну, а теперь, мой дорогой Гийом,— сказал аббат,— надеюсь, вы не станете возражать, если я поищу свой плащ, трость и шляпу и попрошу господина мэра подбросить меня до города: уже почти девять часов.

— Да, поищите ваши вещи, господин аббат,— откликнулся мэр,— а я прощаюсь с папашей Ватреном.

— Я выхожу вместе с вами, мадам Ватрен,— заметил аббат, покидая комнату следом за ней.

Наступила пауза. В это время пробило девять часов.

Гийом и мэр остались наедине. Каждый из них ждал, что другой первым начнет разговор.

Рискнул заговорить Гийом.

— Ну, господин мэ́р, так какой же способ вы хотите предложить, чтобы стать миллионером?

— Прежде всего,— ответил мэ́р,— позвольте пожать вам руку в знак нашей доброй дружбы.

— О, это с удовольствием!

И сидящие друг против друга мужчины протянули над столом руки, которые встретились над остатками пирога, так беспокоившего матушку Ватрен.

— А теперь,— сказал Ватрен,— я жду ваше предложение.

Мэ́р кашлянул.

— Вы ведь получаете семьсот пятьдесят шесть франков жалованья в год, не так ли?

— Плюс еще премиальные, в целом около девятисот франков.

— Таким образом, вам бы понадобилось работать десять лет, чтобы получить десять тысяч франков.

— Вы прекрасно считаете, господин Руазен.

— Так вот, друг мой, то, что можно заработать за десять лет, я предлагаю вам заработать за триста шестьдесят пять дней.

— О, это интересно! — сказал папаша Гийом, опершись на стол и положив голову на руки.

— Слушайте внимательно,— от вас требуется только закрывать то правый, то левый глаз, когда пойдете мимо некоторых деревьев, что растут справа и слева возле моего участка... А это ведь совсем не трудно! Вот, смотрите-ка, как это делается.

И «честный торговец» действительно начал закрывать то один, то другой глаз перед Гийомом.

— Так, так,— произнес папаша Гийом, пристально глядя на мэ́ра,— это и есть ваше средство?

— Да,— ответил торговец,— и мне кажется, что оно не хуже многих других.

— И вы будете мне за это давать девять тысяч франков?

— Четыре тысячи пятьсот франков за левый глаз и четыре тысячи пятьсот за правый.

— А вы, значит, тем временем...— И папаша Гийом сделал жест, будто он рубит дерево.

— Да, и я тем временем!..— ответил мэ́р, повторяя тот же жест.

— То есть вы тем временем воруете лес герцога Орлеанского!

— Ну, вору — это слишком сильно сказано... В лесу столько деревьев, что их никто не сможет сосчитать.

— Да, никто, — произнес Гийом с угрозой и какой-то торжественностью, — никто, кроме того, кто сочтет не только деревья, но и листья на них; кто все видит и слышит и, хотя мы тут с вами одни, знает, что вы сделали мне бесчестное предложение.

— Господин Гийом! — вскричал мэр, полагая, что, повысив голос, он испугает лесника.

Но Гийом встал, опершись на стол, и указал торговцу лесом на окно.

— Видите вы это окно? — сказал он.

— Ну и что? — спросил мэр, побледневший от гнева, смешанного с опасением.

— А то, — ответил папаша Гийом, — что если бы вы находились не в моем доме и не за моим столом, вы бы вылетели за это окно.

— Господин Гийом!

— Погодите, — прервал его лесник.

— Ну, в чем дело?

— Вы видите порог этой двери?

— Да.

— Чем скорее вы окажетесь за этим порогом, тем будет лучше для вас.

— Господин Гийом!!!

— И, переступая через этот порог, вы скажете ему: «Прощай навсегда!»

— Господин Гийом!

— Замолчите! Сюда идут, ни к чему другим людям знать, какого проходимца я принимал в своем доме.

И Гийом, повернувшись к мэру спиной, принялся насвистывать мотив охотничьей песенки, к которой он при бегал только в самых важных обстоятельствах. Другие же люди, в присутствии которых он не хотел называть мэра проходимцем, были аббат Грегуар и матушка Ватрен.

— Вот и я, господин мэр, — воскликнул аббат, обводя комнату взглядом в поисках торговца лесом. — Вы готовы?

— Настолько готов, — отозвался папаша Гийом, — что, как видите, он уже ждет вас по ту сторону двери.

И он показал пальцем на торговца лесом, который, следуя его совету, уже вышел из дома.

Священник не заметил ничего необычного и не понял, что здесь произошло; он дружески попрощался с хозяином дома.

— До свиданья, господин Гийом,— сказал он,— пусть мир будет в вашем доме.

— Ваша покорная слуга, господин аббат, ваша покорная слуга, господин мэр! — говорила матушка Ватрен, выйдя за гостями и делая реверансы.

Гийом смотрел на них, пока они не скрылись из глаз, тогда, обратив к двери спину, по привычке не спеша вынул трубку, гуго набил ее табаком и, крепко зажав ее зубами, стал высекать огонь.

— Итак,— бормотал он сквозь стиснутые зубы, так что едва можно было разобрать слова,— одним врагом у меня стало больше; но все равно: или ты человек честный, или нет. А если честный, то, что бы потом ни случилось, я поступил правильно... А вот и старуха возвращается. Держи рот на замке, Гийом!

И он зажег трубку, принявшись пускать клубы дыма, что у него было признаком глухой ярости, от которой у него сжималось сердце и темнело лицо.

Матушке Ватрен довольно было одного взгляда, чтобы заметить, что произошло нечто необычное.

Она немного походила вокруг него, но ничего этим от него не добила, кроме новых, еще более густых клубов дыма.

Наконец она решила нарушить молчание первой.

— Ты скажешь мне?..— спросила она.

— Что? — ответил Ватрен с лаконизмом, достойным пифагорейца.

Марианна несколько призадумалась, но снова продолжила расспросы:

— Что с тобой?

— Ничего.

— Почему ты не хочешь со мной говорить?

— Потому что мне нечего тебе сказать.

Несколько раз матушка Ватрен приступала к леснику и отходила, ничего не добившись. Если ее мужу сказать было нечего, то ее, напротив, мучило желание высказаться.

— Гм! — кашлянула она.

Ватрен никак не отреагировал на это.

— Старик!

— Что? — спросил Гийом.

— А когда будет свадьба?

— Какая еще свадьба?

— Вот тебе раз! Свадьба Катрин и Бернара!

У Ватрена камень с груди свалился, но он не подал и вида.

— Ах, ах! — сказал он, подбоченясь и глядя ей прямо в лицо, — кажется, ты поумнела?

— Я думаю, — продолжала Марианна, не отвечая на его вопрос, — что чем раньше, тем будет лучше.

— Да, конечно!

— А если нам назначить свадьбу на следующую неделю?

— А как насчет объявления, которое положено вывесить в церкви?

— Мы съездим в Суассон и попросим разрешения.

— Хорошо, я согласен. Но я вижу, теперь ты настаиваешь на этом больше, чем я.

— Ну, видишь ли, старик, — сказала Марианна, — дело в том, что...

— В чем же?

— В том, что никогда в жизни не было у меня такого мучительного дня!

— Ба!

— Нельзя нам быть разлученными, жить порознь и умирать поодиночке! — Ее грудь взволнованно поднималась. — И это после двадцати шести лет нашей супружеской жизни, — закончила она и на этот раз разрыдалась.

— Ну что, мать, значит, по рукам? — спросил Гийом.

— Да, вот тебе моя рука, — воскликнула Марианна.

Гийом привлек жену к себе.

— Обними-ка меня, — сказал он. И добавил, глядя на нее: — Знаешь, ты самая лучшая женщина на земле!

Но тут же сделал поправку к своей похвале, которую наш читатель не сочтет слишком суровой:

— Когда, конечно, хочешь ею стать.

— О, — ответила она, — я тебе обещаю, Гийом, что после сегодняшнего дня я всегда буду этого хотеть.

— Аминь! — сказал Гийом.

И в этот момент вернулся Франсуа. Вглядишься в него папаша Ватрен повнимательнее, он наверняка заметил бы его взволнованное состояние.

— Вот и я, — объявил он, явно желая привлечь внимание Гийома.

Гийом в самом деле обернулся.

— Ну как там, удалились благодетели? — спросил он.

— Вы слышите?

Со двора доносился шум отъезжающего экипажа.

— Вот они покатили!

Пока Гийом прислушивался к постепенно удалявшемуся звуку, Франсуа взял свое ружье, стоявшее в углу возле камина. Гийом заметил это.

— Так куда ты направляешься?

— Я пойду... Пожалуй, я вам это скажу, но только одному вам и больше никому.

Гийом обратился к жене:

— Мать!

— Что?

— Хорошо бы поскорее убрать со стола, не то нам до самого утра не управиться.

— Ну, а я что делаю? — удивилась Марианна, держа под мышкой пустую бутылку и по полдюжине тарелок в каждой руке. И она отправилась в кухню, захлопнув дверь

Гийом проследил за ней взглядом и спросил:

— В чем дело?

— Дело в том, что, когда я запрягал лошадь для господина мэра, я услышал выстрел.

— В какой стороне?

— Где-то около Корси, в районе Принцева источника.

— Ты думаешь, это какой-то браконьер?

Франсуа покачал головой.

— Нет?

— Нет,— повторил молодой человек.

— Что же это было в таком случае?

— Отец,— сказал Франсуа, понизив голос,— я узнал звук ружья Бернара.

— Ты уверен? — спросил Ватрен, заметно встревоженный, сам не понимая, почему. Бернар не мог стрелять в такое время.

— Я его всегда отличу от других,— стоял на своем Франсуа, ведь он делает пыжи из войлока, поэтому звук его ружья всегда ниже, чем выстрел у остальных, кто делает пыжи из бумаги

— Ружье Бернара?..— недоумевал Гийом, все больше беспокоясь.

— Вот именно, я и задаюь таким вопросом.

— Погоди! — прервал его Гийом. — Я ясно слышу женские шаги...

Франсуа пригляделся.

— Да, идет какая-то женщина.

— Может, Катрин?

— Это шаги пожилой женщины, — заметил он, — в мадемуазель Катрин легкая походка, а этой женщине уже перевалило за сорок.

В это время раздался стук в дверь.

VII

МАТУШКА ТЕЛЛЬЕ

Оба мужчины обменялись взглядом — в воздухе словно пронеслось предчувствие беды.

В тревожной тишине послышался голос, дважды позвавший господина Ватрена.

Тут из кухни вернулась хозяйка.

— Да кто это кличет старика? — осведомилась она.

— Это голос матушки Теллье, — заметил Гийом, — открой, мать.

Марианна бросилась к двери, за которой была действительно матушка Теллье, задохнувшаяся от быстрой ходьбы. Франсуа, стоя поодаль, грустно покачал головой.

— Ну так вот, — проговорила матушка Теллье, — я пришла по поручению нашего мальчика.

— По поручению нашего сына? — успокаиваясь, спросили Гийом и Марианна.

— Что с ним, беднягой, приключилось? — поинтересовалась матушка Теллье. — Час назад он явился ко мне в трактир, бледный, как смерть!

— Вот, слышишь! — сказал папаша Гийом.

— Помолчи, пожалуйста, — процедила его жена, прекрасно понявшая упрек.

— Он залпом выпил два или три стакана вина, не могу сказать точно, потому что пил прямо из бутылки.

Одной этой детали было довольно, чтобы привести Гийома в ужас: пить прямо из бутылки! Это настолько не вязалось с Бернардом, что явно указывало на полную утрату его сыном душевного равновесия.

— Бернар пил прямо из бутылки? — задал вопрос Гийом. — Не может быть!

— И пил, ни слова не говоря? — спросила Марианна.

— Как же, напротив, он мне сказал: «Прошу вас, матушка Теллье, сходите к нам домой и скажите Катрин, что я ей скоро напишу».

— Напишет Катрин? Почему именно Катрин? — встревожился Гийом

— А, выстрел из ружья! Этот выстрел..— пробормотал Франсуа.

— Он только это сказал и ничего больше? — спросила Марианна.

Матушка Теллье продолжала:

— Я его спросила: а что передать отцу с матерью?

— Вы правильно сделали, что спросили,— воскликнули оба супруга в надежде хоть что-нибудь наконец узнать

— А он мне тогда ответил: «Скажите, что я заходил к вам и просил им сказать — прощайте!»

— Прощайте?! — переспросили разом три голоса, хотя и с разной интонацией.

Гийом добавил:

— Значит, он поручил вам передать его прощание с нами?

И повернувшись к жене:

— О женщина, женщина! — воскликнул он тоном, полным упрека.

— Но это еще не все,— продолжала посланница Бернара.

Гийом, Марианна и Франсуа окружили ее

— Что он еще сказал? — спросил Гийом.

— Он добавил: «Передайте родителям, чтобы они оставили Катрин у себя, я буду благодарен за доброе к ней отношение, и если я умру, как ваш Антуан...»

— Умру?! — прервал ее возглас старика и старухи.

— «Скажите им,— закончила матушка Теллье,— пусть они сделают Катрин своей наследницей».

— О женщина, женщина! — закричал Гийом, ломая руки.

— Этот несчастный выстрел! — бормотал Франсуа.

Марианна с рыданием бросилась на стул; она чувствовала, что все случилось по ее вине, и ее теперь мучила совесть,— она испытывала более сильные терзания, чем ее муж.

В этот момент снаружи донесся жалобный крик:

— На помощь! Помогите! — умолял сдавленный го-

лос, но они его сразу узнали и воскликнули одновременно:

— Катрин!

Первым кинувшись к двери, Гийом впустил Катрин — бледную, растрепанную, с диким взором, почти обезумевшую

— Убит! — кричала она. — Убит!

— Убит? — воскликнули с ужасом потрясенные зрители этой сцены

— Убит! Убит! — повторяла Катрин, задыхаясь, и упала в объятия Гийома.

— Убит! Но кто же?

— Господин Луи Шолле...

— Парижанин? — вскричал Франсуа, побледнев подобно Катрин.

— Но что ты такое говоришь? Расскажи подробнее все как есть, — настаивал Гийом.

— Убит! Но где же? — спросил Франсуа.

— У Принцева источника, — произнесла Катрин, и поддерживавший девушку Гийом чуть не уронил ее.

— Но кем? — в один голос спросили матушка Теллье и Марианна, которые в отличие от Гийома и Франсуа, не имели оснований предвидеть несчастье и еще сохранили способность задавать вопросы.

— Кем? Я не знаю! — ответила Катрин.

Оба мужчины облегченно вздохнули.

— Но как же все-таки это произошло? И как ты там оказалась? — спросил Гийом.

— Я думала, что Бернар ждет меня у Принцева источника, и шла к нему.

— Бернар?

— Да, Матье мне говорил, что Бернар назначил мне гам свидание.

— Ну, если здесь замешан Матье, то дело нечисто! — прошептал Франсуа.

— И ты, — спросил Гийом, — отправилась к источнику?

— Я думала, что встречу там Бернара, что он хочет проститься со мной. Но там находился вовсе не он!

— Не он! — вскричал Гийом, цепляясь за мелькнувший луч надежды.

— Это был другой человек.

— Парижанин? — спросил Франсуа.

— Да. И, увидев меня, он пошел мне навстречу. Он заметил меня на поляне, при свете луны, шагов за пять-

десять. Подойдя поближе, я узнала его и поняла, что попала в ловушку. Но только я собралась закричать и позвать на помощь, как со стороны дуба, возле трактира, сверкнула вспышка и раздался выстрел. Месье Шолле вскрикнул, поднес к груди руку и упал. Тогда я бросилась бежать как безумная, вы должны это понять. И вот я здесь. Но если бы наш дом находился на двадцать шагов дальше, я бы потеряла сознание и умерла бы прямо на дороге.

— Выстрел! — повторил Гийом.

— Тот, что я слышал недавно в лесу, — прошептал Франсуа.

Внезапно ужасная идея, сверлившая ей мозг и, казалось, уже покинувшая ее, вновь возникла в сознании Катрин. Она осматривалась вокруг с нарастающим страхом. И, не найдя в комнате того, кого она искала взглядом, закричала:

— А где Бернар? Бернар здесь? Бога ради, скажите, где он, кто его видел?

Мрачная тишина была ей единственным ответом. Но вдруг эту тишину прервал неприятный, лающий голос, раздавшийся в полуоткрытой двери:

— Вы хотите знать, где бедняга Бернар? Я вам сейчас это скажу... Он арестован!

— Арестован, — растерянно повторил Гийом.

— Арестован Бернар, дитя мое! — воскликнула мать.

— О Бернар, этого я больше всего боялась, — опустив голову, прошептала Катрин, — казалось, она вот-вот упадет в обморок.

— Боже мой, какое несчастье! — простионала матушка Теллье, всплеснув руками.

Только Франсуа пристально посмотрел на вошедшего бродягу, словно пытался прочесть по его лицу то, что тот хотел сказать, и особенно то, чего он не говорил. Затем, скрипнув зубами, задумчиво произнес:

— Эх, Матье, Матье!

— Арестован! — твердил Гийом. — За что?

— Откуда мне знать, — отвечал Матье, медленными, тяжелыми шагами переходя комнату, чтобы усесться у камина на свое обычное место. — Там, кажется, кто-то стрелял в Парижанина. Жандармы из Вилле-Коттре, которые возвращались с праздника в Корси, заметили убежавшего Бернара, погнались за ним, схватили, связали и увели.

— Куда же его увели? — спросил Гийом.

— Ну, этого я не знаю,— куда уводят людей, которые убивают... Я только сказал себе: «Я люблю Бернара, люблю господина Гийома, я люблю семью Ватренов, которая мне сделала столько хорошего, кормила меня и согревала. Значит, я обязан пойти и сказать им о несчастье, которое случилось с Бернаром. В конце концов, может, есть какой-нибудь способ спасти его...»

— Боже мой, Боже мой! — причитала Марианна.— И подумать только, что во всем этом виновата я, мое упрямство, ужасное упрямство стало причиной всего этого!

Что касается Гийома, то он был на вид более сдержанным и спокойным, но, может быть, несмотря на внешнее спокойствие, страдал сильнее, чем его плачущая жена.

— Так ты говоришь, Франсуа, что узнал звук ружья Бернара? — спросил Гийом тихим голосом.

— Я же вам сказал! И это совершенно точно.

— Бернар — убийца? — пробормотал Гийом.— Этого не может быть!

— Послушайте! — сказал Франсуа, как бы осененный какой-то новой мыслью.

— Что? — спросил старый лесник.

— Я прошу у вас три четверти часа.

— Зачем?

— Чтобы точно сказать вам, совершил Бернар это убийство или нет.

И, не взяв с собой ни ружья, ни шляпы, Франсуа выскочил из дому и исчез на дороге, ведущей к лесу.

VIII

ВЗГЛЯД ЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА

Гийом был сильно озабочен словами Франсуа, пытаясь понять, что тот имел в виду, поэтому не заметил, во-первых, что его супруга потеряла сознание и, во-вторых, что вернулся аббат Грегуар.

Катрин первой заметила достойного священнослужителя, чья темная одежда мешала разглядеть его в ночном мраке.

— Это вы, господин аббат! — воскликнула она, направляясь к нему,— это вы...

— Да,— ответил тот,— я подумал, что здесь нуждаются в утешении, и вернулся.

— Это моя вина, Боже, моя, моя вина,— кричала очнувшаяся матушка Ватрен, падая со стула на колени,— это моя огромная вина!

И бедная кающаяся грешница со всей силой била себя в грудь.

— Увы, мой дорогой Гийом, ведь он же сказал, покидая вас: «Вы будете в ответе за все, что может произойти»,— и именно так и случилось.

— О, господин аббат,— вскричал старый лесник,— неужели и вы, как остальные, поверили, что он виновен?

— Мы сейчас это узнаем,— ответил аббат.

— Да, мы сейчас это узнаем,— воскликнул Гийом.— Бернар горяч, вспыльчив в ярости, но он никогда не лжет.

Папаша Ватрен взял в руки свою палку.

— Куда это вы собрались?

— Я иду в тюрьму.

— Это ни к чему! Мы встретили его на дороге с жандармами. Господин мэр распорядился привести его сюда и здесь, в нашем присутствии, провести первый допрос. Он надеется, что вы имеете такое влияние на Бернара, что он скажет всю правду.

Словно дождавшись упоминания о себе, в этот момент появился мэр. При виде него Гийом невольно вздрогнул, почувствовав в нем врага.

— Ну, господин Ватрен.— заявил мэр со злобной усмешкой,— хотя вы и запретили мне переступить порог вашего дома, вы понимаете, что бывают такие обстоятельства...

Гийом заметил его улыбку.

— И вы радуетесь этим обстоятельствам! Не так ли, господин мэр? — спросил он.

Послышавшийся звук лошадиных копыт возле дома выручил мэра из затруднительного положения — повалил не отвечать Гийому.

Повернув к Гийому спину, он обратился к новопривышим с такой тирадой:

— Введите арестованного и охраняйте дверь.

Едва эти слова были произнесены, как Бернар, с бледным, покрытым потом лицом, но внешне спокойный, появился на пороге. Руки его были связаны.

Еле оправившаяся после обморока матушка Вагрен кинулась к нему, вся преображенная порывом материнской любви.

— Дитя мое! Дорогое дитя! — кричала она, пытаясь обнять сына.

Но Гийом схватил ее за руки.

— погоди, мать, — сказал он, — сперва мы должны знать, с кем мы имеем дело: с нашим сыном или с убийцей...

И пока жандармы препровождали Бернара в глубину комнаты, Гийом обратился к мэру:

— Я прошу у вас, господин мэр, разрешения сказать Бернару пару слов и поглядеть ему прямо в лицо. После чего я вам точно смогу сказать, виновен он или нет.

Трудно было отказать в такой просьбе, и мэр проворчал в ответ что-то невнятное, что можно было принять за позволение.

Следующая сцена напоминала театр: жандармы стали полукругом, окружив Бернара, а Гийом простер к сыну руки и с торжественной интонацией провозгласил:

— Призываю всех в свидетели. Пусть все слышат, о чем я спрошу его и что он мне ответит. В присутствии этой женщины, которая является твоей матерью, и злой женщины, которая является твоей невестой; в присутствии этого достойного священнослужителя, приобщившего тебя к христианской вере, и меня, твоего отца, воспитавшего тебя в любви к истине и ненависти ко лжи: — я спрашиваю тебя, Бернар, так же, как когда-нибудь тебя спросит наш Отец Небесный: виновен ты или нет?

И он вперил в юношу пронзительный взгляд, проникавший, казалось, в глубину сердца молодого человека.

— Отец мой... — мягко ответил Бернар спокойным тоном.

Но Гийом прервал его:

— Не торопись, не спеши отвечать, чтобы сердце твое не оборвалось. Смотри мне прямо в глаза, и вы все смотрите на него и слушайте внимательно. Итак, Бернар, отвечай!

— Я не виновен, отец, — сказал Бернар так спокойно, словно решение его судьбы оставляло его совершенно безразличным.

Радостный крик вырвался у всех, исключая Матье, мэра и жандармов.

Гийом положил руку на плечо Бернара.

— На колени, сын мой,— сказал он.

Бернар повиновался.

С восторженным выражением лица Гийом произнес:

— Благословляю тебя, сын мой! Ты невиновен. Это то, что мне надо было узнать. Доказательство твоей невиновности появится, когда будет угодно Господу Богу,— отныне это дело между Ним и людьми... Поцелуй меня, и пусть восторжествует справедливость.

Бернар бросился в объятия своего отца.

— Ну, а теперь,— сказал Гийом, чуть отступив,— подойти и ты, мать.

— Дитя мое! Дорогой мой сынок! — выкрикнула матушка Ватрен.— Позволь и мне обнять тебя.

И она обвила руками шею сына.

— Добрая моя, замечательная мама! — воскликнул Бернар.

Катрин ждала, когда ей можно будет подойти к заключенному, но едва она сделала первый шаг, тот жестом остановил ее. Катрин отступила, кротко улыбаясь, она была теперь убеждена в невиновности Бернара так же, как и в своей. То, о чем подумала Катрин, матушка Ватрен произнесла вслух:

— Я клянусь, что он не виновен.

— Ну, хватит,— вмешался мэр,— неужели вы думаете, что если он виноват, то он вам вот так прямо и выложит: «Да, я убил господина Шолле»? Не такой он идиот, черт побери!

Бернар посмотрел на мэра ясным, чистым взором, в котором сквозила, впрочем, некоторая суровость, и сказал со всей искренностью:

— Я все расскажу, но не вам, господин мэр, а тем, кто любит меня, я скажу все, и Богу ведомо, солгал ли я или говорю правду. Да, первым моим побуждением было убить господина Шолле, когда появилась Катрин, а он поднялся и пошел ей навстречу. Да, я уже совсем было изготовился и собрался нажать на курок... но тут Господь Бог пришел мне на помощь, дал мне силы преодолеть искушение — я отбросил ружье подальше и убежал. Меня схватили бегущим. Но я бежал не потому, что совершил преступление, а потому, что хотел удержаться от него.

Мэр подал знак, и один из жандармов принес ружье.

— Вы узнаете это ружье? — спросил мэр.

— Да, это мое,— просто ответил Бернар.

— Как видите, из его правого ствола стреляли.

— Да, это так.

— А нашли его под дубом, рядом с ложбиной у Принцева источника.

— Я его действительно где-то там и бросил...— подтвердил Бернар.

Матье поднялся, поднес руку к шляпе и заговорил каким-то униженным тоном:

— Извините, господин мэр, мне кажется, если поискать пыжи от ружья... если найти пыжи, это поможет господину Бернару. Он ведь делает их обычно не из бумаги, а пробойником из войлока.

Это заявление Матье, о котором все забыли, было встречено одобрительным шепотом.

— Жандармы,— приказал мэр,— вы слышали? Один из вас отправится на место убийства и постарается разыскать пыжи.

— Утром, на рассвете, мы туда ходим,— ответил один из жандармов.

Бернар посмотрел на Матье и встретился с косым, недружелюбным взглядом. Его передернуло, словно от взгляда змеи, и он с отвращением отвернулся. Перед лицом Бернара Матье, возможно бы, и умолк, но так как молодой лесник отвернулся, бродяга, осмелев, продолжал:

— Ведь потом,— добавил он,— имеется еще одна вещь, которая может доказать невиновность господина Бернара.

— Какая? — осведомился мэр.

— Вчера утром,— сказал Матье,— я был здесь, когда Бернар заряжал свое ружье, чтобы идти охотиться на кабана... А чтобы отличить свои пули от других, он пометил их крестом.

— Что? — переспросил мэр.— Он пометил крестом каждую?

— Да, я в этом уверен. Я сам давал ему ножик, чтобы он поставил крест на пулях. Разве не так было дело, господин Бернар?

И под этой внешне вполне благожелательной речью Бернар так явственно ощутил безжалостный укус гадюки, что даже не стал ему отвечать.

Мэр, ожидавший ответа Бернара и, видя, что тот молчит, спросил:

— Арестованный! Отвечайте, соответствуют действительности приведенные факты или нет?

— Да,— сказал Бернар,— все верно.

— Вот-вот,— снова подал голос Матье,— вы понимаете, господин мэр, если бы можно было найти пулю и на ней не оказалось бы пометки крестом, я бы тогда сказал, что это стрелял не господин Бернар. Ну, а если, напротив, будет крест на пуле, а пыжи — из войлока, ну уж тогда я просто не знаю, что и сказать...

Один из жандармов приложил руку к каске:

— Господин мэр,— обратился он к мэру,— извините, этот парень говорит правду.

И жандарм указал на Матье.

— Откуда вам это известно? — удивился мэр.

— Да пока он говорил, я изучил левый ствол ружья. Пуля в нем помечена крестом, пыжи сделаны из войлока. Взгляните сами.

— Друг мой,— обратился к Матье мэр,— все, что вы только что рассказали с добрым намерением помочь Бернару, к несчастью, уличает его в преступлении, ибо вот перед нами его ружье и из него был произведен рожковой выстрел.

— А это ничего не значит,— возразил Матье.— Бернар мог разрядить свое ружье и где-нибудь еще, в другом месте. А вот коли найдут пулю и пыжи на месте убийства, тогда будет плохо, очень плохо!

Мэр повернулся к арестованному.

— Итак,— осведомился он,— вам нечего больше добавить в свою защиту?

— Нечего,— ответил Бернар,— кроме разве того, что вопреки всей очевидности я невиновен.

— Я-то надеялся, что присутствие родителей и невесты,— промолвил мэр торжественно,— присутствие этого достойного священнослужителя,— он указал на аббата,— все же заставит вас сказать правду! Вот для чего я приводил вас сюда, но я ошибся.

— Еще раз говорю вам, что произошло на самом деле: я был грешен в дурной мысли, но я не виновен в дурном поступке!

— Вы твердо это решили?

— Что решил? — удивился Бернар.

— Вы не хотите признаваться?

— Я бы не стал никогда лгать в свою пользу, тем более не стану лгать себе во вред.

— В таком случае, жандармы, уведите его! — приказал мэр.

Жандармы подтолкнули Бернара:

— Ну, пошли!

Но матушка Ватрен загородила дверь:

— Что вы делаете, господин мэр?! Вы его уводите?

— Естественно, я его уволю, — ответил мэр.

— Но куда же?

— В тюрьму, черт возьми!

— В тюрьму! Но разве вы не слышали, как он сказал вам, что не виноват? И его отец сказал, что он невиновен.

— Да, да, — воскликнула Катрин, — и я говорю, что он невиновен!

— Дело в том, что пока не найдут меченую пулю и пыжи из войлока... — бормотал Матье.

— Дорогая моя мадам Ватрен и вы, мадемуазель Катрин, — возразил им мэр. — Так положено по закону. Я официальное лицо. Совершено преступление. И, даже не принимая во внимание, насколько оно затрагивает лично меня — ведь оно совершено против близкого мне молодого человека, помещенного ко мне его почтенными родителями, молодого человека, который мне дорог и которого я был обязан оберегать. Итак, не принимая этого во внимание, Шолле, равно как и ваш сын, — по закону посторонние мне люди. Нужно, чтобы правосудие совершилось. Дело чрезвычайно серьезное — речь идет о смерти человека! Жандармы, пошли!

Жандармы снова подтолкнули Бернара к двери.

— Прощай, отец, прощай, мать! — сказал юноша. И он сделал несколько шагов, провожаемый взглядом Матье, который мысленно подталкивал его к выходу.

Но тогда, в свою очередь, Катрин встала на его пути.

— А мне, Бернар? Ты мне ничего не скажешь?! — спросила она.

— Катрин, — ответил юноша негромко, — только когда я буду умирать невинным, я, может быть, и прощу тебя, но сейчас у меня просто на это нет сил!

— Неблагодарный! — воскликнула Катрин, отворачиваясь, — я считаю его невинным, а он полагает, что я в чем-то виновата!

— Бернар, Бернар! — вскричала матушка Ватрен, — прежде чем ты покинешь нас, сделай милость, скажи своей матери, что ты не держишь на нее зла!

— Мама,— сказал Бернар, исполненный печали и почти величественный,— если мне суждено умереть, я умру, благодаря Бога за моих добрых и любящих родителей.

И, обернувшись к жандармам, сказал:

— Идемте, господа! Я готов.

Но на пороге он столкнулся с задохнувшимся от бега Франсуа: парень был весь мокрый от пота; в руках он сжимал куртку.

IX

ВЫХОДКИ МАТЬЕ

При виде молодого человека, который, вбежав в дом, сделал знак присутствующим оставаться на месте, все поняли, что Франсуа принес важные новости, и окружили парня. Только Бернар и жандармы стояли в стороне.

Матье мешал отступить камин, у которого он построился, но, испытывая неудобство оттого, что встал от волнения, он продолжал все-таки стоять.

— Что тут стряслось? — спросил мэр. — Что такое еще? Этак мы, видно, сегодня не закончим. Жандармы, да ведите же его в Вилле-Коттре!

Но аббат Грегуар понял, что забрезжило спасение. Он выступил вперед:

— Господин мэр,— сказал он,— Франсуа хочет нам сообщить нечто очень важное. Выслушайте его. Франсуа, ты принес нам важные новости, не так ли?

Все смотрели с надеждой на лесника. Так потерпевшие в океане кораблекрушение смотрят с маленького плота на плывущее с горизонта спасительное судно.

Франсуа обратился к мэру:

— А куда это вы все собрались?

— Франсуа,— зарыдала матушка Ватрен,— они уводят моего бедного сына в тюрьму!

— О! — сказал Франсуа,— успокойтесь. Он еще пока не в тюрьме. И добраться до нее не так-то просто, ведь отсюда до Вилле-Коттре не меньше полутора лье. Не говоря уже о том, что папаша Сильвестр спит сейчас сном праведника, и нелегко ему будет проснуться в такой час, чтобы отпереть тюрьму!

— А! — воскликнул Гийом, поняв, что Франсуа боль-

ше не тревожится за Бернара, раз заговорил таким тоном. И Гийом принялся набивать свою трубку, о которой совсем забыл в прошедшие полчаса.

Что касается Матье, не привлекавшего к себе внимания, он незаметно проскользнул от камина к окну и уселся на подоконник.

— Что это, в самом деле! — рассвирепел мэр. — Мы должны слушаться Франсуа?! Жандармы, не задерживайтесь, отправляйтесь!

— Извините, господин мэр, — сказал Франсуа, — но я должен возразить против этого.

— Против чего?

— Против вашего приказа, который вы только что отдали.

— Да неужели ты что-то сообщишь, из-за чего им стоит задерживаться?

— Да, господин мэр, и вы сами в этом убедитесь. Предупреждаю только, что слушать придется довольно долго.

— Как?! Еще и долго слушать! Так приходи завтра, тогда и поговорим, а сейчас — в путь...

— Нет, нет, господин мэр! — настаивал Франсуа. — Вы совершите огромную ошибку, если не выслушаете меня именно сегодня.

— Друг мой, — покровительственным тоном заявил мэр, — при расследовании преступления к дополнительному расследованию допускаются только конкретные факты исключительного характера. Я полагаю, вы сочтете справедливым, что я пренебрегаю вашим заявлением. Итак, уведите наконец арестованного!

— Ну, так вот, — рассердился на этот раз Франсуа, — в таком случае вы обязаны меня выслушать, господин мэр, потому что те факты, которые я собираюсь сообщить, носят самый исключительный характер!

— Господин мэр! — вмешался аббат Грегуар. — Во имя религии и человечности заклинаю вас выслушать этого юношу.

— А вас, господин мэр, прошу сесть для совершення правосудия, — торжественно произнес папаша Гийом.

И мэр, столкнувшись с такой суровой и властной силой, силой отцовской любви, невольно стих, но не желая признать себя побежденным.

— Господа, — сказал он, — ну о чем тут может идти речь, коль скоро есть убитый, есть и убийца...

— Извините, господин мэ́р,— прервал его Франсуа,— да, действительно имеется предполагаемый убийца, но нет убитого.

— Как это — нет? — изумился мэ́р.

— Нет убитого? — повторили все присутствующие.

— Что он говорит? — спросил Матье.

— Да благословен будь, Господь! — произнес священник.

— Итак,— продолжал Франсуа,— даже если бы я ограничился одним этим сообщением, то и оно было бы прекрасной новостью.

— Объясните же нам все это поподробнее, молодой человек,— приказал мэ́р начальственным тоном. Втайне он был доволен, что под таким предлогом уступает Франсуа, не роняя своего достоинства.

— Дело в том, что господин Шо́лле был сбит с ног силой выстрела, а упав, потерял сознание. Пуля ударила о кошелек, набитый золотом, который он держал в кармане жилета, и срикошетила вдоль ребер.

— О! О! — вскричал потрясенный мэ́р,— вы утверждаете, друг мой, что пуля ударила о кошелек?!

— Вот ведь какое удачное использование денег,— рассмеялся Франсуа,— не так ли, господин мэ́р?

— Для закона не имеет значения, жив он или нет. Имела место попытка убить его.

— Да, конечно,— согласился Франсуа.— Кто же утверждает обратное?

— Тогда ближе к делу! — заявил мэ́р.

— А я и не хочу ничего другого, да вы сами меня прерываете.

— Давай, давай, говори, говори, Франсуа! — закричали все присутствующие. Молчали только двое и по разным причинам. Это были Бернар и Матье.

— Итак, господин мэ́р, слушайте, как было дело,— объявил Франсуа.

— Но,— недоверчиво прервал его чиновник,— откуда ты можешь знать, как все это происходило, если ты в это время находился с нами за столом в этом доме и никуда не выходил?

— Да, я вас не покидал, это верно. Ну и что с того? Когда я говорю: «Вот кабан, это самец, это самка, этот больной, а тот прошел здоровый»,— разве я этих кабанов вижу? Нет, я вижу их следы в лесу, я их читаю, это то, что мне надо видеть.

Франсуа даже не посмотрел в сторону Матье, но тот почувствовал, как по спине прошел озноб.

— Послушайте, как все произошло. Господин Бернар поначалу прибыл в трактир матушки Теллье... Это так, матушка Теллье?

— Да, верно,— ответила добрая женщина.

— Он был очень взволнован.

— Да,— подтвердила она,— так и было.

— Помолчите! — остановил ее мэр.

— Он ходил вот так,— продолжал Франсуа, изображая крупными шагами по комнате походку Бернара.— Затем он потерял терпение и два или три раза топнул ногой возле стола, что стоит в трактире против двери.

— Он требовал себе вина! — воскликнула матушка Теллье, возведя к небу руки, в знак восхищения пронизательностью Франсуа, граничащей с чудом.

Матье вытер пот, выступивший на лбу.

— О! — заметил Франсуа в ответ на восторг доброй женщины,— это совсем было нетрудно увидеть — на песчаной почве выделяются следы башмаков, и три или четыре линии оказались глубже других.

— Как же ты смог разобрать все это ночью?

— Ну, а луна? Вы думаете, она висит в небе только затем, что бы на нее выли собаки? Через некоторое время господин Шолле верхом на лошади прибыл со стороны Вилле-Коттре, спешил в тридцати шагах от трактира матушки Теллье и привязал лошадь к дереву. Потом прошел мимо Бернара. Я предполагаю так же, что он искал на земле что-то, может быть, деньги, упавшие на землю. На этом месте виднеются кусочки застывшего свечного сала, значит, светили свечой... Все это время Бернар прятался за вязом и, видимо, продолжал сердиться, доказательство тому — несколько мест на стволе дерева, с которых сорван мох как раз на уровне человеческой руки. А Парижанин, найдя то, что искал, удалился в сторону Принцева источника, уселся там возле воды. Потом поднялся и успел сделать шагов двадцать к Суассонской дороге, и вот тут-то в него и выстрелили, и он упал.

— Да, да, это было так! — воскликнула Катрин.

— Завтра,— подытожил этот рассказ мэр,— мы выясним, кто стрелял — поищем пыжи и пулю.

— Для этого не надо ждать завтрашнего дня; я их принес,— сказал Франсуа.

Луч радости осветил лицо Матье.

— Как? — изумился мэр. — Вы их принесли? И пыжи, и пулю?

— Да... Пыжи, как вы понимаете, найти было нетрудно, но вот с пульей пришлось повозиться. Она несколько отклонилась то ли из-за удара о кошель с деньгами, то ли задев ребро. Как бы то ни было, я нашел ее в стволе вяза... Вот, смотрите!

И Франсуа показал мэру лежащие на его ладони пыжи и пулю.

Мэр попросил жандармов посветить ему.

— Вы видите, господа, — объявил он, — эти пыжи сделаны из войлока, а что касается пули, то пусть сплюснутая и бесформенная, но она сохранила отметину в виде креста.

— Черт возьми, — обрадовался Франсуа, — это удача! Ведь это пыжи Бернара и крест тот самый, которым он метил свои пули нынче утром.

— Бог мой, что он говорит? — прошептал папаша Ватрен, с трудом удерживая трубку во рту.

— О, он же губит его! — вне себя крикнула Катрин.

— Ах, вот именно этого я и боялся, — пробормотал Матье, сиюсья придать жалость своему лицу, — бедный, бедный господин Бернар!

— Но вы тем самым признаете, что выстрел был произведен из ружья Бернара?

— Конечно, признаю, — ответил Франсуа, — это ружье Бернара, это пуля Бернара, это пыжи Бернара, но все это вовсе не означает, что из ружья стрелял именно Бернар.

— О! О! — шептал Матье, — не подозревает ли он чего-нибудь?..

— Как я вам уже говорил, — продолжал Франсуа, — Бернар был сильно рассержен, топал ногой, срывал мох, и, когда Шолле пошел к Принцеву источнику, Бернар дошел до дуба, следуя за ним. Здесь он задумался и вдруг изменил свои намерения, отступил на несколько шагов и швырнул ружье на землю. Взведенный курок и край ствола ружья четко отпечатались на мягкой земле. Потом он бросился бежать.

— Господь Иисусе! — произнесла матушка Ватрен, — это просто чудо!

— Что я вам говорил, господин мэр? — заметил Бернар.

— Помолчи, Бернар! — прикрикнул папаша Гийом. —

Пусть говорит Франсуа. Ты же видишь, что он напал на верный след, как хороший охотничий пес!

— О! О! — тихонько простонал Матье, — дело начинает приобретать дурной оборот!

— И вот тогда, — продолжал Франсуа, — появился другой...

— Какой еще другой? — спросил мэр.

— Этого я не знаю! — ответил Франсуа, подмигнув Бернару, — был кто-то другой, это все, что я могу сказать.

— Уф, — пробормотал Матье, — у меня отлегло от сердца.

— Этот другой поднял ружье, оперся коленом о землю, что означает, что он не был таким умелым стрелком, как Бернар, и выстрелил, и вот тогда-то, как я уже говорил, господин Шолле упал.

— Но какой интерес имел этот появившийся другой убивать господина Шолле?

— А! Я не знаю, может, для того, чтобы обокрасть.

— Откуда же он узнал, что у господина Шолле были с собой деньги?

— Разве я не упоминал, что мне показалось — Парижанин уронил свой кошелек у самой изгороди? И я бы не удивился, если бы узнал, что в этот момент убийца как раз и скрывался под изгородью. Я обнаружил следы, указывающие на то, что человек лежал там на животе, вырыв себе руками яму в песке.

— Так, значит, господина Шолле обокрали? — осведомился Гийом.

— Ну конечно же! У него взяли ни много ни мало — целых двести тридцать луддоров!

— Ох, прости меня, Бернар, — сказал папаша Гийом, — я не знал, что Парижанина обокрали, когда спрашивал тебя, не ты ли стрелял в него.

— Спасибо, отец! — сказал Бернар.

— Но кто же вор? — спросил мэр.

— Я уж говорил, что не знаю, кто этот человек. Только могу утверждать, что, подбегая к тому месту, откуда он стрелял, он нечаянно ступил в заячью нору и вывихнул себе левую ногу.

— Дьявольщина, — пробормотал Матье, чувствуя, как его рыжие волосы зашевелились на голове.

— Ну, это уж слишком! — воскликнул мэр. — Как ты можешь знать, что он вывихнул себе ногу?

— А, невелика хитрость! — ответил Франсуа. — Шагов

тридцать обе ноги оставляли одинаковый след, а остальную часть пути всю тяжесть тела несет одна правая нога, а след левой едва заметен. Значит, он вывихнул левую ногу и, когда наступает на нее, испытывает сильную боль.

— Ах...— прошептал Матье.

— Вот почему он и не убежал немедленно,— продолжал Франсуа.— Если бы он убежал, то уж был бы теперь где-нибудь за пять или шесть лье отсюда; тем более что ноги у него крепкие и он явно хороший ходок. Но нет, он не удрал, а закопал свои двести тридцать луидоров в двадцати шагах от дороги, в ста шагах отсюда, меж двух кустов у подножия березы. Это место легко отыскать, там растет только одна береза.

Матье снова обтер с лица пот и опустил одну ногу по ту сторону открытого окна.

— И куда же он оттуда отправился? — поинтересовался мэр.

— А! Оттуда он вышел на большую дорогу, а там столько следов, не счесть, тут я уже путаюсь.

— А деньги?

— Да, деньги, золотые монеты, по двадцать и сорок франков...

— Значит, вы выкопали все это золото и можете его представить в качестве доказательства?

— Уф! — воскликнул Франсуа, — я воздержался от прикосновения к ворованному золоту — ведь оно обжигает!

И он помахал пальцами, словно действительно обжег их.

— Как же быть, однако?..

— Я сказал себе,— продолжал Франсуа,— что будет лучше, если прийти на это место с представителем правосудия. А так как вор не подозревает, что мне все известно, можно будет спокойно забрать все украденное.

— Ты ошибаешься! — прошептал Матье, с ненавистью глядя на Франсуа и Бернара.— Не найдете вы ничего.

Он тихонько перевалился через подоконник и растворился в ночи. Никто, кроме Франсуа, не обратил внимания на его исчезновение.

— Это все, друг мой? — спросил мэр.

— Да, почти все, господин Руазен! — отвечал Франсуа.

— Ну, хорошо. Правосудие примет во внимание ва-

ши показания. Но пока, поскольку вы никого конкретно не назвали и все строится на одних предположениях, то, как вы понимаете, обвинение с Бернара не снимается.

— Что касается этого, то я ничего не могу сказать,— промолвил Франсуа.

— Я выражаю вам искреннее сожаление, господин Гийом, я сожалею, мадам Ватрен, но Бернар последует за жандармами в тюрьму.

— Ну что же, пусть так, господин мэр! Мать, приготовь-ка мне две рубашки и все остальное, что может понадобиться,— я останусь с Бернаром в тюрьме!

— И я тоже, я тоже! — воскликнула мать.— Я последую за своим сыном!

— Поступайте, как вам будет угодно, но пора в путь!

И мэр подал жандармам знак, как уже делал раньше, а они опять подтолкнули Бернара к двери. Но тут снова на пороге перед ними возник Франсуа.

— Еще минуту, господин мэр,— попросил он.

— Если тебе больше нечего добавить к сказанному...

— Да, да, но не в этом дело. Давайте предположим...

— Предположим — что?

— Ну, предположим, что я знаю, кто виновен.

Все присутствующие вскрикнули.

— Предположим, например, что он только что был здесь.

— Здесь? — спросил изумленный мэр.

— Предположим, что, услышав, как я говорю об его спрятанной добыче, он тут же отправился перепрятывать ее в более надежное место.

— Но в таком случае,— воскликнул мэр,— от нас ускользнет доказательство, и мы окажемся в прежнем положении.

— Нет, послушайте мое последнее предположение... Предположим, что я посадил в кустах у березы засаду: в правом кусте Бобино, в левом — Молодого. И в тот самый момент, когда вор схватит свою добычу, они схватят вора! А?

С дороги послышался шум. С таким шумом обычно тащат человека, не желающего идти.

— Вот, кстати, поглядите-ка! — захохотал Франсуа.— Они схватили его, он упирается, они его волокут!

И вскоре на пороге появились Молодой и Бобино, волочившие Матье за шиворот.

— Эх, черт побери! — кричал Бобино. — Да пойдешь ли наконец, бродяга?

— Давай, иди, не ломайся, — вторил Молодой.

— Матье! — воскликнули все в один голос.

— Вот кошелек, господин мэр, — сказал Молодой.

— А вот и вор! — добавил Бобино. — Давай, поговори-ка с господином мэром, красавчик ты наш!

И он подтолкнул Матье, который сделал несколько шагов, сильно хромая.

— Я был прав! — воскликнул Франсуа. — Он хромет на левую ногу. Теперь вы убедились в точности моих слов?

Матье понял, что попался с поличным, что пытаться отрицать содеянное бесполезно, оставалось скрепя сердце примириться с неизбежным.

— Да, — сказал он, — да, я это сделал. Ну и что? Я хотел только поссорить господина Бернара с мадемуазель Катрин за то, что господин Бернар дал мне пощечину, но, когда я увидел золото, у меня голова пошла кругом! Господин Бернар как бросит свое ружье! Тут меня черт и попутал! Я его подобрал — и вот вам! Ну, клянусь, я все это делал совершенно бессознательно! А поскольку Парижанин остался жив, я отделаюсь десятью годами галер!

Все с облегчением перевели дыхание, все потянулись к Бернару, но Катрин первая бросилась ему на шею. Он хотел ее обнять, но его руки были еще связаны.

Аббат Грегуар заметил горькую усмешку Бернара.

— Я полагаю, что теперь вы прикажете отпустить Бернара на свободу, прямо сейчас.

— Жандармы, молодой человек свободен, — распорядился мэр, — развяжите ему руки.

Жандармы повиновались. И родные, смеясь и плача от радости, окружили молодого человека. Все были растроганы, и даже мэр смахнул слезу. Матье портил идиллическую картину своим присутствием; мэр отдал приказание отправить преступника в тюрьму.

— А папаша Сильвестр? Тюремщик вряд ли скажет спасибо, если разбудить его в такое время! — сказал Матье.

И, вырвав свои руки из рук жандармов, пытавшихся надеть ему наручники, он в последний раз издал крик совы. Потом покорно протянул руки, позволил их сковать и вышел вместе с жандармами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, Матье был отправлен в тюрьму Вилле-Коттре и заключен у папаши Сильвестра вместо Бернара Ватрена.

После ареста подлинного преступника удалился и мэр, опустивший голову в некотором смущении; славные обитатели Нового дома остались одни в своем кругу, ибо нельзя же было считать посторонними добрую матушку Теллье, достойного аббата Грегуара и Бобино с Молодым и тем более — славного Франсуа. Ведь он раскрыл преступление и не уступал в прозорливости «Последнему из Могикиан»! Ничто больше не могло помешать радости, охватившей все семейство и их друзей.

Прежде всего состоялось крепкое рукопожатие отца с сыном. Этим рукопожатием сын как бы говорил: «Вы видите, отец, я не солгал», и в ответном пожатии слышалось: «Да разве я усомнился в тебе всерьез?»

Затем последовало долгое объятие с матерью, которая шептала:

— И подумать только, что во всем была виновата я!

— Тсс! Не будем больше об этом! — отвечал Бернар.

— Простишь ли ты меня, мой бедный сынок?

— Мама! Милая, добрая мама!

— Во всяком случае, я была наказана, а вы оба будете вознаграждены!

Подойдя к аббату Грегуару, Бернар спросил, глядя ему в глаза:

— И вы, дорогой господин аббат, тоже не усомнились во мне?

— Разве не знал я тебя лучше, чем знают твои родители?

— Уж конечно, господин аббат! — поддержал священника папаша Ватрен.

— Но позвольте! — возразила его супруга. — Кто же может знать ребенка лучше его собственной матери?

— Тот, кто сформировал его душу, после того как мать создала его тело, — заметил Ватрен. — Я не против, и ты помолчи!

— Ну нет, не могу я молчать, когда говорят, что кто-то другой знает моего сына лучше, чем я!

— Не спорьте, матушка! Я сейчас вам скажу, в чем дело, и вы все поймете: ведь господин аббат — мой исповедник! — сказал со смехом Бернар.

Настал черед Катрин, разговор с которой Бернар эгоистически оставил под самый конец, чтобы без помех побыть с ней подольше.

— Катрин, милая Катрин!

— Славный мой Бернар,— произнесла девушка со слезами на глазах.

— Давай выйдем,— сказал юноша и повел ее к двери.

— Да куда же они уходят? — всполошилась матушка Ватрен и хотела удержать их.

Отец только пожал плечами.

— Это их дело, мать, пусть идут, не мешай им! — сказал он, набивая трубку.

— Ну...

— А ты представь себя на их месте, в их возрасте, да когда столько всего случилось — неужели бы нам с тобой не о чем было поговорить?

— Гм... — растерялась матушка Ватрен, бросив на дверь последний взгляд, но, даже если бы дверь и осталась открытой, молодых людей нельзя было увидеть: они уже скрылись в лесу, и темнота ночи поглотила их.

А папаша Ватрен, Франсуа, Бобино и Молодой принялись в свете горевших свечей разглядывать бутылки, еще не убранные со стола; они всерьез задумались, не сесть ли им за стол, да не закусить ли?

Аббат Грегуар воспользовался тем, что на него никто не обращал внимания, тихо взял шляпу и трость, осторожно выскользнул из дома и направился по дороге в сторону Вилле-Коттре. Вскоре он набрел на отправившуюся ему навстречу племянницу мадемуазель Аделаиду Грегуар, которая изнывала от беспокойства.

Матушка Теллье и мадам Ватрен расположились у камина и принялись оживленно беседовать. Хотя беседа велась вполголоса, она не становилась от этого более связной.

Бернар и Катрин возвратились уже на рассвете. Они напоминали двух перелетных птиц, улетающих и возвратившихся вместе. Катрин, улыбаясь, поцеловала Марианну и Гийома, собираясь подняться в свою комнату, но Бернар остановил ее:

— Ну, что же ты? — спросил он с нежным упреком.

И она поняла его без дальнейших слов.

Она подошла к Франсуа, сидевшему с мужчинами за столом, и поцеловала его в щеку.

— Что такое? — спросил потрясенный Франсуа.

— Она благодарит тебя своим поцелуем, черт побери! — сказал Бернар. — Я думаю, мы обязаны тебе спасением!

— А! О! — вскричал Франсуа. — Мадемуазель Катрин!

Он вытер рот салфеткой и крепко расцеловал раскрасневшуюся от смущения девушку.

Еще раз попрощавшись с Бернаром, Катрин поднялась к себе.

— Ну, друзья, — сказал Бернар, — я думаю, пора нам делать обход. Быть счастливым, конечно, прекрасно, но надо и послужить герцогу Орлеанскому.

Он взял свое ружье, принесенное жандармами в доказательство его виновности, и, отгоняя мрачное воспоминание, прошептал:

— Хватит об этом.

Позвав друзей и нахлобучив шляпу, он вышел из дому и посмотрел вверх — Катрин была у окна, встречая улыбкой солнце. При виде Бернара она сорвала гвоздику и бросила ему. Он поймал цветок на лету, приколот на грудь и в обществе трех товарищей углубился в лес.

Наступившее утро напомнило матушке Теллье об ее трактире; она простилась с обоими Ватренами и поспешила к своей хижине у Принцева источника так же быстро, как накануне сюда прибежала. Она спешила донести до дома тот ворох вестей, которые станут темой всех разговоров в течение дня: Бернар невиновен! Матье — преступник! Брак Катрин и Бернара состоится через две недели! Давно уже такого рода новостей не было у деревенских кумушек!

В Новом доме у Ватренов между супругами шла борьба великодуший: каждый уговаривал другого лечь спать, чтобы одному сделать уборку. Поскольку эта борьба двух альтруистов грозила перерасти в ссору, папаша Ватрен надел свою шляпу и отправился по дороге в Вилле-Коттре. Неожиданно он увидел коляску мэра, которой управлял старый Пьер; Ватрен хотел свернуть в лес, но был замечен мэром.

Господин Руазен остановил коляску, соскочил на землю и бросился к леснику, крича:

— Господин Ватрен! Господин Ватрен!

Гийом остановился. Он не хотел видеть господина Руазена из чувства брезгливости, присущего каждому

честному человеку, которому свойственно краснеть при виде чужого неблаговидного поступка. А именно неблаговидным было предложение, сделанное мэром накануне. Гийом ждал мэра, чуть сутулясь, и лишь когда тот подошел, повернулся к нему.

— Что же вам еще угодно, господин Руазен? — спросил он.

Явно смущенный, мэр снял свою шляпу, в то время как шляпа Ватрена оставалась у того на голове.

— Дело в том, господин Ватрен, — ответил он, — что, расставшись с вами этой ночью, я много размышлял.

— И о чем же? — осведомился папаша Ватрен.

— Обо всем, дорогой господин Ватрен, а особенно о том, как дурно и некрасиво желать завладеть добром соседа, даже если это богатый принц.

— А с какой стати вы мне об этом говорите, разве я хотел завладеть чьим-либо добром? — спросил старик.

— Мой дорогой господин Ватрен, то, что я сказал, не имеет к вам никакого отношения, — уточнил мэр уничижительным тоном.

— Тогда о ком же речь идет?

— Только обо мне, господин Ватрен, и о тех неудачных предложениях, которые я сделал вам по поводу деревьев рядом с моим участком...

— Вот оно как! Так вы из-за этого и подошли ко мне?

— А почему бы и нет? Если я понял, что был неправ и поэтому должен извиниться перед честным человеком, которого оскорбил.

— Но, господин мэр, вы меня не оскорбили.

— Как бы не так! Разве не оскорбление делать такие предложения порядочному человеку?

— Хорошо! Но, право, господин Руазен, вам не стоило беспокоиться из-за такого пустяка.

— Не пустяка, когда вид ближнего твоего вгоняет в краску и с ним не решаешься поздороваться при встрече. Это совсем не пустяк! Поэтому приношу вам свои извинения и прошу вас простить меня.

— Я должен простить?

— Да, вы.

— Но я не аббат Грегуар, чтобы давать отпущение грехов, — сказал старик.

Все только что услышанное одновременно и растрогало, и позабавило его.

— Нет, вы не аббат, но вы — честный человек, а все честные люди составляют как бы одну семью... а вот я на какое-то мгновение выпал из этой семьи... Чтобы вернуть меня в эту семью, протяните же мне руку, господин Ватрен.

Слова мэра прозвучали так проникновенно, что у старого лесника выступили слезы. Он торжественно снял шляпу с головы, протянув господину Руазену правую руку. Тот пожал ее с такой силой, что просто сломал бы ее, не будь папаша Гийом таким крепким.

— Но это еще не все, господин Ватрен.

— Как не все? Что же еще?

— Я был неправ не только по отношению к вам.

— А-а, вы имеете в виду обвинение против Бернара? Видите, господин мэр, не стоит торопиться с обвинением.

— Мой гнев на вас сделал меня несправедливым по отношению к Бернару и чуть не толкнул на ужасный поступок — это будет мучить меня всю жизнь, если Бернар не простит меня.

— Ну, за этим дело не станет! Успокойтесь, господин мэр, Бернар так счастлив, что все уже забыл.

— Да, дорогой господин Ватрен, но в один прекрасный день он вспомнит, покачает головой и скажет сквозь зубы: «Господин мэр — скверный человек!»

— А! — рассмеялся Ватрен. — Конечно, я не могу поручиться, что такое не придет ему как-нибудь в голову, когда он будет в дурном расположении духа, однако я уверен, что если он вспомнит этот случай, то тут же постарается отогнать от себя дурную мысль.

— Видимо, необходимо, чтобы он простил меня так же чистосердечно, как простили вы.

— Если вас это беспокоит, то я вам скажу: я ручаюсь за то, что Бернар все забудет, ведь он совсем не злой, у него желчи не больше, чем у цыпленка. Я скажу ему, чтобы он к вам зашел, — он все-таки моложе вас.

— Надеюсь, что ко мне придут и матушка Ватрен, и Катрин, и Франсуа, и два лесника из вашего лесничества.

— Хорошо! А когда?

— Сразу по окончании венчания в церкви.

— В связи с чем?

— В связи со свадебным обедом.

— О, господин Руазен, благодарю вас, не надо!

— Не говорите «нет», господин Ватрен, это решено. Если вы откажетесь, я буду считать, что вы упорно держите на меня зло. Я обещал себе, что устрою свадебный пир. Вы знаете, едва я лег в постель, вернувшись от вас, как это пришло мне в голову, и я даже не мог заснуть. Сочинял меню...

— Но, господин Руазен!!!

— Прежде всего будет обязательно подан окорок из кабана, которого вчера застрелил Франсуа. А господин инспектор разрешит нам пристрелить одну козулю; я сам отправлюсь на пруд Рамэ и наловлю там рыбы, матушка Ватрен приготовит фрикассе из кролика — этого никто не умеет делать лучше нее! Есть у нас отличное шампанское, которое прибыло прямо из Эпернэ; и старое бургундское вино — оно так и просит, чтобы его скорее выпили.

— Но все же, господин Руазен...

— Никаких «но», папаша Гийом, иначе я снова буду думать, что я действительно дурной человек, раз со мной не хотят иметь дела самые честные люди!

— Господин мэ́р, я вам пока не могу ничего ответить.

— А если вы мне ничего не ответите, то моя жена — мадам Руазен и мадемуазель Эфросин совсем сживут меня со свету; как прав был господин аббат, когда говорил, что женщина губит мужчину!

Папаша Ватрен собирался было еще сопротивляться и спорить, но вдруг почувствовал, что кто-то тянет его за карман куртки.

Он обернулся. Это был старый Пьер.

— Эх, господин Ватрен, не отказывайте господину мэру в том, о чем он вас так просит... во имя...

И старый Пьер мучительно искал, во имя чего он мог бы уговорить Гийома согласиться.

— Во имя... да, во имя тех двух монет, которые вы для меня дали аббату, когда узнали, что господин мэ́р прогнал меня, чтобы взять Матье!

— Это еще одна вздорная идея, которую мне вбили в голову эти женщины, еще одна их глупая идея!.. Одна ваша жена, Ватрен, — замечательная женщина, просто святая!

— Моя жена... — поразился Ватрен. Он хотел сказать: «Сразу видно, что вы ее совсем не знаете», — но закончил со смехом:

— Сразу видно, что вы ее хорошо знаете, господин мэр!

Потом, видя, что мэр ждет его окончательного ответа, добавил:

— Ну хорошо, господин мэр. Договорились. Свадебный обед будет у вас в доме после венчания.

— А свадьба состоится на неделю раньше, чем вы думаете! — воскликнул господин Руазен.

— Как это? — осведомился старый лесник.

— Угадайте, куда я еду?

— Куда?

— Так вот, я еду в Суассон, чтобы купить разрешение у епископа.

И мэр взобрался в коляску вместе со старым Пьером.

— Послушайте, — улыбаясь во весь рот, вскричал папаша Ватрен, — в таком случае я вам сейчас отвечу за Бернара — он вас простит. Даже если бы вы в десять раз хуже с ним обошлись, он бы с радостью вас простил за эту услугу!

Мэр хлестнул лошадей, и коляска тронулась в путь. Глядя ей вслед, Гийом так увлекся этим занятием, что не заметил, как погасла его трубка. Когда коляска скрылась из виду, он пробормотал:

— А я бы никогда не подумал, что он окажется таким славным человеком!

И, высекая огонь, продолжал говорить сам с собой:

— Что же, он прав. Во всем виноваты женщины. — И Ватрен выпустил клуб дыма. Затем медленно, задумчиво покачивая головой, зашагал в сторону Нового дома.

Две недели спустя, благодаря разрешению епископа города Суассона, полученному мэром, в маленькой церковке Вилле-Коттре радостно звучал орган. Перед аббатом Грегаром стояли коленапреклоненные Катрин и Бернар и улыбались шуткам Франсуа и девушки по имени Биш, которые держали венчальный покров над головами новобрачных.

Мадам Руазен и ее дочь Эфросин сидели на роскошных стульях, помеченных их инициалами и обитых бархатом, которые были помещены несколько в стороне от прочей публики, присутствовавшей на церемонии.

Мадемуазель Эфросин то и дело посматривала на красавца Парижанина, еще бледного после своего ранения, но уже достаточно выздоровевшего, чтобы присутствовать на свадьбе.

Было замечено, что внимание господина Шолле больше привлекала прекрасная новобрачная, залившаяся румянцем смущения под своей вуалью, чем мадемуазель Эфросин.

На церемонию прибыл также и господин инспектор в сопровождении своего рода почетного эскорта из тридцати или сорока лесников.

Аббат Грегуар произнес небольшое наставление новобрачным, которое длилось не больше десяти минут и вызвало слезы у его прихожан.

Когда по окончании церемонии все вышли из церкви, с силой кем-то брошенный камень упал прямо в толпу, к счастью, никого не задев.

Камень пролетел от тюрьмы, отделенной от церкви всего лишь небольшой улочкой.

За решеткой все увидели Матье. Это он и швырнул камень.

Заметив, что на него смотрят, он сложил руки у рта и издал крик совы.

— Эй, господин Бернар! — крикнул он. — Вам известно, что крик совы предвещает беду?!

— Да, — сказал Франсуа, — но когда предсказатель дурной, то и предсказание ложно.

И свадьба удалась, оставив заключенного скрежесть зубами.

На следующий день Матье был перевезен из Вилле-Коттре в тюрьму Лиона, где обычно происходят департаментские сессии суда присяжных.

Как Матье и предвидел, его приговорили к десяти годам галер.

Восемнадцать месяцев спустя в разделе происшествий в газетах появилась следующая публикация:

«Газета «Марсельский маяк» сообщает:

«На каторге в Тулоне была совершена неудавшаяся попытка побега.

Один каторжник где-то достал напильник. Ему удалось перепилить свою цепь и спрятаться за штабелями дров.

Когда настал вечер, он бросился в море, чтобы вплавь добраться до безопасного места, но всплеск воды привлек внимание часового, который обернулся и приготовился стрелять, как только голова беглеца возникнет

снова на поверхности воды. Через несколько секунд каторжник высунул голову, чтобы набрать воздуха, но тут же последовал выстрел часового. Беглец опять погрузился в воду, чтобы больше не появиться.

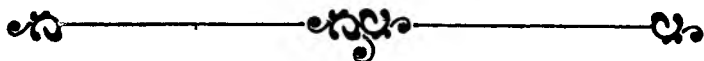
Звук выстрела поднял солдат и служащих на поиски бежавшего; две или три лодки были спущены на воду, но ни беглеца, ни его трупа обнаружить не удалось.

Только на следующее утро, в 10 часов, бездыханное тело убитого всплыло на поверхность.

Этот несчастный, осужденный на десять лет каторги за предумышленное покушение на убийство (но со смягчающими обстоятельствами), был записан только по имени — Матье».



Габриэль
Ламбер



I

КАТОРЖНИК

Когда-то, примерно в мае 1835 года, я находился в Тулоне и жил там в маленьком деревенском домике, который предоставил в мое распоряжение один из моих друзей.

Этот домик был расположен в пятидесяти шагах от крепости Ламальг, как раз напротив знаменитого редута, являвшегося в 1793 году свидетелем необыкновенного взлета судьбы артиллерийского офицера, ставшего сначала генералом Бонапартом, а затем императором Наполеоном.

Я отправился туда с похвальным намерением поработать. У меня в голове складывалась очень интимная, довольно мрачная и ужасная драма, которую я хотел изложить на бумаге.

Эта страшная драма стала романом «Капитан Поль».

Но я заметил одну вещь: дело в том, что для углубленной и упорной работы необходимы тесные комнаты с близко расположенными стенами и свет, приглушенный шторами темного цвета. Широкие горизонты, бесконечное море и в особенности огромные горы, к тому же напоенные чистым золотистым воздухом юга,— все это ведет к созерцанию. А что как не созерцание отдаляет вас от работы.

И вот в результате вместо того, чтобы писать о Поле Жовисе, я мечтал о Дон Жуане де Марано.

Реальность оборачивалась мечтой, а драма метафизикой.

Таким образом, я не работал по крайней мере днем.

Я созерцал, признаюсь, это лазурное Средиземное море с золотистыми блестками, эти гигантские горы, прекрасные в их ужасной наготе, это бездонное, сумрачное, прозрачное небо.

Все, что я видел, мне казалось более прекрасным, чем то, что я смог бы сочинить.

Правда, ночью, когда я заставлял себя закрыть ставни и не поддаваться искушению света луны, когда мог оторвать взгляд от неба с мерцающими звездами и собраться с мыслями, я вновь обретал кое-какое самообладание. Но мой ум, как зеркало, сохранял отсвет дневных волнений, и, как я уже говорил, мне представлялись не человеческие существа с их земными страстями, а прекрасные ангелы, посланники Бога, взмахом крыла пересекающие бесконечные пространства, или же то были демоны, изгнанные из рая, сидящие на какой-нибудь голой скале, угрожая земле. Наконец, вспоминалось какое-нибудь произведение, такое, как «Божественная комедия», как «Утерянный рай» или «Фауст», а не сочинение, подобное «Анжеле» или «Антонио».

К сожалению, я не был ни Данте, ни Милтон, ни Гете.

Потом, в противоположность Пенелопе, новый день разрушал труд всей ночи.

Наступало утро. Я пробуждался от выстрела пушки, вставал с постели и раскрывал окно. Потоки света заполняли комнату, изгоняя все жалкие образы, рожденные моей бессонницей, испуганные ярким светом дня. И тогда я видел, как торжественно приближается с

рейда какой-нибудь великолепный трехпалубный корабль, Тритон или Монтебелло, который встает прямо перед моей виллой и, словно для моего развлечения, дает работу экипажу или обучает артиллеристов.

Бывали дни, когда раздражались бури и чистое небо заволакивалось темными облаками, когда лазурное Средиземное море становилось пепельным и мягкий бриз сменялся ураганом

Тогда обширное зеркало неба покрывалось рябью, и это спокойное пространство начинало кипеть, словно на огне какого-то подземного пекла. Зыбь превращалась в волны, а волны — в горы. Белокурая и нежная Амфитрит, как возмущенный гигант, казалось, хотела взять приступом небо, ломала себе руки в облаках и выла так неистово, что, услышав ее хоть раз, никогда не забудешь.

Вот почему моя злополучная драма все больше и больше отодвигалась на задний план.

Однажды я пожаловался коменданту порта на влияние внешних моментов на мое воображение и сказал, что устал противиться этим впечатлениям и признаю себя побежденным. А потому с сегодняшнего дня я твердо решил: пока живу в Тулоне, буду вести созерцательный образ жизни.

Затем спросил у него, куда бы я мог обратиться, чтобы нанять лодку: лодка — первая необходимость моего нового существования.

Комендант порта ответил, что подумает о моей просьбе и надеется ее удовлетворить.

На следующий день, открыв окно, я увидел в двадцати шагах от себя, у берега, великолепную лодку, которая могла одновременно ходить как под парусами, так и на веслах, и к тому же с экипажем в двенадцать человек.

Я подумал про себя, что это как раз то, что мне нужно; тут старший, заметив меня, причалил, прыгнул на берег и направился к двери моей виллы.

Я пошел навстречу уважаемому посетителю, а тот вытащил из кармана записку и протянул ее мне. В ней говорилось:

«Мой дорогой метафизик, поскольку не следует отвлекать поэтов от их призвания, а вы, как мне кажется, ошибались до сих пор на свой счет, то я посы-

лаю вам лодку, о которой вы просили; можете пользоваться ею до тех пор, пока будете в Тулоне, с открытия до закрытия порта.

Если вдруг ваши глаза, устав от созерцания неба, потянутся к земле, то вы обнаружите около себя двенадцать молодых людей, которые одним только своим видом приведут вас от воображаемого мира к реальному.

Само собой разумеется, не стоит оставлять у них на виду ни драгоценностей, ни денег.

Плоть слаба, как вам известно, и, как говорит старая поговорка, «не искушай Всевышнего», тем более не стоит искушать человека, особенно если этот человек однажды уже не устоял перед искушением.

Искренне Ваш...»

Я позвал Жадена и поделился с ним нашей удачей. К моему большому удивлению, он принял мое сообщение без того энтузиазма, какого я ожидал: компания, с которой нам предстояло общаться, показалась ему несколько разношерстной.

Однако, бросив взгляд на наш экипаж, он заметил под красными колпаками, украшавшими головы каторжников, несколько характерных типов. Он философски покорился и, сделав знак нашим новым слугам не двигаться, принес на берег стул и, взяв карандаш и бумагу, начал рисовать лодку и ее ужасный экипаж.

В самом деле, эти двенадцать мужчин, сидевших в лодке, спокойные, смирные, покорные, ждавшие наших указаний и пытавшиеся их предупредить, совершили каждый какое-нибудь преступление: одни были воры, другие — поджигателями, третьи — убийцами.

Все они прошли через жернова человеческого правосудия. Это были деградировавшие, бесцветные существа, отвергнутые обществом; это уже были не люди, а вещи; у них не было имен, только номера.

Собранные вместе, они составляли одно целое, это было нечто постыдное, называемое каторгой.

Определенно комендант порта сделал мне оригинальный подарок.

И тем не менее я был не прочь посмотреть поближе на этих людей, каторжников — это слово, произнесенное в гостиную, вызвало бы ужас.

Я подошел к ним, они встали все как один и сняли колпаки.

Эта покорность меня тронула.

— Друзья,— сказал я им,— вы знаете, что комендант порта передал вас в мое распоряжение на все время, пока я нахожусь в Тулоне?

Никто из них не ответил ни словом, ни жестом. Можно было подумать, что я говорил с каменными статуями.

— Надеюсь,— продолжал я,— что я буду доволен вами; что же касается вас, то будьте уверены, вы останетесь мною довольны.

Опять молчание.

Я понял, что таковы законы дисциплины.

Вынув из кармана несколько монет, я предложил выпить за мое здоровье, но ни одна рука не протянулась, чтобы их взять.

— Им запрещено что-либо получать,— сказал мне надсмотрщик.

— Почему? — спросил я.

— Они не могут иметь при себе деньги.

— А вы,— сказал я,— вы не можете позволить им выпить стаканчик вина, пока мы будем готовы?

— О, это можно.

— Ну что ж! Прикажите принести обед из рестораника Форта, я заплачу.

— Я говорил коменданту,— сказал надсмотрщик, одним движением покачав головой и пожав плечами,— я говорил, что вы мне их избалуете... Ну ладно уж, раз они в вашем распоряжении, пусть делают то, что вы хотите... Ну-ка, Габриэль... быстренько до форта Ламальг.. Хлеба, вина и кусок сыра.

— Я на каторге, чтобы работать, а не для того, чтобы выполнять ваши поручения,— ответил тот, кому был адресован приказ.

— О, это справедливо, я забыл, что ты слишком важный господин для этого, месье доктор, но ведь речь шла как о твоём обеде, так и об обеде для остальных...

— Я съел свой суп и не голоден,— ответил каторжник.

— Извините...

— Ну что ж! Росиньоль не будет таким гордым... Сходи, Росиньоль, давай, сынок.

Действительно, слова надзирателя были верны. Тот, к кому он обратился и кто, без сомнения, был обязан

своим прозвищем¹ правонарушению, которое он совершил при помощи ловко сделанной отмычки, заменившей недостающий ключ, поднялся, таща за собой своего товарища. Как известно, на каторге один человек прикован к другому. Он направился к кабаре, где мы имели честь кормиться.

В это время я взглянул на строптивного, не очень уважительный ответ которого, к моему большому удивлению, не вызвал неприятных последствий, но он повернул голову в другую сторону. И так как он упрямо сохранял это положение, казавшееся результатом принятого решения, то я не мог его видеть.

Тем не менее я его отметил по светлым волосам и рыжим бакенбардам. Я вернулся в дом, решив рассмотреть его получше в другое время.

Признаюсь, любопытство, которое я испытывал по отношению к этому человеку, заставило меня поспешить с обедом.

Я поторопил Жадена, не понимавшего причину моего нетерпения, и вернулся на берег моря.

Наши новые слуги не спешили так, как мы. Вино из форта Ламальг, белый хлеб и сыр были для них чем-то необычным; к этому они не были привычны, а потому продлевали свой обед, смакуя его.

Росиньоль и его компаньон, казалось, особенно оценили эту удачу.

Добавим, что страж, со своей стороны, смягчился настолько, что разделил трапезу со своими подопечными; только те имели одну бутылку на двоих, в то время как он две на одного.

Что же касается того каторжника, которого надсмотрщик назвал поэтическим именем Габриэль, то, вне всякого сомнения, напарник по цепи подвел его к остальным, не желая отказываться от еды, но тот, все еще мучимый приступом мизантропии, пренебрежительно смотрел, как все едят, сам не притрагиваясь ни к чему.

Заметив меня, все каторжники встали, хотя, как я уже это говорил, они еще не закончили обед, но я им сделал знак продолжать есть, а я, мол, подожду.

У того, кого я хотел увидеть, больше не было возможности склоняться от моих взглядов.

¹ Росиньоль (фр.) — отмычка.

Я изучал его, не стесняясь, хотя он надвинул свой колпак на глаза, чтобы избежать моего пристального внимания.

Это был мужчина не более двадцати восьми — тридцати лет, отличавшийся от своих соседей, на грубой физиономии которых легко было прочесть страсти, приведшие их туда, где они находились. У него же было одно из тех неприметных лиц, на котором на некотором расстоянии не различишь ни одной характерной черты.

Борода, которую он отпустил, росла во все стороны, была редкой и какого-то немислимого цвета, но тем не менее не придавала оригинальности его физиономии.

Его светло-серые глаза блуждали с одного предмета на другой, не оживляясь никаким выражением; конечности были хрупкими и казались по своей природе не предназначенными для тяжелой работы; тело, которому они принадлежали, явно не обладало физической энергией.

Наконец, одним из семи основных грехов, под знамена которого он вступил, была, очевидно, лень.

Я отвернулся бы от этого человека, который, как я в этом был уверен, мог мне дать для изучения только типаж второстепенного преступника, если бы не какое-то смутное воспоминание, шевельнувшееся в моей памяти и подсказавшее, что я видел этого человека не впервые.

К сожалению, как я уже говорил, это была одна из тех ничем не поражающих физиономий, которые без особых причин не могут привлечь к себе внимание...

Я был уверен в том, что где-то уже видел этого человека. Тот факт, что он избегал моего взгляда, еще больше убеждал в этом. Но где я его видел, напрочь вылетело у меня из головы. Я подошел к надсмотрщику и спросил у него имя того из моих гостей, который отказался от предложенного мною угощения. Его звали Габриэль Ламбер. Это имя мне ничего не говорило, я слышал его впервые.

Я подумал, что ошибся, и, увидев Жадена, появившегося на пороге нашего дома, пошел к нему навстречу.

Жаден нес ружья, наша прогулка в этот день сводилась лишь к охоте на морских птиц.

Я перекинулся несколькими словами с Жаденом и попросил его понаблюдать за предметом моего любопытства.

Жаден не помнил, чтобы он когда-либо видел этого человека, и так же, как и мне, имя Габриэля Ламбера было ему незнакомо.

В это время наши каторжники покончили с угощением и встали, чтобы занять свои места в лодке. Мы подошли к ним.

Чтобы добраться до лодки, надо было прыгать с камня на камень. Страж сделал знак несчастным войти по колену в воду и помочь нам.

Тут я заметил одну вещь — вместо того, чтобы подать нам руку для опоры, как это сделали бы обычные матросы, они подставляли нам свой локоть. Было ли это заранее отданное приказание? Либо покорное убеждение, что их рука недостойна касаться руки честного человека?

Что же касается Габриэля Ламбера, то он был уже в лодке со своим напарником, на своем обычном месте, держа в руке весло.

II

АНРИ ДЕ ФАВЕРН

Мы отчалили, но, несмотря на невероятное количество чаек, больших и маленьких, кружащих вокруг нас, мое внимание было сосредоточено на одной-единственной цели. Чем дальше я смотрел на этого человека, тем уверенней становился в том, что в недавнем прошлом наши жизни каким-то образом переплелись.

Где? Каким образом? Вот этого-то я не мог припомнить.

Прошло два или три часа настойчивого копания в моей памяти, но все было безрезультатно.

Каторжник же, со своей стороны, казалось, настолько был занят тем, чтобы избежать моего взгляда, что я начал огорчаться впечатлением, которое мое внимание производило на него, а поэтому попытался думать о чем-нибудь другом.

Но известно, если внимание неотступно приковано к какому-то человеку, то переключить свой интерес на что-то иное бывает просто невозможно.

Каждый раз, когда я отводил глаза в другую сторону, а затем быстро поворачивался к каторжнику, заинтересовавшему меня, я ловил его взгляд, обращенный ко мне.

Так прошел день; два или три раза мы сходили на сушу. В тот период я прослеживал последние события, связанные с жизнью Мюрата, а часть этих событий про-

исходила в этих же местах. То я просил Жадена сделать для меня какой-нибудь рисунок, то сам прогуливался, чтобы бегло осмотреть местность.

Когда же я подходил с вопросом к надсмотрщику, я неизменно встречал взгляд Габриэля Ламбера, такой покорный и умоляющий, что откладывал до следующего раза расспросы, с которыми мне хотелось обратиться.

Мы вернулись домой в пять часов пополудни.

Поскольку остаток дня должен был быть занят обедом и работой, я отпустил надсмотрщика с его командой, назначив ему свидание на следующий день в восемь утра.

Вопреки самому себе я не смог думать ни о чем и ни о ком другом, кроме этого человека.

Нам всем случалось искать в памяти имя и не находить его, хотя когда-то мы его прекрасно знали. Это имя ускользает из памяти в тот момент, когда ты уже готов его произнести, оно звучит в ушах, должно вот-вот сорваться с языка, а потом вдруг снова пропадает и готово исчезнуть навсегда. Тогда задаешь себе вопрос, не во сне ли ты слышал это имя, и кажется, что, упорствуя в его поисках, рассудок сам начинает блуждать во мраке и доходит до грани сумасшествия.

Так было со мной почти весь вечер и часть ночи.

Но что было еще более странным, так это то, что меня преследовало не имя, то есть нечто неосязаемое, звук без плоти, а сам человек, который находился пять или шесть часов перед моими глазами, которого можно было спросить взглядом, до которого я мог дотронуться рукой.

На этот раз по крайней мере у меня не было сомнений: это не было ни созданным мной сновидением, ни явившимся вдруг привидением.

Я был уверен в реальности и с нетерпением ждал утра.

С семи часов я был уже у окна, чтобы увидеть, как подойдет лодка.

Я заметил ее, когда она выходила из порта, похожая на черную точку, затем по мере приближения ее очертания остановились все более отчетливыми.

Сначала она напоминала большую рыбу, плавающую на поверхности моря, вскоре стали видны весла; казалось, чудовище шло по воде на двенадцати лапах.

Затем стали различимы отдельные люди, потом черты их лиц.

Но напрасно я пытался узнать Габриэля Ламбера: его на борту не было, двое новых каторжников заменили его вместе с напарником.

Я побежал на берег.

Каторжники подумали, что я спешу сесть в лодку, поэтому прыгнули в воду, чтобы образовать цепочку, но я сделал знак подойти ко мне только надсмотрщику и спросил у него, почему нет Габриэля Ламбера.

Он ответил, что у того ночью сильно поднялась температура и Габриэль попросил освобождения от этой работы. Что и было сделано, согласно справке, выданной врачом.

Во время моего разговора со стражником я увидел через его плечо, как один из каторжников вытащил из кармана письмо и показал мне.

Это был каторжник, которого называли Росиньоль.

Я понял, что Габриэль нашел способ написать мне, а Росиньоль взялся передать его послание.

Я ответил знаком, что понял и поблагодарил тюремщика.

— Месье хотел бы с ним поговорить? — спросил он меня. — В таком случае, больного или здорового, я заставлю его прибыть завтра.

— Нет, — ответил я, — лицо этого человека поразило меня, и, не видя его сегодня среди остальных, я спросил о причине. Мне кажется, этот человек по уровню выше тех, среди которых находится.

— Да, да, — сказал тюремщик, — это один из «наших господ», что, как бы он это ни скрывал, видно сразу.

Я собирался спросить у моего славного надзирателя, что он подразумевал под «одним из наших господ», когда увидел, что Росиньоль, тащивший за собой прикованного цепью напарника, поднял камень и спрятал под ним письмо, которое показывал мне.

Тогда, как вы понимаете, моим единственным желанием было получить это письмо.

Кивком головы я отпустил надзирателя, поскольку мне больше нечего было ему сказать, и сел возле камня.

Он тотчас же вернулся на свое место у носовой части лодки.

Я тем временем поднял камень и схватил письмо не без некоторого волнения.

Вернувшись к себе, я развернул его. Письмо было написано на грубой бумаге, но сложено аккуратно и даже с некоторой элегантноcтью.

Почерк был мелкий и такой отчетливый, что оказал бы честь профессиональному писателю.

Оно было адресовано: «Господину Александру Дюма». Значит, этот человек тоже меня узнал.

Я быстро открыл письмо и прочитал следующее:

«Месье, я видел вчера ваши усилия меня узнать, а вы должны были видеть, как я старался не быть узнанным.

Вы понимаете, что среди всех унижений, которым мы подвергаемся, самое большое из всех — это очутиться, опустившись столь низко, лицом к лицу с человеком, которого ты встречал в свете.

Я прикинулся больным, чтобы избежать сегодня этого унижения.

Поэтому, месье, если у вас осталась какая-то жалость к несчастному, который знает, что не имеет на нее права, не требуйте моего возвращения к вам на службу, я осмелюсь даже просить вас о большем: не спрашивайте сейчас обо мне. В обмен на эту милость, о которой я вас молю на коленях, даю вам честное слово сообщить имя, под которым вы меня встречали, прежде чем вы покинете Тулон. Это имя даст вам возможность узнать обо мне все, что вы желаете знать.

Соблаговолите удовлетворить просьбу того, кто не осмеливается рассказать о себе.

*Ваш искренний слуга
Габриэль Ламбер».*

Как адрес, так и письмо были написаны прекрасным английским почерком, что свидетельствовало о выработанном стиле, хотя три орфографические ошибки выдавали отсутствие образования.

Подпись была украшена одним из тех сложных росчерков, которые теперь можно видеть только у некоторых деревенских нотариусов.

Это была смесь врожденной вульгарности и приобретенной элегантноcти.

Письмо пока ни о чем не говорило, но обещало в будущем, что я узнаю все, о чем мне хотелось знать. Я почувствовал жалость к этому существу, более возвышен-

ному или, как вы посчитаете, более низменному, чем остальные.

Я решил ответить согласием на его просьбу и сказал тюремщику, что совсем не желаю, чтобы мне возвращали Габриэля Ламбера, наоборот, прошу избавить меня от присутствия человека, внешний вид которого мне не нравится.

Больше об этом я не заговаривал, и никто не обмолвился о нем ни словом.

Я пробыл в Тулоне еще две недели, и все это время лодка и ее экипаж оставались в моем распоряжении.

О своем отъезде я объявил заранее.

Мне хотелось, чтобы новость дошла до Габриэля Ламбера.

Хотелось посмотреть, вспомнит ли он о данном мне честном слове.

Последний день прошел, ничто не говорило о том, что этот человек расположен сдержать слово. Признаюсь, я уже упрекал себя за молчание, когда, прощаясь с гребцами, я увидел, как Росиньоль бросил взгляд на камень, где раньше я нашел письмо.

Этот взгляд был таким многозначительным, что я все тут же понял и ответил утвердительным знаком.

Затем, когда несчастные, огорченные моим отъездом, так как эти две недели, проведенные в моем услужении, были для них праздником, удалились на веслах, я поднял камень и под ним нашел карточку.

Эта визитная карточка была написана от руки, но можно было поклясться, что она была выгравирована.

Я прочитал: *«Виконт Анри де Фаверн»*.

III

ФОЙЕ ОПЕРЫ

Габриэль Ламбер был прав: это имя помогло мне вспомнить если не все, то по крайней мере часть того, что я хотел знать.

— Ну, конечно же, Анри де Фаверн! — воскликнул я. — Анри де Фаверн, это он! Почему же, черт возьми, я его не узнал?!

По правде говоря, я видел человека, носящего это имя, только два раза, но при обстоятельствах, глубоко запечатлевшихся в моей памяти.

Это произошло на третьем представлении «Роберта Дьявола». В антракте я прогуливался в фойе Оперы с одним из моих друзей — бароном Оливье д'Орнуа.

В этот вечер мы встретились после его трехлетнего отсутствия.

Выгодные коммерческие дела заставили моего друга уехать в Гваделупу, где его семья имела значительные владения, и только месяц назад он возвратился из колоний.

Я был рад вновь его увидеть, так как раньше мы были с ним очень близки.

Прогуливаясь по фойе, мы два раза встретили человека, который смотрел на него с поразившей меня аффектацией.

Когда мы встретились с ним в третий раз, Оливье мне сказал:

— Вы не будете возражать, если мы погуляем в коридоре, а не здесь?

— Абсолютно все равно,— ответил я ему,— но почему?

— Я сейчас вам скажу,— начал он.

Мы прошли в коридор.

— Потому что,— продолжал он,— мы два раза встретили одного человека.

— Который смотрел на вас как-то странно, я это заметил. Кто же он?

— Я не могу сказать точно, но абсолютно уверен, что он ищет возможность свести со мной счеты, а я не намерен способствовать ему в этом.

— А с каких это пор, мой дорогой Оливье, вы боитесь стычек? Раньше, как мне помнится, вы славились репутацией фатального дуэлянта.

— Да, несомненно, я дерусь, когда это нужно, но, вы знаете, нельзя же драться со всеми на свете.

— Понимаю, этот человек — мошенник.

— Я не уверен, но боюсь, что это так.

— В таком случае вы абсолютно правы, жизнь — это богатство, которым стоит рисковать лишь ради чего-то равноценного. Тот, кто поступает иначе, остается в дураках.

В этот момент открылась дверь ложи, и хорошенькая женщина сделала рукой кокетливый знак Оливье, пригласив его поговорить с ней.

— Извините, дорогой, я должен вас оставить.

— Надолго?

— Нет, погуляйте в коридоре, через десять минут я вернусь к вам.

— Великолепно.

Некоторое время я прохаживался один и очутился в противоположной стороне от того места, где оставил Оливье, но вдруг услышал громкий шум и увидел, как другие прогуливающиеся по фойе люди устремились к источнику беспорядка. Я последовал за ними и увидел Оливье, отделившегося от этой группы и бросившегося ко мне со словами:

— Пошли, дорогой, уйдем отсюда.

— Что случилось? — спросил я — Почему вы так побледнели?

— Случилось то, что я предвидел. Этот человек оскорбил меня, и я должен с ним драться. Пойдемте же поскорее ко мне или к вам, и я все расскажу.

Мы быстро спустились по одной из лестниц, а незнакомец по другой. Он прижимал к лицу носовой платок, испачканный кровью.

Мы с Оливье столкнулись с ним у двери.

— Вы не забудете, месье,— сказал громко незнакомец, так, чтобы его слышали все,— я жду вас завтра в шесть часов в Булонском лесу, на аллее Молчания.

— О да, месье,— сказал Оливье, пожав плечами,— как условились.

И он пропустил вперед своего противника, который вышел, кутаясь в пальто, явно пытаясь произвести впечатление на окружающих.

— О Боже мой, дорогой друг,— сказал я Оливье,— кто этот господин? И вы будете драться?

— Это необходимо, черт возьми! Ладно.

— А почему это нужно?

— Потому что он поднял на меня руку, а я его ударил по лицу тростью.

— Даже так?

— Честное слово! Сцена с пощечиной самая мерзкая: мне стыдно, но что вы хотите, так уж случилось.

— Но кто этот мужлан, считающий, что таким людям, как вы, необходимо отпускать оплеухи, чтобы заставить драться?

— Кто это? Это господин, называющий себя виконтом Анри де Фаверном.

— Анри де Фаверн? Не знаю такого.

— Я тоже не знаю.

— И что же? Что у вас общего с человеком, которого вы не знаете?

— Именно потому, что я его не знаю, я должен с ним драться, вам это кажется странным, не так ли?

— Признаюсь, это так.

— Я сейчас вам все расскажу. Стоит прекрасная погода, и вместо того, чтобы сидеть в четырех стенах, давайте-ка пройдемся до площади Мадлен.

— Куда хотите.

— Вот вся история. Этот меье Анри де Фаверн имеет прекрасных лошадей и играет напропалую, при этом никто не знает, откуда у него взялось это богатство. Более того, оплачивает все, что покупает, и все, что проигрывает, тут ничего не скажешь. Но, кажется, сейчас он собрался жениться, у него потребовали объяснений по поводу состояния, которым он так разбрасывается. Он ответил, что принадлежит к семье богатых колонистов, имеющих значительные поместья в Гваделупе.

Тогда обратились ко мне, поскольку я только что вернулся оттуда, не знаю ли я графа де Фаверна из Пуэнт-а-Питр?

А надо сказать, дорогой друг, что я знаю там всех, кто заслуживает этого, и что ни в одном уголке острова не существует графа де Фаверна.

Вы понимаете, я рассказал все как есть, не придавая этому большого значения. А потом, в конце концов, это правда, и я повторил бы это в любом случае.

А между тем оказалось, что мой отказ признать этого господина стал препятствием в его женитьбе. Он громко кричал, что я клеветник и он заставит меня раскаяться в клевете. Я не слишком волновался по этому поводу, но вот сегодня вечером, как вы видели, я его встретил и почувствовал, что с этим человеком мне придется драться.

В остальном, дорогой друг, вы были свидетелем. Эту дуэль я пытался избежать как мог: покинул фойе, ушел в коридор, но, заметив, что он последовал за нами, я вошел в ложу графини М... Графиня, как вам известно, сама креолка, и она никогда не слышала ни об этом господине, ни о ком другом под этим именем.

Я подумал, что наконец избавился от преследования.. Но он меня поджидал у дверей ложи, об остальном вы знаете: мы деремся завтра, вы сами слышали.

— Да, в шесть часов утра, но кто так решил?

— Это еще раз доказывает, что я имею дело с каким-то бродягой.

— Разве дело противников решать все это? Что же остается тогда секундантам? А потом, драться в шесть часов утра, подумать только? Кто встает в шесть часов?

— Этот господин в молодости был, видимо, ломовым извозчиком, что же касается меня, то завтра утром у меня будет убийственное настроение, и я буду плохо драться.

— Как это вы будете плохо драться?

— Конечно, драться — это серьезное дело! В любви можно расслабиться, а в дуэли нельзя позволить себе ни малейшей прихоти! Я знаю одно, что я всегда дрался в одиннадцать часов или в полдень и, как правило, чувствовал себя прекрасно. В шесть утра, посудите сами, в октябре месяце! Умирать от холода, дрожать, не спать.

— Ну так что же! Возвращайтесь и ложитесь спать.

— Да, легко сказать, ложитесь. Накануне дуэли всегда есть какие-то недоделанные дела: написать завешание, письмо матери или любовнице, это до двух часов ночи. А потом спится плохо, так как, видите ли, сколько ни говоришь себе, что ты не робкого десятка, ночь перед дуэлью всегда бессонная. И надо подняться в пять утра, чтобы быть в Булонском лесу в шесть, встать при свечах, вы знаете что-нибудь более неприятное, чем это? И как бы хорошо ни держался этот месяц, я не собираюсь его щадить, ручаюсь вам. Кстати, я рассчитываю на вас в качестве секунданта.

— Еще бы!

— Принесите свои шпаги, я не хочу пользоваться моими, он может сказать, что они создают мне преимущество.

— Вы деретесь на шпагах?

— Да, я предпочитаю шпаги, они так же хорошо убивают, как и пистолет, но не калечат. Несчастливая пуля пробивает вам руку, ее нужно отрезать, и вы однорукий. Принесите шпаги.

— Хорошо, я буду у вас в пять часов.

— В пять часов! Какое это для вас удовольствие вставать в пять часов!

— О! Мне так почти безразлично: в это время я только ложусь.

— Все равно, когда все происходит между порядоч-

ными людьми, заставьте меня драться на ваших условиях, но назначьте дуэль на одиннадцать часов или в полдень, и вы увидите: слово чести! Это будет несравнимо, я одержу победу на сто процентов.

— Перестаньте, я уверен, вы и так будете великолепны.

— Я сделаю все возможное, но, честное слово, предпочел бы драться сегодня вечером под фонарями, как солдат гвардии, чем вставать завтра в такую рань. Поэтому вы, мой дорогой, кому не надо писать завещание, идите спать, идите и примите мои извинения.

— Покидаю вас, дорогой Оливье, чтобы дать вам время остаться наедине с собой. У вас есть какие-нибудь другие пожелания?

— Да, кстати, мне нужны два секунданта, зайдите в клуб и предупредите Альфреда де Нерваля, что я рассчитываю на него. Это его не очень потревожит: он будет играть как раз до шести часов. И потом нам будет нужен, господи, где же моя голова, потребуется доктор. Я не хочу, если раню этого господина, лечить его рану; лучше будет, если ему поможет врач.

— Вы кого-нибудь предпочитаете?

— В каком смысле?

— В качестве доктора.

— Нет, я всех их одинаково опасаясь.

— Возьмите Фабьена, это же ваш врач? И мой тоже, он с удовольствием окажет нам эту услугу.

— Пусть так. Лишь бы у него не было осложнений с королем, так как, знаете, его только что приписали ко двору.

— Будьте спокойны, он об этом даже не подумает.

— Верю, это отличный малый, извинитесь перед ним за меня, ведь ему придется вставать так рано.

— Ба! Да он к этому привык.

— При родах, а не на дуэли.

— Надо же, я болтаю как сорока и держу вас на улице, на ногах, тогда как вы должны быть в постели. Идите ложитесь спать, дорогой мой, идите ложитесь.

— Ну что ж, до свидания, и будьте мужественны!

— Э! Слово чести, клянусь, я ничего не понимаю,— сказал Оливье, зевая во весь рот,— по правде говоря, вы даже не представляете, насколько мне противно драться с этим негодяем.

И Оливье ушел к себе, а я отправился в клуб и к Фабьену.

Подав ему руку при расставании, я почувствовал, как его рука дрожит от нервного возбуждения.

Я ничего не понимал. Оливье пользовался репутацией дуэлянта, почему же эта дуэль так его расстраивает?

Тем не менее я был уверен в нем.

IV

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Я поспешил к доктору, а оттуда в клуб.

Альфред пообещал не ложиться, а Фабьен встать с постели в нужное время, оба должны быть у Оливье без четверти пять.

Я прибыл к нему в половине пятого, чтобы доложить, что все сделано согласно его указаниям.

Я нашел его сидящим за столом, он заканчивал несколько писем.

Он так и не ложился.

— Ну-с, дорогой Оливье,— как вы себя чувствуете? — спросил я.

— О, очень плохо, я не в себе, вы видите перед собой самого усталого на земле человека. Как я и предполагал, у меня не было ни минуты времени поспать. Видите, у меня горит в камине огонь, я никак не мог согреться. На улице холодно?

— Нет, сыро и туманно.

— Вы увидите, нам повезет, если не пойдет проливной дождь. Драться под дождем, ноги в грязи, ужасно забавно! Если бы этот человек не был хамом, мы отложили бы дуэль на более позднее время или перенесли ее в укрытие, а так он может быть спокоен, его дело в шляпе, я его излечу от желания искать со мной ссоры второй раз, обещаю вам это.

— Да что вы! Вы так об этом говорите, будто уверены, что убьете его.

— О! Знаете, никогда нельзя быть уверенным, что убил своего противника, только врачи могут поручиться за это. Не так ли, Фабьен? — добавил Оливье, улыбаясь.

нувшись и протягивая руку входящему доктору,— я же нанесу ему отличный удар шпагой — и все.

— Такой, как вы нанесли накануне вашего отъезда в Гваделупу португальскому офицеру, которого я с трудом вытащил с того света, не так ли? — спросил Фабьен.

— А, тот? Тогда было другое дело. Тот выбрал месяц май и, вместо того чтобы грубо выкрикнуть час дуэли, вежливо спросил о времени поединка. Мой дорогой, представляете себе, это была увеселительная прогулка. Мы дрались в Монморанси в прекрасный день и в одиннадцать утра. Вы помните, Фабьен? В кустарнике рядом с нами пела славка, я обожаю птиц. Пока мы дрались, я все время слушал, как поет славка. Она улетела только тогда, когда вы пошли к моему упавшему противнику. А как он красиво упал, послав мне рукой приветствие, да? Португалец был очень воспитанным человеком. Увидите, этот упадет, как бык, забрызгав меня грязью

— Да что вы, дорогой Оливье,— сказал я ему,— вы что же, святой Георгий, чтобы говорить обо всем заранее?

— Нет, я стреляю довольно плохо, но у меня крепкая рука и на поле боя я чертовски хладнокровен. Кстати, на этот раз я имею дело с трусом.

— С трусом.. вызвавшим вас на дуэль?

— Ничего не значит, наоборот, это лишь подтверждает мое убеждение

— Вы прекрасно видели, вместо того, чтобы спокойно прислать своих секундантов, как это делается в хорошем обществе, он принялся оскорблять меня сам. И еще, разве он не проходил дважды мимо, ничего не предпринимая, только смотрел. Потом увидел, как я ушел, принял это за мой испуг и только тогда проявил смелость. Этому человеку надо подраться на дуэли с кем-то из высшего света, чтобы реабилитировать себя. Он предлагает мне не дуэль, а сделку. В конце концов вы увидите все на поле боя. А вот наконец и Нерваль, я уж думал, что он не придет.

— Я не виноват, дорогой,— сказал входя вновь прибывший,— впрочем, я не опоздал.— Он достал из кармана часы.— Пять часов. Вообразите, я выиграл у Вальжюэона что-то около тридцати тысяч франков, и мне нужно было дать ему возможность отыграться, по-

ка его проигрыш не снизился до десяти тысяч. Итак, ты дерешься?

— О Боже мой, да.

— Александр пришел и сказал мне об этом в тот момент, когда я только что проиграл две сотни луидоров, так что я плохо слушал. Я уже влип на десять тысяч франков, когда мне пришла хорошая идея отыграть в экарте с Вальжюзоном; таким образом, я не проиграл. Вы не играете, Фабьен?

— Нет.

— И хорошо делаете, не знаю ничего глупее, чем игра. Это дурная привычка, от которой я хотел бы избавиться. Нет ли какого-либо лекарства, доктор, приятного морального лекарства в соединении с хорошим гигиеническим режимом?

— Кстати, на этот счет, мой дорогой, где этот Арвиль отыскал своего ужасного повара? Вчера он подал нам обед, которого никто не смог есть. Ты пронюхал об этом и хорошо сделал, что не пришел. Ах да, где ты дерешься?

— В Булонском лесу, аллея Молчания.

— О, классические традиции! Знаешь, дорогой, с тех пор как ты уехал в Гваделупу, там уже больше не дерутся: теперь дерутся в Клиньянкуре или в Венсенском лесу. Там есть очаровательные места, открытые Нестором. Знаешь, это Христофор Колумб наших дней. Он дрался там с Галуа — великолепная дуэль!

Ты знаешь, какие они оба смелые. Они обменялись тремя ударами шпаги и разошлись, довольные друг другом, как боги: «*Numero Deus, impage gaudet*»¹.

— Мне думается господа, что пора отправляться,— продолжал Оливье,— не следует заставлять себя ждать.

— Как мы туда поедем?

— У меня есть что-то вроде ландо, шпаги лежат внутри,— сказал я,— карета вполне приличного вида, никто никогда не догадается, что в ней находится.

— Хорошо, пошли.

Мы вышли, расселись по местам и приказали кучеру отвезти нас в Булонский лес на аллею Молчания.

— Кстати,— сказал Альфред, когда коляска трону-

¹ «Нечетное число угодно Богу» (лат.).

лась в путь,— у меня, возможно, тоже будет дуэль. Из-за тебя.

— Из-за меня?

— Да, помнишь, как ты сказал тогда у мадам Меранж, что не знаешь в Гваделупе никакого господина по имени де Фаверн.

— Да, конечно.

— Я услышал это, когда играл партию в вист, у меня в одно ухо вошло, в другое вышло. А позавчера вдруг предлагают в клуб кого бы вы думали?.. Некого господина Анри де Фаверна, называющего себя виконтом, который просто ничто, я убежден в этом. Тогда я сказал, что нельзя принимать этого человека в клуб, что Фаверны не существуют, что ты знаешь Гваделупу как свой карман и никогда не слышал об этих людях. Ему отказали. Это досадно, так как он хороший игрок, вот и вся история. Кажется, он узнал, что я был против него, и имеет на меня зуб. На здоровье! Когда ему надоест злиться на меня, он скажет мне об этом, я его жду. Кстати, а ты с кем дерешься?

— С ним.

— С кем?

— С твоим месье Анри де Фаверном.

— Как! Он злится на меня, а дерется с тобой?

— Да, он, по-видимому, узнал, что все сведения поступают от меня, и, естественно, обратился ко мне.

— О, минутку! минутку! — вскричал Альфред, — я ему скажу...

— Ты ничего не скажешь. Этот месье — мужлан, а с такими не говорят, впрочем, твое дело не имеет отношения к моему. Он меня оскорбил, и мне с ним драться. После будет твоя очередь.

— О да, ты хорошо с этим справляешься, если берешься за дело. Что же касается этого типа, прошу тебя, не убивай его совсем, я тебе его оставляю только при этом условии. Хочешь сигару?

— Спасибо.

— Ты даже не знаешь, от чего отказываешься! Это настоящие сигары, испанского короля, которые Вернон привез из Гаваны.

— Вы не курите, доктор?

— Нет.

— Напрасно.

И Альфред зажег сигару, устроился поуютнее в углу кареты и целиком погрузился в приятное занятие, наслаждаясь ароматным дымом.

V

АЛЛЕЯ МОЛЧАНИЯ

А в это время начал заниматься бледный, болезненный день, из тумана стал вырисовываться Булонский лес.

Впереди нас двигалась коляска. Поскольку она свернула к заставе Майо, мы больше не сомневались, что она везла нашего противника, и приказали кучеру следовать за ней. Она направлялась к аллее Молчания и остановилась, проехав ее на треть. Наша карета остановилась рядом с ней. Когда мы вышли, эти господа уже высадились.

Я взглянул на Оливье. Он полностью преобразился, нервное волнение, которое владело им накануне, совсем исчезло, он был спокоен и холоден, улыбка высокомерного презрения кривила его рот, и единственное, что можно было заметить на его лице, так это легкую складку между бровей; ни одного слова не слетело с его губ.

Его противник представлял всем своим видом полную противоположность; он громко говорил, раскатисто смеялся, сильно жестикулировал, но при этом его кривящееся лицо было бледным и искаженным; время от времени нервный спазм сжимал грудь и вызывал зевоту.

Мы подошли к двум его секундантам, которые предложили ему отойти в сторону.

Тогда, насвистывая, он отошел назад на несколько шагов и начал втыкать свою трость в землю с такой силой, что сломал ее.

Подготовку к дуэли решить было просто. Месье де Фаверн назначил час дуэли. Оливье выбрал оружие. В этом плане все было решено. Вопрос заключался только в том, чтобы договориться, прекращать ли бой после первой раны или противники сами решат, как им быть.

Оливье высказался по этому поводу, это было его право, как оскорбленной стороны: ничто не должно было останавливать боя, кроме падения одного из противников.

Секунданты противника немного поспорили, но вынуждены были уступить, мы не знали ни одного, ни другого, это были друзья месье Анри де Фаверна. Мы считали их вполне подходящими для исполняемых функций, если не принимать во внимание их резкости и унтер-офицерских манер.

Я предложил им осмотреть шпаги, а пока они занимались этим делом, я вернулся к Оливье.

Он был занят тем, что разглядывал геральдическую ошибку, вкраившуюся в герб своего противника, несомненно самодельный: виконт нанес один цвет на другой.

Оливье отвел меня в сторону.

— Посмотрите,— сказал он мне,— вот два письма, одно для моей матери, а другое для ..

Он не произнес имя, но показал его на письме, это было имя молодой особы, которую он любил и на которой собирался жениться.

— Все может случиться,— продолжил он.— Если мне не повезет, отошлешь это письмо моей матери, что же касается другого, мой друг, отдайте его лично ей.

Я пообещал ему все исполнить.

Затем, видя, что чем ближе был момент схватки, тем спокойнее становилось его лицо, я сказал ему:

— Мой дорогой Оливье, я начинаю верить, что этот господин пожалеет о своем оскорблении и дорого заплатит за свою неосторожность.

— Да,— подхватил доктор,— если ваше хладнокровие не напускное.

На губах Оливье появилась улыбка.

— Доктор,— ответил он,— при обычном состоянии здоровья каким бывает пульс невозбужденного человека?

— Ну, шестьдесят четыре или шестьдесят пять ударов в минуту,— ответил доктор.

— Пощупайте мой пульс, доктор,— сказал Оливье, протягивая Фабьену руку.

Фабьен вытащил часы, прижал палец к артерии на запястье и через минуту сказал:

— Шестьдесят шесть пульсаций, удивительное самообладание. Если ваш противник не Святой Георгий, то он будет мертв.

— Дорогой Оливье,— спросил Альфред, обернувшись к нему,— ты готов?

— Я? — спросил Оливье.— Я жду.

— Ну что ж, тогда, господа, ничто не мешает вам начинать выяснять отношения,— сказал он.

— Да, да,— закричал месье де Фаверн,— да, быстрее, быстрее, черт побори!

Оливье посмотрел на него с едва заметной презрительной улыбкой, потом, видя, что тот сбросил сюртук и жилет, тоже снял их.

Именно тогда-то и обозначилось новое различие между этими двумя мужчинами.

Оливье был одет весьма кокетливо, он совершил полный туалет: на нем была сорочка тончайшего батиста, свежая и тщательно плиссированная, сам он был чисто выбрит, его волосы вились, словно только что из-под щипцов камердинера.

Шевелюра же месье де Фаверна говорила о беспокойной ночи.

Было видно, что он не причесывался, со вчерашнего дня его волосы были взлохмачены во время беспокойной ночи, борода отросла, а сорочка из линон-батиста явно была той же, в какой он спал.

— Решительно, этот человек — мужлан,— прошептал Оливье.

Я вручил ему одну из шпаг, другую передал его противнику. Оливье взял свою за клинок, едва взглянув на нее, можно было подумать, что это трость.

Месье де Фаверн, напротив, взял свою за эфес, два три раза взмахнул клинком в воздухе, потом обмотал руку шейным платком, чтобы тверже держать шпагу.

Оливье снял перчатки, но счел ненужной предосторожность, принятую его противником. Только тогда я заметил его руку, белую и женственную.

— Итак! — воскликнул де Фаверн.— Итак?

— Итак, я жду,— ответил Оливье.

— Начинайте, господа,— сказал Альфред.

Противники, находившиеся в десяти шагах друг от друга, сошлись. Я заметил, что чем ближе к противнику подходил Оливье, тем мягче и улыбчивее становилось его лицо.

Лицо его противника, напротив, приобретало черты свирепости, которой я от него не ожидал, глаза налились кровью, а цвет лица стал пепельным.

Я начал разделять мнение Оливье: этот человек был трусом.

В тот момент, когда шпаги скрестились, его губы приоткрылись, и стали видны конвульсивно сжатые зубы.

Оба приготовились к бою и встали в позицию друг против друга, но насколько поза Оливье была простой, легкой, элегантной, настолько поза его противника, хотя и соотвествовала всем правилам искусства, была напряженной и угловатой.

Было видно, что этот человек научился владеть оружием только в определенном возрасте, тогда как другой, как истинный дворянин, играл рапирами с раннего детства.

Месье де Фаверн атаковал: его первые удары были быстрыми, частыми и точными, но после этих первых ударов он вдруг остановился, удивленный сопротивлением своего противника. Действительно, Оливье парировал его выпады с той же легкостью, как он это делал на состязаниях в фехтовальном зале.

Месье де Фаверн побледнел еще больше, если это было возможно, Оливье стал еще улыбчивее.

Тогда де Фаверн сменил положение, присел немного, расставил ноги наподобие итальянских мастеров и повторил те же выпады, но сопровождая их выкриками, практикуемыми для устрашения противника помощниками учителей фехтования.

Но это изменение не оказало никакого влияния на Оливье: не отступив ни на шаг, не уступив ни пяди, не ускоряя своих движений, он продолжал бой. Его шпага скрещивалась со шпагой противника или отражала ее удары так, будто он мог предвидеть выпады своего противника.

Как он и говорил, у него действительно было невероятное самообладание.

Пот бессилия и усталости выступил на лице де Фаверна, мускулы на шее и руках натянулись, как веревки. Рука его явно устала, и было видно, что если бы шпага не удерживалась на запястье шейным платком, то при первой же более активной атаке противника она выпала бы из руки.

Оливье, в противовес ему, продолжал играть своей шпагой.

Мы молча следили за поединком, исход которого нетрудно было предугадать заранее.

Как и сказал Оливье, де Фаверн был обречен.

Наконец через какое-то время на губах Оливье появилась характерная улыбка, он, в свою очередь, сделал один-два ложных выпада, затем в его глазах сверкнула молния, он сделал выпад вперед и простым ударом, но таким точным и быстрым, что мы даже не смогли его уловить, пронзил тело противника насквозь.

Затем, даже не приняв никаких мер предосторожности, обычных в этом случае (то есть не отступив назад, не приготовившись к неожиданному удару), он опустил свою окровавленную шпагу в ожидании дальнейшего.

Месье де Фаверн вскрикнул, зажал рану левой рукой, помахал правой, чтобы освободиться от шпаги, которая, как булава, привязанная к запястью, тянула его вниз. Затем из бледно-мертвенного его лицо стало землистым, он закачался и упал, потеряв сознание.

Оливье, не упуская его из виду, повернулся к Фабьену.

— Теперь, доктор,— сказал он своим обычным голосом, в котором нельзя было уловить ни малейшего волнения,— теперь я полагаю, доктор, что остальное касается только вас.

Фабьен уже был возле раненого.

Шпага не только пронзила его тело, но и продырявила реззевавшуюся сзади сорочку, настолько глубоким был укол; клинок шпаги оказался залит кровью более чем на восемнадцать дюймов.

— Держите, дорогой мой, свою шпагу, поразительно, как она подошла к моей руке,— сказал Оливье, обращаясь ко мне.— У кого вы ее купили?

— У Девисма.

— Будьте добры заказать мне пару таких же.

— Оставьте себе эти, вы ими так хорошо владеете, что грех у вас их забирать.

— Спасибо, мне доставит удовольствие их иметь.

Затем, повернувшись к раненому:

— Кажется, я его убил,— сказал он,— это было бы неприятно. Не знаю, почему, но думаю, что этот несчастный не должен умереть от руки честного человека.

Потом, поскольку нам здесь нечего было больше делать, а месье де Фаверн попал в руки Фабьена, то есть одного из самых искусных докторов Парижа, мы сели в нашу карету, в то время как раненого несли в свою.

Два часа спустя я получил великолепную турецкую трубку, которую Оливье прислал мне в обмен на мои шпаги.

Впрочем, я лично пошел узнать о самочувствии де Фаверна, на следующий день послал своего слугу, на третий день — визитную карточку. На этот третий день я узнал, что благодаря заботам Фабьена он был вне опасности, и перестал заниматься им.

Два месяца спустя я, в свою очередь, получил от него визитную карточку.

Затем я уехал путешествовать и увидел его только на каторге.

Оливье не ошибся насчет будущего этого человека.

VI

РУКОПИСЬ

Вы, конечно, догадываетесь, насколько мне было интересно узнать о событиях, приведших на галеры этого человека, которого я встречал в светских кругах.

Тогда, естественно, я подумал о Фабьене, лечившем его страшную рану, нанесенную шпагой Оливье, и который должен был знать об этом человеке интересные подробности.

Поэтому по возвращении в Париж мой первый визит был к нему, и я не ошибся. Фабьен, имевший привычку записывать день за днем все, что он делал, подошел к секретеру, среди множества тетрадей нашел одну и вручил ее мне.

— Держите, дорогой мой,— сказал доктор,— вы найдете в ней все, что желаете знать, я доверяю ее вам, но не потеряйте, пожалуйста, эта тетрадь является частью будущего большого труда о моральных болезнях, которые мне довелось лечить.

— О черт возьми! Дорогой, это же сокровище для меня,— сказал я.

— Поэтому,— продолжал он,— будьте спокойны. Если я умру от какого-нибудь аневризма — болезни, которая время от времени шепчет на ухо моему сердцу, что я должен быть готов превратиться в прах, откуда и вышел, эти тетради предназначены вам, и мой душеприказчик передаст их.

— Благодарю вас за намерение, но надеюсь никогда не получать подарка, который вы мне обещаете, вы едва на три или четыре года старше меня.

— Прежде всего, вы мне льстите, я, если не ошибаюсь, старше вас на двенадцать или тринадцать лет, но разве возраст в этих обстоятельствах играет роль? Я знаю семидесятилетнего старика, который моложе меня.

— Полноте, доктор, вы — и вдруг такие мысли!

— Именно потому, что я доктор, они у меня и возникают. Подождите, хотите увидеть мою болезнь?.. Вот она.

Он подвел меня к великолепно сделанному рисунку, представлявшему анатомию сердца.

— Я заказал этот рисунок по своим данным и для личного пользования,— продолжал он,— чтобы реально судить, если так можно сказать, о моем положении. Вы видите, это аневризм. Однажды эта ткань порвется; когда? Я не знаю, может быть, завтра, может быть, через двадцать лет, но что она порвется, это точно, тогда за три секунды все будет кончено. И в одно прекрасное утро, за завтраком, вы услышите: «Смотри-ка, этот бедный Фабьен, знаете? — Да. И что же? — Он внезапно умер.— Ба, и как? — О, Боже мой! Беря пульс у больного. Видели, как он покраснел, затем побледнел, потом упал, даже не вскрикнув, его подняли — он был мертв.— Надо же! Как странно!»

Два дня поговорят в свете, неделю на медицинском факультете, две недели в Институте, и все на этом, прощай, Фабьен!

— Вы сошли с ума, дорогой мой!

— Именно так, как имею честь вам рассказать. Но, прошу прощения, я должен уйти, меня ждет больница, вот ваша тетрадь, возьмите из нее все, что вам нужно, и делайте с этим, что хотите. Прощайте.

Я пожал Фабьену руку в знак благодарности и распрощался с ним, одновременно радостный и грустный: грустный от только что сделанного предсказания и радостный от информации, которую я узнаю из его тетради.

Таким образом, я вернулся к себе, приказал никому не принимать, надел халат, устроился в большом кресле, вытянул ноги к камину и открыл драгоценные записки.

Я переписал буквально все, ничего не изменив в редакции Фабьена.

«Этой ночью я был предупрежден, что между месье Анри де Фаверном и месье Оливье Д'Орнуа состоится дуэль, и последний попросил меня сопровождать их на место встречи.

Я пришел к нему ровно в пять.

В шесть часов мы были на аллее Молчания, где должно было произойти это событие.

В шесть с четвертью месье Анри де Фаверн упал раненный ударом шпаги.

Я тотчас же бросился к нему, тогда как Оливье со своими секундантами сели в карету и отправились в Париж; раненый был без памяти.

Было очевидно, что рана если и не была смертельной, то, во всяком случае, очень серьезной: железное треугольное острие вошло в правый бок и вышло на несколько дюймов с левой стороны.

Я немедленно сделал ему кровопускание и посоветовал кучеру ехать по авеню де Ней и Елисейским полям, потому что этот путь был самым коротким, но, главным образом, из-за дороги: карета могла все время ехать по гладкой земле и меньше утомляла раненого.

У Триумфальной Арки месье де Фаверн подал некоторые признаки жизни, его рука задвигалась и, казалось, искала источник глубокой боли, потом она остановилась на груди.

С его губ сорвались два-три приглушенных вздоха, и из его двойной раны хлынула кровь. Наконец, он приоткрыл глаза, посмотрел на своих секундантов, затем, установив взгляд на мне, узнал меня и, сделав усилие, прошептал:

— А, это вы, доктор? Я вас умоляю, не покидайте меня, я очень плохо себя чувствую.

Затем, поскольку его последние силы ушли на этот разговор, он закрыл глаза, и легкая кровавая пена показалась у него на губах.

Очевидно, было затронуту легкое.

— Успокойтесь,— сказал я ему,— вы ранены тяжело, это правда, но рана не смертельна.

Он не ответил мне, не открыл глаза, но я почувствовал, что он слегка пожал руку, которой я щупал его пульс.

Пока карета ехала по твердой земле, все было хорошо, но у площади Революции кучер вынужден был поехать по мостовой, и тогда резкие толчки кареты стали доставлять ему такие страдания, что я спросил у его секундантов, не живет ли кто-нибудь из них поблизости.

Но де Фаверн, несмотря на кажущееся бесчувствие, услышал мой вопрос и воскликнул:

— Нет, нет, домой!

Убеденный, что моральное раздражение может только усугубить физический недуг, я отказался от своего первого решения и велел кучеру следовать своим путем.

Через десять минут тревог, в течение которых я видел, как при каждом толчке болезненно дергается лицо раненого, мы прибыли на улицу Тэтбу, дом 11.

Месье де Фаверн жил на втором этаже.

Один из секундантов пошел предупредить слуг, чтобы они помогли нам перенести их хозяина, спустились для лакея в блестящих, обшитых галунами ливреях.

Я привык судить о людях не только по ним самим, но также по тем, кто их окружает, и не мог не заметить, что ни тот, ни другой не проявили ни малейшего сочувствия к раненому.

Они явно были в услужении у месье де Фаверна недавно, и эта служба не внушала им никакой симпатии к хозяину.

Мы пересекли целую анфиладу комнат, которые, как мне показалось, были роскошно меблированы, но которые я не смог как следует рассмотреть, и пришли в спальню; кровать была еще разобрана, как ее оставил хозяин.

У стены, со стороны изголовья, на расстоянии вытянутой руки лежали два пистолета и турецкий кинжал.

Мы уложили раненого в постель, двое слуг и я, так как секунданты посчитали свое присутствие ненужным и уже уехали.

Увидев, что рана больше не кровоточит, я наложил повязку.

Когда я закончил эту операцию, раненый сделал знак слугам удалиться, и мы остались вдвоем.

Несмотря на то, что де Фаверн меня мало интересовал, я даже чувствовал к нему некоторое отвращение, меня огорчало, что придется оставить этого человека в одиночестве.

Я огляделся вокруг себя, внимательно посмотрел на двери, ожидая, что кто-нибудь войдет, но ошибся.

Тем не менее я не мог больше оставаться около него, меня ждали мои обычные дела. Было уже половина восьмого, а в восемь я должен уже быть в Шарите¹.

— У вас никого нет, кто бы мог ухаживать за вами? — спросил я.

— Никого, — ответил он глухим голосом.

— Нет ни отца, ни матери, ни родных?

— Никого.

— Любовница?

Он, вздыхая, покачал головой, и мне показалось, что он прошептал имя Луиза, но это было так невнятно, что я засомневался.

— Но не могу же я оставить вас так, — сказал я опять.

— Пришлите мне сиделку, — пробормотал раненый, — и скажите, что я хорошо заплачу.

Я поднялся, чтобы попрощаться.

— Вы уже уходите? — спросил он.

— Мне надо уйти, у меня больные; будь это богатые люди, возможно, я был бы вправе заставить их подождать, но это бедняки, я должен быть вовремя.

— Вы вернетесь днем, да?

— Да, если вы этого хотите.

— Конечно, доктор, и как можно скорее, пожалуйста.

— Как можно скорее.

— Вы мне обещаете?

— Обещаю.

— Идите же!

Я прошел два шага к двери, раненый сделал движение, словно стремясь удержать меня и собираясь заговорить.

— Что вы желаете? — спросил я.

Он, не отвечая, уронил голову на подушку.

Я подошел к нему.

— Говорите, — продолжал я, — и, если в моих возможностях оказать вам услугу, я сделаю это.

Казалось, он решил.

— Вы мне сказали, что рана не смертельна?

— Да, я вам это сказал.

¹ Шарите — городская больница для бедных

— Можете в этом поручиться?

— Думаю, что да, но тем не менее, если вы хотите сделать какие-нибудь распоряжения...

— То есть если я внезапно умру?..

И он побледнел еще больше, холодный пот выступил у него на лбу.

— Я вам сказал, что рана не смертельна, но в то же время она серьезна.

— Месье, я могу доверять вашим словам, не так ли?

— Не нужно ничего спрашивать у тех, в ком вы сомневаетесь...

— Нет, нет, я в вас не сомневаюсь. Возьмите,— добавил он, подавая мне ключ, который он снял с цепочки, висевший на шее,— откройте этим ключом ящик секретера.

Я выполнил его просьбу. Он приподнялся на локте: все, что оставалось у него от жизни, казалось, сосредоточилось в его глазах.

— Вы видите портфель? — спросил он.

— Вот он.

— В нем семейные документы, которые касаются только меня, если я умру, вы бросите этот портфель в огонь.

— Я обещаю вам это.

— Не читая?

— Он закрыт на ключ.

— О! Запор портфеля легко открыть...

Я бросил портфель.

Хотя фраза была оскорбительной, она у меня вызвала больше отвращения, чем негодования.

Больной видел, что он меня оскорбил.

— Извините,— сказал он мне,— тысячу извинений. Пребывание в колониях сделало меня недоверчивым. Там никогда не знаешь, с кем имеешь дело. Извините, возьмите портфель, и обещайте мне сжечь его, если я умру.

— Я обещаю вам это вторично.

— Спасибо.

— Это все?

— Нет ли там, в ящике, ассигнаций?

— Да, две по тысяче, три по пятьсот.

— Будьте так добры, дайте их мне, доктор.

Я взял пять банковских билетов и подал ему. Он их скомкал в руке и сунул под подушку.

— Спасибо,— сказал он, устав от сделанных усилий...

Затем уронил голову на подушку:

— Ах, доктор, мне кажется, я умираю! Доктор, спасите меня, и эти пять банкнот будут ваши, в два раза больше, в три, если потребуется. Ах!..

Я подошел к нему, он снова потерял сознание.

Я позвонил лакею, заставил раненого понюхать флакон с английской солью.

Через какое-то время я почувствовал биение пульса, он приходил в себя.

— Ну что же, еще не сейчас,— прошептал он. Приоткрыл глаза и, глядя на меня, сказал:

— Спасибо, доктор, что не оставили меня.

— Однако,— начал я,— я должен, наконец, уйти.

— Да, но возвращайтесь поскорее.

— Я вернусь в полдень.

— А до этого никакой опасности, как вы думаете?

— Думаю, что нет. Если бы шпага задела какой-нибудь главный орган, вы были бы уже мертвы.

— Вы пришлете мне сиделку?

— Тотчас же, но пока ваш слуга может побыть с вами.

— Конечно,— сказал лакей,— я могу остаться около господина.

— Нет, нет!— вскричал раненый.— Идите к своему товарищу, я хочу спать, а вы мне мешаете.

Лакей вышел.

— Неосторожно оставаться в одиночестве,— сказал я ему.

— Не более чем лежать беспомощным рядом с этим плутом, который может меня убить и обворовать! Дыра уже проделана,— добавил он глухо,— достаточно ввести шпагу в рану и найти сердце, в которое мой противник не попал.

Я содрогнулся от того, что такие мысли преследуют этого человека. Кто же он такой, если ему на ум приходят подобные идеи?

— Нет,— добавил он,— нет, напротив, заприте меня, возьмите ключ, отдайте его сиделке и посоветуйте ей не отходить от меня ни днем, ни ночью. Это честная женщина, не так ли?

— Я отвечаю за нее.

— Ну хорошо! Идите, до свидания... до полудня.

— До полудня.

Я вышел и по его просьбе запер дверь на ключ.

— На два оборота,— крикнул он,— на два оборота!

Я повернул ключ еще раз.

— Спасибо,— сказал он ослабевшим голосом.

И я ушел.

— Ваш хозяин хочет спать,— сказал я лакеям, которые смеялись в прихожей.— И так как опасается, что вы можете войти без вызова, он вручил мне этот ключ для сиделки, которая скоро придет.

Лакеи обменялись странными взглядами, но ничего не ответили.

VIII

БОЛЬНОЙ

Я вышел и пять минут спустя зашел к превосходной сиделке, дал ей соответствующие указания, и она тут же отправилась к месье Анри де Фаверну.

А я вернулся к нему в полдень, как и обещал.

Он еще спал.

Я подумал было, что смогу продолжить обход своих больных и зайти позднее.

Но, оказывается, он просил передать мне, если я приду, подождать, пока он не проснется. Я уселся в гостиной, рискуя потерять полчаса времени, всегда такого ценного для любого врача.

Я воспользовался ожиданием, чтобы осмотреться вокруг себя и, если мне это удастся, попытаться составить определенное мнение об этом человеке.

На первый взгляд все предметы были не лишены элегантности и, лишь рассмотрев квартиру повнимательнее, я заметил, что она носила печать безвкусной роскоши: ковры ярких цветов и самые красивые, какие только могли поставить магазины Салландруз, не гармонировали ни с цветом обоев, ни с обивкой мебели.

Повсюду преобладало золото: лепной орнамент дверей и потолка был позолочен, на гардинах висела золотая бахрома, обои исчезли под множеством золоченых рам по 20 франков с гравюрами или с дрянными копиями картин мастеров, которые, должно быть, были проданы невежде покупателю за оригиналы.

В четырех углах гостиной возвышались этажерки, на которых среди довольно ценных китайских безделушек красовались изделия из слоновой кости из Дьеппа и современного фарфора, настолько грубо обработанные, что невозможно было и предположить, что они попали туда в качестве статуэток саксонского фарфора.

Стенные часы и канделябры были в том же стиле, а стол, заваленный великолепно переплетенными книгами, дополнял ансамбль; все вместе давало довольно жалкое представление о хозяине дома.

Все было новым и казалось купленным три-четыре месяца тому назад.

Этот осмотр, из которого я не вынес ничего нового, утвердил меня в мнении, что я нахожусь в доме нувориша с плохим вкусом, ему удалось собрать вокруг себя лишь внешние признаки благополучия. Тут вошла сиделка и сказала, что раненый только что проснулся.

Я прошел из гостиной в спальню. Там все мое внимание поглотил больной.

С первого взгляда я заметил, что его состояние не ухудшилось, а, напротив, симптомы были благоприятными. Я успокоил его, так как он по-прежнему волновался, а высокая температура поддерживала его страхи. Тяжело было видеть мужчину таким испуганным. Непонятно, как этот слабонервный человек совершил столь смелый шаг, оскорбив Оливье, известного своей готовностью драться на шпагах.

Это было секретом, разгадкой которого мог быть тончайший расчет, или, наоборот, нерассчитанная ярость. Я подумал, что в конце концов для меня все прояснится, от врачей почти невозможно бывает спрятать упорно скрываемую тайну.

Его состояние меня уже меньше беспокоило, и я смог приглядеться к его личности. Как и его квартира, он был смесью аномалий.

Искусство парикмахера могло бы придать аристократичность его облику, но аристократичность не желала проявляться там, где ее никогда не было, появилась лишь особая рода эlegantность: его светлые волосы были пострижены по моде, редкие бакенбарды аккуратно подбриты.

Но рука, которую он протянул мне, чтобы я пощупал пульс, была вульгарной, даже уход за руками в последнее время не смог исправить их природную грубость, ног-

ти были не ухожены, обгрызены, некрасивы. Около кровати стояли сапоги, которые он снял утром. Так же, как и руки, его ноги говорили о плебейском происхождении.

Как я уже упоминал, у раненого была температура, хотя и высокая, она не изменила выражения его глаз: я заметил, они никогда не смотрели прямо на человека или на предмет, тогда как его речь была возбужденной и чрезвычайно быстрой.

— А, вот и вы, мой дорогой доктор,— сказал он мне.— Ну что, вы видите, я еще не умер, а вы — великий пророк; я вне опасности, так ведь, доктор? Проклятый удар шпагой! Он был очень точным. Этот драчун ведь всю свою жизнь занимается фехтованием, этот клеветник, презренный Оливье.

Я прервал его:

— Извините,— сказал я ему,— я врач и друг господин д'Орнуа и поехал на место дуэли с ним, а не с вами. Мы знакомы с вами только с сегодняшнего утра, а его я знаю уже десять лет. Вы прекрасно понимаете, если будете продолжать нападать на него, я попрошу вас обратиться к кому-нибудь из моих коллег.

— Как, доктор,— воскликнул раненый,— вы меня оставите в таком состоянии? Это будет ужасно, не говоря уж о том, что вы найдете не много пациентов, которые заплатят вам столько, сколько я.

— Месье!

— О да, знаю, вы все время делаете вид, что бескорыстны, а потом, когда наступает, как говорят, момент расплаты, вы все подсчитываете.

— Возможно, месье, в этом можно упрекнуть некоторых моих коллег, но я вам докажу, что жадность, за которую вы упрекаете врачей,— не самый мой большой недостаток, и мои визиты к вам продлятся не дольше, чем это необходимо.

— Ну вот вы и сердитесь, доктор?

— Нет, отвечаю на ваши упреки.

— Не надо обращать внимания на то, что я говорю. Знаете, мы, аристократы, позволяем иногда себе вольности в речи, извините же меня.

Я поклонился, он протянул мне руку.

— Я уже пощупал у вас пульс,— сказал я ему,— он довольно хороший, насколько это возможно.

— Ну вот, вы сердитесь на меня за то, что я дурно говорил о господине Оливье, он ваш друг, я не прав, но

просто я сердит на него, даже не из-за удара шпагой, который он нанес мне.

— Который вы сами искали,— ответил я,— и он вам в этом не отказал, согласитесь.

— Да, я его оскорбил, потому что хотел драться с ним, а когда хотят драться с человеком, его надо оскорбить. Извините, доктор, сделайте одолжение, позвоните, пожалуйста.

Я потянул за шнурок звонка, вошел один из лакеев.

— Приходили от месье де Макарти справиться о моем здоровье?

— Нет, месье барон,— ответил лакей.

— Это странно,— прошептал больной, явно обозленный отсутствием внимания.

Наступило молчание, во время которого я сделал движение, чтобы взять трость.

— Так вы знаете, что мне сделал ваш друг Оливье?

— Нет, я слышал несколько слов, сказанных о вас в клубе, не это ли?

— Он мне сделал, скорее, он хотел помешать моему великолепному браку с молодой, восемнадцатилетней, девушкой, прекрасной как богиня, и к тому же с рентой в пятьдесят тысяч фунтов.

— Но каким образом он мог помешать этому браку?

— Своей клеветой, доктор, сказав, что он не знает никого под моим именем в Гваделупе; тогда как мой отец, граф де Фаверн, владеет там участком земли в два лье, у него великолепное поместье с тремя сотнями негров. Но я написал господину де Мальпа, губернатору, и через два месяца эти документы будут здесь. Вот тогда увидим, кто лгал.

— Возможно, Оливье ошибся, месье, но не солгал наверняка.

— А пока, видите ли, по этой причине тот, кто должен был быть моим тестем, не прислал даже справиться о состоянии моего здоровья.

— Возможно, он не знает, что вы дрались на дуэли?

— Он знает, я сказал ему об этом вчера.

— Вы ему это сказали?

— Конечно. Когда он мне сообщил о сплетнях, распространяемых господином Оливье, я ему сказал: «Ах, так! Ну что ж, сегодня же вечером я найду способ поссориться с этим франтом Оливье».

Я начал понимать эту быстро прошедшую смелость моего больного. Стопроцентное помещение денег: дуэль могла ему принести хорошенькую жену с рентой в пятьдесят тысяч фунтов, и он дрался.

Я встал.

— Когда я увижу вас, доктор?

— Завтра я зайду снять повязку.

— Надеюсь, что, если при вас будут говорить о дуэли, вы скажете, что я вел себя достойно.

— Я скажу то, что видел, месье.

— Этот презренный Оливье,— прошептал раненый,— я отдал бы сто тысяч франков, чтобы сразу убить его.

— Если вы так богаты, чтобы заплатить сто тысяч франков за смерть человека,— сказал я,— вам следует меньше сожалеть о вашем браке, который добавил бы лишь пятьдесят тысяч ренты к вашему богатству.

— Да, но этот брак меня поставил бы... этот брак мне позволил бы прекратить опасные спекуляции; молодой человек, притом родившийся с аристократическими вкусами, никогда не бывает достаточно богат. А потом, я играю на бирже, правда, мне везет, в прошлом месяце я выиграл более тридцати тысяч франков.

— Я вас поздравляю, месье. До завтра.

— Подождите-ка... мне кажется, позвонили!

— Да.

— Сюда идут.

— Да.

Вошел слуга.

Впервые я увидел, как глаза барона пристально уставились на человека.

— Ну и? — спросил он, не дав времени произнести ни слова слуге.

— Господин барон,— сказал слуга,— господин граф де Макарти справляется о вашем здоровье.

— Лично?

— Нет, он прислал своего камердинера.

— А,— произнес больной,— и вы ответили?..

— Что господин барон был тяжело ранен, но что доктор отвечает за него.

— Это правда, доктор, что вы отвечаете за меня?

— Ну да, тысяча раз да,— ответил я,— разве что вы не совершите еще какой-нибудь неосторожности.

— О, что касается меня, будьте спокойны. Скажите мне, доктор, поскольку господин граф де Макарти при-

слал осведомиться о моем здоровье, это доказывает, что он не верит злословию господина Оливье, не правда ли?

— Несомненно.

— Хорошо, тогда лечите меня поскорее, и вы будете пировать на моей свадьбе.

— Я сделаю все от меня зависящее, чтобы достичь цели.

Я откланялся и вышел.

IX

БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В ПЯТЬСОТ ФРАНКОВ

Выйдя на улицу, я вздохнул свободнее. Удивительное дело, этот человек вызывал у меня гадливость, которую я не мог понять, похожую на отвращение, испытываемое при виде паука или жабы. Мне не терпелось увидеть, что он вне опасности, и прекратить с ним всякие отношения.

На следующий день я пришел к нему снова, как и обещал; рана заживала.

Раны, полученные в результате ударов шпагой, имеют такое свойство — они либо приводят сразу к смерти, либо быстро заживают.

Рана господина де Фаверна шла к полному излечению.

Неделю спустя он был вне опасности.

Согласно данному самому себе обещанию, я объявил ему, что мои визиты ему больше не нужны и с завтрашнего дня я их прекращаю.

Он настаивал, чтобы я приходил еще, но я принял твердое решение и держался его.

— Во всяком случае, — сказал выздоравливающий, — вы не откажете лично принести мне портфель, который я вам вручил: он имеет для меня слишком большую ценность, чтобы доверить его случаю; я рассчитываю на этот последний акт любезности с вашей стороны.

Я пообещал это сделать.

И на следующий день я действительно принес портфель. Месье де Фаверн усадил меня возле своей кровати и, весело поигрывая портфелем, открыл его. В нем было шестьдесят банковских билетов, большинство по

тысяче франков. Барон вытащил два или три банкнота и скомкал их в руке.

Я встал.

— Доктор,— начал он,— вас не удивляет одна вещь?

— Какая? — спросил я.

— Что некоторые люди осмеливаются подделывать банковские билеты?

— Очень удивляет, это подло и гнусно.

— Гнусно, возможно, но не так уж подло. Знаете, надо иметь очень твердую руку, чтобы написать эти две маленькие строчки:

*«Подделка банковского билета карается
по закону смертной казнью»*

— Да, конечно, но это преступление требует определенной смелости. Тот, кто поджидает человека в лесу, чтобы его убить, почти так же храбр, как и солдат, идущий на штурм или в бой, но одного награждают, а другого посылают на эшафот.

— На эшафот! Я понимаю, когда посылают на эшафот убийцу, но не находите ли вы, доктор, что рубить голову человеку за то, что он изготовил фальшивые банкноты,— это жестоко?

Барон произнес эти слова с беспокойством в голосе и искаженным лицом, это было так заметно, что я был поражен.

— Вы правы,— сказал я ему,— и я знаю из верных источников, что это наказание предполагают смягчить и ограничиться галерами.

— Вам это известно, доктор? — живо воскликнул он.— Точно известно?.. Вы уверены?

— Я слышал, как об этом говорили тому лицу, от кого поступило предложение.

— Королю. В самом деле, правда, вы же врач королевского штаба. Ах! Король сказал это! И когда это предложение вступит в действие?

— Не знаю.

— Узнайте, доктор, прошу вас, меня это интересует.

— Вас это интересует? — спросил я с удивлением.

— Конечно. Разве не интересно любому гуманному человеку узнать, что такой строгий закон упразднен?

— Он не упразднен, месье, только галеры заменят смертную казнь. Вам это кажется большим улучшением судьбы виновных?

— Нет, конечно, нет! — смущенно подхватил барон.— Можно даже сказать, что это хуже, но по крайней мере сохраняются жизнь и надежда; каторга — это лишь тюрьма, и нет такой тюрьмы, из которой нельзя убежать.

Этот человек вызывал у меня все большее и большее отвращение. Я поднялся, чтобы уйти.

— Ну что ж, доктор, вы меня уже покидаете? — сказал барон, смущенно вертя в руках два или три банковских билета с явной целью сунуть мне их в руку.

— Конечно,— сказал я, отступая еще на шаг,— разве вы не выздоровели, месье? Чем я могу быть вам теперь полезен?

— Вы недооцениваете удовольствие, которое доставляет мне ваше общество.

— Сожалею, месье, у нас, врачей, мало времени предаваться удовольствию, каким бы оно ни было приятным. Наше общество — это болезнь, и, как только мы ее изгнали из дома, мы должны уйти, чтобы прогнать ее из другого дома. Вот так, месье барон, позвольте мне теперь откланяться.

— И я не буду больше иметь удовольствия видеть вас?

— Не думаю, месье, вы возвращаетесь в свете, а я там бываю мало, мое время четко рассчитано по часам.

— Но если я вдруг заболею?

— О, тогда другое дело, месье.

— В таком случае я могу рассчитывать на вас?

— Вполне.

— Доктор, дайте мне слово.

— Я не обязан вам его давать, потому что я только выполняю свой долг.

— Но все равно обещайте.

— Ну, хорошо, месье, обещаю.

Барон снова протянул мне руку, но так как я уже знал, что у него в руке лежит банкнота, сделал вид, что не заметил дружеского жеста, которым он попрощался со мной.

Я вышел.

На следующий день я получил письмо и визитную карточку месье барона Анри де Фаверна, один билет в тысячу франков и одну пятисотфранковую банкноту.

Я ему тотчас же ответил:

«Господин барон,

если бы вы подождали, пока я вам пришлю счет, то увидели бы, что я не оцениваю так высоко мои незначительные услуги, как вы хотите это сделать.

Я привык сам назначать цену за визиты; и, чтобы успокоить вашу щедрость, я вас предупреждаю, что я их оцениваю по самому высокому тарифу, то есть по двадцать франков.

Я имел честь посетить вас десять раз, следовательно, вы должны только двести франков; вы мне прислали пятнадцать сотен франков, из них возвращаю вам тридцать сотен.

Имею честь быть... и т. д. и т. п.

Фабьен».

В действительности я оставил у себя билет в пятьсот франков и отправил барону де Фаверн тысячный билет и триста франков разменной монетой; затем положил этот банковский билет в бумажник, где уже лежали двенадцать других билетов того же номинала.

На следующий день мне нужно было кое-что купить у ювелира. Эти покупки составили 2000 франков, я оплатил их четыремя банковскими билетами по пятьсот франков каждый.

Неделю спустя ювелир в сопровождении двух полицейских жандармов явился ко мне.

Один из четырех билетов, которые я ему дал, был признан фальшивым в банке, куда он отправился оплачивать счета.

Когда спросили, откуда у него эти банкноты, он назвал меня, и поэтому пришли ко мне.

Так как я взял эти четыре банкноты из бумажника, где, как я уже говорил, лежали двенадцать других, а все они были из разных источников, то я не сумел дать какие-либо разъяснения правосудию.

Но, поскольку я знал моего ювелира как очень честного человека, то готов был возместить пятьсот франков, если мне вернут тот билет. Мне ответили, что это не практикуется, банк принимает все представляемые ему банковские билеты, даже если они признаны фальшивыми.

После того как с ювелира было снято подозрение в том, что он умышленно заплатил фальшивой банкнотой, он ушел.

Полицейские задали мне несколько вопросов и тоже ушли, после чего я больше ничего не слышал об этом грязном деле.

Х

КРАЙ ЗАВЕСЫ

Прошло три месяца, когда в утренней почте я нашел следующую маленькую записку:

«Мой дорогой доктор, я действительно очень болен, мне серьезно нужны ваши знания. Зайдите ко мне сегодня, если вы не держите злобу против меня.

*Преданный вам,
Анри, барон де Фаверн,
улица Тэтбу, № 11».*

Это письмо, которое я привожу слово в слово с двумя украшающими его орфографическими ошибками, подтвердило мое мнение об отсутствии образования у моего клиента. В конце концов, если, как он говорил, он родился в Гваделупе, это было неудивительно.

Известно, насколько пренебрегают образованием в колониях.

Но, с другой стороны, у барона де Фаверна не было ни маленьких рук и ног, ни стройного и грациозного станна, ни приятной речи, которая присуща людям из тропиков, мне было ясно, что я имею дело с провинциалом, обтесавшимся во время пребывания в столице.

Впрочем, так как он действительно мог заболеть, я отправился к нему и нашел его в маленьком будуаре, обтянутом тканью фиолетового и оранжевого цвета.

К моему большому удивлению, эта небольшая комната, по сравнению со всей квартирой, была более изысканной.

Он полулежал на софе в явно продуманной позе, одетый в шелковые панталоны и яркий халат; своими толстыми пальцами он вертел маленький флакончик от Клагмена или от Бенвенуто Челлини.

— Ах, как мило и любезно с вашей стороны прийти навещать меня, доктор,— сказал он, приподнимаясь и приглашая меня сесть.— Впрочем, я вам не солгал, я ужасно болен.

— Что с вами? — спросил я. — Не рана ли?

— Нет, слава Богу. Теперь она кажется просто укусом пиявки. Нет, не знаю, доктор; если бы я не боялся, что вы будете смеяться надо мной, то сказал бы вам, что у меня истерические припадки.

Я улыбнулся.

— Да, — продолжал он, — эту болезнь вы зарезервировали исключительно за вашими прекрасными дамами. Но дело в том, что я и правда страдаю и очень сильно, сам не знаю, от чего.

— Черт возьми! Это становится опасным. А не ипохондрия ли это?

— Как вы сказали, доктор?

Я повторил слово, но увидел, что его смысл не дошел до барона, тем временем я взял его руку и положил два пальца на артерию.

В самом деле, пульс был беспокойный.

В то время, как я считал удары пульса, позвонили.

Барон подскочил на месте, и пульс участился.

— Что с вами? — спросил я у него.

— Ничего, — ответил он, — только это сильнее меня, когда я слышу звонок, вздрагиваю, а потом бледнею. Ах, доктор, говорю вам, что я очень болен.

Действительно, барон стал мертвенно-бледным.

Я начинал верить, что он не преувеличивает и действительно очень страдает. Единственно, в чем я был убежден, так это в том, что его физический недуг вызван моральной причиной.

Я пристально посмотрел на него, он опустил глаза, бледность, покрывавшая его лицо, сменилась краснотой.

— Да, вы мучаетесь, это очевидно, — сказал я.

— Вы так думаете, доктор? — воскликнул он. — Могу сказать, я уже консультировался с двумя вашими братьями по профессии; поскольку вы вели себя со мной несколько своеобразно, я не решался послать за вами. Те глупцы принялись смеяться, когда я им сказал, что у меня плохо с нервами.

— Вы мучаетесь, — продолжал я, — но причина этих страданий не физическая, вас терзает какая-то моральная боль, возможно, серьезное беспокойство.

Он вздрогнул.

— Какое может быть у меня беспокойство, наоборот, у меня все идет наилучшим образом. Мой брак... кстати,

вы знаете? Мой брак с мадемуазель де Макарти, который ваш месть Оливье чуть было не разрушил...

— Да, ну и что же?

— Так вот, он состоится через две недели; первое оглашение о предстоящем бракосочетании уже сделано... Кстати, он был наказан за свои сплетни и принес мне извинения.

— Как это?

— Жермен,— сказал барон,— подайте мне портфель, тот, который лежит на камине.

Слуга принес портфель, барон взял его и открыл.

— Смотрите,— сказал он с легкой дрожью в голосе,— вот мое свидетельство о рождении: я родился в Пуэнт-а-Питр, как видите, потом вот свидетельство господина де Мальпа, констатирующего, что мой отец является одним из первых и самых богатых собственников в Гваделупе. Эти бумаги были показаны господину Оливье, а так как ему знакома подпись губернатора, он был вынужден признать, что подпись подлинная.

Барон продолжал изучать бумаги, и его нервное возбуждение возрастало.

— Вы еще больше страдаете? — спросил я у него.

— Как я могу не страдать! Меня преследуют, меня травят, настойчиво стремятся оклеветать. Я не уверен, что со дня на день не буду обвинен в каком-нибудь преступлении. О! Да, да, доктор, вы правы,— продолжал барон, выпрямляясь,— я страдаю, я очень страдаю.

— Ну-ну, вам следует успокоиться.

— Успокоиться — легко сказать! Черт возьми, если бы я мог успокоиться, я был бы здоров. Послушайте, моментами мои нервы напрягаются настолько, что готовы разорваться, зубы сжимаются так, как если бы они хотели сломаться, я слышу шумы в голове, словно все колокола собора Парижской Богоматери звонят у меня в ушах; тогда мне кажется, что я вот-вот сойду с ума. Доктор, какая самая легкая смерть?

— Зачем это?

— Дело в том, что иногда у меня появляется желание убить себя.

— Ну уж!

— Доктор, говорят, что отравление синильной кислотой — это моментальная смерть.

— Действительно, это самая быстрая смерть, которую знают.

— Доктор, на всякий случай вы должны приготовить мне пузырек синильной кислоты.

— Вы сумасшедший.

— Да ну, я заплачу вам, сколько захотите, тысячу эю, шесть тысяч, десять тысяч франков, если вы гарантируете, что эта смерть без страданий.

Я поднялся.

— Ну что вы, почему? — сказал он, удерживая меня.

— Я сожалею, месье, но вы без конца говорите со мной о таких вещах, которые не только ограничивают мои визиты, но делают наши дальнейшие отношения невозможными.

— Нет, нет, останьтесь, прошу вас, разве вы не видите, что меня лихорадит, именно это и заставляет говорить таким образом.

Он позвонил, вошел тот же слуга.

— Жермен, меня мучает жажда, — сказал барон, — принесите что-нибудь.

— Что желает месье барон?

— Вы выпьете что-нибудь со мной?

— Нет, спасибо.

— Все равно, принесите два стакана и бутылку рома.

Жермен вышел. Минуту спустя он возвратился с подносом, на котором стояло все, что требовал барон; только я заметил, что бокалы были для бордо, а не для крепких напитков.

Барон наполнил оба бокала, при этом его рука тряслась так сильно, что часть напитка, по крайней мере, половина того, что было в бокалах, пролилась на поднос.

— Попробуйте, — сказал он, — это прекрасный ром, который я привез сам из Гваделупы, где, как утверждает ваш месье Оливье д'Орнуа, я никогда не был.

— Благодарю вас, я никогда этого не пью.

Он взял один из бокалов.

— Как, вы все это выпьете? — спросил я у него.

— Конечно.

— Но если вы будете продолжать вести такой образ жизни, то сгорите до самого фланелевого жилета, покрывающего вашу грудь.

— Вы считаете, что можно убить себя, употребляя много рома?

— Нет, но можно получить гастроэнтерит, от которого умирают после пяти или шести лет страшных болей.

Он поставил бокал на поднос, уронил голову на грудь, положил руки на колени и со вздохом прошептал:

— Итак, доктор, вы признаете, что я очень болен?

— Я не говорю, что вы больны, я говорю, что вы мучаетесь.

— Разве это не одно и то же?

— Нет.

— Ну что же вы мне посоветуете, наконец? На всякую боль у медицины должно быть лекарство, иначе не стоит так дорого оплачивать врачей.

— Я предполагаю, что это вы говорите не в мой адрес? — ответил я, смеясь.

— О нет! Вы образец во всем.

Он взял бокал рома и допил его, не думая о том, что делает. Я его не остановил, так как хотел увидеть, какое действие окажет на него этот обжигающий напиток.

Никакого впечатления. Можно было подумать, что он выпил стакан воды.

Для меня стало ясно, что этот человек часто искал забвение в алкоголе.

Действительно, через какое-то время он оживился.

— В сущности,— сказал он, прерывая молчание и отвечая на свои собственные мысли,— в самом деле, я напрасно истязая себя таким образом! Ба, я молод, богат, радуюсь жизни, это продлится столько, сколько возможно.

Он взял второй бокал и проглотил его залпом, как и первый.

— Итак, доктор, вы мне ничего не посоветуете? — спросил он.

— О да! Я посоветую вам доверять мне и сказать, что вас беспокоит.

— Вы все еще полагаете, что у меня есть нечто, о чем я не решаюсь рассказать?

— Я говорю, что вы что-то скрываете.

— Очень важное! — сказал он с натянутой улыбкой.

— Ужасное.

Он побледнел и машинально взялся за горлышко бутылки, чтобы налить себе еще один бокал.

Я остановил его.

— Я вам уже говорил, что вы себя убьете.

Он откинулся назад и оперся головой о стену.

— Да, доктор, да, вы гениальный человек; да, вы догадались об этом сразу, тогда как другие ничего не поня-

ли; да, у меня есть тайна, и, как вы говорите, ужасная тайна, которая убьет меня быстрее, чем ром, который вы мешаете мне выпить, секрет, который я все время хочу кому-нибудь доверить и который открыл бы вам, если бы, как все духовники, вы дали обет молчания. Посудите сами, если эта тайна меня терзает так сильно, когда я уверен, что она известна только мне одному, что было бы, если бы я постоянно терзался от мысли, что ее знает кто-то другой.

Я встал.

— Месье,— сказал я ему,— я не требовал от вас откровения, вы меня пригласили как врача, и я сказал, что медицина ничем не сможет вам помочь в подобном состоянии. Теперь храните свою тайну, это в вашей воле, и пусть она тяготит ваше сердце или вашу совесть. Прощайте, господин барон.

Он дал мне уйти, не ответив ни слова, не сделав ни малейшего движения, чтобы удержать меня, не позвав меня обратно. Обернувшись, чтобы закрыть дверь, я смог увидеть, как он протянул третий раз руку к бутылке рома, его губельной утешительнице.

XI

УЖАСНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Я продолжал свои визиты к больным; но, против своей воли, не мог прогнать мысль о том, что я увидел и услышал, хотя и сохранял к этому несчастному моральное инстинктивное отвращение, в котором я уже признавался.

С другой стороны, я начал испытывать к нему физическую жалость, если можно так выразиться, которую каждый человек, которому предназначено страдать, испытывает к другому страдающему существу.

Я обедал в городе, и, так как часть моего вечера была отведена на визиты к больным, я возвратился домой после двенадцати ночи.

Мне сказали, что более часа в моем кабинете один молодой человек ожидает консультации. Он не захотел сообщить свое имя.

Я вошел и узнал господина де Фаверна.

Он был еще бледнее и взволнованнее, чем утром. На письменном столе была раскрыта книга, которую он

пытался читать. Это был трактат по токсикологии Орфила.

— Ну что, вы чувствуете себя еще хуже? — спросил я у него.

— Да, очень плохо, — ответил он, — случилось страшное событие, ужасная история, и я прибежал, чтобы рассказать вам об этом. Послушайте, доктор, с тех пор, как я в Париже и веду жизнь, которую вы знаете, вы единственный человек, кому я полностью доверяю. Поэтому я пришел попросить у вас не лекарства от того, чем страдаю, вы мне уже сказали, что его нет, я это и так знал; я пришел за советом.

— Совет дать гораздо труднее, чем рецепт, месье, и признаюсь вам, что я их даю крайне редко. Обычно просят совета только для того, чтобы утвердиться в уже принятом решении, или когда не уверены в том, что надо сделать. Следуют совету, чтобы иметь право сказать впоследствии советчику: это ваша ошибка.

— Во всем, что вы говорите, есть правда, доктор, но я думаю, что врач не имеет права отказать в рецепте, как не думаю, что человек имеет право отказать в совете.

— Вы правы, поэтому я не отказываюсь вам его дать, только сделайте одолжение, не следуйте ему.

Я сел около него, но тут вместо того, чтобы мне ответить, он уронил голову на руки и, подавленный, погрузился в свои мысли.

— Ну и что же? — сказал я ему после некоторого молчания.

— Хорошо! — ответил он. — Что для меня ясно, так это то, что я погиб.

В его словах было столько уверенности, что я вздрогнул.

— Погибли, вы? Каким образом? — спросил я.

— Конечно, она будет меня преследовать, расскажет всем, кто я такой, повсюду раззвонит мое настоящее имя.

— Кто это?

— Она, черт возьми.

— Она? Кто же она?

— Мари.

— Кто такая Мари?

— Ах, да, вы же не знаете; дурочка, которой я оказал внимание и которой имел глупость сделать ребенка.

— Ну и что? Если это одна из тех женщин, от которой можно откупиться деньгами, вы достаточно богаты...

— Да,— прервал он меня,— но она, к несчастью, совсем не из тех женщин: это бедная деревенская девушка, святая девушка.

— Только что вы ее называли иначе.

— Я не прав, дорогой доктор, я не прав, я говорил так от злости, скорее — да, да, это был страх.

— Эта женщина может каким-то роковым образом повлиять на вашу судьбу?

— Она может помешать моему браку с мадемуазель де Макарти.

— Каким образом?

— Открыв мое настоящее имя.

— Следовательно, вы не де Фаверн?

— Нет.

— Значит, вы не барон?

— Нет.

— Значит, вы родились не в Гваделупе?

— Нет. Все это было, видите ли, выдумкой.

— Тогда Оливье был прав?

— Да.

— Но тогда каким образом господин де Мальпа, губернатор Гваделупы, мог засвидетельствовать...

— Молчите,— сказал барон, крепко сжимая мне руку,— это мой секрет, который и убьет меня.

Какое-то мгновение мы оба молчали.

— Ну а эта женщина, эта Мари, вы ее, следовательно, снова увидели?

— Сегодня, доктор, сегодня вечером. Она уехала из деревни, приехала в Париж, приложила немало усилий, чтобы отыскать меня, и вот сегодня вечером явилась ко мне со своим ребенком.

— А что же сделали вы?

— Я сказал,— начал де Фаверн глухим голосом,— я сказал, что не знаю ее, и велел моим людям выставить эту женщину за дверь.

Я невольно отступил.

— Вы сделали это, отказались от своего ребенка, вы заставили лакеев выгнать его мать!..

— Что же мне оставалось делать?

— О-о! Это ужасно.

— Я это знаю.

Мы оба вновь замолчали. Через минуту я встал.

— Какое отношение имею я ко всему этому? — спросил я.

— Разве вы не видите, что меня мучают угрызения совести?

— Вижу, что вы струсили.

— Так вот, доктор... я хотел бы, чтобы вы увидели эту женщину.

— Я?

— Да, вы. Окажите мне эту услугу.

— А где я ее найду?

— После того как я ее выгнал, я отодвинул занавес на окне моей комнаты и увидел ее сидящей на каменной тумбе вместе с ребенком.

— И вы думаете, она еще там?

— Да.

— Значит, вы ее видели еще раз?

— Нет, я вышел через заднюю дверь и прибежал к вам.

— А почему вы не вышли через главный вход и не приехали в карете?

— Я боялся, что она бросится под ноги лошадей.

Я задрожал.

— Что вы хотите, чтоб я сделал в этой истории? Чем я могу быть полезен?

— Доктор, окажите мне эту услугу, поговорите с ней, договоритесь, чтобы она вернулась в Трувиль с ребенком, я дам ей все, что она пожелает, десять тысяч, двадцать, пятьдесят тысяч франков.

— Но если она откажется?

— Если она откажется, если она откажется, ну что ж! Тогда... увидим.

Барон произнес эти последние слова таким ужасным тоном, что я испугался за эту женщину.

— Хорошо, месье, я повидаяюсь с ней.

— И добьетесь... чтобы она уехала?

— Я не могу поручиться за это; все, что я могу вам обещать, так это поговорить с ней на языке разума, от нее будет зависеть, увидит ли она разницу между собой и вами.

— Разницу?

— Да.

— Вы забываете, я же вам признался, что я не барон, я крестьянин, простой крестьянин, который своим умом поднялся выше своего положения, только, умоляю вас, не говорите об этом никому. Вы понимаете, если господин де Макарти узнает, что я крестьянин, он не отдаст за меня свою дочь.

— Вы придаете такое большое значение этому браку?
— Я уже вам говорил, что это единственная возможность положить конец опасным спекуляциям, которыми я вынужден заниматься.

— Я поговорю с этой девушкой.

— Сегодня вечером?

— Сегодня вечером. Где я ее найду?

— Там, где я ее оставил.

— На каменной тумбе?

— Да.

— Вы полагаете, она все еще там?

— Уверен.

— Пойдемте.

Он живо поднялся и направился к двери, я пошел вслед за ним.

Мы вышли.

Я жил всего в пятистах шагах от него. Подойдя к пересечению улиц Тэтбу и Хельдер, он остановился и показал пальцем на что-то бесформенное, с трудом различимое в темноте.

— Там, там,— сказал он.

— Что там?

— Она.

— Эта девушка?

— Да, я вернусь по улице Хельдер. Дом, как вы знаете, имеет два входа. Идите к ней.

— Иду.

— Подождите. Последняя услуга, прошу вас. Мне кажется, я схожу с ума; у меня головокружение, все кружится передо мной... Вашу руку, доктор, проводите меня до маленькой двери.

— Охотно.

Я взял его за руку — он действительно качался, как пьяный,— и довел до двери.

— Спасибо, доктор, спасибо, я вам очень признателен, клянусь, если бы вы были человеком, который требует соответствующей оплаты за свои услуги, я заплатил бы вам столько, сколько вы потребовали бы.

— Ладно, мы пришли, вы придете завтра за ответом, не так ли?

— Я приду к вам, но не днем, боюсь встретить ее. Приду обязательно. До свидания, доктор.

Он позвонил, ему открыли.

— Минутку,— сказал я, задержав его,— имя этой женщины?

— Мари Гранже.

— Хорошо... до свидания.

Он возвратился к себе, я же прошел снова по улице Хельдер, чтобы вернуться на улицу Тэтбу.

Дойдя до пересечения двух улиц, где я заметил эту женщину, услышал шум и увидел довольно большую группу людей, суетившихся в темноте.

Я подбежал.

Проходивший мимо полицейский патруль заметил несчастную, а так как она не захотела ответить на вопрос, что она тут делает в два часа ночи, патруль повел ее в караульное помещение.

Бедная женщина шла в окружении солдат национальной гвардии с плачущим ребенком на руках; сама она не проронила ни одной слезинки, ни одной жалобы.

Я быстро подошел к начальнику патруля.

— Извините, месье, но я знаю эту женщину,— сказал я ему.

Она живо подняла голову и посмотрела на меня.

— Это не он,— сказала она и опустила голову.

— Вы знаете эту женщину, месье? — спросил меня капрал.

— Да... ее зовут Мари Гранже, она из деревни Трувиль.

— Да, меня зовут именно так, и я из этой деревни. Кто вы такой, месье? Небо праведное, кто вы?

— Я доктор Фабьен, я от него.

— От Габриэля?

— Да.

— Тогда, господа, позвольте мне уйти, умоляю вас, позвольте мне уйти!..

— Вы действительно доктор Фабьен? — спросил меня начальник патруля.

— Вот мое удостоверение.

— И вы отвечаете за эту женщину?

— Я отвечаю за нее.

— Тогда, месье, вы можете ее увести.

— Спасибо.

Я подал руку бедной девушке, но она показала жестом на ребенка, которого должна была нести.

— Я пойду вслед за вами, месье,— сказала она.— Куда мы идем?

— Ко мне.

Десять минут спустя она была в моем кабинете, на том же месте, где полчаса тому назад сидел так называемый барон де Фаверн. Ребенок спал в глубоком кресле в соседней комнате.

Мы оба долго молчали, наконец, она начала первой:

— Итак, месье, что вы хотите, чтобы я вам рассказала? — спросила она.

— Все, что посчитаете необходимым, мадам. Заметьте, я вас не допрашиваю, жду, чтобы вы сами рассказали, вот и все.

— Увы! Все, что я могу вам поведать, очень грустно, месье, и к тому же это для вас совсем неинтересно.

— Любая физическая или моральная боль входят в мою компетенцию, поэтому не бойтесь довериться мне, если вы считаете, что я могу облегчить ваши страдания.

— О! облегчить их может только он, — сказала несчастная женщина.

— Ну что ж, так как он мне поручил повидаться с вами, надежда остается.

— Тогда слушайте, но не забывайте при этом, что я лишь бедная крестьянка.

— Вы мне говорите это, и я вам верю, однако, судя по вашей речи, можно предположить, что вы более высокого социального положения.

— Я дочь сельского учителя, родилась в деревне, это объясняет вам все. Я получила кое-какое образование, умею читать и писать немного лучше, чем другие крестьяне, вот и все.

— Значит, вы из той же деревни, что и Габриэль?

— Да, только я на четыре или пять лет моложе его. Как ни давно это уже было, но я вижу, как он сидит вместе с двадцатью другими мальчиками из деревни, которых собирал мой отец, за длинным столом, изрезанным перочинными ножами, с именами и рисунками учеников, которых мой отец учил писать, читать и считать. Габриэль был сыном порядочного фермера, честная репутация которого была общеизвестна.

— Его отец еще жив?

— Да, месье.

— Но он перестал видаться с сыном?

— Он не знает, где он, думает, что он уехал в Гваделупу. Но подождите, всему свое время. Извините ме-

ня за длинноты, но мне нужно рассказать вам все подробно, чтобы вы могли судить о нас обоих.

Габриэль, хотя казался крупным для своего возраста, был слабым и болезненным, поэтому его всегда били, даже дети моложе его. Я помню также, что он боялся выходить из школы вместе с остальными, когда школьники шли домой, и почти всегда мой отец заставлял его на лестнице, куда он убегал прятаться из страха быть побитым и где дети не осмеливались его искать.

Мой отец спрашивал у него, что он там делает, и бедный Габриэль отвечал ему со слезами: боится, что его побьют.

Мой отец тотчас же посылал за мной и отправлял в качестве эскорта с бедным трусишкой. Под моим покровительством тот возвращался домой целым и невредимым, так как при дочери учителя никто не осмеливался его тронуть.

В результате Габриэль сильно привязался ко мне, и мы были постоянно вместе, только с его стороны это был эгоизм, а с моей — жалость.

Габриэль с трудом научился читать и считать, но был очень способным к письму; он не только великолепно писал сам, у него была способность подделывать почерки всех товарищей так, что имитацию не отличишь от оригинала.

Дети смеялись, их забавлял такой редкий талант, но мой отец грустно покачивал головой и часто говорил: — Поверь мне, Габриэль, не делай таких вещей... это плохо кончится.

— Ба! Что может случиться, господин Гранже? — говорил Габриэль. — Я буду учителем, вместо того чтобы ходить за плугом.

— Это не специальность — быть учителем письменности в деревне, — повторял мой отец.

— Ну и что! Поеду в Париж, — отвечал Габриэль.

Что же касается меня, то я не видела ничего плохого в том, что он копировал почерки других. Этот талант у Габриэля все больше и больше совершенствовался, и меня это очень забавляло.

Так как Габриэль не ограничивался имитацией почерков, он копировал все. Ему попала в руки гравюра, и с удивительным терпением он скопировал ее, линию за линией, с такой точностью, что трудно было бы сказать, где оригинал, а где подделка. Отец, увидевший в этой

гравюре шедевр, вставил ее в рамку, застеклил и всем показывал.

Мэр с помощником пришли посмотреть на нее, и мэр сказал своему помощнику: «Фортуна этого молодого человека на кончиках его пальцев».

Габриэль услышал эти слова.

Мой отец научил его всему, чему мог; Габриэль возвратился на ферму.

Так как он был старшим сыном в семье, а отец не был богат, ему надо было начинать работать. Но работа за плугом была для него невыносима.

В противоположность крестьянам Габриэлю нравилось ложиться спать и вставать поздно; он любил рисовать пером всевозможные буквы, рисунки, делать копии, поэтому зима была его любимым временем года так же, как и праздничные дни.

С другой стороны, его отвращение к сельскохозяйственным работам приводило в отчаяние его отца. Тома Ламбер был не настолько богат, чтобы кормить лишний бесполезный рот. Он думал, что Габриэль избавит его от необходимости нанимать работника. Но, к своему большому огорчению, увидел, что ошибался.

ХИ

ОТЪЕЗД В ПАРИЖ

Однажды, к счастью или к несчастью, мэр, предсказавший, что фортуна Габриэля на кончиках его пальцев, приехал к отцу семейства Тома и предложил взять к себе в мэрию Габриэля в качестве секретаря из расчета пятьсот франков в год с питанием.

Габриэль принял предложение как удачу, но его отец покачал головой и сказал:

— Куда это приведет тебя, парень?

Тем не менее они приняли предложение мэра, и Габриэль окончательно сменил плуг на перо.

Мы остались добрыми друзьями. Габриэль, казалось, даже любил меня. Что же касается меня, я любила его от всего сердца.

По вечерам, как это принято в деревнях, мы прогуливались то по берегу моря, то по берегу реки Тук.

Никто не волновался по этому поводу: мы оба были бедны и вполне подходили друг другу.

Только Габриэля мучило постоянное желание уехать в Париж. Он был уверен, что в Париже его ждет успех.

Париж был для нас постоянной темой разговоров. Этот магический город должен был открыть нам обоим дверь к богатству и счастью.

Я подогревала его возбуждение и повторяла со своей стороны:

— О да, Париж, Париж!

В мечтах о будущем наши судьбы всегда были настолько связаны друг с другом, что я заранее считала себя женой Габриэля, хотя никогда ни слова не говорилось о свадьбе, никогда, я подчеркиваю это, не было сделано такого обещания.

Время шло.

Габриэль, окунувшись в свое любимое занятие, писал весь день, вел все книги записей мэрии тщательно и с большим вкусом.

Мэр был в восторге от своего секретаря.

Приближалась предвыборная кампания, один из депутатов, баллотирующийся в этом округе, совершая турне, прибыл в Трувиль; Габриэль был чудом Трувиля, депутату показали книги записей мэрии, а вечером представили Габриэля.

Кандидат в депутаты составил циркулярное письмо-манифест, но ближайшая типография была только в Гавре, нужно было отправить манифест в город, что потребовало бы три или четыре дня. А распространить манифест необходимо было срочно: кандидат встретил более сильную оппозицию, чем предполагал.

Габриэль предложил сделать за ночь и следующий день пятьдесят экземпляров. Депутат пообещал ему сто экю, если он сделает эти пятьдесят экземпляров за сутки. Габриэль обещал и вместо пятидесяти манифестов сделал семьдесят.

Кандидат в депутаты, преисполненный радости, дал ему пятьсот франков вместо трехсот и обещал порекомендовать богатому банкиру в Париже, который по его рекомендации, может быть, возьмет его секретарем.

Габриэль прибежал ко мне вечером, пьяный от радости.

— Мари,— сказал он мне,— Мари, мы спасены, че-

рез месяц я поеду в Париж. У меня будет хорошее место, тогда я тебе напишу, и ты приедешь ко мне.

Я тогда даже не подумала спросить у него, в качестве ли жены зовет он меня приехать, настолько была далека от мысли, что Габриэль может обмануть.

Я попросила его объяснить эти слова, это обещание, которые были для меня загадкой. Он рассказал мне о протекции к банкиру и показал листок бумаги. «Что это такое?» — спросила я у него.

— Банкнот в пятьсот франков,— сказал он.

— Как! — вскричала я.— Этот клочок бумаги стоит пятьсот франков?

— Да,— сказал Габриэль.— И если у нас будет только двадцать таких, как этот, мы будем богаты.

— Это составит десять тысяч франков,— сказала я. А Габриэль не отрывал глаз от листка бумаги.

— О чем ты думаешь, Габриэль? — спросила я его.

— Я думаю,— сказал он,— что подобный банкнот скопировать не труднее, чем гравюру.

— Да... но,— сказала я ему,— это же преступление?

— Посмотри,— сказал Габриэль.

И он показал мне две строчки, написанные внизу банкноты: «Подделка банковского билета карается по закону смертной казнью...»

— Ах, не будь этого,— воскликнул он,— мы вскоре имели бы десять, двадцать, пятьдесят таких банкнотов!

— Габриэль,— начала я, вся дрожа,— что ты говоришь?

— Ничего, Мари, я шучу.

И положил банкнот в карман.

Неделю спустя прошли выборы.

Несмотря на циркуляры, кандидат выбран не был. После этого поражения Габриэль пошел к нему, чтобы напомнить о его обещании, но тот уже уехал.

Габриэль в отчаянии вернулся домой. По всей вероятности, несостоявшийся депутат забыл о том, что обещал бедному секретарю мэрии.

Вдруг я увидела, что у него в мозгу начала зреть какая-то мысль, он остановился, улыбаясь. Потом сказал мне:

— К счастью, я сохранил оригинал этого циркуляра.

И показал оригинал, написанный и подписанный рукой кандидата.

— И что ты сделаешь с этим документом? — спросила я у него.

— О Боже! Ничего особенного, — ответил Габриэль, — только при случае я его использую.

Больше он не говорил со мной на эту тему и, казалось, забыл о существовании этого циркуляра.

Восемь дней спустя пришел мэр к Тома Ламберу с письмом в руке. Оно было от провалившегося кандидата.

Против всякого ожидания, тот сдержал слово; он писал мэру, что нашел место служащего у одного из первых банкиров Парижа. Только требовалось поработать на сверхштатной должности в течение трех месяцев. Следовало поступиться временем и деньгами, после чего Габриэль будет получать восемнадцать сотен франков жалованья.

Габриэль прибежал поделиться со мной этой новостью, но в то время, как она наполняла его радостью, меня глубоко огорчила.

Я, конечно, иногда воодушевленная мечтами Габриэля, желала уехать в Париж, как и он, но для меня Париж был только средством не разлучаться с человеком, которого я любила. Все мое честолюбие сводилось к тому, чтобы стать женой Габриэля, да и жизнь в бурном круговороте столицы казалась более надежной, чем нудное, монотонное существование в деревне.

Узнав эту новость, я расплакалась.

Габриэль встал передо мной на колени и попытался успокоить обещаниями и уверениями; у меня было глубокое и страшное предчувствие, что все кончено.

Тем не менее отъезд Габриэля был решен.

Тома Ламбер согласился принести небольшую жертву. Мэр одолжил под залог пятьсот франков, а так как никто не знал о щедрости кандидата, Габриэль оказался обладателем суммы в тысячу франков.

Всем было объявлено, что он уедет в тот же вечер в Пон-л'Евек, откуда карета должна будет отвезти его в Руан, но мы договорились, что он сделает крюк и проведет ночь у меня.

Я оставила открытым окно своей комнаты.

Таким образом я его принимала первый раз и надеялась отвлечься от своих горестных предчувствий при последнем свидании, когда он будет подле моего сердца, в котором он всегда находился.

Увы, я ошиблась! Без той ночи я была бы только несчастной, после нее я стала пропащей.

Габриэль ушел от меня на рассвете, пора было расставаться, и я проводила его через садовую калитку, выходящую к дюнам.

Там он вновь повторил все свои обещания; там он мне еще раз поклялся, что у него никогда не будет других женщин, кроме меня; и он усыпил по крайней мере мои страхи, но не угрызения совести.

Мы расстались. За углом стены я потеряла его из виду, но побежала, чтобы увидеть его еще, и действительно заметила, как он шел быстрым шагом по тропинке, ведущей к большой дороге.

Мне казалось, что в его быстрой походке было что-то, что особенно контрастировало с моим собственным горем.

Я крикнула ему вслед.

Он обернулся, помахал платком в знак прощания и пошел дальше.

Вытаскивая из кармана платок, он уронил листок бумаги, не заметив этого.

Я его позвала, но, видно, из-за боязни растрогаться он не остановился; я бежала за ним.

Добежав до того места, где упала бумага, я нашла ее на земле.

Это был банкнот в пятьсот франков, только он был на другой бумаге, чем тот, который я видела. Тогда я собрала все свои силы и позвала Габриэля еще раз; он обернулся, увидел, что я машу банкнотом, остановился, пошарил по карманам и, заметив, наверное, что потерял что-то, бегом возвратился ко мне.

— Погляди, ты потерял это, и я очень рада, потому что могу поцеловать тебя в последний раз.

— А,— сказал он, смеясь,— я возвратился из-за тебя, дорогая Мари, так как этот билет ничего не стоит.

— Как так ничего не стоит?

— Нет, бумага не похожа на настоящую.

И вытащил из кармана другой банкнот.

— Тогда что же это за билет?

— Билет, который я скопировал в шутку, но он не имеет никакой ценности; видишь, дорогая Мари, я вернулся только из-за тебя.

И в подтверждение своих слов он разорвал билет на мелкие кусочки и пустил их по ветру.

Затем он еще раз стал повторять свои обещания и уверения, а так как время его торопило и он чувствовал, что я едва держусь на ногах, он усадил меня на край оврага, поцеловал и ушел.

Я следила за ним взглядом, тянула к нему руки, пока могла его видеть, потом, когда он скрылся за поворотом, я опустила голову на руки и заплакала.

Не знаю, сколько времени я оставалась в этом состоянии, забывшись в своем горе.

Я пришла в себя от шума, который слышала вокруг себя. Маленькая девочка из деревни пасла своих овец, она смотрела на меня с удивлением и не понимала ничего в моей неподвижности.

Я подняла голову.

— Ах, это вы, мадемуазель Мари,— сказала она.— Почему вы плачете?

Я вытерла слезы и постаралась улыбнуться.

А потом, словно желая быть связанной с ним через те предметы, которых он касался, я начала собирать кушачьи бумаги, выброшенные им на ветер. Наконец, подумав о том, что мой отец мог уже встать и будет беспokoиться, я поспешно пошла к дому.

Едва я сделала двадцать шагов, как услышала, что меня зовут, обернувшись, увидела маленькую пастушку, которая бежала за мной.

Я подождала ее.

— Что ты хочешь, дитя? — спросила я ее.

— Мадемуазель Мари,— сказала она,— я видела, что вы собирали все кусочки бумаги, вот еще один.

Я посмотрела на клочок, поданный мне девочкой, это был действительно кусок билета, так ловко скопированного Габриэлем.

Я взяла его из рук девочки и бросила на него взгляд.

По странному случаю на этом клочке была написана фатальная угроза: «Подделка банковского билета карается по закону смертной казнью».

Я задрожала, не понимая, откуда нахлынул на меня этот ужас. Только по этим двум строчкам можно было заметить, что банкнот скопирован. Было видно, что рука Габриэля дрожала, когда он их вырисовывал.

Я выбросила остальные клочки, а этот сохранила.

Я возвратилась домой, мой отец ничего не заметил.

Но, войдя в комнату, где Габриэль провел ночь, я ощутила угрызения совести. Пока он был здесь, меня

поддерживало доверие, которое я испытывала к нему, но, когда его не стало, каждая подробность, о которой я вспоминала, сводила на нет это доверие, и я почувствовала себя одинокой в своем грехе.

ХІІІ ИСПОВЕДЬ

Прошла неделя, я не получала от Габриэля никаких вестей. Наконец утром восьмого дня пришло письмо.

Он прибыл в Париж, устроился, писал он, у банкира, а жил пока в маленькой гостинице на улице Вьё-Огюстен.

Потом шло описание Парижа, того впечатления, которое произвела на него столица.

Он был пьян от радости.

В постскриптуме он сообщал мне, что месяца через три я разделю его счастье.

Вместо того чтобы успокоить, письмо меня глубоко огорчило, я не могла понять почему.

Чувствовала, что надо мной нависло несчастье и оно вот-вот обрушится на меня.

Я ему ответила, однако, что разделяю его радость, делала вид, что верю в будущее, которое он мне обещал, а внутренний голос кричал, что все это не для меня.

Две недели спустя я получила второе письмо. Оно застало меня в слезах.

Увы! Если Габриэль не сдержит своего обещания по отношению ко мне, я опозорена: через восемь месяцев я стану матерью.

Какое-то время я колебалась, сообщать ли Габриэлю эту новость.

Он был у меня один на всем свете, кому же еще я могу довериться. К тому же он был наполовину виновен в моем грехе. И если кто и должен был поддержать меня, то, конечно, он.

Я написала ему, чтобы он поторопился, насколько возможно, с нашим соединением и что в будущем его усилия будут залогом не только нашего счастья, но также и счастьем нашего ребенка.

Я ожидала письма; но едва я отправила свое послание, как уже трепетала от страха, что больше не получу

ответа, так как смутное предчувствие кричало, что для меня все кончено.

Действительно, Габриэль ответил не мне, а своему отцу. Он сообщал, что банкир, у которого он служит, имеет основные доходы из Гваделупы и, признав его более толковым, чем другие служащие, поручил ему вести там его дела, пообещав по возвращении привлечь его к участию в деле. Следовательно, он сообщал, что уезжает в тот же день на Антильские острова и точно не может сказать, когда вернется.

Одновременно он возвращал отцу пятьсот франков, которые тот занял для него, взяв их из денег банкира, полученных для путешествия.

Эта сумма была представлена одним банковским билетом.

В постскрипуме того же письма к отцу он просил его сообщить мне эту новость, так как у него не было времени написать мне.

Как вы хорошо понимаете, удар был страшный.

Тем не менее я не знала, сколько дней идет письмо до Парижа, а следовательно, когда можно будет получить ответ.

Я все еще надеялась, что Габриэль написал письмо к отцу до того, как получил мое.

Я под каким-то предлогом пошла к мэру и спросила у него об этом. Мэр держал в руке банковский билет, который ему только что вернул отец Тома.

— Ну что ж, Мари,— сказал он, увидев меня,— твой возлюбленный делает успехи.

Вместо ответа я разрыдалась.

— Почему тебя так огорчает, что Габриэль богатеет? Я же всегда говорил, что богатство этого парня на кончиках пальцев.

— Увы, господин,— сказала я,— вы ошибаетесь относительно моих чувств; я буду всегда благодарить небо за все хорошее, что оно принесет Габриэлю, только боюсь, что в своем счастье он забудет меня.

— А что до этого, моя бедная Мари,— ответил мне мэр,— я не хотел бы утверждать этого. Но дам тебе совет; видишь ли, если тебе представится случай, опереди Габриэля. Ты девушка трудолюбивая, аккуратная, о тебе ничего плохого не скажешь, несмотря на твои близкие отношения с Габриэлем, ну и что же, право! Первый хороший парень, который появится, чтобы его заме-

нить,—принимай предложение. Да, кстати, не позднее как вчера Андрэ Морэн, рыбак, знаешь, говорил мне о тебе.

Я его прервала.

— Господин мэр,—сказала я ему,—я буду женой Габриэля или останусь девицей, мы дали друг другу обещания, о которых он может забыть, но я их не забуду никогда.

— Да, да,—сказал он,—я это знаю, вот так и губят себя все эти несчастные. В конце концов делай как хочешь, милая, ты не в моей власти, но, если бы я был твоим отцом, я бы знал, как поступить.

Я узнала у него все, что хотела знать, и возвратилась к себе, подсчитывая истекшее время.

Габриэль написал своему отцу после того, как получил мое письмо.

Я напрасно ждала следующий день, еще один, еще неделю; в течение всего месяца я не получала от Габриэля никаких известий.

Сначала меня поддерживала надежда, что, не имея времени написать мне из Парижа, он напишет из порта, где высадится, или если не из этого порта, то из Гваделупы.

Я достала географическую карту и попросила одного моряка, который несколько раз ездил в Америку, показать мне, каким путем корабли плывут в Гваделупу.

Он начертил карандашом длинную линию, и я успокоилась на некоторое время, увидев, каким путем Габриэль удалялся от меня.

Нужно было ждать три месяца, чтобы получить весточку. Я жила довольно спокойно, пока истекли эти три месяца, но ничего не получила. Я оставалась в ужасном полумраке, называемом сомнением, а это во сто раз хуже, чем жить во тьме.

Однако время шло, и стали давать о себе знать те интимные ощущения, которые возвещают собой о существовании, которое формируется внутри нас. Конечно, при обычном течении жизни эти ощущения восхитительны, когда наличие этого существа отвечает условиям общества, но те же ощущения бывают болезненными и горькими, ужасными, каждый толчок напоминает о грехе и предвещает несчастье.

Я была уже на шестом месяце беременности. До сих пор мне удавалось скрывать это от всех, но меня пре-

следовала ужасная мысль: продолжая таким образом затягиваться, я могла нанести вред своему ребенку.

Приближалась Пасха. Как известно, в наших деревнях это время всеобщей набожности. Девушка, которая не причащается на страстной неделе, бывает осмеяна своими подругами.

В глубине сердца я была не слишком религиозной, чтобы подойти к исповедальне и полностью признаться в своем грехе, тем не менее — странная вещь: я ждала приближения времени причастия с какой-то радостью, смешанной со страхом.

Дело в том, что наш кюре был одним из тех славных священников, что снисходительны к грехам других, тем более что у него не имелось своих собственных.

Это был святой старик с белыми волосами, со спокойным и улыбающимся лицом; слабый, несчастный или виновный человек сразу же чувствовал, что найдет у него поддержку.

Я заранее решила все рассказать ему и последовать его советам.

Накануне того дня, когда все девушки должны были пойти на исповедь, я пришла к нему.

Признаюсь, сердце у меня сжималось, когда я подносила руку к звонку дома священника. Дождавшись ночи, чтобы никто не увидел, как я вхожу к кюре, куда в другое время я ходила открыто два или три раза в неделю. На пороге мужество меня оставило, и я была вынуждена опереться о стену, чтобы не упасть.

Однако я собралась с силами и позвонила резко и прерывисто.

Старая служанка тотчас же открыла дверь.

Как я и думала, кюре был один в маленькой, удаленной комнатке, где он при свете лампы читал свой требник.

Я последовала за старой Катрин, открывшей дверь и доложившей обо мне.

Кюре поднял голову. Его прекрасное спокойное лицо оказалось освещенным, и я поняла, что в мире есть утешение и для самых непоправимых бед, оно в том, чтобы доверить свое горе таким людям.

Тем не менее я продолжала стоять у двери, не осмеливаясь пройти вперед.

— Хорошо, Катрин, — сказал кюре, — оставьте нас и, если кто-нибудь будет меня спрашивать...

— Я скажу, что господина кюре нет дома? — ответила старая служанка.

— Нет, не надо лгать, моя добрая Катрин, вы скажете, что я молюсь.

— Хорошо, господин кюре, — сказала Катрин.

И ушла, закрыв за собой дверь.

Я стояла неподвижно, не говоря ни слова.

Кюре поискал меня глазами в темноте, куда не достигал слабый свет лампы; потом, заметив меня, протянул руку в мою сторону и сказал:

— Подойди, дочь моя... я ждал тебя.

Я сделала два шага, взяла его руку и упала перед ним на колени.

— Вы меня ждали, отец мой? — спросила я его. — Значит, вы знаете, что меня привело?

— Увы! Я догадываюсь, — ответил достойный пастыр.

— О! Отец мой, отец мой, я так виновата! — воскликнула я, разрыдавшись.

— Рассказывай, бедное дитя мое, — ответил пастор, — рассказывай, я знаю, как ты несчастна.

— Но, отец мой, возможно, вы не знаете всего, как вы могли догадаться!

— Послушай, дочь моя, я сейчас тебе скажу об этом, — начал пастор, — это избавит тебя от признания, а даже со мной такое признание было бы мучительным.

— О! Теперь я чувствую, что могу вам обо всем сказать, разве вы не посланник Бога, который все знает?

— Ну что же, говори, дитя, — сказал пастор, — говори, я тебя слушаю.

— Отец мой, — сказала я, — отец мой!..

И слова застряли у меня в горле, я переоценила свои силы, не могла продолжать.

— Я догадался обо всем, — сказал пастор, — в день отъезда Габриэля. В тот день, мое бедное дитя, я видел тебя, ты же меня не заметила. Ночью меня позвали к умирающему на исповедь, и я возвращался в четыре часа утра, когда встретил Габриэля, который, как все считали, уехал накануне вечером. Заметив меня, он спрятался за изгородь, а я сделал вид, что не вижу его: в ста шагах дальше, на краю оврага, сидела девушка, спрятав лицо в руки. Я узнал тебя, но ты не подняла голову.

— Я не слышала, отец мой,— ответила я,— была полностью поглощена своим горем.

— Я прошел мимо. Сначала я хотел остановиться и поговорить с тобой. Однако твоя опущенная голова удержала меня, я подумал, что ты, вероятно, слышишь мои шаги, но, как и Габриэль, надеешься спрятаться; я прошел мимо. Завернув за угол стены сада твоего отца, я увидел, что дверь открыта, и понял все: Габриэль, который, как все думали, уехал, провел ночь с тобой.

— Увы! Увы! Отец мой, к несчастью, это правда.

— Потом ты перестала посещать церковь, как это делала раньше, и я сказал себе: бедное дитя, она не приходит, потому что боится увидеть во мне строгого судью, но я ее увижу в тот день, когда ей понадобится прощение.

Мои рыдания удвоились.

— Ну хорошо,— спросил меня Кюре,— чем я могу тебе помочь, дитя мое?

— Отец мой,— сказала я ему,— я хотела бы знать, действительно ли Габриэль уехал, или он все еще в Париже?

— Как, ты сомневаешься?..

— Отец мой, мне пришла в голову ужасная мысль. Габриэль написал отцу, что уезжает, чтобы избавиться от меня.

— А что тебя заставляет так думать? — спросил пастор.

— Прежде всего его молчание. Как бы он ни торопился при отъезде, всегда можно найти время написать хоть словечко, если не из Парижа, то хотя бы оттуда, где он сошел с парохода, а потом уже с места, если он все еще находится там. Разве он не знает, что письмо от него — это моя жизнь, а может быть, и жизнь моего ребенка?

Кюре глубоко вздохнул.

— Да, да,— прошептал он,— человек, как правило, эгоистичен, я не хочу никого оговаривать, но Габриэль, Габриэль! Бедное дитя, я всегда с болью наблюдал за твоей большой любовью к этому человеку.

— Что вы хотите, отец мой! Мы были вместе воспитаны, никогда не расставались, и мне казалось, что жизнь будет продолжаться так, как она началась.

— Ну что ж, значит, ты хочешь знать...

— Действительно ли Габриэль уехал из Парижа.

— Это нетрудно, и мне кажется, что его отец... Слушай, ты мне разрешаешь обо всем рассказать его отцу?

— Я вручила мою жизнь и мое счастье в ваши руки, отец мой, делайте все, что захотите.

— Подожди меня, дочь моя,— сказал пастор,— я пойду к Тома.

Пастор вышел.

Я осталась стоять на коленях, опершись головой о подлокотник кресла, без молитвы, без слез, погружившись в свои мысли.

Через четверть часа дверь открылась. Я услышала приближающиеся шаги и голос, сказавший мне:

— Встань, дочь моя, и обними меня.

Это был голос Тома Ламбера.

Я подняла голову и очутилась перед отцом Габриэля.

Это был мужчина сорока пяти — сорока восьми лет, известный своей порядочностью, один из тех людей, которые всегда держат данное слово.

— Мой сын обещал тебе жениться, Мари? — спросил он у меня. — Ответь мне, как ты ответила бы Богу.

— Посмотрите,— сказала я ему и протянула письмо Габриэля, где он обещал мне, что через три месяца я приеду к нему, и в котором называл меня своей женой.

— Именно потому, что ты была уверена, что он будет твоим мужем, ты уступила ему?

— Увы, я уступила ему потому, что он уезжал, и потому, что я его люблю.

— Хороший ответ,— сказал пастор, кивнув головой в знак одобрения,— очень хороший, дитя мое.

— Да, вы правы, господин кюре,— сказал Тома.

— Мари,— начал он снова,— ты моя дочь, и твой ребенок — мой ребенок. Через неделю мы узнаем, где Габриэль.

— Каким образом? — спросила я.

— Я уже давно собирался съездить в Париж, чтобы урегулировать кое-какие дела лично с моим хозяином. Поеду завтра. Я побываю у банкира, и, где бы ни был Габриэль, я ему напишу и отцовской властью заставлю сдержать данное слово.

— Хорошо,— сказал кюре,— хорошо, Тома, а я соединю свое письмо к вашему, в котором поговорю с ним от имени Бога.

Я поблагодарила их обоих, как Агар должна была благодарить ангела, указавшего ей источник, где она напоила своего ребенка.

Затем кюре проводил меня.

— До завтра,— сказал он мне.

— О, отец мой,— спросила я,— значит, я могу явиться в церковь вместе с моими подругами?

— Кого же тогда церковь будет утешать, если не несчастных? Приходи, дитя мое, приходи с верой, ты же не Магдалина и не женщина, изменившая своему мужу, Бог простил даже им их грехи,— сказал пастор.

На следующий день я исповедовалась и получила отпущение грехов.

Еще через день, в пасхальный день, я причастилась вместе с моими подругами.

XIV

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСПОВЕДИ

На следующий день, как он и обещал, Тома Ламбер уехал в Париж.

Прошла неделя, в течение которой я каждое утро ходила к кюре узнать, нет ли вестей от папаши Тома. За всю неделю не пришло никакого письма.

Вечером в воскресенье, на следующей неделе после Пасхи, около семи часов вечера, старая Катрин пришла за мной от имени своего хозяина. Вся дрожа, я встала и поспешила за ней. Однако по дороге от дома моего отца до дома священника я собралась с духом и стала расспрашивать.

Она мне сказала, что папаша Тома только что прибыл из Парижа.

Я пришла. Оба находились в маленьком кабинете, где происходила сцена, о которой я только что рассказывала. Кюре был грустен, а Тома мрачен и строг.

Я осталась стоять у двери, почувствовала, что вся надежда потеряна.

— Крепись, дитя мое,— сказал мне пастор.— Тома привез дурные новости.

— Габриэль меня больше не любит! — воскликнула я.

— Неизвестно, что стало с Габриэлем,— сказал мне кюре.

— Как это? Погиб корабль, на котором он ехал? Габриэль умер? — вскричала я.

— Боже упаси,— сказал его отец,— но были ли правдой все его сказки?

— Какие сказки? — спросила я испуганно, так как начинала все видеть словно в тумане.

— Да,— сказал отец,— я был у банкира, он не понимал, о чем я говорю, у него никогда не было служащего по имени Габриэль Ламбер и никакого дела в Гваделупе.

— О Боже! Но тогда нужно пойти к тому, кто нашел ему это место, к кандидату в депутаты, вы знаете...

— Я был и там,— сказал отец.

— Ну и что же?

— Ну, он никогда не писал ни моему сыну, ни мне.

— А как же письмо?

— Письмо, оно было у меня, я ему его показал, он узнал свою подпись, но этого письма он не писал.

Я опустила голову на грудь.

Тома Ламбер продолжал:

— Оттуда я пошел на улицу Вьё-Огюстэн, в гостиницу «Венеция».

— Ну и как! Вы там нашли хоть какие-то следы его пребывания? — спросила я.

— В отеле он пробыл шесть недель, потом заплатил по счету и уехал, никто не знает, что с ним стало.

— О Боже мой, Боже мой, что все это значит? — закричала я.

— Это означает,— прошептал Тома Ламбер,— что из нас двоих, мое бедное дитя, самый несчастный — это я.

— Таким образом, вы абсолютно не знаете, что с ним стало?

— Не знаю.

— Но,— сказал кюре,— возможно, вы могли бы узнать в полиции...

— Я думал об этом, но боялся узнать слишком много,— прошептал Тома Ламбер.

Мы все вздрогнули, а я особенно.

— Что же теперь делать? — сказал кюре.

— Ждать,— ответил Тома Ламбер.

— Но она,— сказал пастор, показывая на меня пальцем,— она же не может ждать.

— Это правда,— сказал Тома,— пусть приходит жить ко мне, разве она мне не дочь?

— Да, но, так как она не является женой вашего сына, через три месяца она будет обещана.

— А мой отец! — закричала я. — Эта новость убьет моего отца. Он умрет от горя.

— От горя не умирают, — сказал Тома Ламбер, — но очень страдают, не стоит заставляя страдать несчастного человека: под каким-либо предлогом Мари уедет пожить на месяц к моей сестре в Кан, и ее отец ничего не узнает о том, что случится за это время.

Все произошло так, как было задумано.

Я провела месяц у сестры Тома Ламбера, и за этот месяц дала жизнь этому несчастному ребенку, спящему у вас в кресле.

Мой отец по-прежнему не знал, что случилось со мной, и секрет этот так свято хранился, что никто в деревне, как и мой отец, ничего не узнал.

Прошло пять или шесть месяцев без каких-либо новостей, но вот наконец однажды утром распространился слух, что из Парижа вернулся мэр и что во время этой поездки он встретил Ламбера.

В подтверждение встречи рассказывались такие необыкновенные вещи, что трудно было поверить в правдивость этого рассказа.

Я пошла справиться к Тома Ламберу, что было правдой в этих слухах, дошедших до меня, но едва я вышла из дома, как встретила самого господина мэра.

— Ну что же, красавица, — сказал он мне, — меня больше не удивляет, что твой возлюбленный перестал писать: кажется, он разбогател.

— О Боже мой, каким образом? — спросила я.

— Каким образом, я не знаю, но дело в том, что, когда я возвращался из Курбевау, где обедал у моего зятя, я встретил прекрасного господина на лошади, элегантного, денди, как они там говорят, в сопровождении слуги тоже на лошади. Догадайся, кто это был?

— Откуда мне знать?

— Ну так вот, это был господин Габриэль. Я его узнал и наполовину высунулся из кабриолета, чтобы позвать, он меня наверняка тоже узнал, так как, прежде чем я успел произнести его имя, он пришпорил лошадь и ускакал.

— О! Вы, наверное, ошиблись, — сказала я ему.

— Я подумал, как и ты, но случаю было угодно, чтобы вечером я пошел в Оперу, конечно, в амфитеатр, я же крестьянин, и амфитеатр достаточно хорош для меня, а вот он, как большой господин, сидел на лучших местах,

в одной из самых красивых лож, между двумя колоннами, болтая, флиртуя с дамами, с огромной камелией в бутоньерке.

— Невозможно! Невозможно! — прошептала я.

— Тем не менее это так, но я тоже сомневался и захотел все выяснить. В антракте я вышел в фойе и пошел к его ложе; скоро открылась дверь, и наш великосветский господин прошел мимо меня.

— Габриэль! — сказал я вполголоса.

Он живо обернулся, заметил меня, покраснел как рак и бросился к лестнице с такой быстротой, что на своем пути чуть не сбил с ног какого-то господина с дамой. Я пошел за ним, но, когда подошел к колоннаде у входа, увидел, как он сел в элегантную двухместную карету, лакей в ливрее закрыл за ним дверцу, и карета быстро удалилась.

— Но как он может иметь карету и слуг в ливрее? — спросила я. — Вы, конечно, ошиблись. Это был не Габриэль.

— Я тебе говорю, что я его видел, как вижу тебя, и уверен, что это был он, я его хорошо знаю, потому что он пробыл три года у меня, работал секретарем в мэрии.

— Вы рассказывали об этом другим, как и мне, господин мэр?

— Черт возьми, я рассказывал об этом всем, кто хотел слышать. Он от меня не требовал делать из этого секрета, даже не удосужился меня узнать.

— Ну а его отец? — сказала я вполголоса.

— Ну и что! Его отец может только радоваться, это доказывает, что его сын разбогател.

Я вздохнула и пошла к дому Тома Ламбера.

Я нашла его сидящим за столом, положив голову на руки. Он не слышал, как я открыла дверь, не слышал, как подошла к нему. Когда я дотронулась до его плеча, он вздрогнул и обернулся.

— Ну что, ты тоже уже все знаешь? — спросил он меня.

— Господин мэр мне только что рассказал, что встретил Габриэля на лошади и в Опере; но, может быть, он ошибся.

— Как он мог ошибиться? Разве он не знает его так же хорошо, как и мы? О нет, все чистая правда.

— Если он разбогател, — ответила я скромно, — нам

нужно только радоваться, по крайней мере хоть он будет счастлив.

— Разбогател! — воскликнул отец Тома. — А каким способом он мог разбогатеть? Есть ли честные способы нажить богатство за полтора года? Разве человек, честно разбогатевший, не узнает людей из своей деревни, скрывает свое местопребывание от отца, забывает обещания, данные своей невесте?

— О, что касается меня, вы прекрасно понимаете, что, если он так богат, я больше не достойна его, — сказала я.

— Мари, Мари, — сказал отец Габриэля, качая головой, — я боюсь, скорее он недостоин тебя.

И он подошел к маленькой рамке с рисунком, сделанным когда-то Габриэлем, разбил ее на куски, скомкал рисунок и бросил в огонь.

Я не остановила его, так как в этот момент подумала о банкноте, подобранном маленькой пастушкой, который лежал у меня со времени его отъезда. На обрывке этого билета были написаны слова: «Подделка банковского билета карается по закону смертной казнью».

— Что делать? — спросила я.

— Пусть погибает, если он еще не погиб.

— Послушайте, — сказала я снова, — попытайтесь получить разрешение моего отца, чтобы я провела еще две недели у вашей сестры.

— Зачем?

— Зачем? Теперь я сама поеду в Париж.

Он покачал головой и промолвил сквозь зубы:

— Напрасная поездка, поверь мне, бесполезная поездка.

— Возможно.

— Если бы у меня оставалась хоть какая-то надежда, ты думаешь, я не поехал бы сам? К тому же мы не знаем его адреса, как найти его, не обращаясь в полицию, а если обратимся в полицию, кто знает, что может случиться?

— У меня есть идея, — ответила я.

— Найти его?

— Да.

— Тогда поезжай! Возможно, тебя вдохновляет сам Бог. Тебе нужно что-нибудь?

— Мне нужно только разрешение моего отца, и все.

В тот же день разрешение было испрошено и получено, хотя и с большими трудностями, чем в первый раз.

Уже с некоторых пор мой отец плохо себя чувствовал, и я понимала сама, что время было неподходящим, чтобы его покидать, но меня толкало нечто более сильное, чем простое желание.

XV

ЦВЕТОЧНИЦА

Три дня спустя я уехала, мой отец думал, что я уехала в Кан, и только Тома Ламбер с кюре знали, что я поехала в Париж.

Я заехала в деревню, где был мой ребенок, и взяла его с собой. Несчастливая глупышка, я не думала, что все это будет выше моих сил!

Через день я была в Париже. Добралась до улицы Вьё-Огюстэн, к гостинице «Венеция»: это была единственная гостиница, название которой я знала. Именно здесь он останавливался, и сюда я ему писала.

Там я расспросила о нем, его хорошо помнили: он все время сидел взаперти в своей комнате, постоянно работал с гравером по меди, но не знали, над чем.

Очень хорошо помнили, что некоторое время спустя после его отъезда приходил какой-то мужчина лет пятидесяти, похожий на крестьянина, и задавал те же вопросы, что и я.

Я спросила, где находится Опера. Мне сказали, как туда пройти, и я впервые пустилась в путь по улицам Парижа.

Вот какой план я составила себе. Габриэль ходит в Оперу, я буду поджидать все кареты, которые останавливаются перед ней. Если Габриэль выйдет из какой-нибудь из них, я сразу его узнаю, спрошу адрес у слуги, а на следующий день напишу ему, что я в Париже и хочу его видеть.

С первого же вечера моего приезда в Париж я начала приводить свой план в исполнение. Это было восемь дней назад, во вторник. Я не знала, что Опера дает свои представления только по понедельникам, средам и пятницам.

Я напрасно прождала открытия дверей. Когда спросила, в чем дело, мне объяснили, что представление будет на следующий день.

Я возвратилась в свою гостиницу, где оставалась весь следующий день одна с ребенком, я его видела так мало, что была счастлива этому уединению и одиночеству. В Париже, где меня никто не знал, я осмелилась по крайней мере быть матерью.

Вечером я вышла снова, думая, что смогу подождать у колонн, но полицейские не разрешили мне этого.

Я видела, как две или три женщины ходили повсюду свободно, и, когда спросила, почему им разрешают, а мне нет, мне ответили, что это цветочницы.

Посреди всей этой сумятицы подъезжало много карет, но я так и не смогла увидеть, кто из них выходит, возможно, там был и Габриэль.

Это был потерянный вечер. Значит, придется ждать еще два дня, но я смирилась. Возвратилась в гостиницу с новым планом: выдать себя за цветочницу.

Я купила цветы, сделала два букета и пошла к театру, на этот раз меня пропустили свободно.

Я подходила ко всем останавливающимся каретам и внимательно разглядывала, кто выходит из них.

Было около девяти часов, казалось, все прибыли, когда вдруг появилась еще одна карета и проехала мимо меня. Через дверцу мне показалось, что я узнала Габриэля.

Меня вдруг охватила такая дрожь, что пришлось опереться на тумбу, чтобы не упасть. Лакей открыл дверцу, молодой человек, похожий на Габриэля, выскочил из нее. Я сделала шаг, чтобы подойти к нему, но почувствовала, что сейчас упаду на мостовую.

— В котором часу? — спросил кучер.

— В половине двенадцатого, — сказал он, легко поднимаясь по лестницам.

И он исчез под колоннадой, а карета быстро удалась.

Это были его лицо, его голос: но каким образом элегантный молодой человек с непринужденными манерами мог быть Габриэлем? Такая метаморфоза казалась мне невозможной.

И тем не менее по волнению, которое я испытала, я поняла, что это был не кто иной, как он.

Я стала ждать.

Пробила половина двенадцатого. Из Оперы начали выходить зрители, кареты отъезжали одна за другой.

К одной из карет подошли мужчина лет пятидесяти, молодой человек и две дамы: молодой человек — это был Габриэль — подал руку даме постарше. Та, что была по-моложе, мне показала очаровательной.

Однако он не сел с ней в карету. Проводил их только до подножки, затем, попрощавшись, отошел назад и стал ждать на ступеньках, когда подъедет его экипаж.

У меня было достаточно времени его разглядеть, не было никакого сомнения: это он. Он шумно проявлял свое нетерпение, и, когда кучер подъехал, он его отругал за то, что тот заставил его ждать пять минут.

Неужели же это был тот покорный и трусливый Габриэль? Ребенок, которого я защищала от других детей?

— Куда едет месье? — спросил лакей, закрывая дверь.

— Домой, — сказал Габриэль.

Карета тотчас же тронулась и, доехав до бульвара, свернула направо.

Я вернулась в гостиницу, не понимая, сплю я или бодрствую, и не было ли все, что я видела, сном.

Через два дня случилось то же самое. Только на этот раз вместо того чтобы ждать, когда карета отъедет от выхода из Оперы, я ждала ее на углу улицы Леплетье; около полуночи карета проехала по бульвару, потом по улице справа от меня. Я дошла до этой улицы, чтобы узнать, как она называется: это была улица Тэтбу.

Еще через два дня я ждала карету на углу улицы Тэтбу, рассчитывая узнать, где она остановится.

Действительно, карета подъехала к номеру одиннадцать, значит, он жил там.

Я подошла к двери, когда консьерж закрывал ее.

— Что вы хотите? — спросил он меня.

— Не здесь ли, — спросила я голосом, которому хотела придать побольше твердости, — не здесь ли живет господин Габриэль Ламбер?

— Габриэль Ламбер? — переспросил консьерж. — Я такого не знаю, под этим именем никто в этом доме не проживает.

— Но тот господин, который только что вернулся, как его зовут?

— Какой?

— Господин из этой кареты.

— Его зовут барон Анри де Фаверн, а не Габриэль

Ламбер. Если вы это хотели знать, крошка, то я вам все сказал.

И он закрыл передо мной дверь.

Я возвращалась в гостиницу не очень уверенная, что я должна делать. Это, конечно же, Габриэль, у меня не было никакого сомнения, но разбогатевший Габриэль, скрывающий свое истинное имя, а следовательно, ему мой визит должен быть вдвойне нежелателен.

Я написала ему. Только адресовала свое письмо барону Анри де Фаверну для передачи господину Габриэлю Ламберу.

Я просила о свидании и подписалась: Мари Гранже.

На следующий день я отправила письмо с посыльным, наказав ему дожидаться ответа.

Посыльный вскоре вернулся, сказав, что барона не было дома.

На следующий день я пошла к нему сама, естественно, меня не приняли, слуги сказали, что господин барон не принимает.

Еще через день я снова пришла туда. Слуги сказали мне, что господин барон ответил, что он меня не знает, и запретил меня принимать.

Тогда я взяла на руки ребенка, пришла и села на тумбу перед дверью.

Я решила оставаться там до тех пор, пока он не выйдет.

Так я сидела там целый день, потом наступила ночь.

В два часа ночи прошел патруль и спросил, кто я и что здесь делаю.

Я ответила, что жду.

Тогда начальник патруля приказал мне следовать за ним.

Я пошла за ним, не зная, куда он меня ведет.

Как раз в это время пришли вы и вступились за меня.

Теперь, господин, вы знаете все, вы пришли по его поручению, мне не к кому обратиться в Париже, кроме вас. Вы мне кажетесь добрым человеком, что мне делать? Скажите, посоветуйте.

— Сегодня вечером мне нечего вам сказать,— ответил я.— Я его увижу завтра утром.

— Есть ли у вас какая-нибудь надежда для меня, господин?

— Да,— ответил я,— надеюсь, что он не захочет вас видеть.

— О! Боже мой! Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, мое дорогое дитя, что лучше быть, поверьте мне, бедной Мари Гранже, чем баронессой де Фаверн.

— Увы! Вы думаете, значит, как и я, что это...

— Я думаю, что это презренный негодяй, и почти уверен, что не ошибаюсь.

— Ах, моя дочь, моя малышка,— сказала несчастная мать, бросившись на колени перед креслом своего ребенка. Закрывая ее руками, как бы защищая от будущего, которое ее ожидало.

Было поздно возвращаться в гостиницу на улице Вьё-Огюстэн.

Я позвал свою экономку и поручил ей позаботиться о матери и ребенке.

Затем послал одного из слуг сказать хозяйке гостиницы «Венеция», что мадемуазель Мари Гранже почувствовала себя плохо во время обеда у доктора Фабьена и сможет вернуться только на следующий день.

XVI

КАТАСТРОФА

На следующий день, вернее, в тот же день, мой камердинер вошел ко мне в семь часов утра.

— Господин,— сказал он мне,— вас уже полчаса ждет слуга господина барона Анри де Фаверна, но, поскольку вы легли спать только в три часа утра, я не хотел вас будить. Я помедлил бы еще, если б не пришел второй слуга, еще более нетерпеливый, чем первый.

— Ну хорошо, что нужно этим двум слугам?

— Они пришли сказать, что их хозяин ждет вас. Кажется, барон очень болен и не спал всю ночь.

— Скажите, что я сейчас приду.

Я действительно поспешно оделся и побежал к барону.

Как мне и сказали его слуги, он не лег спать, а свалился в постель, не раздеваясь.

Я так и нашел его в брюках и ботинках, закутавшегося в огромный домашний халат из узорчатой ткани. Сюртук и жилет висели на стуле. Беспорядок в квартире свидетельствовал о беспокойной ночи и бессоннице.

— Ах, доктор, это вы,— сказал он мне,— не выпускайте никого.

И жестом руки выпроводил слугу, который меня привел.

— Извините, что не пришел раньше. Мой слуга не хотел меня будить, я лег спать только в три часа утра.

— Это я должен просить у вас прощения, я вам напедаю, доктор, утомляю и притом, что самое ужасное, не знаю, как вознаградить вас за ваши хлопоты. Но вы видите, что я действительно мучаюсь, не правда ли? И вам жаль меня.

Я посмотрел на него.

Действительно, трудно было найти более взволнованное лицо, чем у него: он вызывал у меня жалость.

— Да, вы мучаетесь, и я отлично понимаю, что жизнь для вас — это пытка,— сказал я ему.

— Видите, доктор, вот оружие, не дважды и не трижды подносил я к своему сердцу кинжал и пистолет.

— Но что вы хотите?

Он усмехнулся и тихо произнес:

— Но я трус и боюсь умереть. Верите, доктор, вы видели, как я дрался, верите, что я боюсь умереть?

— Прежде всего я считаю, что у вас нет моральной смелости, местье.

— Как, доктор, вы осмеливаетесь сказать мне это прямо в лицо...

— Я говорю, что у вас смелость сангвиническая, то есть смелость, поступающая в голову вместе с кровью. Я говорю, что у вас нет никакой решительности; и доказательством этому может служить то, что неоднократно, желая покончить с собой, как вы утверждаете, к тому же имея под рукой всевозможное оружие, вы просили у меня яд.

Он вздохнул, упал в кресло и замолк.

— Но,— сказал я,— вы же позвали меня к себе не затем, чтобы защитить диссертацию о физической или моральной смелости, сангвинической или желчной, не так ли? Вы хотите поговорить со мной о ней?

— Да. И что вы скажете о ней?

— Я скажу, что это благородное сердце, что это — святая девушка.

— Да, но между тем она погубит меня, так как ничего не хочет слышать, не так ли? Она отказывается от любого вознаграждения, хочет, чтобы я на ней женился,

иначе повсюду раззвонит, кто я такой, и расскажет о том, что я собой представляю.

— Я не хочу от вас скрывать, что она приехала в Париж именно с этой целью

— И ее намерения не изменились с тех пор, доктор? Вам не удалось ее переубедить?

— По крайней мере я сказал ей то, что думаю: лучше быть Мари Гранже, чем мадам де Фаверн.

— Что вы подразумеваете под этим, доктор? Не хотите ли вы сказать?..

— Я хочу сказать, господин Ламбер,— хладнокровно продолжал я,— что между прошлым горем Мари Гранже и будущим несчастьем мадемуазель де Макарти я предпочел бы несчастье бедной девушки, которой не придется давать это имя своему ребенку.

— Увы! Да, да, доктор, вы правы, это имя роковое. Но, скажите мне, мой отец еще жив?

— Да.

— А, слава Богу! Я не получал от него вестей вот уже пятнадцать месяцев.

— Он приезжал в Париж, чтобы найти вас, и узнал, что вы не уезжали в Гваделупу.

— Боже праведный!.. И что же он еще узнал в Париже?

— Что вы никогда не были у банкира, а письмо, которое он получил от вашего так называемого покровителя, никогда им не писалось.

Несчастный вздохнул так тяжело, что это походило на стон, потом закрыл глаза руками.

— Он знает это, знает,— прошептал он после некоторого молчания.— Но в конце концов что тут такого? Это письмо было придумано, правда, но оно никому не причинило вреда. Я хотел уехать в Париж, я сошел бы с ума, если бы сюда не приехал. И использовал этот единственный способ, разве вы на моем месте не сделали бы то же самое, доктор?

— Вы серьезно у меня спрашиваете об этом, месье?— спросил я, пристально глядя на него.

— Доктор, вы самый непреклонный человек, какого я когда-либо встречал,— сказал барон, поднимаясь и быстро шагая назад и вперед.— Вы мне говорите одни неприятные вещи, и тем не менее как же так получается?

Вы единственный человек, кому я безгранично доверяю. Если бы кто-то другой знал и половину того, что знаете вы!..

Он подошел к пистолету, висевшему на стене, поднес руку к его рукоятке со свирепым выражением, присутствием скорее дикому зверю.

— Я убил бы его.

В это время вошел слуга.

— Что вам надо? — резко спросил барон.

— Извините, если я перебиваю господина, несмотря на его приказ, но три месяца назад господин ремонтировал свои конюшни, и вот пришел служащий из банка, чтобы получить деньги по расписке, которую выдал господин.

— На какую сумму? — спросил барон

— Четыре тысячи.

— Хорошо, — сказал барон, направляясь к секретеру, и вытащил из портфеля, который он когда-то отдавал мне на хранение, четыре банкнота по тысяче франков каждый, — держите, вот они, и принесите мне расписку.

Что было проще: взять из портфеля банковские билеты и вручить их слуге.

Тем не менее барон сделал это с явным колебанием, а его обычно бледное лицо приняло мертвенный оттенок, когда он беспокойным взглядом посмотрел вслед слуге, выходящему с банкнотами.

Между нами наступило угрюмое молчание, во время которого барон два или три раза пытался заговорить, но всякий раз слова замирали у него на губах.

Слуга снова открыл дверь.

— Ну, что еще? — спросил барон резко и нетерпеливо.

— Посыльный хотел бы что-то сказать господину.

— Этому человеку мне нечего сказать! — воскликнул барон. — Он получил свои деньги и пусть уходит.

Посыльный показался позади слуги и скользнул между ним и дверью.

— Извините, — сказал он, — извините, вы ошиблись, месть, мне надо вам кое-что сказать.

Затем прыгнул вперед и схватил барона за шиворот.

— Я должен вам сказать, что вы фальшивомонетчик и я арестую вас именем закона! — воскликнул он.

Барон в ужасе закричал, и лицо его стало пепельного цвета.

— На помощь,— прошептал он,— на помощь, доктор! Жозеф, позови моих людей, на помощь, ко мне!

— Ко мне! — закричал громким голосом так называемый посыльный банка.— Ко мне, все ко мне!

Тотчас же открылась дверь на потайную лестницу, и в комнату барона ворвались еще двое.

Это были агенты сыскной полиции.

— Но кто вы такой? — воскликнул барон, отбиваясь.— И что вы от меня хотите?

— Господин барон, я В., вы попались,— сказал мнимый служащий банка,— не шумите и не скандальте, спокойно следуйте за мной.

Имя, произнесенное этим человеком, было настолько известным, что я вздрогнул помимо своей воли.

— Следовать за вами,— повторил барон, продолжая отбиваться,— следовать за вами и куда это?

— Черт возьми! Куда же отводят таких людей, как вы, не вам об этом спрашивать, я в этом уверен, и вы должны это знать... в камеру заключения при полицейском участке, черт вас возьми!

— Никогда!— воскликнул арестованный.— Никогда!

Неистовым усилием он освободился из рук державших его двух мужчин, бросился к своей кровати и схватил висевший над ней турецкий кинжал.

В то же мгновение мнимый посыльный банка быстрым, как мысль, движением вытащил из кармана два пистолета и направил их на барона.

Но он неправильно понял намерения последнего, тот повернул оружие против самого себя.

Оба агента хотели было броситься к нему, чтобы вырвать оружие.

— Не стоит!— сказал В.— Не волнуйтесь, он не покончит с собой, я с давних пор знаком с господами фальшивомонетчиками. Эти молодцы слишком уважают собственную персону. Ну же, дружище, ну же,— продолжал он, скрепив руки и позволяя несчастному заколоть себя кинжалом,— не стесняйтесь нас, кончайте, кончайте!

Барон, казалось, хотел опровергнуть того, кто бросил ему этот странный вызов. Он быстро поднес руку к

груди, нанес себе несколько ударов и с криком упал. Его сорочка окрасилась кровью.

— Вы же видите,— сказал я, бросаясь к барону,— несчастный убил себя.

Он рассмеялся.

— Убил себя, он! Ах! Нашли дурака! Поднимите-ка сорочку, доктор.

— Доктор! — удивился я.

— Черт возьми! — сказал В...— Я вас знаю: вы доктор Фабьен. Поднимите его сорочку и, если обнаружите хоть одну глубокую рану, можете гильотинировать меня вместо него.

Однако я сомневался, так как несчастный на самом деле потерял сознание и не шевелился.

Я поднял его сорочку и осмотрел его раны. Их было шесть, но, как и предсказывал В..., они были не глубже, чем уколы булавки.

Я с отвращением отошел в сторону.

— Ну что! — сказал мне В...— Хороший я психолог, господин доктор? Ну-ка, чего уж там,— добавил он,— наденьте-ка наручники на этого молодца, без них он будет трепыхаться всю дорогу.

— Нет, нет, господа! — закричал барон, пришедший в себя от этой угрозы.— Если меня повезут в карете, я и слова не скажу и не попытаюсь убежать, даю вам честное слово.

— Вы слышите, ребятки, он дает слово чести, это внушает доверие, каково? Что вы скажете о слове чести этого господина?

Оба агента рассмеялись и подошли к барону с наручниками.

Я испытывал чувство неловкости, не знаю почему. Мне хотелось уйти отсюда.

— Нет, нет! — воскликнул барон, цепляясь за мою руку.— Не уходите. Если вы уйдете, они меня не пощадят, потащат по улицам, как преступника.

— Но чем я могу быть вам полезен, месье? Я никак не могу повлиять на этих господ,— сказал я.

— Нет, нет, вы можете это сделать, доктор, вы ошибаетесь,— сказал он вполголоса,— честный человек всегда имеет влияние на этих людей. Попросите у них разрешения проводить меня в карете до полицейского

участка, и вы увидите, что они меня отвезут несвязанным.

Глубокое чувство жалости сжимало мое сердце и возоблададо над презрением.

— Господин В...,— обратился я к шефу агентов,— этот несчастный просит меня ходатайствовать в его пользу: его хорошо знают в квартале, он был принят в свете... Ну, умоляю вас, избавьте его от ненужного унижения.

— Господин Фабьен,— ответил мне В... с изысканной вежливостью,— я ни в чем не могу отказать такому человеку, как вы. Я слышал, что этот человек просил вас сопровождать его до полицейского участка. Ну что ж, если вы согласны, то я сяду вместе с вами в карету, и таким образом все произойдет без шума.

— Доктор, умоляю вас,— сказал барон.

— Ну что ж, пусть будет так,— сказал я,— я выполняю до конца мой долг. Господин В..., будьте добры, пошлите за фиакром.

— И пусть он подъедет к двери, выходящей на улицу Хельдер! — воскликнул барон.

— Фильдесуа,— сказал В... с непередаваемой иронией.— Выполняйте приказания господина барона.

Субъект под именем Фильдесуа вышел, чтобы выполнить данное ему поручение.

— А пока, с разрешения господина барона,— сказал В...,— я произведу небольшой обыск в секретере.

Габриэль кинулся к секретеру.

— О, не беспокойтесь, господин барон,— сказал В..., протягивая руку.— Если мы там и найдем несколько купюр, то это ничего не изменит: у нас их имеется по крайней мере сотня, сфабрикованных вами.

Арестованный упал на стул, а тот, кто его арестовал, приступил к обыску.

— Ах, ах! — сказал он.— Я знаю эти секретеры, они по типу Бартеlemi. Посмотрим сначала в выдвижных ящиках, потом поищем в потайных.

Он обыскал все ящики, где, кроме портфеля, о котором мы уже говорили, лежали только письма.

— А теперь посмотрим потайные.

Габриэль следил за ним взглядом, то бледнея, то краснея.

В этот момент я любовался ловкостью человека, производившего обыск. В секретере было четыре разных потайных ящика: не только ни один из них не ускользнул от него, более того, он мгновенно, при простом осмотре, не ощупывая, обнаружил их механизм.

— Вот он, секрет,— сказал он, доставая сотню банкнотов по пятьсот и тысяче франков.

— Черт возьми! Господин барон, выхватили через край: еще четыре таких молодца, как вы, и к концу года банк прогорел бы.

Арестованный ответил на это только глухим стоном, обхватив голову обеими руками.

В это время возвратился Фильдесау.

— Господа, фиакр у входа,— сказал он.

— В таком случае едем,— сказал В...

— Но,— вмешался я,— вы видите, что господин барон еще в халате, вы же не можете увезти его в таком виде.

— Да, да,— вскричал Габриэль,— мне надо одеться!

— Одевайтесь же, и побыстрее. Надеюсь, мы с вами достаточно любезны, а?.. По правде говоря, это мы делаем не ради вас, а ради господина доктора.

И, повернувшись ко мне, он поклонился.

Но, вместо того чтобы воспользоваться данным ему разрешением, барон неподвижно сидел на стуле.

— Ну же, ну! Пошевеливайтесь, и побыстрее! В девять часов нам нужно задержать еще одного господина. Нельзя допустить, чтобы из-за одного мы упустили другого.

Габриэль открыл шкаф, где висела его одежда, и достал оттуда пять или шесть сюртуков, пока не выбрал один из них.

— С позволения господина барона,— сказал В...,— мы ему заменим лакеев.

И он сделал знак полицейским, которые взяли из комода жилет и галстук, тогда как он выбирал в шкафу сюртук.

И вот тогда-то начался самый странный туалет, который мне когда-либо пришлось наблюдать в своей жизни. Стоя и покачиваясь на ногах, арестованный подчинялся, пристально устремляя на каждого из нас удивленный взгляд.

Ему завязали на шее галстук, надели жилет и сюртук, как если бы имели дело с манекеном, потом надвинули на голову шляпу и сунули в руку трость с золотым набалдашником.

Можно было сказать, что, если бы его не поддерживали, он бы упал.

Оба полицейских взяли его каждый под руку, и только тогда, казалось, он проснулся.

— Нет, нет,— закричал он, цепляясь за мою руку,— как ведь, так ведь вы мне пообещали, доктор!..

— Да,— ответил я,— но пойдемте же.

— Господин барон,— сказал В...,— я вас предупреждаю, если попытаетесь бежать, я вас пристрелю. При этой угрозе я почувствовал дрожь во всем теле.

— Разве я не дал вам честное благородное слово не пытаться убежать?— сказал Габриэль, пытаюсь скрыть свой страх за внешней порядочностью.

— А, да, правда,— сказал В..., взводя курки пистолетов,— я забыл об этом. Пошли.

Мы спустились по лестнице, несчастный опирался на мою руку, следом шли шеф и двое полицейских.

Слушившись во двор, один из полицейских подбежал к фиакру и открыл дверцу.

Прежде чем сесть в карету, Габриэль испуганно поглядел налево и направо, словно для того, чтобы проверить, нет ли возможности убежать.

Но в этот момент, почувствовав, как что-то упирается ему между лопаток, он обернулся— это был ствол пистолета.

И сразу бросился к фиакру.

В... сделал мне знак рукой сесть на заднее сиденье. Это был не тот случай, когда следовало церемониться. Я сел на то место, которое мне указали.

Он сказал полицейским несколько слов на своем особом жаргоне, которых я не смог понять, и, поднявшись в фиакр, в свою очередь, сел впереди.

Кучер закрыл дверцу.

— В префектуру полиции, господин?— спросил он.

— Да,— ответил В...,— но откуда вы знаете, куда мы едем, дружище?

— Тсс! Я вас узнал,— ответил кучер,— я везу вас уже в третий раз и всегда в компании.

— Да уж! — сказал В... — Сохранишь тут инкогнито!

Фиакр начал двигаться к бульвару, затем поехал по улице Ришелье, доехал до Нозого моста, проследовал вдоль набережной дез Орфевр, повернул направо, проехал под аркой в небольшую улочку и остановился у какой-то двери.

Только тогда арестованный, казалось, вышел из оцепенения: всю дорогу он не проронил ни одного слова.

— Как! Уже! — закричал он.

— Да, господин барон, — сказал В..., — вот ваше временное жилище, оно менее элегантно, чем на улице Тэтбу, но что поделаешь! В вашей профессии есть взлеты и падения, нужно быть философом.

Сказав это, он открыл дверцу и выскочил из фиакра.

— У вас есть какие-нибудь просьбы ко мне, прежде чем я уйду, господин? — спросил я у арестованного.

— Да, да, пусть она не узнает ничего, что случилось со мной.

— Кто она?

— Мари.

— Действительно, — ответил я, — бедная женщина! Я забыл про нее. Будьте спокойны, я сделаю, что смогу, чтобы скрыть от нее правду.

— Спасибо, спасибо, доктор. Ах, я знал, что вы мой единственный друг.

— Ну, я жду, — сказал шеф бригады.

Габриэль вздохнул, грустно покачал головой и приготовился выйти.

Как бы помогая ему, В... взял его за руку, и оба подошли к роковой двери, которая открылась сама, будто узнала своего поставщика.

Арестованный бросил на меня последний взгляд отчаяния, и дверь за ними захлопнулась с глухим гулким шумом.

В тот же день Мари покинула Париж и возвратилась в Трувиль. Я ничего ей не сказал, так как пообещал это Габриэлю, но она и так догадалась обо всем.

Прошло шесть месяцев со дня тех событий, о которых я рассказал, но, несмотря на прилагаемые мною усилия забыть их, они неоднократно приходили мне на память. Однажды, часов в шесть вечера, когда я собирался сесть за стол, мне пришло следующее письмо:

«Господин, несчастный Габриэль Ламбер должен предстать перед Богом, куда его приведет высшая мера наказания. Он сохранил глубокую память о вашей доброте и просит о последней услуге. Он надеется, что вы сможете получить у префекта разрешение посетить его в камере в последний раз. Нельзя терять время: исполнение приговора состоится завтра в шесть часов утра.

Имею честь...» и т. д.

«Аббат...»

тюремный священник».

На ужин у меня были приглашены два или три человека.

Я показал им письмо и в нескольких словах объяснил, о чем шла речь. Оставив одного из них за хозяина, я поручил ему заменить меня.

А потом сел в кабриолет и тотчас уехал.

Как я и предвидел, мне не составило никакого труда получить пропуск, и к семи часам вечера я прибыл в Бисетр.

Впервые я переступил порог этой тюрьмы, которая стала последним прибежищем осужденных на смертную казнь, с тех пор как перестали казнить на Гревской площади.

Таким образом, не без замиранья сердца и безотчетного страха, от которого не избавлен даже самый честный человек, я услышал, как за мной закрылись массивные двери.

Кажется, что там, где любое слово — это жалоба, любой шум — стенание, вдыхаешь совсем иной воздух, не тот, которым дышат остальные люди. И, конечно, показывая директору тюрьмы разрешение на посещение заключенного, я, вероятно, предстал перед ним таким

же бледным и дрожащим, как и те, кого он привык принимать.

Едва прочитав мое имя, он остановился и поздоровался со мной вторично.

Затем позвал служащего, принимающего посетителей.

— Франсуа,— сказал он,— проводите господина в камеру Габриэля Ламбера. Тюремные правила не для него, и, если он пожелает остаться один с осужденным, вы ему это разрешите.

— В каком состоянии я найду этого несчастного? — спросил я.

— Как теленка, которого ведут на убой, по крайней мере мне так говорили, вы сами увидите; он настолько подавлен, что мы посчитали бесполезным надевать на него смирительную рубаху.

Я вздохнул. В... не ошибся в своих предположениях, и перед лицом смерти он не стал смелее.

Я кивнул головой в знак благодарности директору, который вернулся к своей игре в пикет, прерванной моим приходом, и последовал за служащим.

Мы пересекли небольшой двор, вошли в темный коридор, спустились вниз на несколько ступенек, потом очутились в другом коридоре, где дежурили тюремщики, которые время от времени подходили заглянуть в зарешеченные отверстия.

Это были камеры смертников, за последними моментами жизни которых следят из опасения, что самоубийство избавит их от эшафота.

Служащий открыл одну из дверей, и я замер от охватившего меня леденящего страха.

— Входите,— сказал он,— это здесь.

— Эй! Эй! Молодой человек,— добавил он,— взбодритесь же немного, вот человек, которого вы требовали.

— Кто? Доктор? — спросил чей-то голос.

— Да, месье,— ответил я, входя,— я пришел по вашей просьбе.

И охватил взглядом мрачную наготу этой камеры.

В глубине ее стояло что-то вроде ложа, над которым толстая решетка указывала, что там должна была быть отдушина.

Стены, почерневшие от времени и дыма, были исчерчены со всех сторон именами череды постояльцев этого ужасного жилища, вероятно, они были нацарапаны цепями. Кто-то из них, с большим воображением, чем другие, начертил там изображение гильотины.

Возле стола, освещенного дрянной коптилкой, сидели двое мужчин.

Один из них мужчина лет сорока восьми — пятидесяти, седые волосы делали его похожим на семидесятилетнего старика.

Другим был наш приговоренный.

Увидев меня, он встал, второй же остался сидеть неподвижно, будто ничего не видел и не слышал.

— Ах, доктор,— сказал узник, опираясь рукой о стол чтобы удержаться на ногах,— ах, доктор, вы все же согласились прийти навестить меня. Я знал, какое у вас доброе сердце, тем не менее, признаюсь, сомневался.

— Отец, отец,— сказал осужденный, дотрагиваясь до плеча старика,— это доктор Фабьен, о котором я вам столько рассказывал... Извините меня,— продолжал молодой человек, поворачиваясь ко мне и указывая на Тома Ламбера,— мой приговор нанес ему такой удар, что он, кажется, сошел с ума.

— Вы желали поговорить со мной, месье, и я поспешил прийти. В моем положении снисхождение при подобных просьбах не является вопросом доброты, а моим долгом.

— Так вот, доктор... вы знаете, что... завтра,— сказал осужденный.

И он снова упал на свою скамейку, вытер выступивший на лбу пот влажным носовым платком, поднес к губам стакан воды, из которого отпил несколько глотков, а рука у него дрожала так, что я слышал, как звуки стучали о стакан.

Затем на какое-то время наступило молчание. Я внимательно оглядел его.

Думаю, никогда самая тяжелая болезнь не производила таких ужасных изменений в человеке.

Какой-то ненастоящий и смешной в своем костюме денди, Габриэль в ожидании казни стал существом, достойным сожаления. Его тело, слишком хрупкое при его росте, еще больше похудело. Глаза, ввалившиеся в

орбиты, казалось, были налиты кровью. Осунувшееся лицо было бледным, от пота ко лбу прилипли пряди отросших волос.

На нем был тот же сюртук, тот же жилет и те же самые брюки, что и в день его ареста; только все это было грязным и рваным.

— Отец,— сказал он, тормоша старика, по-прежнему неподвижного и безмолвного,— отец, это доктор.

— А? Что? — прошептал старик.

— Я говорю вам, что это доктор,— продолжал он, повышая голос,— я хотел с ним поговорить.

— Да, да,— прошептал старик.— Ну и что? Говорят.

— Но поговорить с ним один на один. Вы не понимаете, я хочу поговорить с ним наедине.— Ах, Боже мой,— воскликнул он с нетерпением,— мы не должны терять время! Встаньте, отец, встаньте и оставьте нас.

Тогда он просунул руки под мышки старика и попытался его поднять.

— Что такое, что случилось,— спросил старик,— за тобой уже пришли? Еще ведь не время, это только завтра в шесть часов?

Осужденный вновь упал на скамью, испустив глубокий стон.

— Послушайте, доктор,— сказал он,— вразумите его, скажите, что я хочу остаться с вами один на один, у меня это не выходит, нет больше сил.

И он, не сдержав рыданий, положил руки и голову на стол.

Я сделал знак служащему помочь мне. Он подошел к старику вместе со мной.

— Господин, я старый знакомый вашего сына. Он хочет доверить мне какой-то секрет. Будьте добры оставить нас одних.

В то же время мы подхватили его каждый под руку, чтобы вывести в коридор.

— Мне обещали другое! — воскликнул он.— Сказали, что я останусь с ним до последнего момента. Я получил на это разрешение; почему меня хотят увести? О, сын мой, мое дитя, мой Габриэль!

И старик, придя в себя, охваченный горем, бросился к молодому человеку, распростертому на столе.

— Он не уйдет,— прошептал заключенный,— а ведь он должен понять, что каждая минута дорога для меня, как год в жизни другого.

— Никто не хочет отрывать вас от сына, господин,— сказал я ему,— поймите это; это ваш сын, но он хочет ненадолго остаться со мной наедине.

— Это так, Габриэль? — спросил старик.

— Боже мой, да, я вам это повторяю целый час.

— Тогда хорошо, я уйду, но хочу остаться недалеко от камеры.

— Вы побудете там, в коридоре,— сказал тюремщик.

— И смогу вернуться?

— Как только ваш сын позовет вас снова.

— Вы меня не обманываете, доктор? Это было бы ужасно: обмануть отца

— Я вам даю честное слово, что через несколько минут вы сможете вернуться.

— Тогда я оставляю вас,— сказал старик и, закрыв лицо руками, рыдая, вышел.

Тюремщик вышел вместе с ним и закрыл дверь.

Я сел на место старика.

— Итак, господин Ламбер, вот мы и одни, что я могу для вас сделать? Говорите,— сказал я.

Он медленно поднял голову, приподнялся на обеих руках, огляделся вокруг потерянными взглядом, затем пристально поглядел на меня.

— Вы можете меня спасти,— сказал он.

— Я! — воскликнул я, вздрагивая.— Каким это образом?

Он схватил мою руку.

— Тише, послушайте меня,— сказал он.

— Я слушаю.

— Вы помните, мы сидели однажды на улице Тэтбу, и я вам показал банковский билет с написанными на нем словами: «Подделка банковского билета карается по закону смертной казнью»?

— Да.

— Помните, я тогда пожаловался на жестокость этого закона, а вы сказали мне, что король намеревался предложить Палате депутатов смягчить наказание?

— Да, помню.

— Итак, я приговорен к смерти, позавчера моя кас-

сационная жалоба была отклонена. Вчера я подал его величеству прошение о помиловании.

— Понимаю.

— Вы все еще являетесь королевским врачом?

— Да, и даже в этот момент я считаюсь на дежурстве.

— Таким образом, мой дорогой доктор, в качестве королевского врача вы можете его увидеть в любое время, умоляю вас, сходите к нему и скажите, что вы меня знаете, наберитесь мужества и попросите его помиловать меня во имя Бога! Умоляю вас!

— Но это помилование,— начал я,— даже если предположить, что я смогу его добиться, будет лишь смягчением наказания.

— Я хорошо это знаю.

— И это смягчение наказания, не обольщайтесь, будет пожизненная каторга.

— Что хотите,— прошептал приговоренный со вздохом,— все же это лучше, чем смерть!

Я, в свою очередь, почувствовал, как у меня на лбу выступил холодный пот.

— Да,— сказал Габриэль, глядя на меня,— да, понимаю, что с вами происходит: вы меня презираете, считаете трусом, говорите себе, что лучше сто раз умереть, чем пожизненно тянуть ляжку, особенно когда тебе только двадцать шесть лет, позорное существование. Но что вы хотите? С момента моего ареста я не спал ни одного часа, посмотрите на мою голову, половина волос поседела. Да, я боюсь смерти, спасите меня от смерти — это единственное, о чем я прошу, потом они могут делать со мной все, что захотят.

— Попробую,— ответил я.

— Ах, доктор, доктор,— вскричал несчастный, схватив мою руку и прижав к ней свои губы, прежде чем я успел ее отнять,— доктор, я знал, что моя единственная и последняя надежда была в вас.

— Месье,— начал я, стыдясь его унижения.

— А теперь,— перебил меня он,— не теряйте ни минуты, идите, идите скорей; если случайно какое-нибудь препятствие помешает вам увидеть короля, настаивайте, Бога ради! Помните, моя жизнь зависит от ваших слов, сейчас девять часов вечера, а это произойдет завтра в шесть часов утра. Боже, только девять часов жизни!

Если вы меня не спасете, остается жить только девять часов.

— В одиннадцать я буду в Тюльри.

— А почему в одиннадцать, а не сейчас же, вы теребите два часа.

— Потому что обычно король уединяется только в одиннадцать, чтобы работать, а до этого часа он находится в приемной.

— Да, их там целая сотня, они разговаривают, смеются, они уверены в завтрашнем дне, не думая о том, что один из подобных им мучается в тюрьме при свете этой лампы, в этих стенах, исписанных именами людей, живших здесь так же, как теперь живет он. Они не знают всего этого, скажите им, как обстоит дело, и пусть они пожалеют меня.

— Я сделаю все, что смогу, месье, успокойтесь.

— И еще, если король будет колебаться, обратитесь к королеве: это святая женщина, она, наверно, против смертной казни! Обратитесь к герцогу Орлеанскому, все говорят, у него доброе сердце. Как меня уверяли, он говорил однажды, что если бы он вступил на трон, то не было бы ни одной казни при его правлении. Не обратитесь ли вам к нему вместо короля?

— Успокойтесь, я сделаю все, что необходимо сделать.

— Но по крайней мере у вас есть надежда?

— Милосердие короля велико, я надеюсь на него.

— Да услышит вас Бог! — воскликнул он, прижимая руки к груди. — О Боже, Боже, смягчите сердце того, кто одним словом может меня убить или помиловать.

— Прощайте, месье.

— Прощайте? Что вы говорите? Разве вы не вернетесь?

— Я возвращусь, если добьюсь успеха.

— О, и в том, и в другом случае я должен вас увидеть! Боже мой, что станет со мной, если я вас не увижу? Я буду ждать вас до самого эшафота, но какое же мучение в сомнении. Возвращайтесь, умоляю вас.

— Я вернусь.

— А, хорошо! — сказал осужденный, которого, казалось, покинули силы с того момента, как он получил от меня это обещание. — Хорошо, я вас жду!

И он снова упал на стул.

Я подошел к двери.

— Да,— воскликнул он,— пришлите ко мне моего отца, я не хочу оставаться один, одиночество — это начало смерти!

— Я сделаю то, что вы желаете.

— Подождите, в котором часу вы рассчитываете вернуться?

— Но я не знаю... Однако думаю, около часа ночи...

— Послушайте, бьет половину десятого; невероятно, как быстро бежит время, особенно в последние два дня! Итак, через три часа, не так ли?

— Да.

— Идите, идите, мне хотелось бы одновременно и побыть с вами, и чтобы вы ушли. До свидания, доктор, до свидания. Пришлите моего отца, прошу вас.

Рекомендация была напрасной; бедный старик, как голько увидел меня в дверях, поднялся.

Тюремщик, выпустивший меня, ввел его, и дверь за ним закрылась. Я поднялся по лестнице со щемящим сердцем. Никогда мне не приходилось видеть такого отвратительного зрелища; для нас, врачей, смерть привычна, она представляла перед нами во всех ее ипостасях, но никогда я не видел, чтобы жизнь так трусила перед смертью.

Я вышел, предупредив директора, что, вероятно, вернуться в течение ночи.

У двери меня ждал мой кабриолет, я вернулся к себе и нашел друзей, весело играющих в карты, и вспомнил о словах этого несчастного:

«Люди смеются, развлекаются, не думая о том, что один из им подобных мучается в тюрьме».

Я был так бледен, что, увидев меня, мои друзья закричали от удивления и хором спросили, не случился ли со мной несчастный случай.

Я рассказал им, что произошло, и в конце моего рассказа они были почти так же бледны, как и я.

Потом я зашел в туалетную комнату и оделся.

Когда я оттуда вышел, игра прекратилась.

Мои друзья стояли и разговаривали: между ними завязалась горячая дискуссия о смертной казни.

НОЧНОЕ ВДЕНИЕ КОРОЛЯ

Была половина одиннадцатого. Я хотел проститься с друзьями, но все они ответили, что с моего разрешения хотели бы остаться у меня и дожидаться исхода моего визита к его величеству.

Я приехал в Тюильри. Королева находилась в окружении принцесс и фрейлин, они, как обычно, были заняты вышиванием, предназначенным для благотворительного общества.

Мне сказали, что король уже удалился в свой кабинет и работает.

Мне случалось раз двадцать заходить к его величеству в его святая святых. Поэтому не было надобности провозжать меня туда, я знал дорогу.

В смежной комнате работал один из его личных секретарей по имени Л... Это был один из моих друзей и, кроме того, один из тех людей, на благородство которого всегда можно было рассчитывать.

Я ему рассказал, что меня привело, и попросил предупредить его величество, что я здесь и прошу оказать милость принять меня.

Л... открыл дверь, и минуту спустя я услышал голос короля:

— Фабьен, доктор Фабьен? Ну что ж, пусть входит.

Я воспользовался разрешением, даже не дождавшись возвращения представившего меня секретаря. Король заметил мою поспешность.

— Ах, ах, доктор,— сказал он,— можно подумать, что вы подслушиваете под дверью, входите же, входите.

Я был очень взволнован.

Никогда я не видел короля при подобных обстоятельствах, от одного его слова зависела жизнь человека.

Его королевское величество явился мне во всем своем могуществе. Его власть в этот момент равнялась власти Бога.

Его лицо выражало такую безмятежность, что уверенность вернулась ко мне.

— Сир,— сказал я ему,— тысячу раз прошу извинения у вашего величества, что я осмелился предстать перед ним, не имея чести быть вызванным; но речь идет

о добром и святом деле, и я надеюсь, что ваше величество меня простит во благо этого дела.

— В таком случае вы дважды желанный гость, доктор, говорите скорей. Ремесло короля стало теперь таким скверным, что нельзя упускать случай, чтобы не скрасить его немного. Что вы желаете?

— Я имел честь иногда обсуждать с вашим величеством важный вопрос о смертной казни и знаю мнение вашего величества по этому поводу, а поэтому я возвращаюсь к нему с полным доверием.

— А-а! Догадываюсь, что вас привело.

— Несчастный, виновный в изготовлении фальшивых купюр, был приговорен к высшей мере в последней инстанции; позавчера его кассационная жалоба была отклонена, и этот человек завтра должен быть казнен.

— Я знаю об этом,— сказал король,— я ушел из гостиной, чтобы самому изучить этот случай.

— Как, вы сами, сир?

— Дорогой господин Фабьен,— продолжал король,— знайте, что ни одна голова во Франции не упадет с плеч, прежде чем я сам не приду к убеждению, что осужденный действительно виновен.

Каждая ночь перед казнью является для меня ночью глубоких размышлений. Я изучаю досье от первой до последней строчки; слежу за обвинительным актом во всех подробностях; взвешиваю свидетельские показания, как обвинительные, так и оправдательные, вдали от любого внешнего влияния, один на один с ночью и уединением, я беру на себя роль судьи над судьями. Если мое убеждение совпадает с их убеждением, тогда, хотите вы или нет, преступление и закон налицо, надо дать ход закону. Если я сомневаюсь, тогда вспоминаю о праве, данном мне Богом, и если не милую, то по крайней мере сохраняю жизнь. Если бы мои предшественники поступали, как я, доктор, то в момент, когда Бог приговорил их в свою очередь, у них на совести было бы немного меньше угрызений, а скорби на их могилах больше.

Я слушал слова короля и, признаюсь, смотрел на этого могущественного человека с глубоким уважением; когда в двадцати шагах от него смеялись и шутили, он, серьезный и одинокий, склонялся над документами длин-

ной и утомительной судебной процедуры, чтобы найти там истину. Таким образом, в обществе на двух его полюсах бодрствовали два человека, озабоченные одной и той же мыслью: осужденный мечтал о помиловании, король размышлял, может ли он помиловать осужденного.

— Ну что ж, сир,— спросил я его с волнением,— что вы думаете об этом несчастном?

— Что он действительно виновен, да он, впрочем, ни разу и не отрицал этого, но что закон слишком суров, это тоже верно.

— Таким образом, у меня есть надежда получить помилование, о котором я пришел просить ваше величество?

— Я хотел бы позволить вам подумать, господин Фабьен, что делаю что-то для вас лично, но не хочу гадать: когда вы вошли, мое решение было уже принято.

— Значит, ваше величество дарует помилование? — сказал я.

— Это называется «помиловать»? — спросил король.

Он взял приговор, развернутый перед ним, написал на полях вот эти две строчки:

«Я заменяю смертную казнь пожизненными каторжными работами». И поставил свою подпись.

— О! — сказал я.— Для другого это было бы, сир, еще более жестоким приговором, чем смертная казнь, но для него — помилование, отвечаю вам за это... настоящее помилование. Ваше величество позволит мне сообщить ему об этом?

— Идите, господин Фабьен, идите,— сказал король. Потом, вызвав Л., сказал: — Отправьте эти документы господину министру юстиции, чтобы они были ему вручены несмедленно; это смягчение наказания.

И, махнув мне на прощанье рукой, он открыл следующее досье.

Я сразу же вышел из Тюильри по особой лестнице, ведущей из кабинета короля прямо к главному входу; нашел свой кабриолет во дворе, бросился к нему и уехал.

Когда я прибыл в Бисетр, была полночь.

Директор по-прежнему играл в пике.

Я увидел, что беспокою его и тем вызываю его раздражение.

— Это опять я,— сказал я ему,— вы мне позволили вернуться к осужденному, и я пользуюсь этим разрешением.

— Идите,— сказал он.— Франсуа, проводите господина.

Затем, обернувшись к своему партнеру с улыбкой глубокого удовлетворения, произнес:

— Четыре дамы и семерка пик, годится?

— Черт возьми! — ответил партнер с недовольным видом.— Думаю, что так, у меня же только пятерка бубен.

Я не стал слушать дальше. Невероятно, как в один и тот же час, а часто и в одном месте, соединяются различные интересы.

Я спустился по лестнице как можно быстрее.

— Это я,— крикнул я у двери,— это я!

Мне ответили тоже криком, и дверь открылась.

Габриэль кинулся ко мне со своего сиденья.

Он стоял посреди камеры, бледный, со взъерошенными волосами, неподвижными глазами, дрожащими губами, не осмеливаясь задать вопрос.

— Ну... и? — прошептал он.

— Я видел короля, он вам дарует жизнь.

Габриэль закричал во второй раз, протянул руки, как бы ища опоры, и без сознания упал около своего отца, который тоже поднялся с места, но даже не протянул руки, чтобы поддержать сына.

Я наклонился, желая помочь несчастному.

— Минутку! — сказал старик, останавливая меня.— Но на каком условии?

— Как! Как на каком условии?

— Да, вы сказали, что король ему даровал жизнь, на каком условии он ему ее даровал?

Я попытался увильнуть от ответа.

— Не лгите, господин,— сказал старик,— так на каком условии?

— Наказание смертной казнью заменяется пожизненными каторжными работами.

— Ну что ж! — сказал отец.— Я догадывался, что именно поэтому мой сын хотел поговорить с вами наедине, подлец.

Выпрямившись во весь рост, он пошел твердым шагом взять свою палку, стоявшую у углу.

— Что вы делаете? — спросил я его.

— Я ему больше не нужен. Я приехал, чтобы увидеть, как он умрет, а не для того, чтобы смотреть, как его будут клеймить. Эшафот его очищал, трус предпочел каторгу. Я принес благословение гильотине, но проклинаю каторжника.

— Но, месье,— начал я.

— Пропустите меня,— сказал старик, протягивая ко мне руку с видом такого достоинства, что я отодвинулся в сторону и не пытался больше удерживать его ни единым словом.

Он удалился степенным, медленным шагом и исчез в коридоре, не повернув головы, чтобы посмотреть на своего сына в последний раз.

Правда, когда Габриэль пришел в себя, он даже не спросил, где его отец.

Я оставил этого несчастного с самым сильным чувством отворачивания, какое когда-либо вызывал у меня человек.

На следующий день я прочитал в «Мониторе» о смягчении наказания.

Впоследствии я больше ничего о нем не слышал и не знаю, на какую каторгу он был отправлен».

На этом месте заканчивалось повествование Фабьена.

ХІХ

ПОВЕШЕННЫЙ

Возвращаясь в конце июня 1841 г. из одного из путешествий по Италии, я, как всегда, обнаружил ожидавшую меня кипу писем.

Как правило, и к сведению тех, кто мне пишет, признаюсь, что в подобном случае разборка почты бывает быстро закончена.

Письма, пришедшие от моих близких друзей, почерк которых я узнаю, откладываю в сторону и прочитываю, другие безжалостно бросаю в огонь.

Однако одно из этих писем с маркой из Тулона, написанное незнакомым почерком, было сохранено и поразило меня своим необыкновенным адресом.

Он был составлен так:

«Господину Александру Дюма, автору драм в Европе, передать прямо в руки в отеле «Париж», если он там еще живет».

Я распечатал письмо и поискал имя льстеца, написавшего мне. Оно было подписано «Росиньоль». На первый взгляд как имя, так и почерк показались мне незнакомыми.

Но когда я сопоставил имя и почтовую марку, кое-что начало проясняться в моей памяти; впрочем, первые же слова письма сняли все мои сомнения.

Оно пришло от одного из двенадцати каторжников, бывших у меня в услужении во время моего проживания на маленькой вилле в крепости Ламальг. Так как это письмо не только имело отношение к недавно рассказанной истории, но еще и дополняло ее, я просто-напросто представляю его на суд читателей, убирая из него орфографические ошибки, которые красовались в адресе и портили стиль письма.

«Господин Дюма,

простите человека, которого несчастья на время выбросили из общества (я здесь временно, как вы знаете) и который осмеливается вам писать, но его намерение, надеюсь, оправдывает его перед вами ввиду того, что он делает в этот момент, а он это делает в надежде быть вам приятным».

(Как видите, предисловие было обнадеживающим, поэтому я продолжаю.)

«Вам достаточно только вспомнить Габриэля Ламбера, того, кого звали доктором, вы знаете, того самого, который не захотел поехать в ресторанчик крепости Ламальг за тем великолепным обедом, которым вы нас угостили.

Глупец!

Вы должны его помнить, так как узнали, раз встречали когда-то в обществе, он тоже вас узнал, а вы так были этим озабочены, что засыпали вопросами бедного папашу Шиверни, надзирателя со злой внешностью, но тем не менее славного человека.

Итак, вот что я должен вам рассказать о Габриэле Ламбере, слушайте же.

Со времени своего прибытия в колонию у Габриэля Ламбера был напарник, прикованный к нему цепью, хо-

рошнй малый, которого прозвали Акация, попавший к нам за какую-то ерунду.

Во время ссоры с товарищами он размахивал руками и случайно ударил ножом своего лучшего друга, что ему стоило десяти лет тюрьмы, ввиду того, что его друг умер. Бедный Акация так и не смог утешиться.

Но судьи приняли во внимание его невиновность, как я уже это сказал, и, хотя его неосторожность была причиной смерти человека, ему присудили только красный колпак (каторжные работы).

Четыре года спустя после вашего пребывания в Тулоне, то есть в 1838 г., в одно прекрасное утро Акация распрощался с нами.

Как раз накануне мой напарник отдал концы.

В результате этого двойного события — отъезда и смерти — мы с Габриэлем остались поодиночке, и нас с ним соединили.

Если вы помните, Габриэль не был вежлив в обращении. Известие, что я буду прикован к нему, мне, как говорится, было неприятным, чтобы не сказать больше.

Однако я подумал, что в Тулоне нахожусь не для удовольствия, а поскольку я по складу характера философ, то покорился судьбе.

В первый день он не раскрыл рта, что меня очень огорчило, поскольку я по природе болтлив; меня это обеспокоило тем более, что Акация говорил мне не один раз, как тяжело быть прикованным к нему.

Я подумал о себе, осужденном на двадцать лет, а следовательно, мне оставалось из них еще десять — мое осуждение было не очень справедливым, право, и я, конечно, подал бы на кассацию, если б у меня была протекция, но так предстояло провести десять не очень веселых лет.

Я промаялся всю ночь, раздумывая о том, что мне делать, и вспомнил о средстве, которое употребил Лис, чтобы разговорить Ворону.

— Месье Габриэль, — сказал я ему, когда рассвело. — Не позволите ли вы мне сегодня утром осведомиться о состоянии вашего здоровья?

Он с удивлением посмотрел на меня, не зная, говорю я серьезно или смеюсь над ним.

Я сохранил свой самый серьезный вид.

— Как это о моем здоровье? — ответил он
Это уже, как видите, было кое-что. Я заставил его раскрыть рот.

— Да, о состоянии вашего здоровья, — продолжал я. — Вы как будто провели дурную ночь.

Он тяжело вздохнул

— Да, дурную, — сказал он. — Но все ночи я провожу таким образом

— Черт побери! — ответил я

Он, без сомнения, ошибся насчет смысла моего восклицания, так как, помолчав минутку, продолжал:

— Однако я хочу вас успокоить. Когда я не смогу заснуть, то постараюсь лежать спокойно и не будить вас.

— О! Не беспокойтесь как обо мне, месье Ламбер, — ответил я. — Для меня такая честь быть вашим напарником по цепи, что я охотно смирюсь с некоторыми мелкими неудобствами.

Габриэль посмотрел на меня с еще большим удивлением.

Акация не так взялся за дело: желая заставить его разговаривать, он лупил его до тех пор, пока тот не заговорил. Но хотя он и добился своего, этот результат не был до конца удовлетворительным, и между ними всегда оставался холодок

— Почему вы со мной так разговариваете, друг мой? — спросил Габриэль Ламбер

— Потому что я знаю, с кем говорю, месье, а я вовсе не хамло, прошу вас поверить мне.

Габриэль опять взглянул на меня с недоверчивым видом. Но я улыбался ему так приветливо, что часть его сомнений, кажется, испарилась.

Наступило время обеда. Как обычно, нам дали один котелок на двоих, но вместо того, чтобы тотчас же сунуть свою ложку в суп, я почтительно подождал, чтобы он закончил есть, прежде чем начать свой обед. Он был растроган до такой степени этим последним проявлением внимания с моей стороны, что не только оставил мне большую часть супа, но и самые лучшие куски.

Тут я увидел, что в этом мире выгодно быть вежливым.

Короче говоря, через неделю мы стали наилучшими в мире друзьями, если отбросить в сторону слегка заносчивый вид, который его никогда не покидал.

К несчастью, я не много выиграл от того, что мой напарник стал разговаривать: его беседы носили всегда самый меланхолический характер, и понадобилась вся природная веселость, которой одарило меня Провидение, чтобы при подобном общении не проиграть самому.

Так прошли два года, в течение которых он мрачнел все больше и больше.

Время от времени я замечал, что он хочет мне в чем-то признаться.

Тогда я смотрел на него с самым открытым видом, желая его подбодрить; но рот его закрывался, и я видел, что все откладывается на другой день.

Я пытался отгадать, какое признание это могло быть, что также было своего рода развлечением. Но вот однажды, когда мы шагали рядом с повозкой, нагруженной старыми пушками, которые отвозили на переплавку, я увидел, что он посмотрел на колесо с несколько странным видом, который, казалось, говорил: «Не будь я трусом, сунул бы туда голову, и все было бы кончено».

С этого момента я все понял. На каторге самоубийство было обычным делом.

Поэтому как-то раз, когда мы работали в порту, я увидел, что он посматривает на меня в своей обычной манере; воспользовавшись, что мы были одни, я решил на этот раз покончить с его колебаниями. Надо вам сказать, что в конечном счете он был невероятно нудный, и меня начинало тошнить от него; и до такой степени, что я был бы не прочь так или иначе избавиться от него.

— Итак! — сказал я ему. — Что вы на меня так смотрите?

— Я? Ничего, — ответил он.

— Точно, — продолжал я.

— Ты ошибаешься.

— Я так мало ошибаюсь, что, если хотите, сам скажу, что с вами такое происходит.

— Ты?

— Да, я.

— Ну, скажи!

— А то, что вы хотите покончить с собой, но боитесь причинить себе боль.

Он побледнел как полотно.

— Кто мог сказать тебе об этом?

— Я догадался.

— Так вот, да! Росиньоль, это так, ты прав: я хочу убить себя, но боюсь.

— Ну-ну, теперь все ясно. Значит, каторга так вам надоела?

— Я двадцать раз жалел, что меня не гильотинировали.

— У каждого свой вкус. А я признаюсь вам, что, хотя те дни, которые мы проводим тут, не устланы розами, я предпочитаю жить тут, а не на том свете.

— Да, так это ты!

— Я понимаю, что вы чувствуете себя здесь не на своем месте. И это справедливо: когда имел сотню тысяч экю ренты или около того, выезжал в шикарных экипажах, одевался в тончайшее сукно и курил сигары по четыре су, оскорбительно таскать на ногах цепи, носить красную одежду и жевать дешевый табак; но что вы хотите? В этом мире надо быть философом, если не хватает смелости самому подписать себе пропуск в иной мир.

Габриэль вздохнул так тяжело, что это было похоже на стон.

— У тебя никогда не было желания покончить с собой? — спросил он у меня.

— Право, нет!

— А ты ни разу не думал о том, что среди различных способов умереть есть наименее болезненный?

— Черт побери! Всегда надо преодолеть какой-то момент, самый тяжелый, но говорят, что у повешения есть своя прелесть.

— Ты полагаешь?

— Конечно, я так думаю. Говорят даже, что из-за этого изобрели гильотину. Один повешенный, веревка которого порвалась, рассказывал об этом такие приятные вещи, что осужденные в конце концов шли на виселицу так, словно отправлялись на свадьбу.

— Правда?

— Понимаете, я сам не пробовал, но здесь это традиция.

— Так что если бы ты решился покончить с собой, то повесился бы?

— Конечно.

Он открыл рот, думаю, затем, чтобы попросить меня повеситься вместе с ним; но по моему лицу он, наверно, увидел, что я не был настроен на это развлечение, поэтому промолчал.

— Ну и что? — спросил я. — Вы решились?

— Еще не совсем, потому что у меня осталась надежда.

— Какая?

— Что найдется один из наших товарищей, который за то, что я оставлю ему все, что имею, и письмо, в котором будет сказано, что я сам покончил с собой, согласится убить меня.

В то же время он смотрел на меня, словно спрашивая, подходит ли мне это предложение.

Я покачал головой.

— О нет! — ответил я. — Я в эти игры не играю, боюсь мокрухи; об этом надо было просить у Акации: он попал сюда за подобную историю и, может быть, согласился бы, приняв всяческие предосторожности, но со мной это невозможно.

— Но, если бы я решился убить себя, ты по крайней мере помог бы мне осуществить мой план?

— То есть я не стал бы вам мешать привести его в исполнение — вот и все. Черт! Я ведь здесь на срок и не хочу подставлять себя.

На этом разговор наш закончился.

Прошли еще шесть месяцев, и за это время между нами ни разу не встал этот вопрос.

Однако я заметил, что Габриэль становился все печальнее, и подозревал, что он старается освоиться со своим планом.

Что же касается меня, вся эта история ничуть не радовала меня, и, признаюсь, мне хотелось, чтобы он побыстрее решился на что-нибудь.

Наконец однажды утром, после очень беспокойной ночи, Габриэль встал бледнее, чем обычно; он не дотро-

нулся до своего обеда, а на вопрос, не заблел ли он, сказал:

— Это будет сегодня.

— А-а! — заметил я.— Решительно?

— Бесповоротно.

— А вы приняли все предосторожности?

— Разве ты не видел, что вчера в столовой я написал записку?

— Да, но я не был нескромен и не стал смотреть.

— Вот она.

И он дал мне сложенный листок бумаги. Я развернул его и прочел:

«Поскольку жизнь на каторге стала для меня невыносимой, я решил повеситься завтра, 5 июня 1841 года. Габриэль Ламбер».

— Ну, вот,— сказал он, довольный своим проявлением смелости,— теперь ты видишь, что мое решение принято, почерк нормальный, рука не дрожала.

— Да, вижу,— ответил я.— Но при этой записке меня посадят по крайней мере на месяц в карцер.

— Почему?

— Потому что здесь не говорится, что я не помог вам осуществить этот план, поэтому предупреждаю, что дам вам повеситься только при условии, что мне не причинят вреда.

— Что же тогда делать? — спросил он.

— Написать записку в других выражениях.

— В каких выражениях?

— Приблизительно так:

Сегодня, 5 июня 1841 года, во время отдыха, который нам предоставляют, пока мой товарищ Росиньоль будет спать, я рассчитываю осуществить решение, давно принятое мною, и покончить с собой, так как жизнь на каторге стала для меня невыносимой. Я пишу эту записку, чтобы Росиньоля не наказывали. Габриэль Ламбер.

Габриэль одобрил содержание, написал записку и положил ее себе в карман.

Действительно, в тот же день, едва прозвонил полдень, Габриэль, который с утра не сказал мне ни слова, спросил, не знаю ли я места, подходящего для выполне-

ния его плана. Я увидел, что он виляет, и решил помочь ему, иначе он опять все отложил бы.

— Есть то, что надо,— сказал я ему.— Но если вы еще не решили, отложите все на другой день.

— Нет,— ответил он, делая усилие над собой.— Нет, я сказал, что это произойдет сегодня, значит, я так и сделаю.

— Вообще-то,— небрежно заметил я,— когда решишься на это, чем скорее выполнишь свой план, тем лучше.

— Тогда проводи меня,— сказал Габриэль.

Мы отправились в путь; он тащился еле-еле, но я не обращал на это внимания.

Чем ближе мы подходили к месту, которое он знал не хуже меня, тем больше он волочил ноги, я по-прежнему шагал вперед.

— Да, это именно здесь,— прошептал он, когда мы наконец добрались до места.

Это доказывало, что так же, как и я, он знал, что это место очень подходило для выполнения его плана.

В самом деле, возле огромной груды досок росла великолепная шелковица.

Я мог притвориться, что сплю в тени досок, а он в это время мог повеситься на шелковице.

— Ну, что?— спросил я.— Что скажете о местечке?

Он был бледен как смерть.

— Да,— продолжал я.— Вижу, что это произойдет еще не сегодня.

— Ты ошибаешься,— ответил он,— мое решение принято, только не хватает веревки.

— Как так,— сказал я ему,— вы не знаете места?

— Какого места?

— Где вы спрятали тот кусок пеньковой веревки, которую сами положили в карман, когда мы проходили как-то раз через канатную мастерскую.

— Действительно,— пробормотал он,— я, кажется, спрятал ее тут.

— Посмотрите-ка, это там,— показал я ему на поленицу дров, куда он две недели назад спрятал то, о чем спрашивал.

Он наклонился, сунул руку в одно из отверстий.

— В другом,— сказал я.— Посмотрите в другом.

И действительно, пошарив в другом отверстии, он вытащил оттуда отличную веревочку длиной в три локтя.

— Черт побери! — заметил я. — Прямо слюнки текут при виде этой веревочки.

— И что теперь делать? — спросил он меня.

— Попросите меня подготовить все, и дело будет тотчас же сделано.

— Ну да! Ты мне доставишь удовольствие.

— Я правда доставлю вам удовольствие?

— Да.

— Вы просите меня об этом?

— Я прошу тебя об этом.

— Тогда я ни в чем не могу отказать товарищу.

Я сделал из веревки отличную петлю, привязал ее к одной из самых крепких и самых высоких веток, пододвинул к стволу шелковицы толстое полено, ему надо было лишь толкнуть его ногой, и между ним и землей останется два фута расстояния. Этого было больше чем достаточно для порядочного человека, чтобы повеситься.

Все это время он следил за тем, что я делаю.

Он был уже не бледным, а пепельным.

Я закончил все приготовления и сказал ему:

— Вот, крупная работа сделана, теперь — немного решительности, и все закончится в одну секунду.

— Это легко сказать, — прошептал он.

— К тому же, — продолжал я, — вы хорошо знаете, что не я толкаю вас к этому; напротив, я сделал все, что мог, чтобы помешать вам в этом деле.

— Да... но я хочу этого, — произнес он, решительно поднимаясь на полено.

— Ладно! Но подождите немного, я улягусь.

— Прощай, Росиньоль. Ложись спать, — сказал он.

Я лег под деревом.

А он просунул голову в петлю.

— Постойте! Снимите же свой галстук, — сказал я, — вы повеситесь в галстуке. Право, это что-то новое.

— Да, правда, — прошептал он и снял галстук.

— Прощай, Росиньоль, — сказал он во второй раз.

— Прощайте, месье Ламбер, мужайтесь. Я закрою глаза, чтобы не видеть этого.

В самом деле, на это страшно смотреть...

Прошло десять секунд, все это время я лежал с за-

крытыми глазами, но ничто не указывало на то, что произошло что-то новое.

Я вновь открыл глаза. Он по-прежнему стоял с петлей на шее, но это уже был не живой человек, а труп.

— Ну и...— сказал я.

Он тяжело вздохнул.

— Папаша Шиверни! — крикнул я, закрывая глаза и делая движение ногой, которое вытолкнуло из-под него полено.

— На помощь! Помо...— попытался крикнуть Ламбер, но голос застрял у него в горле.

Я почувствовал конвульсивные движения, от которых затряслось дерево, услышал что-то похожее на крик... потом через минуту все стихло.

Я не решался пошевелиться, открыть глаза, притворился, что сплю; я увидел папашу Шиверни, вы его знаете — это надсмотрщик, который направлялся в мою сторону; услышал приближающиеся шаги; наконец, почувствовал сильный удар ногой в бок.

— А! Что случилось, а где остальные? — спросил я, оборачиваясь и делая вид, что просыпаюсь.

— А случилось то, что, пока ты спал, твой товарищ повесился.

— Какой товарищ?.. О-о, правда! — произнес я, словно совершенно не знал, что произошло.

Видели ли вы когда-нибудь повешенного, господин Дюма? Это очень безобразная картина. А Габриэль был особенно ужасен. Надо полагать, что он сильно дергался; лицо у него было страшно искажено, глаза выпучены, язык высовывался изо рта, а сам он обеими руками цеплялся за веревку, словно пытался взобраться по ней вверх.

Кажется, мое лицо отражало такое удивление, что все поверили в мое неведение и непричастность к делу.

К тому же, пошарив по карманам Габриэля, там нашли записку, которая полностью снимала с меня всякие подозрения.

Труп сняли с веревки, положили на носилки, и нас обоих отвезли в медпункт.

Потом пошли и предупредили инспектора. Все это время я сидел рядом с телом моего напарника, к которому был прикован цепью.

Через четверть часа пришел инспектор; он осмотрел труп, выслушал доклад папаша Шиверни и допросил меня.

Затем собрал всю мудрость, на которую был способен, и вынес приговор:

— Одного — на кладбище, другого — в карцер.

— Но, господин инспектор! — воскликнул я.

— На две недели, — сказал он.

Я замолчал.

Я боялся, что мне удвоят наказание, что обычно случается, когда чего-то требуют.

Меня отсоединили от трупа и посадили в карцер, где я пробыл две недели.

Когда я оттуда вышел, меня спарили с Рваным Ухом, славным малым, вы его не знаете; этот по крайней мере разговаривал.

Вот, господин Дюма, все подробности, которые я передаю вам с полным уважением, уверенный в том, что это доставит вам удовольствие. Если я в том преуспел, напишите, пожалуйста, нашему доброму доктору Ловвернь и попросите его передать мне от вашего имени фунт табаку.

*Ваш скромный и покорный слуга Росиньоль,
проживающий в Тулоне».*

XX

ПРОТОКОЛ

В октябре месяце одна тысяча восемьсот сорок второго года я снова проезжал через Тулон.

Я не забыл странную историю Габриэля Ламбера, и мне было любопытно узнать, действительно ли события развивались так, как описал мне Росиньоль.

Поэтому я собирался нанести визит коменданту порта.

К сожалению, он был заменен другим человеком.

Однако его преемник прекрасно принял меня, и, так как в ходе беседы он спросил, не может ли быть мне в чем-либо полезным, я признался ему, что визит мой был не совсем бескорыстным и мне хотелось бы узнать, что случилось с каторжником по имени Габриэль Ламбер.

Он тотчас же вызвал своего секретаря. Это был молодой человек, которого он привез с собой в Тулон всего лишь год тому назад.

— Дорогой господин Дюран,— сказал он ему,— поинтересуйтесь, пожалуйста, по-прежнему ли находится здесь осужденный Габриэль Ламбер. Потом возвращайтесь к нам и расскажите, что он делает и что есть в записях, касающихся его.

Молодой человек вышел и десять минут спустя вернулся, держа в руках раскрытую книгу записей.

— Пожалуйста, месье,— сказал он мне,— возьмите за труд прочесть эти несколько строчек, и вы будете полностью удовлетворены.

Я сел за стол, куда он положил регистрационную книгу, и прочел:

«Сегодня, пятого июня одна тысяча восемьсот сорок первого года, я, Лоран Шиверни, надзиратель первого класса, делал обход по территории стройки во время часа отдыха, предоставляемого осужденным ввиду сильной дневной жары, и обнаружил Габриэля Ламбера, приговоренного к пожизненным каторжным работам, повесившимся на шелковице, в тени которой спал или притворялся спящим его напарник по цепи Андре Тульман, по прозвищу Росиньоль.

При виде этой картины я первым делом разбудил этого последнего, который выразил крайнее удивление происшедшим событием и заявил, что никоим образом к нему не причастен. И действительно, после того, как повешенный был вынут из петли, его обыскали и нашли записку, которая полностью снимала всякую вину с Росиньоля.

Однако осужденный был известен своей чрезвычайной трусостью, и, казалось, ему было трудно повеситься без помощи своего напарника, с которым он был связан цепью длиной всего лишь в два с половиной фута, поэтому я имел честь предложить господину инспектору отправить Андре Тульмана, по прозвищу Росиньоль, на один месяц в карцер.

Лоран Шиверни, надзиратель первого класса».

Ниже были приписаны другим почерком еще две строчки, под которыми стоял простой росчерк:

«Захоронить сегодня вечером поименованного Габриэля Ламбера и тотчас же отправить на один месяц в карцер вышеупомянутого Росиньоля.

В. Б.».

Я сделал с этого протокола копию и предлагаю ее, не меняя в ней ни строчки, своим читателям, которые получают, таким образом, подтвержденную письмом Росиньоля, полную и естественную развязку истории, которую я только что им рассказал.

Добавлю только, что я восхищен проницательностью почтенного надзирателя Лорана Шиверни, который догадался, что в тот момент, когда был найден труп Габриэля Ламбера, его напарник Андре Тульман притворялся спящим, но на самом деле не спал.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСПОДИН КУМБ

Перевод Т. Г. Погорелой

Глава I, из которой несведущие читатели узнают о том, что представляет собой небольшой деревенский домик . . .	7
Глава II. Милетта	19
Глава III, из которой читателю станет ясно, насколько подчас опасно помещать в одной клетке ворона и горлицу . . .	27
Глава IV. Деревенский домик	29
Глава V, из которой станет ясно, насколько подчас неприятно быть обладателем чудесного гороха в своем саду . . .	34
Глава VI. Шале и деревенский домик	39
Глава VII, в которой автор вынужден, к большому огорчению, признаться читателям в заимствовании у самого старика Корнеля	49
Глава VIII, из которой видно, как господин Кумб увидел про-	

вал своего плана мести из-за вмешательства одного свидетеля, нанесшего удар в самое сердце борцу, выбранному им	54
Глава IX, из которой становится ясно, что господин Кумб не предаст забвению нанесенные ему оскорбления, и что из этого следует	64
Глава X. Два честных сердца	76
Глава XI, из которой ясно видно, что чем сильнее взаимное желание, тем труднее подчас понять друг друга	85
Глава XII, из которой станет ясно, как, желая выловить рыбку, господин Кумб поймал секрет	102
Глава XIII, в которой господин Кумб превосходит в лукавстве самого Макиавелли	108
Глава XIV. Нищий	113
Глава XV. Признания	123
Глава XVI, из которой читатель узнает, что Пьер Мана вмешивается в дело на свой лад	132
Глава XVII, из которой становится ясно, что, не желая никого спасти, господин Кумб совершил тем не менее свой крестный путь	145
Глава XVIII. Мать и возлюбленная	158
Глава XIX, в которой Пьер Мана, кажется, решается принести в жертву своим отцовским чувствам любовь к родной земле	175
Глава XX, в которой господин Кумб совершает самый отличный выстрел, какой когда-либо производил любитель охоты	184
Глава XXI. Мужничество	195
Заключение	201

КАТРИН БЛЭСМ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. *Перевод Т. В. Резниченко*

I. Предисловие автора	207
II. Новый дом у дороги в Суассон	219

III. Матье Гогелю	226
IV. Птица, приносящая несчастье	237
V. Катрин Блюм	244
VI. Парижанин	253
VII. Ревность	260
VIII. Отец и мать	266
IX. Возвращение	274
X. Мадемуазель Эфросия Руазен	283
XI. Любовные мечты	290

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. *Перевод И. Г. Уваровой*

I. Аббат Грегуар	299
II. Отец и сын	307
III. Праздник в деревне	315
IV. Змея	325
V. Не введи вора в искушение!	334
VI. У папаши Ватрена	339
VII. Магушка Теллье	346
VIII. Взгляд честного человека	350
IX. Выходки Матье	357
Заключение	366

ГАБРИЭЛЬ ЛАМБЕР

Перевод Е. Л. Скржинской и П. А. Скржинского

I. Каторжник	377
II. Анри де Фаверн	384
III. Фойе оперы	388
IV. Приготовления	394

V. Аллея Молчания	398
VI. Рукопись	403
VII. Октябрь, 18	405
VIII. Больной	410
IX. Банковский билет в пятьсот франков	415
X. Край завесы	419
XI. Ужасное признание	424
XII. Отъезд в Париж	432
XIII. Исповедь	438
XIV. Продолжение исповеди	445
XV. Цветочница	450
XVI. Катастрофа	454
XVII. Бисетр	464
XVIII. Ночное бдение короля	472
XIX. Повешенный	476
XX. Протокол	487

Дюма А.

Д 95 Господин Кумб. Катрин Блюм. Габриэль Ламбер. Романы: Перев. с фр. / Сост. и общ. ред. Ю. П. Уварова.— М.: Пресса, 1994.— 496 с.

ISBN 5—253—00806—3

В очередную книгу серии «XIX век в романах А. Дюма» вошли три романа: «Господин Кумб», «Катрин Блюм» и «Габриэль Ламбер», представляющие собой три истории из жизни людей различных сословий — аристократии, чиновников, крестьян и др.; истории о том, что случается, когда сильные страсти овладевают мелкими сердцами, великодушные встречаются с эгоизмом, а пылкость и отвага — с хитростью и лицемерием.

Д 4703010100—2987
2987—94
080(02)—94

84.4 Фр

Литературно-художественное издание

ДЮМА Александр

ГОСПОДИН КУМБ
КАТРИН БЛЮМ
ГАБРИЭЛЬ ЛАМБЕР
Романы

Составитель

Уваров Юрий Петрович

Редактор

Е. А. Кондратьева

Художественный редактор

Р. А. Клочков

Технический редактор

Т. Б. Слизун

Младший редактор

Е. В. Слаева